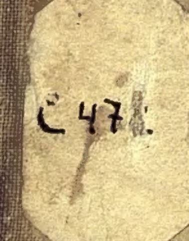
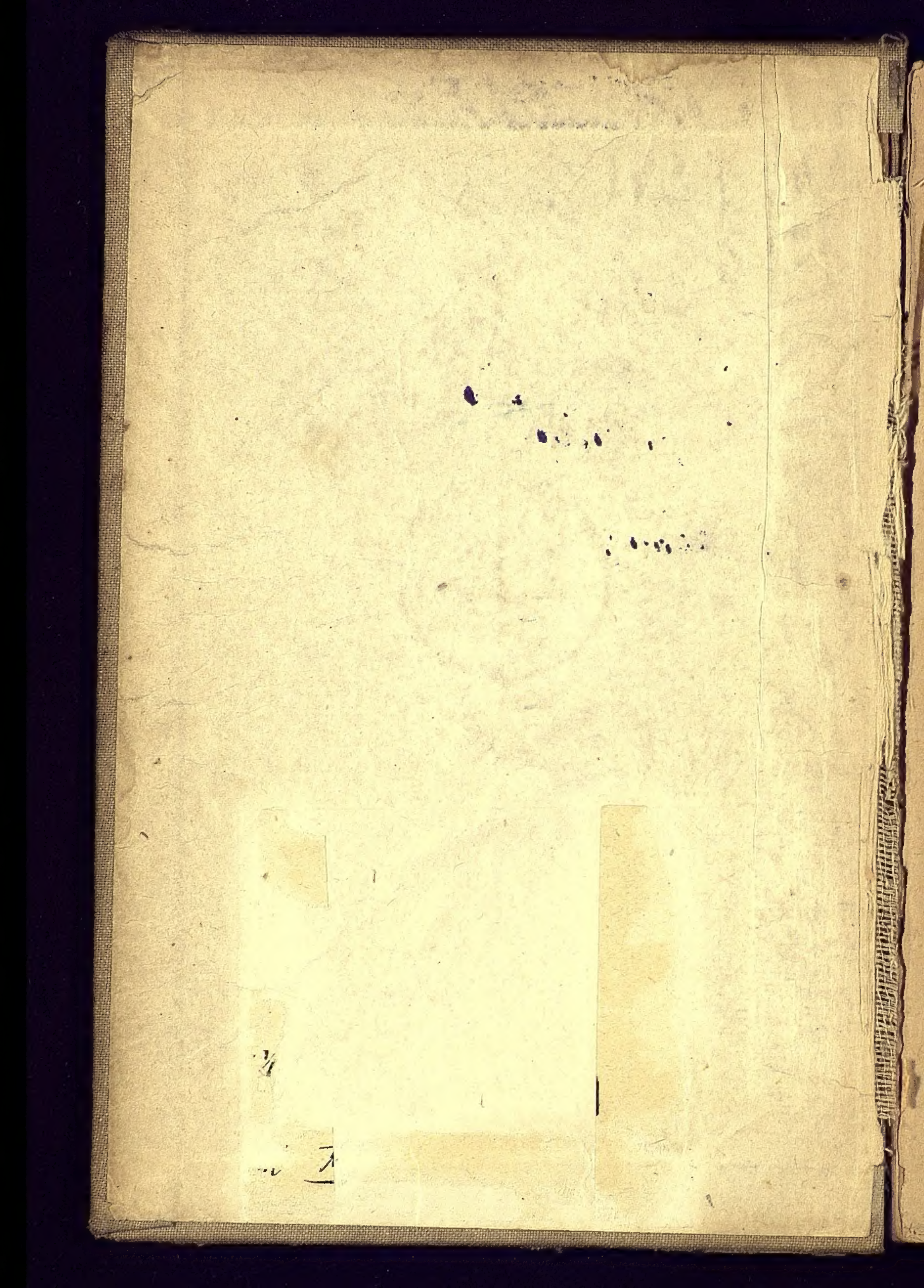
Слезкин
Отречение
XI I.

ЮРИЙ СЛЕЗКИН

ОТРЕЧЕНИЕ







НАЧАЛО КОНЦА

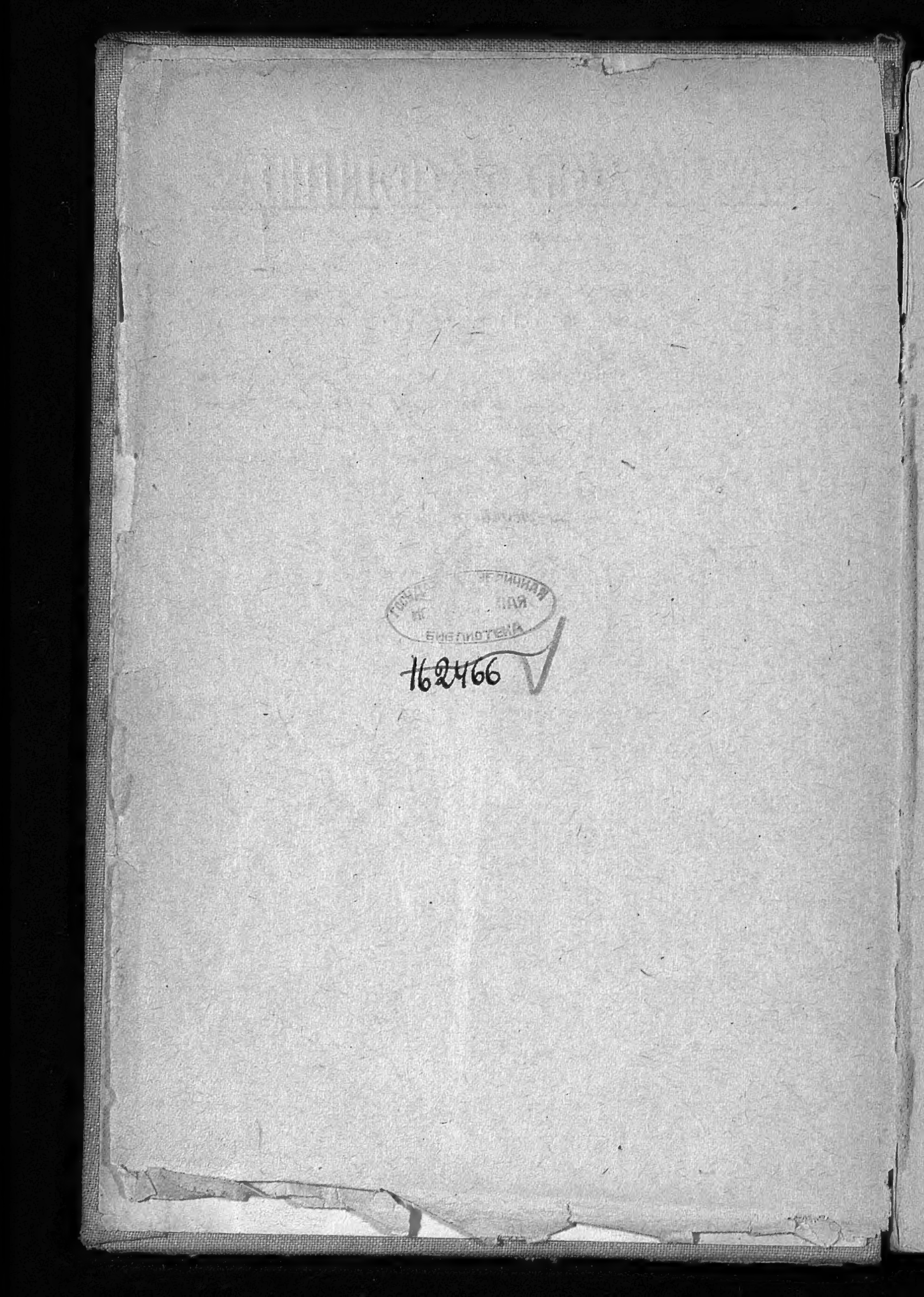
С-472

Слёзкин, Ю.

Отречение кн. I






БИБЛИОТЕКА
162466

Начнем с событий без героев — с афер международных. Пока не взвился занавес, заглянем за кулисы.

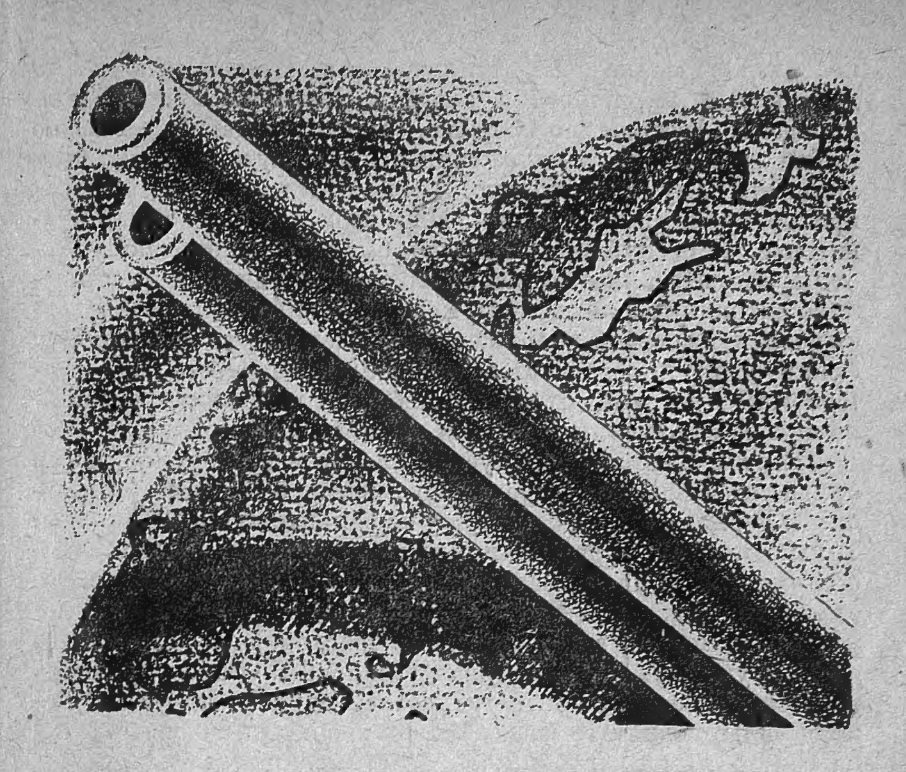
Четырнадцатый год — всего лишь развязка завязанных узлов за много лет назад, год сервировки блюд, подчас еще сырых.

Кой-кто поторопился, кой-кто опередил, кой-кто пытался забежать вперед и был обойден...

Но связь времен распалась. Толчок—салазки покатились под гору...

Внизу ждет новое.


ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 169466 м



1912 год

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ прочел письмо до конца и начал снова с того места, которое его всего более интересовало.

В этот августовский день Петербург был особенно хорош. В открытые окна кабинета министра иностранных дел веяло едва уловимым запахом моря, повядших листьев, дынной свежестью. Сергей Дмитриевич ощущал во всем теле уверенную бодрость. Мысли были ясны. И хотя он недолюбливал Извольского, знал, что тот старый интриган, лисий хвост и предатель, однако, письмо из Парижа его очень порадовало и, как всегда, побуждало к удвоенной деятельности, гипнотизировало спокойным и циническим своим тоном.

«Пуанкаре высказал мне, — писал Извольский, — что французское правительство самым серьезным образом обсуждает вопрос о могущих возникнуть международных случай-

ностях. Он вполне ясно отдает себе отчет в том, что те или другие события, например разгром Болгарии Турцией или нападение Австрии на Сербию, могут заставить Россию выйти из пассивного положения и прибегнуть сперва к дипломатическому выступлению, а затем и к военным действиям против Турции или Австрии. Но в этом фазисе событий правительство республики не было бы в состоянии получить от парламента или общественного мнения санкции на какие-либо активные военные меры. Если же столкновение с Австрией повлечет за собою вооруженное вмешательство Германии, — французское правительство заранее признает его за «casus foederis»[1] и ни минуты не поколеблется выполнить лежащие на нем по отношению к России обязательства...»

Сергей Дмитриевич опустил письмо и в раздумьи двумя пальцами левой руки провел по седеющей бородке. «Германия... Германия пойдет на войну не раньше, как в 1917 году... Только недавно в рейхстаг был внесен новый законопроект об армии... Он предусматривает создание двух новых армейских корпусов на востоке и на западной границе... Только к семнадцатому году они успеют израсходовать отпущенные на вооружение двадцать два миллиона... Если Пуанкаре удастся провести закон о трехлетней службе, то уже к началу четырнадцатого года французская армия увеличится на триста тысяч человек... Но одна Франция...»

Мимовольно Сергей Дмитриевич потянул острие бородки к губам—пожевать, не дотянул и, поймав себя на этом вульгарном жесте, стал что-то быстро подсчитывать на листке лежащего перед ним отрывного блокнота. Цифры строились в прямые колонки, как у опытного бухгалтера. Не хватало счетов. Но министр справлялся и без них.

— Ну, конечно,—бормотнул он,—если верить сводкам министерства финансов, убытки от закрытия для нашего морского транспорта Дарданелл исчисляются ровно в тридцать миллионов рублей в месяц. Тридцать миллионов! И в этом заинтересована больше всего Англия... потому что вывоз хлеба...—Опять серебряный карандаш забегал по бумаге.— Вывоз хлеба через Дарданеллы в адрес Англии в прошлом году определился... определился в 568 миллионов рублей.

Сергей Дмитриевич отложил удовлетворенно карандаш. Глаза его снова побежали по строкам:

---

[1] Верный случай.

«... Что касается специального положения на Средиземном море, то только что принятое решение перевести из Бреста в Тулон третью французскую эскадру еще более усиливает преобладание в водах этих французского флота. Решение это,—прибавил Пуанкаре,—принято по соглашению с Англией и является дальнейшим развитием и пополнением уже раньше состоявшихся между французским и английским морскими штабами уговоров...»

Министр встал. Картина была ясна. «Позиция Англии должна определиться. Если сделать уступки на Востоке, Дарданеллы окажутся уж не таким большим препятствием. Отдать нам Царьград и получать ежегодно 568 миллионов! Это деньги... даже для Англии...»

В окна задувало дыней так сладостно, будто внесли в кабинет этот спелый, напоминающий о юге, плод.

На сегодня с делами можно было покончить.

Секретарь распорядился подать машину. Министр, пройдясь по малиновому ковру кабинета, остановился у окна. Он достал из заднего кармана вицмундира маленькую книжечку в парчевом переплете. Последние дни она всегда была при нем. Совершенно неожиданное лакомство...

Мне с тобою, пьяным, весело,
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.
Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся...

— Сергей Дмитриевич, машина готова!..

— Ах, спасибо, Валентин Петрович...

Министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов был пойман с поличным. Секретарь увидал книжечку в парчевом переплете.

Министр улыбнулся смущенно и иронически.

— Представьте себе,—сказал он,—случайно подвернулась под руку. Стишки какой-то Анны Ахматовой «Вечер». Очень недурно. Прочтите... Прекрасное средство рассеять мысли...

— Весь вопрос в том,—заметил Хаген,—удастся ли военному министерству провести в рейхстаге сметные предположения на новый год...

— С этой стороны мы можем быть спокойны, — улыбнулся Ратенау (он уже входил в настежь распахнутые перед ним двери и сбрасывал на руки медведеподобного швейцара свое пальто): — бо́льшая половина депутатов у нас на жалованьи... включая сюда социал-демократов...

На лестнице, широкой и пологой, их встретил ординарец. Пахло воском, сигарой и хорошо выделанной кожей амуниции. Белые двери с золотым кружевом резьбы распахнулись. Солнечный свет ударил им в глаза. Из голубоватого облака поднялся им навстречу министр. Грудь его сверкала в лучах солнца. Адмирал протянул обе руки — одному и другому одновременно, как добрым знакомым. Ратенау и Хаген приняли этот дружеский жест с подчеркнутой улыбчивой почтительностью. Его высокопревосходительство был его высокопревосходительством. Они это помнили. Им даже доставляло удовольствие это помнить. Несмотря на то, что и Ратенау и Хаген ни в какой мере не зависели от адмирала, — интересы их, напротив того, совпадали с интересами генерального штаба, и заказ, который должно было сделать морское министерство, все равно не миновал бы их рук, — им льстило внимание человека, облеченного жреческим величием холеной бороды, аксельбантов, звезд, мундира, идолообразия и пышности.

В душе доктора Вальтера Ратенау из «А. Е. G» — банкира, электрического короля, производителя станков, сталезаводчика и химического фабриканта, самого крупного и влиятельного капиталиста Германии — и его коллеги Лудвига Хагена — директора динамитного треста Нобеля, — жило воспитанное поколениями бюргерское уважение перед мундиром, доктриной, символом, хотя бы созданными их собственным воображением и волей.

Адмирал блестяще справлялся со своей ролью. Он был достойным выучеником своего императора. Зрителям приятно было аплодировать ему.

Тирпиц довел их до кресел и чуть подтолкнул:

— Садитесь!

Уверенным широким движением открыл перед ними коробку с сигарами:

— Курите! — Золотые карандашики аксельбантов гостеприимно позванивали.

— Нам предстоит серьезная и ответственная работа, — говорил адмирал, меланхолически барабаня пальцами по

подлокотнику своего кресла,—и я пригласил вас как представителей нашей промышленности, чтобы изложить вам стоящие перед морским министерством задачи и те обязанности, которые в связи с этим государство считает необходимым возложить на вас, как на самых преданных ему сынов.

— Мы глубоко тронуты этой честью,—ответил Ратенау, наклонив голову и даже положив в пепельницу свою сигару. Он уже вошел в игру.

— Для этого мне необходимо в кратких словах обрисовать вам политическую ситуацию, в какой мы находимся в данное время, по сведениям, имеющимся у нас в министерстве... а потому, разумеется, не подлежащим оглашению.

Тирпиц улыбнулся краем губ. Этой улыбкой он давал понять, что вполне верит скромности собеседников.

— Как вам известно,—продолжал он,—положение дел после второй Балканской войны было таково, что согласно плану участников Балканского союза, первой задачей его являлся раздел между ними Европейской Турции, а второй—обеспечение себе при этом тыла со стороны Австрии. В свой черед Англия и Франция ставят себе задачей создание единого замкнутого балканского фронта против центральных держав, то есть главным образом против нашего дорогого отечества. Последняя цель, однако, не была достигнута в той мере, как того желали... Соотношение сил все же значительно изменилось в последний период не в нашу пользу. Не будем винить в этом нашу дипломатию, как делает это кронпринц. Будем считаться с фактами...

Адмирал полузакрыл глаза. На минуту лицо его изобличило в нем старого, усталого, много поработавшего за свою жизнь человека. Но желтоватые веки приподнялись, брови сошлись у переносицы, в зрачках блеснуло острое лезвие ума и воли.

— Турция оказалась ослабленной. В Европе у нее осталась, кроме Константинополя, лишь жалкая полоска земли. Надежды Болгарии разбиты. Сербия, напротив, сделала громадный шаг вперед. С возросшей верой в себя она продолжает политику подготовки своих националистических задач за счет Австро-Венгрии... Румыния, захватив себе со стороны Болгарии все или даже больше, чем ей было нужно, встала в совершенно явную оппозицию в отношении к Австрии...

Тирпиц сжал кулак. Только это движение выдало его гнев.

— Наши отношения с Италией достаточно прочны,— продолжал он сдержанно,—но если принять во внимание, что еще в 1909 году Италия обеспечила себе согласие России на свои триполитанские вожделения обещаниями в вопросе о Дарданеллах, то и с этой стороны не следует рассчитывать, в случае военных осложнений, на безусловное сотрудничество...

Министр поднял руку и потянулся за одной из синих папок, грудой лежащих на письменном столе.

— Вот здесь у меня материалы о военных мероприятиях России. Эта варварская страна, управляемая безвольным монархом, земледельческая по преимуществу, могла бы и должна была бы быть тесно связана с нами—страной промышленной. Наши интересы дополняют друг друга... Я безусловно придерживаюсь в этом отношении мнения великого Бисмарка. Россия должна оставаться земледельческой страной. Россия должна быть нашей союзницей. Но ее у нас вырвали из рук. В ней насаждают промышленность французские банки. Союз ее с Францией скрепляется почти ежегодно новыми финансовыми связями, устанавливающими курс русской политики как в ее дипломатических выступлениях, так и в военных мероприятиях. В Думе берет верх над аграриями кадетская партия промышленников. Извольский и Сазонов пляшут под их дудку, которой дирижирует Пуанкаре. Он им сулит Константинополь.

Тирпиц отбросил от себя папку. Она с испуганным шелестом ударилась о чернильницу и уронила старинную пивную кружку с карандашами. Адмирал приподнялся и привел все в порядок.

— Какая неловкость!—бормотнул он.

Ратенау улыбнулся ободряюще. Он позволил себе вставить несколько слов во взволнованную речь адмирала. В сущности, все, что рассказывал Тирпиц, было ему хорошо известно.

— Недавно,—сказал он,—министр Сазонов, которого я знаю лично, на мое замечание, что союз с Францией для России не рентабелен, ответил мне, что если мы предоставим Австрию ее судьбе, то он, со своей стороны, так же покинет Францию.

И Ратенау и Хаген улыбнулись. Адмирал, глядя на них,

дрогнул плечами и засмеялся. Они смеялись все трое с увлажненными глазами, от души.

— Пустая и фанфаронная фраза в устах дипломата страны, в полной мере зависящей от Франции в своих финансовых операциях,—первый, овладев собою, произнес Лудвиг Хаген.

— И он думал поймать нас на таком предложении!—подхватил Тирпиц.—Бесподобно!

Он отдышался, плотнее уселся в кресло.

— Итак, Россия тоже навсегда и бесповоротно оторвана от нас. Россия и Франция, с востока и с запада. Наш генеральный штаб имеет это в виду. Но у нас есть третий противник—Англия.

— Да, Англия...—повторили Ратенау и Хаген одновременно.

— Англия,—вздохнул Тирпиц,—вот страна, с которой мы стоим лицом к лицу и не свернем в сторону добровольно. Уже в 1908 году Фишер предлагал своему королю поступить с немецким флотом, как это было в Копенгагене.

Адмирал поднялся с кресла во весь свой рост. Он смотрел на своих собеседников пристально, как в бинокль на отдаленную цель, затерявшуюся в морских просторах. Слова его стали сухи и резки, как команда.

— Копенгагенский разгром. Атака с тыла. В 1801 году англичане уничтожили датский флот на рейде в Копенгагене. Они хотят повторить это с нами. Они не повторят! Ручаюсь вам головой.

Тирпиц оборвал и прошелся по комнате.

— Но,—сказал он через мгновение и снова сел в кресло,—нам для этого нужен флот. Флот, превышающий и боеспособностью и численностью—английский. Эту задачу мы сумеем выполнить в 1917 году при условии, если...

— ... кредиты на будущий год будут проведены в рейхстаге,—невозмутимо добавил Ратенау.—В этом пункте, ваше высокопревосходительство, мы можем быть совершенно спокойны. Общественное мнение подготовлено. Но было бы интересно ознакомиться с размерами и характером предстоящих заказов...

Министр потянулся за папками. Ратенау и Хаген придвинули ближе свои кресла.

1913 год

ЭТО БЫЛО «в славянском стиле». Это напоминало Запорожскую сечь. Песней решали трудные вопросы. Песней встречали дорогих гостей...

Михаил Владимирович дирижировал хором. Самозабвенно истекал жиром. Живот гиппопотама сотрясался, глаза утонули в блаженстве. Михаил Владимирович растворялся в звуках. Депутаты покорно следовали движениям его рук. Зал заседаний превратился в капеллу. Дружно пели «Шуми, Марица». Это было выражением братских чувств к дорогим болгарским гостям—Радко Дмитриеву, председателю народного собрания Даневу и болгарскому посланнику Бобчеву. «Славяне» плакали от умиления. Таврический дворец вспоминал счастливые дни потемкинских празднеств.

— Шуми, Марица!..

— Что у вас происходит в Думе? Нельзя ли прекратить эти манифестации!

Голос у председателя Совета министров Коковцева врезается неприятным диссонансом в стройную патетику гимна. Голос у Коковцева раздраженный и в меру внушительный. Но голос Михаила Владимировича Родзянко, председателя Государственной думы, не уступает в тональности и убедительности:

— Это невозможно. Подъем народного чувства остановить нельзя.

— Помилуйте, Михаил Владимирович, это же может не понравиться Австрии. Создать неприятные осложнения...

— В таком случае, попробуйте, приезжайте и постарайтесь остановить наше патриотическое воодушевление сами. Я не могу...

— Болван!—громко выражает свое мнение Родзянко, отходя от телефона.—Он не понимает, что надо подготовить исподволь общественное мнение... Радко Дмитриев привез императору ключи от Константинополя. Славяне готовы встретить нас в Дарданеллах...

— Идиоты!—бормочет, повесив трубку на рычаг, председатель Совета министров.—Кто просил их высказывать свои чувства не во-время? Они заскочили вперед по крайней

мере на год... Идиоты! Чтобы хлебать щи, надо хотя бы раздобыть ложку, а она пока еще в руках Англии...

Военный корреспондент газеты «Times», полковник Ренингтон говорил в тот день своему коллеге, военному агенту при русской миссии:

— Английское общественное мнение, до сих пор относившееся равнодушно к вопросу о германской военной миссии в Константинополе, теперь начинает понимать те невыгоды и опасности, которые связаны с этой миссией не только для России, но и для Англии. Смею заверить вас, что я не ошибаюсь...

Полковник Ренингтон набил трубку. Он позволил себе эту вольность с разрешения хозяина. Оба были военными и прощали друг другу маленькие слабости, свойственные людям ратного дела.

Хозяин протянул зажженную восковую спичку. Полковник Ренингтон перехватил ее двумя широкими, похожими на плоскозубцы, пальцами.

— Несомненно, вы не ошибаетесь,—любезно согласился русский.—Англичане—народ трезвый и быстро ориентирующийся, как все моряки. Англичане не могли не учесть, что Англия получает значительную долю своего продовольственного ввоза из южной России через проливы... Утверждение германского влияния на Босфоре приведет в конце концов к тому, что германский генерал будет держать в своих руках продовольствие Англии и в случае войны Англии с Германией (а кто может поручиться за будущее?) будет иметь возможность угрожать Англии остановкой ее продовольственного ввоза, то есть просто голодом...

— All right![1]—сквозь клубы ароматического дыма выкрикнул полковник.—И помимо этой опасности я отмечу еще одну и очень существенную: германское влияние на Босфоре приведет к усилению Германии в Малой Азии и к давлению Германии на английские сообщения с Индией. Вот в чем пуля!

Полковник Ренингтон благоухал вишневым клеем, кожей, хинной эссенцией. Он был розов и безобиден. Пред-

---

[1] Совершенно верно.

рекая политические осложнения, он улыбался, как девушка.

Русский был осторожен и внимателен. Он предупреждал желания гостя, то подвигая ему пепельницу, то приготовляя коктейль, то задавая вопросы.

— А что слышно о принятии турецкого флота в руки английских морских офицеров?

— О, в этом вопросе существуют разногласия. Но во всяком случае, если германская миссия в Константинополе останется, несомненно, было бы лучше, если бы турецкий флот оказался в английских руках... У нас существует уверенность, что Германия подкупила Энвера и постепенно все забирает в свои руки...

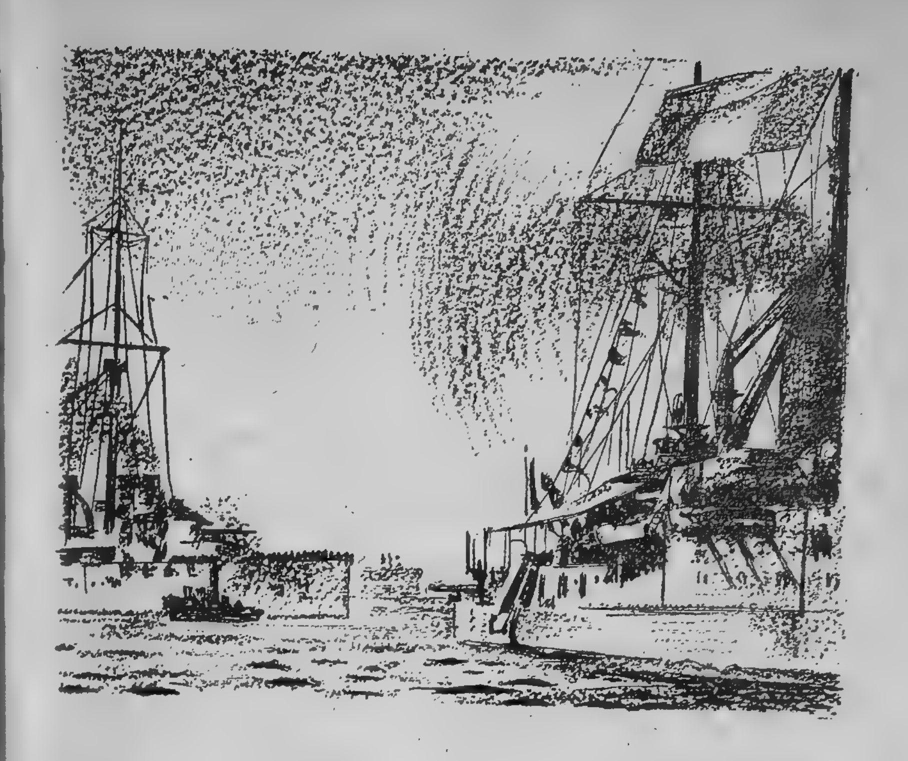
Полковник Ренингтон встал.

— Я очень рад, что наши взгляды сходятся,—произнес он с добродушной улыбкой.

— Так же, как и наши интересы,—учтиво подхватил хозяин.

— All right! Совершенно верно!—скаля великолепные зубы, засмеялся гость.

Они крепко, от всей души, пожали друг другу руки.



1914 год

ПРОШУ ВАС, садитесь. Курите!.. Эти папиросы мне подарил турецкий султан. Не правда ли, забавно?.. Но они очень хороши. Вот спички... Здесь мы одни. Нам никто не помешает. Я хочу поговорить с вами.

Византийские глаза смотрят прямо, но в них ничего не прочтешь. В них отражается небо. Бледное апрельское небо севера. Мягкий безвольный рот затенен рыжеватыми усами. Изо рта аккуратные колечки дыма. Он говорит. Слова его — как дым. Его ли это слова? Его ли это мысли?

Бьюкенен всматривается. Бьюкенен прислушивается. Бьюкенен честно, по-английски, хочет понять, кто дергает за нитку этого паяца, кто стоит за ширмой с японскими драконами? Кажется, дракон — герб Романовых?

Нет. Нитка все в тех же верных руках. Из-за ширм —

посол начинает различать ясно—выплывает лисья бородка Сергея Дмитриевича. Это его мысли. Но слова беспомощны. Аккуратные колечки тотчас же расплываются, тают в неопределенности апрельских сумерок.

— Все эти писания Витте в «Новом времени»—вздор, дорогой мой граф. Само собою—Россия желала бы неизменного мира с Германией, но отнюдь не перегруппировки держав. Об этом и речи быть не может...

Глаза расширяются. Он, должно быть, сам удивлен—почему об этом не может быть речи. «Ах, да»...

— Тем более,—вспоминает он натверженный урок,—что, как это ни грустно, союз с Германией уже потому немыслим, что Германия старается занять в Турции такое положение, которое явно сводится к тому, чтобы запереть Россию в Черном море...

Об этом говорил ему Ламсдорф. Об этом твердит Сазонов. Странно!.. Почему соглашение его с Вильгельмом в Биорке тогда всех так поразило?.. Хватило же у него смелости сказать Бирюлеву: «Адмирал, вы верите своему государю и знаете, что все, что он делает,—только для блага России; так вот,—подписывайте, не глядя». Царские ладони закрывали текст договора. Но адмирал повиновался. Для блага России... Союз с Германией против Англии!

— Благо России не позволяет нам потворствовать вожделениям Германии,—говорит он теперь.

Бьюкенен склоняет голову перед двоюродным братом своего монарха. Они очень похожи друг на друга. С той только разницей, что тот—свой король—предоставляет все делать другим, а этот хочет верить в свою самодержавность.

— Напротив того,—вылетают благоуханные голубоватые кольца,—я бы очень хотел видеть тесную связь между Англией и Россией... вроде союза чисто оборонительного характера...

Он смолк. Он готов слушать.

В этой варварской восточной сатрапии надо говорить туманно. Бьюкенен предоставляет последнее слово своему собеседнику. «Посмотрим, как тот станет настаивать».

— Увы, ваше величество, в настоящее время я опасаюсь—это не осуществимо.

— Тогда можно было бы заключить договор, хотя бы такой, какой у вас с Францией...

Он играет портсигаром. Кладет его на ладонь и, склонив

голову набок, пробует его на вес... На вес золота. Уж так ли случайна эта игра с портсигаром? Не хочет ли он намекнуть?.. Глубина его глаз сейчас—глубина лужиц на солнце: в них ловишь небо пригоршней.

— Я не знаком с подробностями этого договора, но думаю, что если он и не представляет собою настоящей военной конвенции с Францией, то все же оговаривает, как должно поступить каждое правительство при известных обстоятельствах...

Это почти по-детски хитро. Почти по-детски подняты брови. Кто сидит сейчас за ширмой? Кто дергает ниточку? Будьте внимательны, сэр Бьюкенен!

— К сожалению, я ничего не знаю, ваше величество, о нашем соглашении с Францией,—честно глядя в глаза императору, лжет посол,—но по чисто материальным причинам мы не сможем посылать войска для помощи русской армии.

Под рыжеватыми усами веселая, озорная улыбка. «На этот раз, кажется, мы вас поймаем! Сергей Дмитриевич будет доволен. Какие пустяки! Этот англичанин говорит о боевых единицах...»

— О, этого и не понадобилось бы. Людей у меня более чем достаточно. Такого рода помощь была бы бесполезна. Но можно было бы с успехом заранее организовать сотрудничество британского и русского флотов...

Портсигар взвешен и спрятан в карман. Слова звучат определенно. Дымок не скрывает их смысла.

— Наше согласие ограничено сейчас вопросом о Персии. Я сильно склоняюсь к его расширению в виде ли договора, о котором я говорил, или в виде какого-нибудь акта, устанавливающего факт англо-русского сотрудничества в Европе...

«Надеюсь, вы поняли меня, сэр Бьюкенен? Мы уступаем в одном, вы должны уступить в другом...»

«О, безусловно!»—отвечают дальнозоркие глаза англичанина.

— Вы позволите мне, ваше величество, сообщить моему правительству и королю содержание вашей милостивой беседы со мной?

Женственные пальцы пожимают руку посла.

— Само собою разумеется, дорогой граф.

Аудиенция окончена.

— О, эта Англия! Что она еще потребует?..

12/25

ВСУЩНОСТИ говоря, Англии требовать нечего. Ей нужно войти в игру, если она хочет получить свой кусок. Только и всего. Владычицей мира она может остаться до того часа, пока Германия не осуществит своего плана морского строительства—всего лишь до 1917 года... Вы понимаете, мой глубокочтимый m-r Извольский? Только до 1917 года!

Извольский это прекрасно понимал. Но надо было, чтобы коротенький человечек, стоявший перед ним, помог ему ухватить за плавники скользкое тело английского тюленя.

— В серьезных делах чаще всего помогают мелочи... пустяки,—смеется Пуанкаре.—Вы помните «Стакан воды» Скриба. Какая-нибудь записка, оброненный платок, стакан воды—дают нам в руки все нити измены и любви... Попробуем поискать такую мелочь...

— Деньги, дорогой президент! Для этого нужны деньги. Самая незначительная мелочь стоит денег.

— Если она стоит вообще чего-нибудь, то она стоит и денег, дорогой посол... Там, где много бурелома, там хватит и одной спички... Поищите...

— Поищем...

ШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА

БЕЛГРАД

РУССКОМУ ПОСЛАННИКУ ГАРТВИГУ

25/7

ГОСУДАРЮ императору благоугодно было разрешить уступку за плату Сербии из военного запаса 120 тысяч трехлинейных винтовок и 120 миллионов патронов с пулями.

САЗОНОВ

Вечерние телеграммы!
«Вечернее время»!

7
20
СУББОТА

АНГЛИЙСКАЯ эскадра на ревельском рейде!

— Председатель Думы Родзянко приветствует англичан!

— На адмиральском судне «Lion» состоялся раут!

— Вечерние телеграммы! «Вечернее время»!..

— Играла музыка! Корабль был убран цветами! Родзянко произнес спич! Битти ответил!

— Английская эскадра на ревельском рейде!..

— Купите! Купите! Три копейки! «Вечернее время»!

Густеют сумерки...

Вдоль набережных Невы толпы любопытных.

Меж каменных парапетов, как в корыте, где мутная плещется вода, замерли поплавки английских крейсеров. У царской пристани пришвартована яхта леди Битти.

С Николаевского моста—лицом к пылающей заре—люди смотрят на черные силуэты иноземных кораблей, пришедших оттуда, из неведомых и наверно же свободных стран. У английских матросов такие гладкие, спокойные лица. Они прогуливаются по набережным, глубоко запустив кулаки в карманы.

— Англичанин, брат,—это...

— Да! где нам до них?.. Народ крепкий. Приглядчивый народ. Вот он приехал в гости, а сам примечает, где и в чем у нас непорядок. Сейчас запишет, и в Палате лордов—запрос. На каком, мол, основании союзная страна без соответствующего руководства. И нашим управителям—нота. Так, мол, и так—подтянитесь!..

— А мы эту ноту под сукно до христова воскресения! Нам что. Нам стыда нет...

— И вовсе даже им никакого интереса на порядки наши смотреть. Они народ оглядывают: много ли дураков уродилось? Пойдут Индию воевать—из дураков наших убойные роты накомплектуют.

— Это с какой же целью, позвольте узнать?

— Да с такой, что ихняя шкурка тонкая—ее для хитрого расчета берегут, а у наших...

— Небось, дураков и у них хватит.

— Масштабы не те! У них всего земли—остров, вроде Крестовского. Вот они чужими дураками и живут... Ничего—кормятся, бога благодарят.

— В прошлые годы мы их тоже били!

— Это кого? англичан? Да его, что бей, что ни бей,—польза ему, а не тебе. Резиновые!

— Бросьте, господа, вздор говорить. Англичане—наши друзья, у нас с ними договоры, торговля общая, взаимный обмен, уважение. А вы—дураками...

— Да мы так, к слову... Очень даже рады...

— Ужасно красивые из себя мужчины!..

— Главное—табак хороший курят.

— Приготовлять умеют.

— Известно—специалисты! У них каждый третий человек—специалист. А каждый первый родившийся сын в семье—хозяин. Так постановлено.

— Специалист, значит, трудится; хозяин трубку курит.

— Это ж и у нас так!

— А ты думал, товарищ, есть страны, где иначе?

— Мы с вами, кажется, не одного полку... в товарищах не состоим...

— Виноват, обознался.

— Шляются тут всякие!.. Вот бы их к англичанам в Индию!

— Ничего, перешибем мозжечок, как в пятом... Достукаются!..

— Это вы про англичан?

— Про тех, что языком треплют. Вот про кого! Встали тут—протолкаться невозможно. Чего полиция смотрит?..

— Сурьезный! Этот не англичан. Без пардону в зубы даст. Законник!

— Проходите, проходите, господа, не задерживайтесь!

— Ура! Урра! Да здравствует Англия!

— Гип, гип, ура!

— Смотри, смотри—идут!

— Ура!

— Добились своего—Англия клюнула.

— Поставили на своем—русские пошли на удочку.

В 14/27 СУББОТА

В ЭТОТ ДЕНЬ эрцгерцог Франц-Фердинанд, австрийский престолонаследник, в последний раз посетил маневры. Он был в прекрасном расположении духа, что редко с ним случалось. Всегда необщительный, угрюмый, сознающий эту свою угрюмость как порок и не умеющий с ней сладить, и оттого подозревающий всех в недоброжелательности к себе, жаждущий популярности—и достаточно проницательный, чтоб понимать всю невозможность заслужить ее,—эрцгерцог в это утро неожиданно для себя почувствовал необычайную легкость и успокоенность, точно бы все сомнения и страхи разрешились мгновенно и навсегда. Вся его неудачливая, одинокая жизнь в непрестанном ожидании смерти дяди, не хотевшего умирать и уступить ему трон, в улаживании своих семейных дел—он был женат морганатическим браком на графине Хотек, и дети его лишены были права престолонаследия,—вся жизнь его, за каждый час которой приходилось бороться в ожидании насильственной смерти,—в это летнее солнечное утро показалась ему навсегда пройденной, завершенной, а будущее предстало радостным и облегченным. Быть может, это новое для него чувство было вызвано свиданием с женой, которую Франц-Фердинанд любил тем более глубоко, что он непрестанно чувствовал ее фальшивое положение при дворе и страдал за нее.

Герцогиня Гогенберг—так звали теперь супругу эрцгерцога—приехала в Илидзе, лечебный курорт в одиннадцати километрах от города Сараева, на свидание с мужем, с тем, чтобы после маневров вместе с ним проехать в Сараево, где их должны были чествовать представители города и народ. Такое совместное путешествие по провинциям было первым в жизни супругов. Герцогиню Гогенберг в придворных кругах не считали принадлежащей к царствующему дому. Во всех церемониалах ее ставили ниже «настоящих» эрцгерцогинь, хотя бы те находились в более отдаленном родстве с царствующей династией. Герцогиню не приглашали даже на торжественные придворные обеды, и лишь однажды этот порядок был нарушен энергическим вмешательством императора Вильгельма II, отказавшегося сесть за стол до тех пор, пока на обед не будет приглашена Гогенберг. Вильгельм совершил этот «рыцарский» поступок, прекрасно зная, что он приобре-

тает взамен. Франц-Фердинанд стал послушным орудием в его руках.

Мысль взять с собою жену и доставить ей возможность разделить хотя бы в глухой провинции все торжество приема, который ожидал эрцгерцога в Сараеве, особенно была приятна Францу-Фердинанду. Желание подчеркнуть перед императором и правительством ненормальность положения жены престолонаследника (а в будущем—монарха) было одной из главных причин, побудивших эрцгерцога решиться вообще и на участие в маневрах, и на посещение недавно аннексированных провинций Боснии и Герцеговины. Популярности жаждал засидевшийся в наследниках эрцгерцог, и популярность эту должна была разделить его жена. В стремлении к этой популярности Франц-Фердинанд уже давно носился с мыслью превратить двуединую монархию в триединую. Он выдвинул идею триализма, создания Австро-Венгро-Славской империи по лично династическим интересам. Он мечтал о том, чтобы обойти закон о лишении его детей престолонаследия. Потеряв австрийскую и венгерскую короны в силу подписанного эрцгерцогом отречения, его дети могли получить корону славянских земель в преобразованной на началах триализма монархии под скипетром австрийского императора. Эта мечта могла осуществиться—стоило только демонстрировать миру верноподданническое чувство населения Боснии и Герцеговины к своему эрцгерцогу. Так говорил и так советовал поступить Францу-Фердинанду его покровитель и друг Вильгельм, недавно посетивший его в Конопиште. А мудрости императора и его «рыцарству» эрцгерцог привык верить.

Вильгельм знал, чего он хотел, он знал, на что толкал честолюбивого кронпринца. Император играл ва-банк. Эрцгерцог же видел выигрыш уже в своем кармане...

Но Франц-Фердинанд был мнителен и суеверен, как истый католик. Он верил в предчувствия и непрестанно боялся покушений. Он даже застраховал от покушений свою жизнь в страховых обществах Голландии на миллионную сумму. Он знал, что масонские организации приговорили его, как главу воинствующей католической партии, к смерти, и даже читал этот свой смертный приговор.

«Эрцгерцог не будет царствовать,—вещал этот приговор:—он умрет на ступенях трона»...

— Я никогда не буду царствовать,—хмуро говорил

своим друзьям Франц-Фердинанд.—Я чувствую... что-то плохое случится со мной, когда император будет на смертном одре...

Накануне отъезда на маневры эрцгерцог долго и горячо молился. Три часа он простоял на коленях в своей капелле. И все-таки он поехал.

В салон-вагоне, в котором ехал эрцгерцог со своей свитой, внезапно потухло электричество. Франц-Фердинанд заметил с мрачной иронией:

— Наш вагон похож на склеп, в котором покойник сам зажег свечи...

И все-таки эрцгерцог 13/26 июня приехал в Торчин и принял участие в маневрах. Желание проявить себя, выказать перед миром свою популярность, стремление дать почувствовать двору, как тщетны его происки,—пересилили чувство страха и осторожности. Франц-Фердинанд вспомнил слова Вильгельма: «Чтобы быть сильным, надо уметь желать»,—и в это утро, в последний день маневров, повторяя их мысленно в сотый раз, эрцгерцог ощущал в себе необычайный приток силы, уверенности и довольства.

Я умею желать, ergo[1]—я силен.

Надо было проехать из Илидзе до Торчина в автомобиле шестнадцать километров по каменистой и пустынной равнине. Оттуда верхами подняться на безлюдные предгорья Карста. Там по выработанному генеральным штабом плану развертывались действия горного театра маневров. Узкие горные проходы, безводная местность, леса, покрывающие вершины высотой до тысячи метров, дождь, застигнувший спутников, как только они поднялись на указанный им пункт наблюдения,—все, казалось, могло привести в уныние, но Франц-Фердинанд неизменно оставался спокоен и весел...

Высокий и сутуловатый, в потемневшей от дождя голубовато-серой шинели он сидел на своем коне, как нахохлившийся кондор, такой же, как и эта птица, нелепый, отталкивающий и подозрительный. Прекрасный охотник—он всматривался своими дальнозоркими, исподлобья глядящими глазами в замутненные дождем дали и говорил генералу Потиореку, военному губернатору Боснии-Герцеговины, следовавшему за ним:

— Только сейчас, на этих вершинах, я понял, как вы

---

[1] Следовательно.

были правы, генерал. Мы в восьмидесяти километрах от сербской границы. Мы отделены от нее непроходимым бездорожьем, пропастями, горными пиками, и вместе с тем я чувствую, что мы стоим на враждебной территории. Только попирая ее ногами, мы можем быть уверенными в том, что она принадлежит нам... Я не терплю венгров за их язык, который почему-то не дается мне, но с ними—не примите это за каламбур—можно сговориться. А славян я не понимаю, несмотря на то, что все считают меня, и вполне справедливо, их покровителем. Я должен смотреть им в глаза, только тогда я спокоен... как укротитель в клетке с тиграми.

— Я счастлив, ваше высочество,—подхватил Потиорек,—что вы меня поняли, как должно... Волна ирредентизма, вновь захлестнувшая Боснию-Герцеговину после удачных для Сербии балканских войн, может улечься только после демонстрации нашей военной мощи на этих маневрах и под влиянием личного вашего высочества обаяния... Славяне скорее похожи не на тигров, а на кошек, которых достаточно почесать за ухом, чтобы они замурлыкали...

Франц-Фердинанд улыбнулся, благосклонно взглянув на своего спутника.

— Это хорошо сказано, дорогой генерал. Надо только не забывать, что кошки нередко перегрызают спящему горло. Помните ли вы великолепные статьи Кассандра?

— Еще бы, ваше высочество! Я даже знаю настоящую фамилию этого писателя.

— «Вооружайтесь! Вооружайтесь!—писал он.—Вооружайтесь для решительного боя. Балканы мы должны приобресть...»

Франц-Фердинанд дернул поводья. Его караковый гунтер присел, готовый к прыжку. Конь был чуток к поводу и не привык к резким движениям всадника. Кронпринц потрепал его по мокрой холке.

— Великая вещь—уменье управлять,—заметил эрцгерцог:—каждый неосторожный шаг может быть гибелен. Сегодня, как никогда, я чувствую ответственность своего положения. И это меня радует. Мы на пороге великих событий. Незначительный факт—мое посещение Сараева, прием, какой мне и моей жене окажет население,—определит надолго дальнейшее развитие и направление нашей политики. И может быть, мечта моя о триализме осуществится.

— И день двадцать восьмого июня—день сербского трау-

ра—превратится в радостный день объединения славянских земель под скипетром монарха великой федеративной империи,—воскликнул Потиорек патетически, зная, чем можно подкупить кронпринца.

Кронпринц молчал. Он опустил глаза на луку своего седла. Тень прошла по его лицу, левая щека нервно задергалась. Он хорошо помнил, так же, как и генерал Потиорек, что такое был для сербов день двадцать восьмого июня. Это был день годовщины падения независимости Сербии. 28 июня (15-го—по старому стилю) 1389 года на Коссовом поле турецкий султан Мурад I разгромил сербские войска, захватив в плен сербского князя Лазаря с сыном. С этого дня сербский народ подпал под многовековое владычество турок. С этого дня началась история сербской ирреденты, глухой, подпочвенной борьбы за независимость. Вечером после битвы на Коссовом поле некий Милош Обилич, воин сербской армии, прокравшись тайком в турецкий лагерь, поразил кинжалом победителя—султана Мурада. Имя Обилича, умершего в жестоких пытках, осталось жить в народных песнях и легендах, осталось жить для новых подвигов будущих ирредентистов. День святого Витта—Видов дан (двадцать восьмого июня)—стал днем национального траура и днем надежды на освобождение.

Надежды на освобождение!.. Но разве Франц-Фердинанд, наследник двуединой империи, не хочет объединения сербских земель? Австро-Венгро-Славия. Скипетр, свитый из трех лоз. Мистическое число три. Во имя отца, и сына, и святого духа...

Франц-Фердинанд мысленно осенил себя крестным знамением и незаметно, не выпуская повода, сложил пальцы фигой... чтобы не сглазить.

— Тьфу, тьфу, тьфу!.. Какая-то мошка попала в рот.

Генерал Потиорек понимал, какая мошка попала в рот его высочеству. Он был не менее озабочен. По его настоянию эрцгерцог посетил маневры и согласился побывать в Сараеве. Потиорек считал это необходимым. Он был военным и любил применять решительные меры. Но все же он не вполне был уверен в безопасности этого предприятия. Чорт их знает, чего от них ожидать! С охраной дело обстояло из рук вон плохо. Наводнить Сараево войсками и расставить их шпалерами, как в 1910 году, когда приезжал туда император, было невозможно уже по одному тому, что войска были

сосредоточены на маневрах. Произвести массовые аресты тоже не представлялось возможным: стране дарована была конституция. Хватать за шиворот сотни людей и бросать их в тюрьму только потому, что наследный принц изволил осчастливить своим посещением страну,—такое отеческое поощрение вряд ли могли бы выдержать верноподданнические чувства ликующего народа... В последнюю минуту министр финансов и глава гражданского управления Боснии—Билинский выпросил из Будапешта трех филеров. Но что могли предотвратить эти идиоты, хотя бы в компании со всей сараевской полицией?..

Генерал Потиорек закашлялся. На горах висел туман, можно было легко простудиться...

Все же маневрами эрцгерцог остался доволен. Он лично руководил операциями войск. Войска и командование измучились, карабкаясь на скалы, просекая дороги в чаще лесов на вершинах гор. Но задача была выполнена безукоризненно, точь-в-точь по плану, выработанному генеральным штабом. В полдень был дан сигнал «отбой». Франц-Фердинанд благодарил войска. Он жал руку начальнику генерального штаба Конраду фон-Гетцендорфу. В четыре часа дня эрцгерцог вернулся в Илидзе и отправил телеграмму императору, в которой верноподданнически доносил о прекрасном приеме в Мостаре и о результатах маневров. Жена писала эту телеграмму под его диктовку.

— Ты, кажется, хорошо себя чувствуешь?—спросила она.—Я никогда не видела тебя таким бодрым и веселым.

— Еще бы!—ответил Франц-Фердинанд.—Мы с тобой сегодня завоевали Сербию.

— Да, я никак не ожидала, что они так милы... Ты заметил, с какой предупредительностью архиепископ монсиньор Штадлер спрашивал меня о моих впечатлениях. Это не похоже на Вену...

— Мы заставим Вену быть похожей на Илидзе! Я сообщу императору приветственные слова архиепископа. Он сказал совершенно определенно: «Ваше императорское высочество—надежда хорватов. Мы объединимся вокруг вас и пойдем за вами, куда вы нас поведете». Слова эти не брошены на ветер и не выражают личных чувств Штадлера. Они продиктованы ему волей народа...

Франц-Фердинанд прошелся по комнате. Он был без мундира, в рубашке, с черным пластроном на шее.

— И ты знаешь,—добавил он размягченно,—я начинаю любить Боснию. У меня были предубеждения, но они рассеялись...

— Ты прав,—согласилась герцогиня, глядя на мужа в зеркало, перед которым она причесывалась,—этот народ очень мил и трогателен, как ребенок. Он ведь совсем еще патриархален...

Эрцгерцог неожиданно зевнул и торопливо перекрестил рот. Только сейчас он почувствовал усталость. Спуская с плеч помочи, он произнес с глубокой уверенностью:

— Я же говорю тебе: сегодня мы с тобой завоевали Сербию.

— О, как я его ненавижу! Когда я сидел ночью на могиле Жераича в Кошеве, впервые эта ненависть закралась в мое сердце. Я поклялся памятью Жераича уничтожить его. Это было четыре года назад здесь, в Сараеве. Я был совсем мальчишкой, но ненависть росла вместе со мной... не оставляла меня... преследовала... толкала меня вперед...

Он далеко за окно высунул голову. Его широкие плечи точно пытались раздвинуть раму маленького окошка в мезонине. Волосы на макушке его лобастой, квадратной головы поседели от лунного блеска. Он замолк, дышал глубоко. Товарищи его не нарушали молчания. Они сидели, съежившись. Ночь была теплая, пахло приторно маслиной; этот запах напоминал почему-то запах трупа и ладана.

Кое-кого знобило... Шел третий час ночи, скоро должно было светать... Утро... что принесет утро?

— Принцип, закрой окно! Холодно.

Он выпрямился. Голубые глаза его казались темными: так расширились зрачки. Он смотрел на оплывающую свечу, отсутствовал. Такие лица бывают у лунатиков. Он может встать на карниз и итти. Какая-то сила удерживает и ведет его... С ним это случалось.

— Жераич стрелял в губернатора Варешаника, но промахнулся. Он выпустил пять пуль, дрогнула рука... шестую пулю он всадил себе в грудь,—снова заговорил Принцип.—Эту пулю я верну тому, кому она предназначалась. Так будет... Помните стихи в «Политике»:

Император, ты слышишь, в блеске револьвера
Как свинцовые пули пронижут твой трон...
Этот выстрел—только первый гонец
Сербского воскресенья, вслед за муками Голгофы...

Он оборвал, отвернулся, сел, сплел тесно пальцы под коленом закинутой на ногу ноги. Опять спрятал глаза под выпуклым полудужьем бровей.

Никто не откликнулся. Данило Илич сидел на сеннике, лежащем на полу, затылком прижался к белой стене, реденькая бородка его торчала веником. Он закрыл глаза. Ему казалось, что товарищи догадаются о его волнении. Он был самым старшим среди них, самым активным, на нем лежал весь груз ответственности за предприятие. Никто не должен был знать, что в самую последнюю минуту ему стало страшно. У него даже вспотели ладони, сердце билось, как от первой затяжки папиросы.

Ничего не выйдет, они пропали. Все эти школяры, которых он привлек в боевую группу,—жалкие болтуны и мальчишки. Завтра они разбегутся. Надежны только белградцы—Принцип, Грабеч и Неделько Габринович... Впрочем, и Неделько не внушает доверия. Он шут, наглец, склочник, перебежчик. Выкинули из социалистической партии—кинулся к «омладинцам». Его национализм оперный, ему на все наплевать... Только Принцип и Грабеч—убежденные, преданные люди. Но Принцип—лунатик, он бредит Жерайчем... А что, если встать и объявить им, что завтрашняя облава отменяется? Что у него есть сведения о том, что их выследила полиция, что эрцгерцог переменил маршрут... Нет!.. В сеннике под сеном—он их нащупывает—лежат тысяча динаров, присланных сегодня Цыгановичем дополнительно к уже израсходованным на предприятие суммам. От полковника Димитриевича из Белграда получены последние инструкции и полное одобрение разработанного Иличем плана. Из этой комнаты протянуты невидимые нити в Белград, к «Народной одбране», к «Черной руке», к сербскому генеральному штабу, к банкиру Вейферту, к царевичу Александру, к парижским и петербургским дипломатическим кабинетам... Они, все здесь сидящие, ухватились за эту нить по доброй воле, побуждаемые энтузиазмом, любовью к родине, к свободе, жаждой подвига, поисками правды, а сейчас они идут, опутанные этой нитью по рукам, не могут не итти, если бы даже и не хотели...

Илич сделал движенье, точно желал освободиться, оторвать затылок от стены,—и не смог. Страх сковал его, облил пóтом, точно и впрямь его привязали к стене канатами.

— Чорт знает что!—вырвалось у него невольно из пересохшего горла.

— Завтра будет убит!—откликнулся из другого угла комнаты Мухамед Махмедбашич.

Илич поднял руку, провел ладонью по мокрому лбу. Он забыл о Мухамеде. Мухамед—славный, крепкий парень. Этот не выдаст... Нет, все-таки не так страшно...

Васо Кубрилович и Цветко Попович—школяры—сидели рядом на кровати в обнимку. Пламя свечи освещало их возбужденные мальчишеские лица. Сидящий напротив них на стуле за столом Грабеч внимательно и деловито отмечал по карте путь следования эрцгерцогского кортежа. Неделько Габринович поодаль, умехаясь краем сочных губ, следил за ним. Илич видел их всех, как на экране. Слова не долетали до его слуха, но он догадывался, о чем они думают. По старой своей привычке, приобретенной за годы учительства, он незаметно приглядывался к людям, сортировал, размещал по полочкам, заводил каждому особый кондуит. Грабеч числился у него первым учеником.

— Ну как, Трифко, ты выбрал место?—спросил он.

— Видишь ли,—ответил раздумчиво Грабеч,—по правде говоря, весь город представляет из себя великолепную ловушку. Что ни улица, что ни переулок,—то западня. Петли, тупики, проходные дворы. Спрятаться можно, где угодно... Здесь, вот видишь, я наметил красным пунктиром путь следования принца, так, как он указан в газете...

— Видал я олухов в своей жизни, но таких, как сараевская полиция, сроду не встречал,—вставил Неделько:—напечатали маршрут прямо специально для Грабеча...

— Маршрут нам известен, но надо предвидеть все случайности,—невозмутимо возразил Трифко.—Необходимо обеспечить запасные пункты. Вот здесь синими звездочками я их отметил... Кронпринц посетит городскую ратушу, музей, сараевский конак, дворец губернатора. Во всех этих пунктах надо расставить засаду... Я предлагаю распределить между нами места следующим образом...

— Мы с Поповичем у конака!—крикнул Васо Кубрилович.—Мы обязательно там! Мы поклялись стрелять первыми.

— Я предлагаю распределить места следующим образом,—повторил Грабеч, не подымая глаз от карты и не повышая голоса:—Махмедбашич станет на набережной Мельяски против высшей женской школы, Васо Кубрилович поместится недалеко от него, там же на набережной, у моста Цумурья, так чтобы Мухамед не терял Васо из виду...

— С какой стати! Я не желаю! Это самое глупое место!—снова закричал и задергался Кубрилович.—Я категорически...

— Габринович станет по другую сторону моста,—продолжал Грабеч, точно бы и не к нему обращены были эти выкрики,—Цветко Попович—по другую сторону набережной, у Австрийского банка, под наблюдением Габриновича...

— Мы не желаем!—крикнули разом оба школяра.

Габринович только хмыкнул и с еще большей насмешкой взглянул на равнодушного к окрикам Грабеча.

— Дайте Трифко закончить планировку,—молвил Илич и оторвал затылок от стенки; в висках у него стучало.—Говори, Трифко!... Ты правильно разметил.

Он боялся и лихорадочно ждал, когда Грабеч назовет его имя.

— Думается мне, что Принципу следует поместиться в переулке Франца-Иосифа, на углу набережной,—снова начал Грабеч и поднял голову, стараясь из-за пламени свечи разглядеть своего друга.—Это очень узкий и короткий переулок. Стоя на углу Апелкай, можно видеть другой конец, упирающийся в улицу Франца-Иосифа, и вместе с тем следить за движением кортежа вдоль всей набережной... В случае надобности ты сможешь скрыться в глубине переулка... и появиться неожиданно...

— Это не так необходимо,—ответил Принцип; широкие плечи его загораживали окно, он стоял черным силуэтом, окантованным серебряной нитью бьющей ему в спину луны.—До меня герцога успеют перехватить Мухамед и Габринович.

— Я готов уступить тебе свое место,—насмешливо возразил Неделько:—у тебя все права на преимущество.

Габринович неизменно говорил с Принципом таким тоном. Он был влюблен в него и одновременно завидовал ему. Он завидовал силе убеждения этого коренастого смуглого

парня, с голубыми блестящими, влажными, точно всегда наполненными слезой, глазами. Его убежденность действовала на Неделько подавляюще, хотя и казалась ему глупой. Габринович ни во что не верил. Он шел сейчас на убийство, как шел бы на любое рискованное предприятие. Надо было поднять какой-нибудь грандиозный скандал, чтобы вытряхнуть людей из их мирной спячки. Ему жилось очень трудно. Он был наборщиком, пролетарием, не имевшим ни кола, ни двора, перелетной птицей, никогда не свивавшей себе гнезда. Без знаний, без воли, без товарищеских связей. Он называл себя анархистом, социалистом, патриотом, не зная точно, что определяют эти понятия. Он знал только одно— что бедным людям, таким, как он, жить плохо, и хуже не станет, если все полетит к чертям. «Черная рука» прельстила его своим названием и тем, что это была военная боевая организация. Он вошел в нее через доктора Иво Орлича, с которым познакомился в Аббации. Сейчас он улыбался при мысли о том, какое впечатление произведет на доктора письмо, посланное им сегодня: «Накануне своей смерти, тяжело больной, желаю вам...» Ха-ха! Пусть себе поломает голову, что это значит...

— Вчера я мог его убить на месте,—говорил Принцип, все не отходя от окна:—я столкнулся с ним лоб в лоб, когда он ходил по магазинам со своей женой. Но у меня не было оружия. Сегодня я три раза пытался пробраться в Илидзе, в отель, где он живет, но стража каждый раз задерживала меня. Если и завтра нам не удастся...

— Удается только то, что хорошо организовано,— перебил Грабеч с обычной своей уверенностью.—Ты действовал нахрапом, без ведома товарищей, и у тебя ничего не вышло. Хорошо еще, что тебя не выследили. Тогда провалилось бы все дело. Только выдержка, точное исполнение порученных заданий даст ожидаемые результаты. Это особенно нужно помнить вам, Попович и Кубрилович...

— Не учи, пожалуйста,—ерзнул на кровати Васо.

— Я не учу, а напоминаю. У нас есть все: охотники, оружие, порох, пули; надо только уметь подпустить зверя на расстояние выстрела. Итак, слушайте дальше: я лично стану у Императорского моста, а Данило займет место у Косого переулка, так же, как и Попович, против банка... Но место это условное, так как, очевидно, Иличу придется циркулировать вдоль всей набережной и наблюдать за постами

и в случае опасности, приближения охранников, предупреждать товарищей... Не так ли, Данило?

— Так, так,—неестественно громко выкрикнул Илич и внезапно рывком вскочил на ноги, обрывая бешеным усилием воли связывавшие его путы.

Он замер, полуоткрыв рот, раскинув руки, растопырив пальцы. Он похож был на человека, уже совершившего преступление.

— Нас выследили!—пересохшими и не смыкающимися губами забормотал он.—Мы—в ловушке. Нам нужно выкинуть оружие, бросить его в отхожее место... сейчас же...

Товарищи смотрели на него с недоумением и страхом.

— Что с тобой, Данило?—первым пришел в себя Грабеч.—Кто нас выследил?

— У него начинается горячка,—презрительно сквозь зубы процедил Неделько и потянулся за папиросой. Спичечная коробка дребезжала в его руках, папироса долго не закуривалась.

Принцип отошел от окна. Лунный свет сполз с подоконника на пол, разлился зыбкой лужей.

— Успокойся,—глухо проговорил Принцип, взяв приятеля за плечо,—выпей воды... Ты переутомился. Растрепались нервы. Надо выспаться перед завтрашним утром.

Илич глубоко вздохнул, дернул шеей, обмяк. Он в свою очередь ухватился обеими руками за приятеля, точно боясь упасть.

— Конечно, надо выспаться,—забормотал он торопливо и сбивчиво.—Но это совсем не так просто. Полковник Димитриевич... он просил не рисковать впустую. Если мы провалим дело и нас поймают...

— Завтра будет убит!—резко из своего угла повторил Махмедбашич.

— А если нас схватят раньше, чем мы успеем что-нибудь предпринять?—повышая голос, дергаясь, закричал Илич.—Разве эти мальчишки,—он указал на Кубриловича и Поповича,—будут молчать, когда их начнут допрашивать. Они разболтают всё, они всех выдадут, они расскажут, как мы перевозили оружие, как мы переходили границу, кто руководит в Белграде нашим заговором...

И Васо и Цветко уже вскочили с кровати, размахивали руками и требовали удовлетворения, но Илич не слыхал их. Он говорил все быстрее и громче:

— Провалив наше предприятие, мы провалим все великосербское дело. Нам поставили задачу—убить эрцгерцога, убийством вызвать смятение в Австрии, объявление войны Сербии. Ради этого стоит итти на смерть. Но если нас, как зайцев, перехватают до убийства и вся сеть подпольных наших организаций будет раскрыта, тогда что? Мы погубим великосербскую идею! Пограничные каналы, по которым мы проводим людей и оружие, будут закрыты, всех сербов возьмут на подозрение и войны не будет. Не будет! Дело, задуманное в двенадцатом году, никогда не осуществится. Да, да! Не осуществится!.. И мы ответим перед нашей родиной...

Он вздохнул, вытер пот со лба, облизнул губы.

— Напечатай все это в следующем номере своего «Колокола»!—раздраженно ввернул Габринович.—Как тебя прорвало!—Фонтан красноречия!

— А ты молчи, молчи!—взвизгнул Данило, подскочив к Неделько.—Ты шут, шут гороховый! Ты сегодня здесь, завтра в другом месте! А нам дорога идея, а не приключение. Идея не должна погибнуть. Я отвечаю перед родиной! Перед генеральным штабом! Перед царевичем! Я, я...

— А ну тебя к чорту!

Габринович отвернулся, выпустил густое облако дыма. Потом швырнул далеко папиросу и, поднявшись, засунув руки в карманы, расставил ноги.

— Начхать мне на всех вас,—произнес он, с ненавистью глядя в бледное, потное лицо Илича,—наплевать на ваши каналы, царевича и генеральные штабы! Я поступлю так, как считаю нужным. Я пойду убивать Франца, как убил бы всякого другого коронованного шута. Как убью и твоего царевича, если это мне захочется. Слышишь? К чорту! Я жалею только, что Принцип в руках таких трусов и дураков, как ты... Ложитесь спать, успокойте свои нервы.

Всё не вынимая рук из карманов, сжав кулаки и стиснув зубы, Неделько вышел из комнаты и хлопнул дверью.

Грабеч, вздернув плечи, стучал карандашом по карте. Илич подавился словом. Васо и Цветко испуганно смотрели на Принципа. Принцип подбежал к окну и через минуту крикнул вниз:

— Неделько, ты запомнил свое место?

— Да,—раздалось снизу.

— Он сделает, как надо,—уверенно проговорил Махмедбашич.

Принцип повернулся в профиль. Луна обливала его всего. Влажные глаза его казались заплаканными, счастливыми.

— Каждый идет своим путем,—сказал он.—Хорошо, когда все пути ведут к одной цели. Я верю, что так будет.

15
28
ВОСКРЕСЕНЬЕ

КОРТЕЖ двигался медленно. Вдоль всей набережной теснился народ. Любопытные задерживали автомобили, наседали друг на друга, кричали: «Вивати! Живио!», бросали цветы. Мальчишки подбирали раздавленные букеты и швыряли их в полицейских. Помятые левкои пахли капустой. Солнце начинало припекать. С реки тянуло прокисшей древесной корой и рыбой.

Впереди ехали начальник городской полиции, правительственный комиссар и бургомистр Сараева; во втором автомобиле поместились Франц-Фердинанд с женой, генерал Потиорек и владелец автомобиля граф Гаррах; в третьем—сидели придворная дама графиня Ламьюс, гофмейстер барон Румерскирх, адъютант Потиорека, подполковник Мерицци, граф Боос-Вальдек; в последнем, четвертом автомобиле находились начальник военного кабинета эрцгерцога полковник Бардольф, лейб-медик доктор Фишер и майор Хечер.

Полицейские расставлены были на расстоянии шестидесяти шагов друг от друга. Поодаль от автомобилей гарцовал десяток конных жандармов.

Кортеж миновал высшую женскую школу, проехал мимо Косого переулка и поровнялся с мостом Цумурья. Толпа стояла и вдоль ограды и на мосту. Здесь было особенно людно и душно. Чесночный запах пота достигал носа эрцгерцога. Франц-Фердинанд держал руку у козырька и улыбался. Герцогиня Гогенберг незаметно пожимала ему другую руку. Она кивала широкополой кружевной белой шляпкой. Страусовое перо овевало ее щеки. Она была почти счастлива. Если бы этот триумф видела Вена!

Цветы падали на ковер, к ногам удовлетворенной овациями четы. Внезапно на колени эрцгерцога упал букет. Он был тяжел, нелеп, больно ударил самое чувствительное место, коленную чашку, из него валил едкий, удушливый дым. Не за-

думываясь, резким инстинктивным движением эрцгерцог отшвырнул от себя букет на мостовую. Герцогиня, ахнув, схватилась за шею. Сзади раздался оглушительный взрыв.

Толпа шарахнулась в стороны, машина застопорила. Стоя во весь рост, бледный Франц-Фердинанд оглянулся. Бомба, взорвавшись под колесами третьего автомобиля, разворотила кузов и вырыла яму на мостовой. Слышались стоны, свистки полицейских, люди кружились воронкой у места взрыва. Из разбитых окон домов выглядывали перепуганные лица. Еще гуще запахло чесноком и прокисшим лыком.

Автомобиль эрцгерцога стоял посреди улицы. Никого вокруг не было. Все устремились к месту катастрофы.

— Что нам делать?—наконец произнес Франц-Фердинанд. Щека его дергалась, кепи слетело с головы. Он смотрел на генерала Потиорека побелевшими глазами.

— Сейчас начнут еще метать бомбы... Я знаю, когда меня убьют, убийцу посадят в тюрьму, но мне от этого не легче...

Герцогиня Гогенберг стонала, держа платок у затылка. По ее пальцам медленно ползла темная струйка крови.

Габринович нырнул в толпу. Как только руки его избавились от тяжелой ноши, от нелепого букета трепанных бордовых пионов, его охватило радостное сознание освобождения, легкости, бешеной жажды жизни, остроты восприятия. Без шапки, улыбаясь обычной своей высокомерной и вместе добродушной, растерянной улыбкой, он сильным движением локтей и плеч пробил себе дорогу к железной решетке набережной, перемахнул через нее и бросился в реку. Он ушел с головой в воду, потом вынырнул и, отфыркиваясь, поплыл. Течение относило его назад, но в воде было необычайно, как никогда, хорошо.

— Выплыву,—сказал он громко.

Публика уже не интересовалась ранеными и эрцгерцогом. Все смотрели на плывущего парня, так ловко перескочившего решетку.

— Вот он! Вот он!

Какой-то парикмахер в белом халате, с щипцами в руках, первый бросился в погоню. За ним последовали другие. Они кинулись наперерез. Мальчишки с моста стали швырять в беглеца камнями.Габриновича перехватили у самого моста. Подняли за шиворот в лодку, пинками заставили упасть на

колени, выбили ему зубы. В кармане его мокрой куртки нашли номер радикальной сараевской сербской газеты «Народ».

— Ты серб?—спросили его.

— Да!—ответил он, выплевывая кровь и пытаясь подняться:—я серб. Я герой.

— Ваше императорское высочество,—срывающимся голосом говорил бургомистр, стоя на крыльце ратуши,—мы собрались здесь приветствовать вас...

Франц-Фердинанд оборвал его. Он был лимонно-желт, щека его дергалась, кепи было надвинуто на лоб. Герцогиню поддерживала под локоть молодая графиня Ламьюс.

— Господин бургомистр,—едва сдерживая бешенство, вскрикнул эрцгерцог,—мы приехали в Сараево, как гости, а в нас бросают бомбы. Это гнусно!

Отдышавшись, он хмуро добавил:

— Теперь можете продолжать.

Приветствие вышло кратким. Многие восторженные фразы надо было скомкать: они звучали бы бестактно. Бургомистр спешил, заикался. Франц-Фердинанд смотрел в сторону, нетерпеливо постукивал ногой. Ответ его был еще лаконичней:

— Я верю, что ликование народа и ваша радость вызваны неудачей покушения. Объявляю в вашем лице всему населению города Сараева, что я не возлагаю ответственности за преступное деяние одного изувера на ни в чем не повинных, лойяльных граждан наших провинций и пребываю к ним неизменно благосклонным...

Он кивнул головой, подал бургомистру руку и проследовал в зал заседаний.

Он уже вполне овладел собою. Актер возобладал в нем над перепуганным кронпринцем. Наполеоновская фраза мелькала в его взбудораженном мозгу: «Сорок веков смотрят на нас...» Завтра весь мир узнает о его смелости.

— После банкета вам следует, ваше высочество, немедленно возвратиться в конак и прервать торжества,—заявил, закончив доклад о случившемся, начальник полиции.—Я не могу поручиться, при недостаточности охраны особы вашего высочества, за то, что покушение...

— Вздор!—перебил его кронпринц достаточно громко,

чтобы его могли услышать все.—Я хочу посетить раненого подполковника Мерицци, пострадавшего из-за меня, а потом осмотреть музей. Я верю в лойяльность граждан прекрасного города Сараева.

— В таком случае я прикажу очистить улицы от зрителей,—бестолково высказал вслух свою служебную ретивость военный министр генерал Кробатин.

— Нет, генерал,—все тем же приподнятым тоном возразил кронпринц,—население может оставаться на улицах. Я хочу, чтобы меня видел народ. Разве не для этого я сюда приехал?

Он продолжал играть свою роль. Улыбка снова застыла на его лице. Он следовал за своим упрямством, толкавшим его против воли туда, где было всего страшнее. «Надо было оставить герцогиню в конаке»,—мелькала боязливая мысль, в то время, как он сам помог ей сесть в автомобиль.

Машины неслись по набережной с большой скоростью. Народа было значительно меньше. Полицейские кричали: «Виват! Живио!»

Неожиданно, вопреки намеченному маршруту, первый автомобиль, не доезжая Латинского моста, свернул в узкий переулок Франца-Иосифа. Шофер эрцгерцога последовал за первым. Генерал Потиорек схватил шофера за плечо:

— В чем дело? Почему мы свернули?

Машина затормозилась на повороте, неуклюже въехала на тротуар.

Из толпы, стоявшей на берегу, вышли три молодых человека. Один—в белой пуховой шляпе, другой—в котелке и третий—в серой фетровой. На всех были поношенные дешевенькие пиджачишки с сербским трехцветным флажком в петлице.

Один из них—в котелке, сутуловатый и широкоплечий, держал правую руку глубоко в кармане падающих мешком на колени брюк. Он смотрел пристально перед собою голубыми влажными глазами и шел спокойным шагом уверенного в себе человека. Его товарищи чуть отстали от него.

Все трое перешли с набережной в переулок и остановились у входа в лавку, неподалеку от полицейского, вытянувшегося во фронт.

Молодой человек в котелке сделал еще шаг вперед, выпрямился, поднял голову, глаза его сузились, он вынул из кармана руку и резким движением выкинул ее вперед.

Детонирующий грохот прокатился по переулку и эхом отозвался на противоположном берегу Мельяски...

Генерал-адъютант граф Паар, получив депешу о кончине эрцгерцога, поправил на груди аксельбант, на мгновенье прикрыл глаза ладонью, точно желая снять с лица тень испуга, и, мягко ступая по ковру, прошел во внутренние апартаменты императора.

Франц-Иосиф отходил ко сну. Два камер-лакея раздевали престарелого монарха. Он сидел сгорбившись в кресле и пил теплый настой укропа. Седенькие бачки и мохнатые брови топорщились из-за стакана. Лица не было видно.

Когда доложили о приходе дежурного генерал-адъютанта, император хлюпнул губами и мотнул головой.

Граф Паар почтительно выждал, пока его величество покончит с укропом, умеряющим приступы газа. Камер-лакеи убрали снятые ботинки и брюки, оправили полы халата. Франц-Иосиф поболтал ногами, ища ночные туфли. Ему их подали.

— Что скажете, мой дорогой граф?—наконец спросил старик, запахивая на вогнутой костлявой груди халат.— Только, если что-нибудь из Берлина, то, пожалуйста, не надо. Он мне надоел. Я не хочу советов... Я устал...

Граф Паар шагнул вперед и снова прикрыл ладонью глаза. Он был бледен и не знал, как подготовить императора.

— На этот раз сообщение из конака, ваше величество...

— От Франца-Фердинанда?

— О его высочестве эрцгерцоге Франце-Фердинанде... и его супруге...

— Они уже выехали из Сараева?

— Я должен сообщить вашему величеству...

Граф Паар смотрел на старика такими глазами, точно выбирал, в какую часть тела направить удар.

Франц-Иосиф затряс бачками, пальцы его забегали по подлокотникам кресла, он привстал, челюсть его отвалилась...

16
29
ПОНЕДЕЛЬНИК

АНТИСЕРБСКИЕ демонстрации пошли гулять по всем городам Боснии, Герцеговины и Хорватии. В Мостаре, Добой-Шамаце, Бриско полиция и войска с трудом сдерживали демонстрантов. Им не хотелось их сдерживать, как нашим городовым не хотелось в свое время мешать погромщикам. В Аграме демонстранты разбили кафе, абсентом залили улицу. Открытие хорватского ландтага началось бурно.

— Покончить с убийцами! Отомстить за убитых! Вон сербов! Долой Петра и его агентов!—вопили депутаты-патриоты.

Театры и кино были закрыты, увеселения запрещены и объявлен траур. В Будапешт спешно вызвали венгерского министра-президента Тиссу.

Вечером в Вене демонстранты разложили костер посреди улицы, сожгли трехцветное сербское знамя и устроили кошачий концерт перед сербским посольством.

В Сараеве приступили к следствию. Участники заговора были пойманы. Габринович и Принцип не думали запираться. Габринович вел себя вызывающе и насмешливо. Принцип отвечал односложно, но твердо. По дороге в участок его избили—его вырвало, и цианистый калий, проглоченный им после покушения, не возымел действия. После допроса их оставили в покое. Комиссию не интересовали виновники убийства. Ей нужно было дознаться, кто стоял за их спиною, кто руководил ими.

Ни двадцатилетний гимназист, ни двадцатилетний наборщик не могли на свой риск и страх осуществить такое покушение. То там, то тут находили заряженные бомбы, адские машины. Казалось, вся Босния была начинена пироксилином.

— Сеющий ветер пожнет бурю,—хором твердили сербские газеты:—нельзя безнаказанно поработить молодой, полный сил народ.

Газеты прозрачно намекали, что пока Босния и Герцеговина находились под национальной властью турок, Сербия могла надеяться на присоединение их к себе в случае удачной войны с Турцией. Аннексия этих провинций Австро-Венгрией положила конец этим надеждам. Только распад Австро-

Венгрии, в результате революции и войны, мог осуществить национальное объединение южнославянских народностей.

Могилу Жераича чьи-то таинственные руки убрали живыми цветами.

Высший совет «народной одбраны» в Белграде выпустил воззвание: освобождение порабощенных земель и объединение их с Сербией необходимо для наших граждан, нашего купца, нашего помещика и крестьян, вследствие самых элементарнейших потребностей культуры и торговли, хлеба и пространства... Нашему народу нужно сказать, что свобода Боснии нужна ему самому не только из чувства сострадания к братьям, но ради торговли и сообщения с морем...»

Великосербские милитаристы, аграрии и промышленники открыли свои карты—эту возможность им предоставили школяры в Сараеве.

Начальник австро-венгерского генерального штаба Конрад фон-Гетцендорф явился к графу Берхгольду. Он был возбужден и казался помолодевшим.

— Жребий брошен!—крикнул генерал с порога.

— Да, да, теперь мы сведем счеты с Сербией,— улыбаясь и пожимая руки фон-Гетцендорфу, ответил граф.—Карась клюнул.

— Остается его вытащить,—подхватил генерал.—Сейчас самый подходящий момент. У нас достаточно данных, чтобы доказать причастность к этому делу Белграда. Омладинцы распоясались во-всю. Они кричат на всех перекрестках, что убийство эрцгерцога—дело их рук.

— Все так, генерал,—после минуты молчания начал Берхгольд,—но все же необходима крайняя осторожность. Нужно учесть весь риск предприятия. За спиною Сербии стоит Россия... Россия, окрепшая и вооруженная после японской катастрофы и далеко не склонная к уступкам, на какие она пошла во время аннексии. За Россией стоят ее партнеры—Франция и Англия... А вам не безызвестно, что французские интересы в Сербии достигли в настоящее время таких размеров, что эту страну смело можно назвать французской колонией. Если Белград, в чем я не сомневаюсь, приложил руку к покушению на кронпринца, то—поверьте мне—рукой этой управляли из Парижа. Французский капитал вряд ли равнодушно отнесется к разгрому Сербии.

— Да, но за нами Германия!—вскрикнул генерал, все более багровея. — Если Франция ввяжется в драку, Германия возьмет ее за шиворот...

— Вы рассуждаете, любезный мой генерал, как должно военному и патриоту,—снисходительно улыбнувшись, вкрадчиво возразил граф,—мои чувства подсказывают мне те же желания. Но мы, политики, привыкли взвешивать обстоятельства раньше, чем обнажать ваш доблестный меч. Необходимо выждать результата судебного расследования... Эту точку зрения разделяют император, граф Тисса и граф Штюрге. Необходимо проверить непоколебимость Германии. Граф Тисса мало верит в нее... Граф Штюрге подбирает материалы для выступления. Нужно время...

Вены налились на лбу генерала.

— Вопрос здесь не в возмездии за убийство, а в гораздо более глубоких причинах!—прохрипел он.

— Само собою, генерал,—кладя руку на обшлаг его мундира, успокаивающе согласился граф,—мы найдем меру, которая заставит Белград прекратить свою работу по расчленению нашего дорогого отечества, но повторяю: нужно время... Не забудьте: Сербия у нас на пути к Салоникам... Садясь играть, нужно рассчитывать выиграть. Не так ли?..

18 / 1 СРЕДА

НАЧАЛЬНИК канцелярии австрийского министерства иностранных дел граф Гойос приехал в Берлин с личным письмом Франца-Иосифа к Вильгельму. Принимая это письмо для передачи по назначению, австрийский посол в Берлине Сегени заметил:

— Вот спичка, которая подожжет весь мир.

— Если ею захочет воспользоваться германский император,—многозначительно добавил Гойос.

— Передайте вашему государю,—сказал Вильгельм Сегени, прочтя письмо Франца-Иосифа,—что в случае серьезности положения он может рассчитывать на поддержку Германии. С выступлением против Сербии медлить не следует. Австрия должна вернуть себе Санджак. Тогда свалка разго-

рится немедленно. Позиция России будет, конечно, враждебной но я уже давно это предвидел. Если дело дойдет до войны между Австро-Венгрией и Россией, я кладу свой меч на чашу весов.

6
19
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДЖУНКОВСКИЙ Владимир Федорович, товарищ министра внутренних дел, был красив, моложав, безукоризненно честен и обаятелен в частной жизни. Он любил говорить и верил словам, произносимым благоговейно. «Империя», «император», «отечество» и «честь» ласкали его слух, как музыка. Как музыка, увлажняли его глаза слезою умиления. Мальтийский крестик Пажеского корпуса он носил, как истый рыцарь Мальтийского ордена.

Забастовки глубоко возмущали Владимира Федоровича. Демонстрации оскорбляли в нем чувство прекрасного. Он не презирал рабочих и даже готов был уважать их, когда они стояли у своих станков. Но он не терпел своеволия, он не выносил беспорядка.

— Посмел бы я при отце потребовать лишнюю порцию мороженого,—говорил он благодушно,—меня сейчас бы выгнали из-за стола. Отец был справедлив, но строг. Мудрость воспитания заключается в том, чтобы не давать питомцу своевольничать. Так правители должны действовать в отношении своих подчиненных: справедливо, но строго.

Владимир Федорович ждал к себе Бадаева, члена Государственной думы, большевика, из рабочих. Свидание было назначено ровно в половине восьмого утра. Большая стрелка стояла уже на девяти... Большевик заставлял товарища министра ждать себя, нарушал порядок. Джунковский нервно перебирал бумаги.

— Я опоздал,—начал Бадаев, входя в кабинет.— Я опоздал не по своей вине: мне пришлось всю ночь отбивать «Трудовую правду» от ваших налетчиков...

Владимир Федорович поднял глаза и тотчас же опустил их, боясь выдать свое раздражение. У Бадаева были усики стрелками вверх. Эти усики показались министру признаком самоуверенности депутата. Чтобы прийти в равновесие, Джунковский мысленно счел до десяти и только тогда ответил.

— Я понимаю, что вам некогда,—сказал он, модулируя на баритональных нотах—этот прием также действовал успокаивающе:—вы не только заседаете в Думе, но еще ездите по заводам, подстрекаете рабочих к забастовкам. Думается мне, что это занятие отнимает много времени и нервов...

Владимир Федорович передохнул. Голос модулировал плохо, баритон переходил в визгливый тенорок. Усы Бадаева мешали министру прийти в равновесие, испытанные средства не помогали.

— Вы депутат Государственной думы,—неожиданно резко и по-начальнически вскрикнул Джунковский и поднял глаза:—ваше дело—заседать. Вас выбрали для того, чтобы вы заседали, а не ездили по заводам.

Владимир Федорович уже не сводил обиженных и раздраженных глаз с усов Бадаева. Он принимал их как личное оскорбление. Где-то в подсознательном мелькнуло воспоминание, что при Николае I штатским запрещено было носить усы.

«Сбрить!»—едва не произнес товарищ министра, но вовремя рука его схватила со стола номер «Трудовой правды», предусмотрительно положенный на виду управляющим канцелярией, как вещественное доказательство преступной деятельности депутата. Свистящим звуком выскочило неожиданное слово:

— Свидетельство! вот! Свидетельство вашей деятельности.

И генерал потряс перед собою пахнущий типографской краской газетный лист.

— Вы издаете газету, которая с раннего утра занимается подстрекательством.

Стрелки усов депутата дрогнули в улыбке. Бадаев начал:

— Я вижу, что вы один из ревностных наших читателей...

Но Джунковский перебил его: усы двигались, дразнили, приводили в бешенство.

— Я распорядился,—ледяным тоном, замораживая самого себя, объявил товарищ министра,—образовать специальную комиссию для привлечения к суду в срочном порядке вас и вашей газеты.

Глаза депутата сузились. Теперь перед генералом действительно сидел враг. И враг беспощадный, хладнокровный, невозмутимый.

— Не в первый раз меня привлекают по разным статьям,—заговорил Бадаев,—меня этим удивить трудно. Я пришел не за тем.

Депутат плотнее уместился в кресле. Теперь он смотрел в глаза министру так, точно допрашивал его, как власть имущий. Голос его не модулировал и не срывался на визг. Голос его был глуховат, ровен, бескрасочен, но звучал, как требование.

— Скажите, какое право имела полиция расстреливать путиловцев? Ваш ответ я передам рабочим петербургских фабрик и заводов.

Вопрос был короток, ясен, поставлен в лоб и вполне естественен. Он не мог вызвать возмущения, он не оскорблял. Хуже, он требовал честного, прямого ответа. Джунковский, военный генерал, не привыкший к чиновничьим изворотам, не мог его дать. Вопрос депутата хлестнул, как плеть. Густой румянец залил холеные щеки Владимира Федоровича. Он забормотал, как школьник, пойманный с поличным:

— Никаких выстрелов там не было. Полиция стреляла холостыми зарядами.

Товарищ министра лгал, изворачивался. Обаятельный, безукоризненно честный человек—Владимир Федорович презирал товарища министра и, подчиняясь ему, негодовал все более на причину своего уничижения.

Джунковский резко поднялся с кресла. Надо было кончить унизительную комедию. Товарищ министра нашел формулу примирения с Владимиром Федоровичем. Голос его звучал баритонально:

— Мы не допустим, чтобы рабочие булыжниками избивали полицейских. Полиция обязана стоять на страже общественного порядка, и никто не смеет оскорблять ее.

Владимир Федорович был удовлетворен. Справедливость восторжествовала.

— Полиция не может не стрелять, обязана стрелять, если на нее нападают. Это не только акт самозащиты, но и демонстрация силы и достоинства государственного аппарата.

Бадаев тоже встал. Он стоял прямо, по-молодому, напрягши мышцы. Он тоже точно демонстрировал силу и достоинство. Но чьи?

Джунковский воспринимал эту силу как наглость «чумазого», «нахрапом» попавшего в депутатское кресло.

— Другого ответа от наших министров никто не ждал,—

ровно и четко сказал Бадаев.—Я его знал заранее, и передам от слова до слова на фабрики и заводы. Запретить мне туда ездить вы не можете. Депутат от рабочих никогда не ограничится одними разговорами в Думе, когда в участках поливают водой его избитых товарищей.

Бадаев повернулся и вышел из кабинета.

Товарищ министра все еще стоял у своего письменного стола. Румянец отливал от щек. На губах своих Владимир Федорович ощущал горечь. Горечь приливала к сердцу. Было что-то неладно. Но что?

7
20
ПОНЕДЕЛЬНИК

ЦАРЬ ЛЮБИТ засиживаться за завтраком. После каждого блюда—антракт. Царь курит и беседует с тем, кого посадили с ним рядом. Голубые кольца легким кружевом нависают над столом.

Деревянные полированные стены кают-компании «Александрии» уютно поскрипывают. Французский посол Морис Палеолог изысканно любезен. Жесты его округлы и сдержанны, улыбки почтительны и многообещающи. С ним удобно, как с вышколенным лакеем. Он все подает во-время и предупреждает желания.

По левую руку царя—милейший Сергей Дмитриевич. Напротив—примелькавшееся, как собственные руки, пергаментное лицо Фредерикса. Полдень. Солнечные пятна покачиваются на графинах, на скатерти, на приборах. Напоминают детство... Такие же зыбкие пятна скользили тогда по дорожкам гатчинского парка, и англичанка не позволяла через них прыгать... Опять Англия... Почему с ней всегда надо считаться?..

— Один вопрос меня особенно тревожит,—говорит царь:—наше соглашение с Англией. Необходимо склонить ее на союз с нами. Как-то весной я уже говорил об этом с Бьюкененом, но он был крайне сдержан...

— Сдержанность—основное свойство характера у англичан,—продолжает его мысль Палеолог так, точно разматывает клубок шелковых ниток,—но преодолеть эту сдержанность необходимо, если мы хотим быть сильными...

Посол запинается, точно пальцы его нащупали узелок, но тотчас же проворно развязали его:

— Хотим быть сильными,—повторяет Палеолог и предупредительно расшифровывает свою мысль:—для того, конечно, чтобы сохранить мир... обеспечить мир всему миру...

Улыбка его не оставляет никаких сомнений в его искренности.

Но улыбка напоминала еще и о том, что не все страны так миролюбивы, как империя его величества и прекрасная родина Мориса. Улыбка подсказывает вопрос, и царь задает его:

— Вы, кажется, обеспокоены настроениями в Германии?

И Палеолог разматывает шелковую нить с несравнимой грацией,—самый изощренный слух не уловит в его речи, в стиле его фраз, в манере говорить, в привычке выражать свои мысли диссонанса с речью его собеседника.

— Обеспокоен ли я?—повторяет он меланхолично, с сознанием своей правоты и неуязвимости:—это именно то слово, которое определяет мое чувство в отношении Германии... Чувство неловкости, которое испытываешь к человеку, достойному уважения, но недостаточно воспитанному...

Палеолог поднял брови. Это означало, что в вопросе о воспитанности его величество для него—«arbiter elegantiarum»[1].

— Император Вильгельм и его правительство создали в Германии такое настроение, при котором любая недомолвка, случайная недоговоренность, хотя бы в отношении Марокко... в отношении чего бы то ни было...—оговаривается посол,—если она хоть краем касается немецких интересов, вызовет в них неминуемое сопротивление и раздражимость, мешающие им трезво взглянуть на вещи... Они не смогут больше ни отступить от своих притязаний, ни мириться. Они опьянены жаждой успеха, выигрыша—во что бы то ни стало и какой угодно ценой.

Эта тирада вышла, пожалуй, несколько длинной и какимто краем задевала суверенные права монархов. Не надо забывать, что перед послом сидит монарх и кузен императора Вильгельма. У поданного блюда демократический, республиканский душок. Палеолог готов заменить это блюдо другим, но его величество уже открыл рот:

— Надо знать императора Вильгельма так, как знаю

[1] Авторитет вкуса и воспитания.

его я... Нет, он не стремится к войне... Он несколько несдержан, болезненно самолюбив, но рыцарски предан делу мира. Он однажды сказал мне, что если я не изменю нашей дружбе с ним,—Европе обеспечен вечный мир...

Царь поднял глаза, мечтательно смотрит на кружево дыма, седеющую его бородку ласкает танцующий солнечный луч.

Ах, эти сентименты! Палеолог лирически вздыхает, но он твердо помнит, чего хочет Франция, а этого же, конечно, не уступит Вильгельм.—Ergo, соглашаясь с мнением собеседника,—будем настойчивы...

— Возможно, что воле императора Вильгельма я придаю больше значения, чем она в действительности заслуживает,— говорит Палеолог; слова его изгибаются, приседают, двоятся.—Быть может, правительство Германии не принимает на себя последствия решений своего императора и действует наперекор его воле. Но в таком случае, если бы война стала на дороге, он вряд ли сумел бы ей помешать.

Дипломат извернулся: прерогативы монарха вне сомнения, не внушает доверия только правительство. Царь оценил «тур-де-бра»[1] дипломата... Он вернул разговор к исходной точке—укрепил Николая в уже высказанной мысли.

— И тем необходимей был бы для нас союз с Англией...

Но вот уже кофе. Вот уже сигналы о прибытии французской эскадры. Надо подыматься на мостик, встречать дорогих гостей.

Стрекозой несется навстречу гиганту царская яхта «Александрия».

Ах, Версаль!

Его почти ощущаешь в далекой России, когда искрящаяся французская речь звенит среди фонтанов Петергофа.

— По пышности мундиров, по роскоши туалетов, по богатству ливрей, по сказочности убранства, по общему выражению блеска и могущества—зрелище так великолепно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться,—поет своей соседке по столу обольщенный Палеолог.—Я надолго сохраню в глазах ослепительную лучистость драгоценных камней, рассыпанных по душистой белизне ваших плеч...

Морис жмурит глаза. Морис плотоядно мурлычет.

---

[1] Прием во французской борьбе.

— Это Версаль Людовика! Версаль Антуанетты! Это далекая в пространстве и времени счастливая Франция, над которой еще не отшумели громовые раскаты революций...

— Господин президент, позвольте мне вам сказать, как я рад обратиться к вам здесь со словами: «Добро пожаловать!» Глава дружественного... и старый знакомый, с которым два года назад я имел удовольствие...

Привычным движением пальцы к табачному усу и тотчас к бокалу шампанского. Жаль нет фуражки, куда так удобно прятать листок с записанной речью...

— Наши две страны будут продолжать пользоваться благами мира... и подымаю за ваше здоровье, господин президент!

Чорт с ней—играйте «Марсельезу». Она сейчас звучит безобидно и кротко, как бабушкин вальс.

А человек во фраке, с застарелым гемороем, в унисон с «Марсельезой»:

— Союз наш, инициатива которого принадлежит славному Александру Третьему и президенту Карно, постоянно с тех пор давал доказательства... будет трудиться над делом мира и цивилизации, на благо которых оба правительства и оба народа не переставали работать...

В интонации Пуанкаре ничего не говорящие слова приобретают значение и власть. Он один в присутствии самодержца говорит, как самодержец. В его голосе звучит сталь металлургических концернов. В зрачках его одно волеустремление—Рур! Рур должен быть наш...



РАСТЕРЯННЫЕ, ничего не видящие перед собой онколисты бродят по биржевому залу Ильинки. Голоса их охрипли. В глазах безнадежная муть.

— Были двести двадцать. Сегодня сто семьдесят...

— Вот когда полное разорение, вот когда крах!

— Паника, брат. Путилов—девяносто!..

И тщетно надрываются маклера, предлагая:

— Рыба! Кто покупает рыбу?

— Золото! золото!

Телефон в истерике: из Петербурга приказы о новых продажах.

Рвут на части газетного сотрудника:

— Какие новости?

— Говорят, будет война. Правда или нет?

— Покупать или продавать?

Звонит колокол отходную. Биржевой час кончается. Толпа биржевиков высыпает на Ильинку. В летнем пыльном мареве одичавшие голоса:

— Рыба. Юго-Восток! Путилов!

— Рыбинские—триста тридцать один—продавцы, триста двадцать—деньги.

— Лианозовские—сто сорок пять—сто тридцать шесть—продавцы, сто тридцать два—деньги.

Канотье съехал на затылок, золотые зубы крошат несчастную соломинку: холодная струйка оршада не утоляет жажды.

— Что покупать?

— Ничего, князь! Советую воздержаться... У меня вагоностроительные — уж, кажется, верные,—и то минус два с половиной... Тверды только лианозовские нефтяные—плюс один и манташевские—плюс один... Вот разве тер-акоповские... они сдались на два с половиной...

— Так и живем, ваше превосходительство: продаем—покупаем... Тоска, позорище...

— Ничего не поделаешь, князь. Именья доходов не дают, с фабриками—возня, забастовки, дело темное и не дворянское. Любой мордач обжулит... А биржа—это ведь то же, что карты или рулетка. Вот только бы бабушку мне: «Три карты! Три карты!» Хе-хе!.. Три верных акции...

— Ну, а по службе?

— Ерунда-с... Жалованье грошевое. Одно представительство все съедает. А министерство с бумажками, с циркулярами по губерниям. То репрессии, то—«елико возможно мягче». Чорт их разберет! Как ждановские акции: вверх—вниз, вверх—вниз. Качели какие-то, а не губернаторство. Упаси бог... Подаю в отставку...

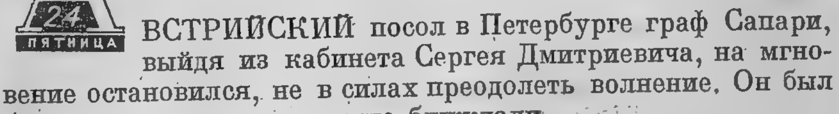
«Марсельеза» в петергофском дворце звучит по-иному, чем в рабочих кварталах...

У клиники Вилие баррикада. Не первая и не последняя за эти дни.

— Добро пожаловать, дорогие гости! Может быть, петербургские улицы вам также напомнят прекрасную родину? Ведь от королевского Версаля до революционного Парижа путь недалек...

За баррикадой айвазовские рабочие. Против баррикады, в расстоянии ста шагов от нее,—казаки и полиция. Из-за баррикады тяжело, со свистом летят камни. В баррикаду равномерно вонзаются пули.

Белые ночи давно угасли. С вечерней зарей небо становится сизым, густеет все более; на город падает душная тьма. Фонари не горят. Фонари свалены в общую кучу с вагонами, ларьками, вывесками и домашним хламом. По улицам гулять опасно. Пуля ненароком попадет в затылок. Нога поскользнется в луже крови. Темно, беспокойно и странно...



АВСТРИЙСКИЙ посол в Петербурге граф Сапари, выйдя из кабинета Сергея Дмитриевича, на мгновение остановился, не в силах преодолеть волнение. Он был бледен, глаза его растерянно блуждали.

Вчера, в шесть часов вечера, австро-венгерский посланник в Белграде барон Гизль вручил заместителю сербского премьер-министра Пашича министру финансов Лазарю Пачу ультиматум.

Такого ультиматума не предъявляло ни одно государство другому суверенному европейскому государству. Это был не ультиматум, а пощечина. Он состоял из трех разделов: ноты, приложенного к ноте меморандума и коротенькой инструкции австрийскому послу в Сербии барону Гизлю.

В инструкции предписывалось барону потребовать свои паспорта, если по истечении срока—сорока восьми часов, то есть к шести часам 12/25 июля, он не получит «безусловного и благоприятного» ответа на все требования, изложенные в ноте. Но какого благоприятного ответа можно было ждать на такой ультиматум?

Палеолог, ожидавший приема у Сазонова, склонил голову, сочувственно пожимая руку своему коллеге и пряча лукавую улыбку.

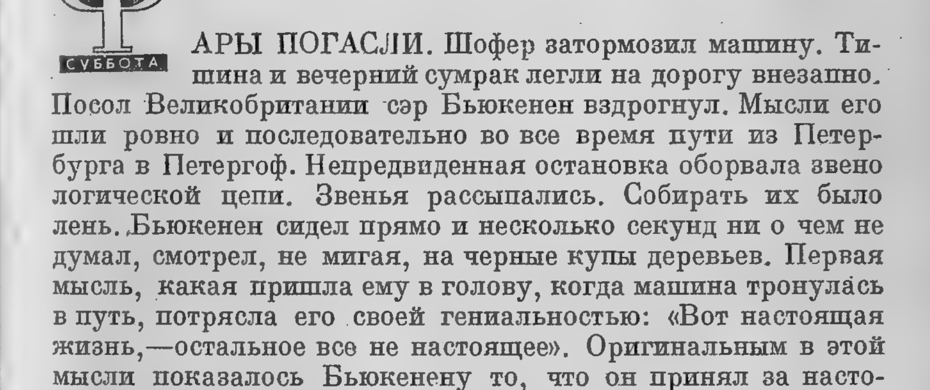
— Вы, очевидно, очень встревожены событиями, дорогой граф? Неужели вы не верите в возможность уступок?

Сапари дернулся вперед, взмахнул руками, точно готовый схватиться за голову и вскрикнул в порыве искреннего отчаяния, забывая, где он, кто он и с кем говорит:

— Ах, камень уже сорвался с горы... он уже катится... Его ничто не остановит...

И тотчас же, увидя себя в приемной русского министерства, лицом к лицу с французским послом, смотревшим на него с пристальным любопытством, увидя себя в парадном мундире представителя великой державы, возвысившей свой властный голос и не желающей отступить,—граф Сапари поднял плечи, поджал губы, сухо кивнул головой и, стараясь твердо и прямо ступать, вышел из комнаты.

— Le jeu est fait, rien ne va plus![1],—бормотнул Палеолог, глядя на удалявшуюся сутулившуюся спину австрийца.



АРЫ ПОГАСЛИ. Шофер затормозил машину. Тишина и вечерний сумрак легли на дорогу внезапно. Посол Великобритании сэр Бьюкенен вздрогнул. Мысли его шли ровно и последовательно во все время пути из Петербурга в Петергоф. Непредвиденная остановка оборвала звено логической цепи. Звенья рассыпались. Собирать их было лень. Бьюкенен сидел прямо и несколько секунд ни о чем не думал, смотрел, не мигая, на черные купы деревьев. Первая мысль, какая пришла ему в голову, когда машина тронулась в путь, потрясла его своей гениальностью: «Вот настоящая жизнь,—остальное все не настоящее». Оригинальным в этой мысли показалось Бьюкенену то, что он принял за настоящее—дорогу, деревья, вечер, а дела, оставленные им в Петербурге, и предстоящее свидание с царем, весь сложный механизм международной политики назвал ненастоящими.

«Должно быть, события последних дней несколько утомили меня»,—тотчас подумал он в свое оправдание и взглянул на часы.

---

[1] Игра сделана; ставки больше не принимаются.

Аудиенция была назначена в десять. Неисправность фар ставила под сомнение пунктуальность полномочного министра. Он опаздывал на десять минут. На десять минут стрелка, отмечающая колебания политического барометра, остановилась. За эти десять минут соотношение сил европейских держав могло быть нарушено. Секунда бездумья могла навлечь на Великобританию неисчислимые бедствия. В этом Бьюкенен теперь не сомневался. Это было непреложно. Все остальное: и вечер, и дорога, и деревья—вздор, буколика для женщин и детей.

Посол Великобритании вез императору дружественной страны послание от кузена, от короля Георга. Кузен предупреждал, остерегал. Предупреждение короля было—алиби[1] Англии. Доказательство ее невинности и миролюбия. Но доказательство только тогда действительно, когда оно представлено во-время. В эти десять минут опоздания царь мог согласиться на предложения Вильгельма прекратить мобилизацию или, напротив, послать Германии вызов. И то и другое не в интересах Англии. Англия хочет предупредить возможность войны добрым советом в самую последнюю минуту, но отнюдь не склонна препятствовать течению событий. Отнюдь нет. Их только не нужно подталкивать.

Машина неслась в темноте. Фары отказались освещать путь полномочному министру Великобритании. Посол несся в ночь, в неизвестность. Он опаздывал уже на четверть часа. Как, однако, ненастоящее мешает настоящему!..

Царь встретил Бьюкенена у себя в кабинете весьма благосклонно. Ничего не произошло, ничего не случилось. Престиж Англии не поколеблен. Ненастоящее посрамлено.

— Я должен принести вашему величеству мои глубочайшие извинения за опоздание.

— Quart d'heure de grâce! Quart d'heure de grâce![2]—снисходительно возразил император.—Садитесь, дорогой посол. Какие новости привезли вы мне?

Звенья мысли сомкнулись в единую цепь. Бьюкенен овладел временем и самим собою. Он передал послание короля Георга императору всероссийскому в последнюю минуту.

---

[1] Доказательство невиновности.
[2] Четверть часа прощаются.

Царь получил уже вторую телеграмму от Вильгельма и колебался. Бьюкенен протянул руку помощи его величеству своевременно.

Георг писал, что объяснения Германии по поводу русской мобилизации неудовлетворительны... но тем не менее «я считаю, что только недоразумение привело нас в такой тупик. Я очень стараюсь не упустить никакой возможности избегнуть ужасной катастрофы, угрожающей сейчас всему миру... Поэтому призываю вас отбросить недоразумения... Я верю, что вы, как и я... постараетесь... все возможное для обеспечения мира...»

К письму Георга был приложен ответ министерства иностранных дел, составленный Сазоновым.

— Смею заметить вашему величеству, что ваш личный ответ успокоил бы более его величество, чем официальный ответ министерства,—почтительно молвил Бьюкенен.

— Что же, я это сделаю,—ответил царь, стараясь прочесть в честном взгляде англичанина решение Англии.— Я это сделаю, если вы мне поможете,—добавил он с дружественной искренностью, располагающей к откровенности:— мне легче по-английски говорить, чем правильно писать... Увы, мой ответ при всем добром желании будет неутешителен. Я рад был бы принять предложение короля Георга, если бы германский посланник сегодня днем не представил моему правительству ноты с объявлением войны... Но всего удивительней, и я сказал бы—возмутительней, что вслед за нотой император Вильгельм снова умолял меня телеграфно отменить мобилизацию... Он упорно хочет доказать миру, что я буду виновником войны... Это так грустно. Я все-таки считал его благородным человеком... Вы не знаете, дорогой посол, что со времени предъявления ультиматума в Белграде Россия приложила все усилия, чтобы найти мирное решение вопроса, возбужденного поступком Австрии. Совершенно очевидно, что Австрия решила раздавить Сербию и сделать ее своим вассалом.

Византийские глаза сузились. Голубой дымок затемнил их. Узкий носок царской штиблеты дрогнул и качнулся вверх. Царь искал слова в своей памяти. Их было много и очень убедительных, их было много в речи Сазонова на последнем совещании. До чего все-таки все эти дела утомительны!..

— В результате разгрома Сербии получится изменение

в равновесии сил на Балканах, представляющем жизненный интерес для моего государства,—наконец сколотил он кое-как очередную фразу и облегченно затянулся.—Все предложения, включая и предложение вашего правительства, были отвергнуты Германией и Австрией...—повысив голос, продолжал он.

Его начало раздражать неподвижное спокойствие Бьюкенена: ничего не выдавало отношения англичанина к августейшим словам.

— Германия только тогда выказала намерение выступить посредником, когда благоприятный момент для оказания давления на Австрию уже прошел,—сдерживая себя, соревнуясь в выдержке со своим слушателем, говорил Николай,—но и тогда Германия не выставила никакого определенного предложения. Объявление Австрией войны Сербии заставило меня издать приказ о частичной мобилизации. Хотя ввиду угрожающего положения мои военные советники рекомендовали мне произвести всеобщую мобилизацию. Они указывали на то, что Германия может мобилизоваться значительно скорее России. В дальнейшем я принужден был пойти по этому пути вследствие всеобщей мобилизации в Австрии, бомбардировки Белграда, концентрации австрийских войск в Галиции и тайных военных приготовлений Германии...

Царь увлекся. Царь глубоко верил своим словам. Византийские глаза загорелись тусклым фанатическим огнем. Такой взгляд был, должно быть, у Павла. Бьюкенен, сидя прямо, отсчитывал минуты, приближающие страны Европы к развязке. Он точно держал руку больного, слушая бешеный пульс. Слова не помогут, объяснения излишни, конец неизбежен, но говорить и объяснять необходимо для истории.

— Правильность моих действий,—сомнамбулически вещал царь,—доказывается внезапным объявлением войны Германией, совершенно неожиданным для меня. Тем более неожиданным, что я самым категорическим образом заверил императора Вильгельма, что мои войска не выступят, пока продолжается посредничество. В этот торжественный час я хочу заверить императора Великобритании, что я сделал все возможное для предотвращения войны.

Николай встал. Бьюкенен в свою очередь поспешил встать. Августейшая рука нервически потянулась к усам и тотчас же была милостиво протянута посланнику.

— Теперь, когда война мне навязана, я надеюсь, что

ваша страна не откажется поддержать Францию и Россию. Пусть бог благословит и сохранит наш святой союз...

Он был бледен и возбужден. Фанатический огонек разгорался в его расширившихся зрачках. Нужно было незаметно положить конец этой недостойной императора истерике.

— Все высказанное вашим величеством так убедительно, так благородно и справедливо, что мне остается только преклониться перед величием вашего духа в такие ответственные минуты и умолять ваше величество слово в слово повторить сказанное в письме к моему королю. Ничего более я прибавить не мог бы.

Бьюкенен стоял со склоненной головой, но в тоне его слышался, наконец, долгожданный решительный ответ Англии.

— Война... Да, война...

Царь оглянулся. Бьюкенен ушел. Царь один в кабинете. Никого. Тишина. Мертвая тишина...

Восторженные слова отзвучали, озноб бежит по спине, сдавливает затылок железными пальцами...

Что? Что такое? Кто сказал: «война»? Какая война? Неужели это я сказал: «война»? Значит, конец. Отступления нет. К о н ч е н о.

Глаза, византийские глаза, мечутся по стенам кабинета, ищут сочувствия, успокоения, поддержки. Но батальные картины мучают еще больше. Ведь это—к р о в ь... Ходынка... Закрыть глаза, присесть на корточки, заткнуть уши... Не видеть, не слышать, не знать...

— Что им всем от меня нужно?—бормочет царь.—Я ничего не хочу знать... ничего не могу... Уходите...

Собственный вскрик вернул царя к действительности. Он, и точно, закрыл глаза, подогнул колени, заткнул уши...

Какой вздор! Что его взволновало? Все идет, как нельзя лучше. Все мирно, привычно, успокоенно-тихо в кабинете. Прекрасные батальные картины вещают славу русскому оружию, величие полководцу. Жаль только, что теперь не воюют в парадных гвардейских мундирах. Какая там Ходынка!.. Шел второй час ночи. Все сомнения рассеялись. Царь потянулся и зевнул. Захотелось чаю, захотелось часть своей тревоги переложить на чужие плечи. Царь пошел в опочивальню к царице.

Александра уже лежала в постели. С порога Николай увидел ее голову в кружевном белом чепце на высоких взбитых подушках. У киота горели лампады. По фотографиям, по стенам плыли тени.

— Уехал?—спросила Александра, чуть подвигаясь на кровати и обивая у ног своих одеяло, чтобы дать место мужу.—Бедное мое солнышко, ты, наверно, очень устал...

— Да, я устал... сегодня какой-то бешеный день: все эти тревоги, телеграммы. Но Бьюкенен на этот раз был очень мил. Он мне дал понять, что Англия поддержит нас, и вообще все это обойдется хорошо... Вот письмо Георга... Я сам ему ответил. Эти дураки министры написали вздор, пришлось составить все заново...

Царица нервически приподнялась. Она схватила письмо Георга дрожащими руками, кровь пятнами пошла по щекам, лбу и шее. Николай прихлебывал поданный ему чай маленькими глотками—очень крепкий, без сахара. Теперь он был совершенно спокоен.

— Ты объяснил ему, что иначе не мог? Что ты сделал все, чтобы отвратить войну?

В своем белом чепце и ночной рубахе с широкими рукавами царица показалась царю Немезидой, сошедшей с облаков и готовой свершить свой суд.

— Ну, еще бы, конечно!—поспешил ее успокоить император.—Я нашел очень значительные, веские доводы...

Он встал. Надо было принять ванну и лечь спать. Даже дневника не хотелось писать сегодня. А следовало бы отметить прекрасную прогулку по взморью вместе с беби.

Под благодушное бульканье воды, наполняющей ванну, царь стал раздеваться. Сам, без чьей-либо помощи, по-простецки, как настоящий сельский житель, счастливый скромный семьянин и фермер. Россия, война, величие—все уплыло куда-то, растаяло. Здесь только ванна, плеск воды, он и его штиблеты, которые почему-то с левой ноги снимать всегда труднее.

— Ваше величество, вам телеграмма!..

— Кой чорт! Кто еще там?

За дверью почтительное покашливание, легонький стук. Голос камердинера:

— Очень спешная... От его величества императора Вильгельма...

— Опять!

Прикрываясь простыней, царь отворил дверь, просунул руку. Да, Вильгельм. «Ты царь...» Чорт бы его побрал, не дает покою по ночам! Что? Да он сошел с ума! Он заклинает богом не позволять моим войскам переходить границу. Это— после того, как он сам объявил войну!

Царь отшвырнул простыню, распахнул дверь, босиком выбежал из ванной комнаты в спальню. К царице! К царице!

— Алиса! смотри, что пишет мне этот монстр! Вот! Читай! Великим господом заклинает меня...

Заспанное лицо Александры казалось алебастровым. Она крестилась, глядя на бегущего к ней мужа.

Он уже читал вслух, стоя в одном белье, босой, встрепанный.

— Ах он, старая лиса! Старая лиса,—пробормотала царица, когда Николай кончил и посмотрел на нее с немым вопросом.

На этот раз она не волновалась, она улыбалась с тонкой иронией умной женщины, понимающей, что ее хотят обойти. Она сама бы поступила точно так же.

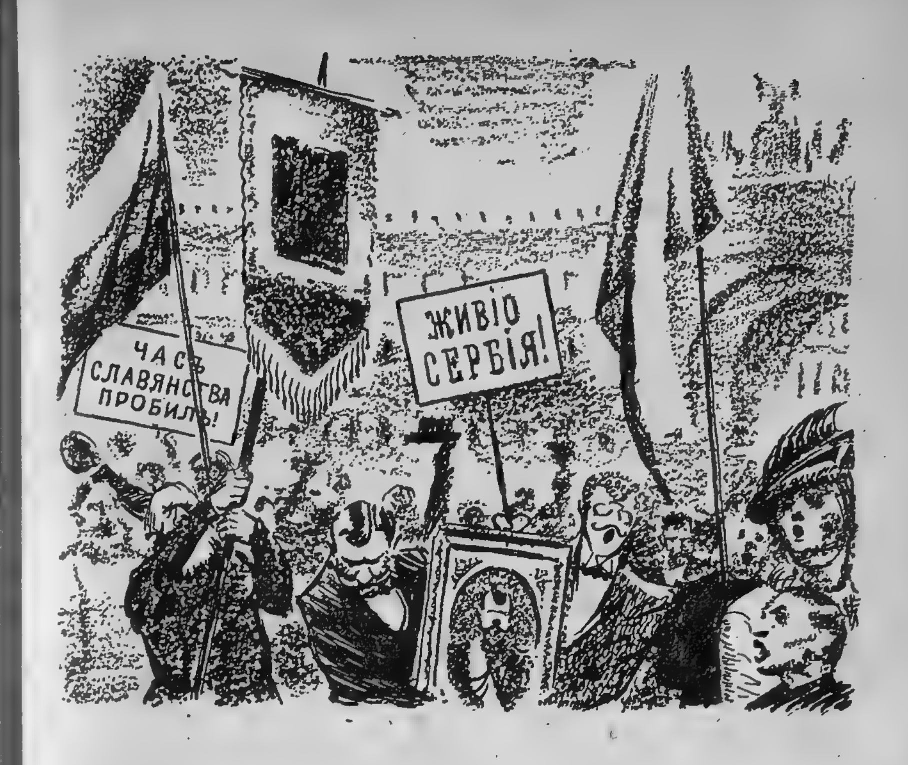
— Сядь, бедный мой Ники! Слишком много для тебя в один день. Эта старая лиса заметает следы. Он готовит себе алиби... Но мы не так глупы. Ты, конечно, не будешь отвечать ему. Он все еще надеется, что сумеет одурачить, но на этот раз ему не удается. Бог и история—за нас. Правда на нашей стороне. Все узнают его вину. Будь спокоен. Эта бумага—лишняя улика в его вероломстве. Прими ванну и ложись спать, мое солнышко. Я с тобой. Помни, что завтра тебе еще предстоит эта утомительная комедия в Зимнем дворце с манифестом, с министрами, с чужими людьми... Надо отдохнуть...

И КОМЕДИЯ НАЧАЛАСЬ

Комедия с концом трагическим. Она вошла в жизнь из дипломатических кабинетов. Она вытолкнула на подмостки статистов в порядке принудительном. Она дала им роли ,,пушечного мяса'' ,,восторженных патриотов'', ,,безыменных героев''. Она поставила их лицом к лицу со свершившимся фактом и сказала:

,,Играй, но так, чтобы не мешать игре первых персонажей. Восторгайся, приветствуй, умирай на заднем плане. На аплодисменты не выходи. Когда опустится занавес, мы с тобой рассчитаемся...''

Комедия началась... Вместе с другими статистами выходят на сцену мои герои.



ИЮЛЬ

20 2 ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЧАС ДНЯ яхта «Александрия» под императорским штандартом вышла из Петергофа и, кренясь на правый борт, легко и весело, как борзая на угоне, кроша своим узким золоченым носом пегую прибрежную волну «Маркизовой» лужи, поблескивая черным лаком и медью своей обшивки, вынеслась мимо зеленого Ораниенбаума, мимо желтой косы в сизый простор залива и тотчас же, глянув с левого борта на реющий под солнцем купол кронштадтского собора, круто повернула направо, в дельту Невы.

Здесь, сменив танцующий галоп на скользящую иноходь, свободно преодолевая течение, бегущее мимо нее бурым замутненным потоком, она пошла навстречу раскоряченным баржам, торопящимся буксирам, навстречу каменному хаосу города.

Тяжелые громады заступивших ей путь дредноутов «Гангута» и «Севастополя» приветствовали ее грохочущим ревом салюта.

В ту же минуту на царской пристани, лениво поскрипывающей смоляным бортом о гранит Английской набережной, забегали какие-то темные фигурки, заклокотал, пуская пар, пришвартованный в стороне катер, и «Александрия», щегольски сделав полный поворот, замерла.

По узким, обитым ковром сходням, держась за медные поручни, бодрясь и распушив по ветру седые баки, взбежал на борт яхты морской министр генерал-адъютант Григорович в сопровождении начальника главного морского штаба Стеценко, его помощника Зилотти и командира порта Бутакова. А через короткое время спущенный на «Александрии» штандарт императора был поднят на катере и, снова пощелкивая по ветру оранжевым полотнищем, трепля распластанного на нем двуглавого орла, нырнул под каменные фермы Николаевского моста.

С низких верков Петропавловки ударило первое старенькое орудие, за ним второе, третье... Над купающимися на отмелях у стен крепости мальчишками возникли один за другим и лопнули белые встрепанные дымки. Пешеходы, идущие по Дворцовому мосту, повисли над перилами. Со звенящего в сторону Васильевского острова трамвая соскочило на ходу несколько пассажиров и бросилось бежать обратно к Адмиралтейству. Катер дал протяжный гудок и, вильнув последний раз штандартом, остановился у каменного причала Зимнего дворца против Детского подъезда.

Нивесть откуда хлынувший народ повалил на площадь.

К трем часам Константин Никанорович Смолич, затянутый в шитый камер-юнкерский мундир, в галунной треуголке, при шпаге и в черном легком плаще, небрежно накинутом на плечи, проехал в наемном открытом авто с Сергиевской, где он жил, мимо Летнего сада, Марсовым полем в Зимний дворец и вместе с другими, приглашенными по повесткам высочайшего двора, прошел в концертный зал, отведенный для придворных чинов.

Константин Никанорович был в прекраснейшем настроении, обычном для него при всяких торжественных и парадных церемониях. Он знал, что мундир к нему идет, и лю-

бил чувствовать его вкрадчивый и в то же время настойчивый гнет на плечах, на шее и в талии. Он любил четкую ясность движений, которую приобретало тело, стянутое хорошо пригнанным форменным мундиром, узкими, на штрипках брюками и лакированными остроносыми штиблетами. Но еще больше любил он тот несколько приподнятый церемонный порядок и те подчеркнуто вежливые отношения между людьми, которые неминуемо устанавливались в таких случаях. Официальная сдержанность и суховатая замкнутость были ему свойственны и возводились в принцип. В такие парадные, торжественные минуты Константин Никанорович особенно ярко сознавал себя частью стройного монолитного целого, имеющего законченную безукоризненную форму. А вне формы жизнь теряла смысл и цену в глазах Константина Никаноровича.

Вот почему сегодня, несмотря на то, что он, как сторонник и близкий человек германофильской партии аграриев, считал войну с Германией нецелесообразной и гибельной, Смолич все же чувствовал себя в приподнятом, бодром, праздничном настроении и готов был принять совершившийся факт как нечто закономерное и обязательное и тотчас же нашел для себя ту точку, на которой его личное равновесие не нарушалось.

Он остановился недалеко от двери, ближе к окнам, так, чтобы свет не мешал ему видеть. Тотчас же кто-то схватил его за руку и, потянув к себе, прошептал:

— Французский бульдог уже куплен. Не скажете ли вы мне, как можно купить английского дога?

Смолич, подняв брови, улыбаясь углом рта, оглянулся. Перед ним стоял генерал Курлов. Пахнущий крепкими духами, гладко выбритый, розовый, затянутый в однобортный мундир с серебряной кистью аксельбанта, он смотрел на Константина Никаноровича умным лисьим глазом.

— Эти сведения вы можете получить, генерал, от Сазонова,—тотчас же в тон ему ответил Смолич и после паузы добавил:—что касается меня, то я уже приглядел одного, и хотя он не англичанин, но прекрасного роста и лает громко...

— Как! вы уже знаете, что Николай Николаевич...— начал было Курлов.

Но Константин Никанорович перебил его:

— Я знаю только то, что знаете вы, генерал, и еще то, что моя собака,—он сделал ударение на последних словах,—пошла по верному следу...

И генерал и камер-юнкер глянули друг другу в глаза. Усы генерала чуть шевельнулись, но он промолчал. Он понял, что его собеседник во-время переменил направление и идет по ветру.

Акции главнокомандующего явно росли.

/

Приглашенные непрерывным потоком наполняли анфиладу зал. Образуя водовороты, они выстраивались в плотные шпалеры вдоль стен и окон.

Дежурные церемониймейстеры Гирс и Вуич направляли этот поток по нескольким строго намеченным руслам.

В Фельдмаршальском зале выстроился караул от офицерской кавалерийской школы. У дверей вытянулись парные часовые с саблями наголо.

Гражданские чины—чиновники министерств не ниже четвертого класса—заняли Гербовый зал. В следующей, Пикетной комнате стал караул преображенцев. В комнате перед церковью, сияя золотом галунных красных грудей, в высоких тяжелых медных шапках с золотыми кистями, спадающими на левое ухо, распушив пегие и серебряные бороды, с маленьким четырнадцатилетним флейтщиком и с золотым, тяжелым, с георгиевскими лентами знаменем роты впереди, замерли дворцовые гренадеры, точно вышедшие из могил наполеоновские гвардейцы.

Здесь было по-особому тихо и торжественно. Старики, в большинстве георгиевские кавалеры, участники севастопольской и турецкой кампаний, неподвижно и обреченно смотрели перед собою в пустое, пахнущее воском и пылью пространство, полное все нарастающим, приглушенным гулом, несущимся из отдаленных зал.

В придворный собор проходили только сановники. Они шли по одному, по-двое, не сливаясь с общей массой, скрывались, блеснув золочеными фалдами мундиров, за тяжелыми двойными дверями, в дыме курений и благолепия медового огня свечей.

В огромном двусветном Николаевском зале с величественным портретом Николая Первого, с игрой и блеском хрустальных люстр, тяжелыми коконами спускающихся с высокого плафона, с непрерывным рядом бронзовых канделябров, вытянувшихся вдоль стен, с золотом и пурпуром, отсвечивающим солнце, свободно глядящее сквозь широ-

кие зеркальные окна, было особенно шумно. Здесь собралась вся гвардия, все высшее военное начальство, все офицерство петербургского гарнизона.

Сбившись в густые одноцветные колонны по обе стороны зала, оставив середину, где возвышался парчевый аналой, свободной, офицерство переговаривалось тем особым военным шопотом, который слышен от слова до слова, жестикулировало, гудело здоровым грудным смехом, заставлявшим звенеть и сверкать подвески люстр.

Говорили о блестяще проведенной мобилизации, о том, что мобилизацию будто бы пытались какие-то темные силы отменить, но что Николай Николаевич повлиял на царя и «военная партия» победила. Говорили о том, что царь сам становится во главе войск, и многозначительно замолкали, когда иные находили эту кандидатуру недостаточно удачной.

— В последние дни значение Сухомлинова свелось к нулю,—отворотясь к окну, глядя сквозь золотое пенсне на залитую народом площадь, говорил штабной генерал своему соседу, рыжему с круглым лицом генерал-лейтенанту.—Начальник штаба имел непосредственный доступ к царю. Сазонов сносился со штабом тоже без ведома военного министра. Вы, конечно, знаете, как относится Николай Николаевич к Сухомлинову. А сейчас великий князь пользуется исключительным влиянием у государя. Исключительным! Он сумел оттеснить от его величества всех неугодных ему советчиков...

— Но ведь ни для кого не секрет,—щуря и без того маленькие безбровые глазки, по-мышьи вытягивая курносый красный нос и становясь на носки, чтобы дотянуться к уху своего собеседника, возражал срывающимся шопотом генерал-лейтенант,—ни для кого не тайна, что государь очень расположен к Владимиру Александровичу[1] и терпеть не может дяденьку...

— Ну, знаете (стекла пенсне штабного генерала пустили зайчика по круглым щекам генерал-лейтенанта), нужно знать характер его величества...

В нескольких шагах от них бравый полковник, флигель-адъютант, веселыми глазами оглядывал залу и, играя кистями своего аксельбанта, говорил бархатным, ви-

[1] В. А. Сухомлинов.

димо ему самому нравящимся баритоном, нисколько не стесняясь, что его слушают посторонние:

— Нет, ты представляешь себе! Его величество так прямо и сказал ему: «Ну, если и вы пошли против меня, так я назначаю вас верховным главнокомандующим!» Hin?..

— Ты врешь, Мордвинов,—флегматично возразил ему тот, к кому, очевидно, обращался флигель-адъютант. Это был высокий, с маленькой лисьей головкой, острым, длинным носом, рыжеватой остренькой бородкой и низким лбом, над которым ершились густые, ежиком стриженные волосы, свитский генерал.

— Да нет же, говорю тебе—это его подлинные слова!— уже совсем весело, громко крикнул Мордвинов.

Несколько голов с любопытством обернулись в его сторону.

— Ну, хорошо,—щуря презрительно глаза и глядя на сияющий гладкий лоб полковника, сказал свитский генерал,— допустим, что Сухомлинов назначается верховным (низкий лоб генерала сморщился гармошкой, волосы ершисто полезли на брови), что же будет делать Николай Николаевич?

— Он будет командовать шестой армией,—смеясь полным ртом, подхватил полковник.

— То есть охранять резиденцию его величества?

Свитский генерал замолк на полуслове, пренебрежительно махнул рукой, стал пробираться сквозь обступившую его офицерскую массу.

Кто-то сказал, глядя ему вслед:

— Это генерал-квартирмейстер Эрдели, любимец Николая Николаевича.

В группе артиллеристов спорили о численности и подготовке австрийских и германских войск, о дальнобойности орудий.

— Теперь совсем другой коленкор,—говорил рыхлый, с бабьим лицом армейский генерал, взмахивая пухлой коротконалой ручкой и подбирая подрагивающий живот.—Прошлую кампанию мы шли совершенно неподготовленными, с устаревшими приемами позиционной войны, с негодными винтовками, а главное, господа,—к чортовой матери, куда-то на Дальний восток. Тогда как теперь мы колоссально шагнули вперед технически. У нас прекрасное вооружение, и мы дома. Наши крепости оборудованы блестяще. Я только что из Новогеоргиевска и доложу вам...

— Но позвольте, ваше превосходительство,—сдержанно возражал ему суховатый артиллерийский полковник,—осмелюсь заметить, что в настоящее время крепости уже утратили свое боевое значение. По последним данным...

— Вздор, вздор, молодой человек!—наливаясь кровью, повышая голос, перебивал полковника генерал.—Крепость всегда—крепость. Это не стог сена. Ее приходится блокировать, а не проходить мимо...

Генерала поддерживали рядом стоящие одобрительными возгласами.

— Мы первые начнем наступление,—горячился в другом углу кавалерийский полковник.—Энергичный нажим на Пруссию—и дело в шляпе.

— При громадности войска, при дальнобойности орудий, при том неимоверном количестве денег, каких стоит современная война, она не может быть длительна. Два-три, максимум—пять месяцев,—убежденно говорил в соседней группе сапер.

— Скоропадский! Постой, Пашка! Да куда тебя несет, чорт?—покрыл в другом конце зала общий гул голосов звонкий, чуть грасирующий голос.

Высокий, плечистый красавец, с широким лбом и женственным подбородком оглянулся. К нему проталкивался, помахивая рукой, звеня спустившимся с запястья на рукав золотым браслетом, коренастый лейб-гусар.

— Ну, что слышно с твоим Рочестером?

Кавалергард поймал в толпе знакомое ему лицо лейб-гусара, пожал плечами и, в свой черед улыбнувшись, ответил:

— Да что же Рочестер... Пришлось его убрать. У него оказался подсед. Этот мерзавец, хохол Пономаренко, испортил мне всю конюшню.

— А ты бы и его убрал,—все продолжая улыбаться, сказал лейб-гусар, подходя.

— Ну, что ты! Он же зато тренер какой!

Четко и твердо отпечатывая по паркету шаг, чувствуя на себе отблеск солнца, звезд, золотых придворных мундиров, всего дворцового великолепия, как бы неся его на своих плечах, Игорь Смолич прошел обок с Голубцовым всю длину огромного Николаевского зала и остановился в дверях, в которые должна была проследовать из собора духовная про-

цессия. Камерпажи выстроились по-двое по бокам двери. Четверо других остались у дверей, ведущих в Концертный зал. Оттуда ждали царя.

Шел четвертый час. Свет из окон лег косыми широкими полосами, бил в лицо Игорю. Ему казалось, что он сам вот-вот засветится и растает.

«Все увидеть, все запомнить обязательно»,—повторял он, стараясь привести свои мысли в порядок, сосредоточить на чем-нибудь одном разбежавшиеся, затуманенные глаза.

С той минуты, как ему объявили, что в числе девяти камерпажей он назначен в почетный караул в Зимний дворец, Игорь не находил покоя. Каждый нерв был напряжен, взвинчен до последней степени. Голова кружилась, как после шампанского, глаза горели—так ему казалось—нестерпимым огнем и слепли. Он не мог сосредоточиться, задержать внимание.

— Да, я пьян, совсем пьян,—говорил он Голубцову по дороге во дворец:—ничего как-то не понимаю, что такое происходит... Ты знаешь, я не монархист, и вообще все эти парады... Они красивы только издали... А сейчас у меня такое состояние, такое чувство, точно мне трудно дышать и я сейчас зареву...

Голубцов отворачивался, надувал и без того круглые красные щеки.

— Я дурак,—повторял Игорь, незаметно щипля себя за ногу:—кажется, все люди, как люди, а я —истерическая баба...

Он мысленно сжал виски и, сдвинув брови, сводя глаза к носу, увидел на краю правой ноздри красное пятнышко.

«Ну, конечно, прыщ,—старался он вызвать в себе обычное раздражение.—Всегда норовит не во-время...»

И тотчас же подняв глаза и глянув вперед, увидел неподалеку в гуще военных Константина Никаноровича.

«Вот тебе раз! А я забыл про него,—мелькнула почему-то досадливая мысль.—Как же это так?.. Ну, конечно, он же камер-юнкер, и значит, не я один...»

Игорь вгляделся пристальней. Константин Никанорович, подобрав тонкие губы, пошевеливая подстриженными усиками, прищуря глаза, чуть насмешливо, как показалось Игорю, смотрел на пажей. Скорее всего он смотрел на пустое пространство открытых настежь дверей, в которые должны были пройти духовенство и сановники, но Игорь, все

более досадуя, решил, что Константин смотрит именно на него и смеется над тем, что он стоит навытяжку, как пешка.

Братья по отцу, нося одну и ту же фамилию, часто бывая в одних и тех же домах, один—камер-юнкер, другой—камер-паж,—и Константин Никанорович и Игорь одинаково вспоминали о существовании друг друга только при редких и случайных встречах.

Но встречаясь, они неизменно, с любопытством приглядывались друг к другу. Какая-то неясная им самим и потому раздражающая связь крови, воспитания, несмотря на разницу темпераментов и лет, связывала их. Что-то помимо их воли нравилось им друг в друге и в то же время оскорбляло. Иногда они сознательно искали встречи, но, сойдясь, не умели найти верного тона. Игорь тотчас же петушился, говорил резкости, Константин Никанорович подымал брови и, колюче сощурившись, смотрел на брата. Игорь почему-то убежден был, что Константин считает его недалеким мальчишкой, ни на что не способным.

«Ну, и что с того, что стою навытяжку?—думал Игорь.— Вот скоро выпуск, и тогда... Неизвестно еще, кто...

Равномерный гул шагов катился все ближе и явственней. Из собора двигалось шествие.

Впереди, торопливо семеня ногами, обутыми в мягкие, козловые, без каблуков штиблеты, шли попарно в малиновых кунтушах певчие придворной капеллы. За ними, помавая ослепительными ризами, выступало духовенство, неся перед собою чудотворные иконы Спаса Нерукотворного из домика Петра Великого и «Казанской заступницы» из Казанского собора. За иконами мимо Игоря, всем существом ушедшего в зрение, проплыли тяжелые митры, блеснули зеленые с золотом оплечья протоиереев и сакеллария, замелькали шитые красные и оливковые мундиры сенаторов, министров, членов Государственного совета.

Стараясь никого не упустить, всех узнать и запомнить, Игорь поймал и, не поворачивая головы, проводил глазами знакомые ему по фотографиям и по встречам на парадах и балах—сутулую, старческую, деревянно переступающую ревматическими ногами в белых брюках фигуру Горемыкина; узкую спину Сазонова—с ключом между расшитыми лавром полами мундира; широкие плечи и хорошо знакомое весе-

лое розовое лицо Сухомлинова, идущего рядом с адмиралом Григоровичем и точно пританцовывающего и подрагивающего стянутым бабьим торсом.

За ними, плохо разбираясь в лицах и путая, Игорь успел заметить идущих министра внутренних дел Маклакова (Игоря поразил необычайно белый его нос), министра путей сообщения Рухлова, еще каких-то смутно припоминаемых министров и сенаторов и как-то отдельно от всех навсегда памятного, тяжелого, показавшегося огромным—председателя Думы Родзянко. Он плыл впереди красных сенаторов, как грузный баркас, подняв одутловатое лицо с влажными бурыми мешками слоновьих глаз.

Духовенство разместилось перед аналоем, на который положили иконы. Тусклый густой свет зажженных перед аналоем свечей в блеске косых солнечных лучей похож был на бутафорский.

Сановники под гул голосов и шарканье ног заняли свои места впереди сомкнутых офицерских рядов.

Сухомлинов стоял так, что виден был Игорю в профиль. Задрав русую свою бородку и поигрывая по-корнетски правой ногой в красных чикчирах, он кричал что-то через головы стоявших с ним рядом красавцу генерал-адъютанту с серебряной, стриженной бобриком головой и с лицом, таким молодым и румяным, что если бы не седина и не генерал-адъютантские вензеля, его можно было бы принять за юного поручика. Генерал-адъютант этот, которого Игорь долгие минуты мучительно не мог припомнить, был Похвистнев, друг отца Игоря, Никанора Ивановича Смолича, и упорный враг Распутина. Теперь он находился в опале. Игорь расслышал его ответ, прозвучавший по-молодому звонко:

— На фронт, на фронт, Владимир Александрович... Одно спасение—на фронт. Хотя бы командиром полка. Подале от этих безобразий!

На него оглянулись несколько лысых и плешивых голов. Сухомлинов рассмеялся, очевидно, желая принять ответ генерала за шутку. В ту же минуту ряды дрогнули, раздались еще шире, церемониймейстеры, похожие на японских, из слоновой кости и золота, аистов, стукнули об пол своими тонкими и длинными, как клювы, тростями, камер-пажи у дверей, ведущих в Концертный зал окаменели, и все стихло.

По ногам пошли мурашки, ворот у левого уха мучительно

стал щекотать шею; рука невольно потянулась потереть щекотное место: у Игоря была эта нервозная привычка. Он покосился на Голубцова. Тот стоял так прямо и так плотно, что казалось, прирос к полу. По виску и подбородку его медленно ползли капли пота.

Теперь в наступившей тишине явственно можно было услышать гул толпы на Дворцовой площади. Он проникал сквозь закрытые окна, как ветер, порывами и внезапно, после долгой паузы, ударялся в стекла густым срывающимся, настойчивым «ура».

Нервная волна пошла по рядам ожидавших, все лица повернулись в сторону дверей.

В конце блестящей дороги Игорь увидел размеренно двигающиеся ряды гоффурьеров, камерфурьеров, камер-юнкеров и камергеров, идущих по-двое в ряд. Шествие растянутой чешуйчатой змеей двигалось по малахитовой гостиной и, то подбираясь, то вытягиваясь, шурша и колеблясь, миновало Концертный зал, вступило в Николаевский и, раскалываясь на-двое, обходя аналой, сливалось с рядами ожидающих.

За камергерами прошли вторые чины высочайшего двора: обер-церемониймейстер, обер-егермейстер и наконец один— с гофмаршальским жезлом—граф Бенкендорф. Сделав несколько шагов по направлению к аналою, гофмаршал повернулся к нему вполоборота и, отступая спиною, освободил место подошедшим вслед за ним царю, царице и королеве эллинов.

За царем и царицей подходили и останавливались—министр двора Фредерикс, дворцовый комендант Воейков, дежурный флигель-адъютант Веселкин, гофмейстер императрицы граф Апраксин, великие княжны дочери и великие князья с женами, среди которых на голову выше и знакомей всех был Николай Николаевич. Но в ту минуту острого напряжения и нервной приподнятости Игорь видел только царя, смотрел только на него.

—

Царь был в мундире лейб-гвардии Преображенского полка и андреевской голубой ленте.

Подойдя к аналою, царь поднял руку и перекрестился. Взмах руки его был тороплив и связан, точно он готовился авно и наконец с трудом решился поднять руку, но, раз

решившись, тотчас же овладел собою и уже спокойно, по-детски старательно, сложив пальцы, равномерно приложил их к плечам и груди. Голова его с плоским и тоже по-детски беспомощным затылком качнулась вперед. Он переступил с ноги на ногу, прижал к поясу согнутый локоть левой руки, в которой держал фуражку так, точно боялся, что ее у него отнимут, и поднял глаза.

Взгляд его больших оловянных глаз, оттененных усталой желтизной век, был неуловим и безразличен. Игорь стиснул зубы, перестал дышать. Необъяснимая внезапная тоска, жалость к себе, к царю, неведомо откуда пришедшие, сжали ему горло.

«Я должен... я должен...»—прошла где-то в сознании беспомощная мысль. Вслед за нею, перебивая ее, возвращая к действительности, к людям, к солнечному дню, донесся до слуха Игоря гудящий голос царского духовника, отца Васильева:

— «... объявляем всем верным нашим подданным... Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со славянскими народами...»

Игорь вздохнул глубоко, шевельнул плечами и жадно стал слушать.

— «Презрев уступчивый и миролюбивый ответ сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России,—читал отец Васильев, держа обеими руками перед наперсным крестом колеблющийся свиток манифеста,— Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда...»

«Ну, ну! Вот, вот...—мысленно подталкивал и понукал его Игорь.—Ах, мерзавцы какие!.. Ну!.. Значит, это все правда: и я тут стою и вижу царя, и слышу манифест о войне... и война будет... война. Вот уже война. Это же такое, такое... И я участник... я ...»

— «Дан в Санкт-Петербурге в двадцатый день июля, в лето от рождества Христова тысяча девятьсот четырнадцатое»,—читал отец Васильев заключительные строки, с видимым удовольствием перекатывая «эр» и прислушиваясь к ответному нежному звяку хрустальных подвесок на люстрах,—царствия же нашего,—певуче, одним придыханьем закончил он,—в двадцатое».

Игорь открыл рот, поймал воздух, поперхнулся, со слезами на длинных ресницах глянул на Голубцова. Голуб-

цов, мокрый от утомления и жары, но счастливый, в свой черед покосился на Игоря. Они только переглянулись, но поняли друг друга и подумали одинаково: «Теперь дело за нами. Мы будем творить историю. Вот мы какие!..»

«В двадцатый день июля, в лето от рождества Христова тысяча девятьсот четырнадцатое»,—повторил, торжествуя, Игорь.

И то, что царь в форме Преображенского полка, того самого, первого в империи полка Петра Великого, из двух вакансий которого одна досталась ему, Игорю, и то, что, оглядываясь счастливыми глазами, он среди преображенцев увидел и поймал обращенную к себе улыбку Коновницына, друга-приятеля, еще в прошлом году такого же пажа, как и он сам, и то, что теперь к нему вернулась способность видеть окружающее и он приметил среди блеска и золота еще много знакомых лиц,—наполнило Игоря таким непередаваемо легким ощущением молодости, силы, здоровья, безграничной веры в себя и свое отличное от других необычайное будущее, что ему показалось, что он весь светится, весь полон солнца, вот-вот оторвется от земли и полетит вместе с пылинками, пляшущими в солнечных лучах, над всем этим сверхъестественным блеском.

«Победы благоверному императору нашему...»—грохотал хор.

«Победы,—едва сдерживаясь, чтобы не петь самому, шептал Игорь, думая:—Об этом и просить не нужно... победа с нами, раз мы все...»

Духовник отец Васильев взмахнул крестом. Царь поднял плечи, шагнув к аналою, приложился к кресту, к иконам и, неловко, торопливо попятившись, уступил место Александре Федоровне.

Только сейчас Игорь разглядел царицу. До этого он смотрел на нее и не видел, не замечал. Прямая, в белом длинном кружевном платье, с очень красным, напряженно сосредоточенным, застывшим лицом, она медленно, не спеша, перекрестилась и внезапно, порывисто склонившись, припала к протянутому ей отцом Васильевым кресту.

Прошло короткое мгновенье, но Игорю почудилось, что эта большая белая женщина никогда не оторвется от руки духовника. Когда она выпрямилась, лицо ее было смертельно бледно, глаза и губы напухли.

«Вот она какая!—подумал Игорь, тотчас же помимо

воли припоминая все, что слышал о ней нехорошего и что сам говорил злого о ее болезнях, нетерпимости, высокомерии, о том, что она не любит России и всего русского, что она заядлая немка, злой демон государя, любовница грязного мужика:—Вот она какая!.. Но ведь она царица... Как же так? Нет, нет, не может этого быть!..»

Он снова взглянул на нее. Она стояла теперь рядом с царем, попрежнему монументальная, замкнутая, с красными пятнами на полных щеках, с тяжелым подбородком, с отчужденно и зло сжатыми, побелевшими губами.

Смущенно улыбаясь, слегка подталкивая друг друга, суетясь, подходили к аналою Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, в одинаковых белых платьях, как те фигурки, что вырезают сразу дюжинами из бумаги, на расстоянии одинаково хорошенькие, смешливые, по-детски взволнованные и неловкие. Они на время рассеяли приподнято-торжественное настроение зала, внесли в него что-то очень домашнее и веселое. Зашаркали ноги, прошел по рядам приглушенный говорок. Игорь вспомнил о прыщике на носу, где-то в стороне, как из забытого давнего, но милого сна, выплыли мечты и желания вчерашней ночи, сегодняшнего утра, свежести и запаха воды, летнего солнца. Неужели все это существует в яви и еще много впереди таких дней?

Игорь незаметно пошевелил отекшими ногами, дунул себе на кончик носа, взглянул на великих княжен. Ему была видна только Анастасия. Она, улыбаясь, смотрела в ту сторону, где стоял Игорь, и слегка кивала головой.

«Ну, конечно, сейчас увидит прыщик. Скандал!»— краснея, всполошился Игорь.

Теперь царь стоял один, в нескольких шагах впереди своей семьи, на блестящих ромбах паркета,—один, видный отовсюду, под взглядами тысячной блестящей толпы придворных и офицерства,—маленький под огромным потолком и тяжелой пышностью свисающих над ним люстр, лицом к лицу с классическим своим прадедом Николаем Первым, холодно улыбавшимся ему с темного холста.

«Как Гулливер среди великанов»,—внезапно подумалось Игорю. Зябливый холодок прошел по спине, но он тотчас же отогнал эту оскорбляющую его и царя мысль.

Перемогая робость, всегда связывавшую его движения

в торжественных случаях, царь переступил с ноги на ногу, дернул плечом, точно пытаясь скинуть с него давящую тяжесть чьей-то неумолимой ладони, поднес было руку к усам тем характерным движением среднего и указательного пальцев, каким он в минуты нерешительности разглаживал усы, но тотчас же отдернул руку и заговорил.

Глаза его, искавшие что-то перед собою, остановились и успокоились на избранной точке, где-то поверх голов. Голос прозвучал тускло.

— Со спокойствием и достоинством встретила наша великая матушка Русь известие об объявлении нам войны,— говорил царь, точно читая по записке, ровно, не повышая и не понижая голоса.—Убежден, что с таким же чувством спокойствия мы доведем войну, какая бы она ни была, до конца...

Тут по движению шеи и по наступившей паузе Игорь догадался, что царь от волнения проглотил слюну, и тотчас же, сам заражаясь, сделал то же.

— Я здесь торжественно заявляю,—продолжал царь; голос его зазвенел, слово «торжественно» вышло картаво и певуче,—что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей. И к вам,—затылок царя мотнулся назад,—собранным здесь представителям дорогих мне войск гвардии и Петербургского военного округа, в вашем лице обращаюсь ко всей единодушной, крепкой, как стена гранитная, армии моей и благословляю на труд ратный...

При последних словах весь зал рухнул на колени. Только царь, его семья, его свита и караул продолжали стоять.

Игорь увидел перед собою длинные ряды остриженных и лысых голов, серебряных и золотых погон, согнутых спин, открытых ртов, кричавших «ура».

Царь стесненно кланялся во все стороны. Крестьянская, табачная бородка его распушилась, нос и глаза покраснели. «Ура» смешалось с гимном. Эхо неслось по залам, отскакивая от стен, грохотало в верхнем ярусе окон, перекидывалось на площадь, где все плотнели любопытные и возбужденные толпы.

От утомления и нервного напряжения у Игоря дрожали мускулы икр, пятки горели так, точно их прижгли каленым железом. Он шатался. Малиновое облако прошло перед глазами. Он открыл рот, глотнул горячий, дрожащий от звуков воздух.

«Что со мною? Я сейчас упаду...—мелькнула испуганная мысль.—Как же так?... В такую минуту!..»

Царское шествие удалялось во внутренние покои. Ему вслед все яростней неслись последние такты «Боже, царя храни». Но перебивая их, как скрип железной втулки, вырвался резкий, несгибающийся голос Николая Николаевича.

— А главнокомандующим назначен Фан-дер-Флит...

Издали баронесса фон-Флешше поражала своей моложавостью, несмотря на то, что давно уже перешла бальзаковский возраст.

Она была мала ростом, очень худа, но сложена пропорционально и одета в такое путаное, с бесчисленным множеством складочек и кружев светло-зеленое платье, что худоба ее совершенно скрадывалась. Глаза не оставляли любезного безразличного выражения, смотрели умно. Она скалила мелкие, голубоватые, ровные зубы в светской улыбке, за которой проглядывало лукавое недоверие и усмешка.

Диван, на котором она сидела, стоял почему-то посреди гостиной, спинкой к окнам. Тут же стояли два кресла и пуф.

В одном из кресел сидел большой, плотный, повидимому очень здоровый и жизнерадостный, старик в вицмундире, украшенном золотыми лаврами. Он смотрел на баронессу близорукими веселыми глазами. На щеках его, опушенных седыми холеными баками, играл румянец. Это был хорошо знакомый Константину Смоличу гофмейстер Борис Владимирович Штюрмер.

На пуфе против дивана, спиною к входным дверям, поместился маленький, в щегольском летнем костюме, начисто выбритый—без усов и бороды—незнакомец. Все у этого человека было маленькое, выхоленное, складно пригнанное. Умные, красивые агатовые глаза хитро и быстро переходили с предмета на предмет. Темные волосы с безукоризненным пробором были тронуты сединой на приглаженных висках. Крупный нос и твердый подбородок, с глубокой ямкой посредине, придавали слишком маленькому для мужчины лицу запоминающуюся выразительность.

Когда Константин Никанорович вошел в гостиную, Штюрмер продолжал начатый незадолго разговор.

Глубоко уйдя в кресло, закинув ногу на ногу, устроив-

шись так удобно и непринужденно, как только сидят свои, близкие дому люди, он играл одной рукой кистью с угла подушки, лежавшей у подобранных на диван ног хозяйки, другой поглаживал седой бакен.

— Во всяком случае все это носило весьма трогательный, чрезвычайно верноподданный характер,—говорил он приятным баском с тем явно выраженным немецким акцентом, который последнее время считался признаком высокого бюрократического либерализма.—Наш папа-премьер со слезами на глазах просил его величество не покидать столицы. Он говорил об опасности, угрожающей государству при отсутствии главы его в центре страны. Речь была эмувантна[1] сверх меры. Кривошеин присоединил к ней свои доводы. А Щегловитов—вы его себе представляете с его видом добросовестного бульдога—сослался даже на Петра Великого и обстановку Прутского похода того времени... Государь был подавлен и сражен. Особенно, когда наш очаровательный и милейший Владимир Александрович[2]...

— Ah, non! Не говорите мне про него. Он слеп, слеп. Положительно слеп! С этой своей влюбленностью он не замечает того, что делается у него под носом,—вскрикнула баронесса и тотчас же, подняв глаза и увидя входившего Смолича, дружественным, укоризненным тоном сказала:— И вам не стыдно, Константин Никанорович! Заставлять нас так долго ждать себя.

Склонившись над нею, целуя ее детскую руку, Смолич ответил:

— Вините в этом не меня, дорогая баронесса, а верноподданные чувства народа. Они залили все улицы. Их выраженью нет предела. Я потрясен.

— Неужели такой энтузиазм?

— Чрезвычайный!

Константин Никанорович дружески и вместе почтительно пожал руку старику и повернулся к вставшему ему навстречу незнакомцу. Чуть приподняв бровь, Смолич оглядел его с внимательным недоуменьем.

Незнакомец встретил его взгляд весело и уверенно.

— Дымша, Иван Федорович,—охотно и весело, все не сводя своих черных и влажных, как чернослив, глаз с лица

---

[1] Волнующая.
[2] Военный министр Сухомлинов.

Смолича, сказал он.—Я не был знаком с Константином Никаноровичем, и все же хорошо его знаю.

— Вот как?—удерживая свою руку в крепкой, сухой маленькой ладони незнакомца, внимательно приглядываясь к нему, спросил Смолич.—Каким образом?

— Я знаю всю вашу семью и помню еще с детства вашу матушку, Веру Владимировну... Мы с ней в родстве.

— Даже так?

Глаза Дымши заиграли, он выдержал паузу:

— Вам разве ничего не говорит моя фамилия?

— Позвольте...—Константин Никанорович подобрал губы, припоминая и видимо не желая припомнить.

Баронесса смотрела на них с хитренькой, выжидающей улыбкой.

— Я вам напомню,—все так же весело, нисколько не смущаясь забывчивости Смолича, сказал Иван Федорович.—Елизавета Яковлевна Тулубьева, матушка Веры Владимировны, а ваша бабушка, вторично вышла замуж за полковника Дымшу. Я—ее сын от этого брака.

— Позвольте,—опять повторил Смолич, морщась и стараясь придать своему голосу возможную мягкость,—таким образом вы приходитесь братом моей матери...

— А вам—дядюшкой,—смеясь и как бы приглашая всех посмеяться с ним такой странной игре случая, подхватил Дымша.

— Enfin vous voilà[1]—улыбаясь, воскликнула баронесса.—Я думала, что ваши изыскания заведут вас в дебри родословной. Вы видите, Борис Владимирович,—обратилась она к старику, смотревшему на Ивана Федоровича с явным восхищением,—мы en famille[2], и нам нечего скрываться. Итак, из ваших слов я поняла, что nos affaires[3] идут под гору и можно ждать приятных сюрпризов от черногорок[4]...

— Если не принять экстренных мер,—разводя руками и вытягивая вперед шею, ответил Борис Владимирович.—Но нужно помнить, что согласие государя на назначение Николая Николаевича верховным вынужденное. Он нико-

---

[1] Наконец вы договорились.

[2] В тесной семейной компании.

[3] Наши дела.

[4] Дочери Николая Черногорского; из них одна—жена Николая Николаевича.

гда не откажется выслушать того, кто... Во всяком случае я бы очень рекомендовал вам, дорогая Марья Карловна, передать Анне Александровне[1], что мы все возмущены поведением министров и молим бога, чтобы он дал его величеству силы...

Отойдя в сторону, Константин Никанорович говорил Дымше с подчеркнутой доверительностью:

— Надеюсь, Иван Федорович, что мы, несмотря на нашу родственную связь,—здесь Смолич поднял брови и пошевелил юмористически ноздрями,—кстати, весьма запутанную...

— Ну, еще бы, Константин Никанорович!—в тон ему понимающе подхватил Дымша и тут же добавил по-французски, слегка грасируя, с тем особым уличным парижским акцентом, с каким говорят посетители монмартрских кабачков:—А, ба, конечно же мы не станем считаться старшинством, когда дело дойдет до подвязки новобрачной! Здесь каждый должен рассчитывать на свою ловкость. Как вам известно, я нисколько не торопился обзавестись родословной и тем паче устраиваться в семейном кругу и разыскивать своих племянников. Такая неосторожность весьма подорвала бы мою репутацию у прекрасного пола, подчеркнув мою старческую рассеянность. Не правда ли?

Здесь Смолич попытался вставить слово, но Иван Федорович продолжал еще веселее:

— И если я позволил себе при первой нашей встрече, и уверяю вас—случайной для меня, посчитаться с вами родством, то только потому, что, как мне кажется, здесь все—свои люди...—Он подчеркнул последние два слова.— К тому же, от Бориса Владимировича у меня нет секретов, а он так лестно отзывался о вас.

— Вы давно знакомы с Борисом Владимировичем?

— Не так давно, чтобы надоесть друг другу, и не так мало, чтобы не быть откровенными,—все так же играя глазами, с веселой, слишком обнаженной, как показалось Смоличу, улыбкой ответил Дымша.—Во всяком случае,—добавил он по-русски,—его высокопревосходительство мне доверяет... Последнее время он очень заинтересован Григорием Ефимовичем, и надеюсь, что встреча их, которую я уже подготовил, принесет желанные результаты...

---

[1] Вырубова, фрейлина.

Что-то в Дымше, несмотря на его безупречный костюм, французский язык, близость к гофмейстеру Штюрмеру, на его очевидное знание света и закулисных отношений, Смоличу казалось подозрительным. Он старался припомнить что-нибудь из его прошлого, но тщетно. О Дымше никогда не вспоминали в тулубьевской семье. Налет авантюризма, подозрительного лоска, какой приобретается не путем навыка, а умением приспособляться к любой обстановке, чувствовался в том, с какой подчеркнутой развязностью Дымша держал себя, точно бы давал понять, что его обязаны принимать всюду, если не как равного, то во всяком случае как нужного и, пожалуй, опасного человека.

Подозрительными показались Смоличу даже запонки Дымши, выглядывавшие из манжет его рубашки. Человек, щепетильно охраняющий вкусы и взгляды своего круга, Смолич не терпел ничего, что выпирало из установленных этим кругом признаков вкуса и такта, что претендовало на оригинальность. Запонки Дымши сказали ему больше, чем самая манера выражаться и весь облик Ивана Федоровича: это были запонки parvenu[1].

После обеда, когда все снова перешли в маленькую гостиную пить кофе и гофмейстер попросил разрешения пройти в кабинет, чтобы навестить, по его выражению, «страждущего друга», Константин Никанорович собрался уходить.

Вечер был окончательно испорчен. Дымша говорил не умолкая и, очевидно, решил сидеть у баронессы елико возможно дольше. Он каламбурил, пускался в воспоминания, делился своими впечатлениями о крупных европейских деятелях, с которыми, по его словам, был знаком, рассказал несколько новых политических анекдотов, потом перешел на описание своей коллекции фарфоровых кукол и кстати сообщил историю своих запонок, купленных им будто бы по случаю у одного антиквара, рекомендованного ему Францем-Фердинандом, тоже большим любителем старины.

— Собственно, на этой почве мне и удалось с ним столкнуться, — заметил мимоходом Дымша.

Не в силах больше сдерживать своего раздражения и вместе с тем понимая, что оно не имеет разумного объясне-

[1] Выскочки.

ния, становится неприличным и может быть замечено Дымшей, с которым обострять отношения было бы опрометчиво, Константин Никанорович решительно поднялся с места.

— К сожалению, баронесса,—начал было он,—я вынужден...

Ему не дали договорить. Одновременно и поддразнивая и убеждая, глаза баронессы с невозмутимой ясностью остановились на нем.

— Нет, нет. Я вас не отпускаю,—сказала она с почти мужской твердостью,—мне необходима ваша консультация. Больной,—она быстро глянула в сторону Дымши и улыбнулась ему, как сообщнику,—в слишком тяжелом положении. Нужны решительные действия. Иван Федорович любезно согласился на приглашение Бориса Владимировича посетить меня для того, чтобы, как это говорят, поставить нас в известность—pour nous renseigner[1] относительно взгляда на события нашего дорогого д р у г а... Иван Федорович, прошу вас, говорите!—и тотчас в сторону Смолича:—Сядьте!..

Константин Никанорович молча повиновался. Дымша придвинул пуф ближе к дивану.

— Вы можете быть вполне откровенны,—снова обратилась к нему баронесса:—Константин Никанорович—наш общий с Борисом Владимировичем друг. К тому же...—она улыбнулась поддразнивающее в сторону Смолича,—vous êtes parents[2].

— О, я нисколько не сомневаюсь...

Дымша с кошачьей легкостью склонился и, поймав лежащую на подушке руку баронессы, поцеловал ее.

— Я должен благодарить вас, баронесса, за оказанное доверие...

В открытые окна несся вечерний стук колес, радостный трезвон колоколов, гуденье трамваев. Едва ощутимое веянье наполнило комнату запахами улицы—разогретого асфальта, бензина, свежего лошадиного помета, речной прели. В розовом закате вспыхивали волосы баронессы, попрежнему сидевшей спиною к окнам. Лицо ее было видно смутно. Профиль Дымши с его крупным носом и раздвоенным подбородком казался теперь значительным и строгим, сумерки скрадывали очертание его женственных губ и мягкую лукавость глаз.

---

[1] Чтобы нас осведомить.
[2] Вы родственники.

6*

«Ну что ж, послушаем, что еще он соврет нам,—думал Смолич, усаживаясь в кресло.—Одно неоспоримо—этот субъект пойдет далеко».

— Излишняя скромность, баронесса, равносильна самомнению,—начал Дымша, мгновенно меняя тон и выражение лица: глаза его, до этого восхищенно смотревшие на хозяйку, стали остры и цепки, как у рыси.—Поэтому я не буду скрывать от вас, что мои отношения с Григорием Ефимовичем можно назвать не только дружескими, но и сердечными. Должен оговориться: до знакомства с ним я был настроен более чем отрицательно и к его личности, и к его деятельности. Но уже со второй встречи я понял и оценил этого замечательного человека...

— О, вы можете не говорить,—перебила Ивана Федоровича баронесса:—мы все преклоняемся перед его умом.

— Я нисколько не сомневался,—все так же серьезно продолжал Дымша, покосившись на Константина Никаноровича,—и если я заговорил об этом, то только для того, чтобы вам стало ясно мое отношение к старцу.—Он сделал маленькую паузу, как бы проверяя, достаточно ли его поняли...—и тот метод, который я применяю в отношениях с ним... Должен заметить,—еще более конфиденциально и деловито заговорил Иван Федорович,—что только тогда возможны ожидаемые результаты в отношениях с людьми, а особенно такими, как Григорий Ефимович, когда учтешь до конца их основное качество. Вот почему я заговорил об уме старца. Многие в общении с ним пренебрегают этим. Им кажется, что раз он мужик, хлыст, развратник—passez-moi le mot! [1]—значит, его легко провести, поддакивая ему, угождая, потакая его слабостям, превознося его. Это жесточайшая ошибка. Ошибка, вызванная ложным представлением о нем. Нужно помнить: Григорий Ефимович прежде всего неоспоримо умен. Он прекрасно знает свои слабости и играет ими так же точно, как он играет на слабостях других. Он чуток, как ребенок, который всегда заметит сюсюканье в обращении с ним. Над таким человеком он чувствует свое превосходство и седлает его.

Иван Федорович смолк. Глаза его снова покрылись влагой.

---

[1] Извините мне это слово!

— Я не утомил вас, баронесса, этим невольным экскурсом в область психологии?—спросил он со своей лукавой, кошачьей улыбкой.

— О, нисколько! Это так интересно.

— К сожалению,—продолжал Дымша,—или к счастью,—он опять улыбнулся,—большинство из тех, кто подходит к старцу с желаньем попользоваться им и не учитывает его основного качества, оказывается в конечном счете паяцем, которого Григорий Ефимович дергает за веревочку... Мне удалось—и не скрою от вас, я ставлю это себе в заслугу,—тотчас же найти в старце главное, что возвысило его,—его ум. Я человек трезвого взгляда на вещи. Я не мистик, не изувер и вместе с тем не так наивен, чтобы думать, что проворство рук не есть вместе с тем и проворство ума... Учтя это, я заговорил с Григорием Ефимовичем тем языком, какого он заслуживает. Сначала это его удивило от непривычки, потом польстило, и наконец он понял, что его оценили по заслугам,—и доверился мне...

Дымша снова замолк, на этот раз оборотившись к Смоличу и скрещивая с ним свой острый, так часто скрывающийся в томной влаге взгляд.

«Теперь ты видишь, что без меня тебе не обойтись»,—так понял этот взгляд Константин Никанорович и еще больше подобрался.

— Говорить с Григорием Ефимовичем—истинное удовольствие,—продолжал Дымша,—конечно, только при таких отношениях, как у меня с ним... Такое же удовольствие, как играть в шахматы, если умеешь играть.

Иван Федорович сверкнул зубами и, вынув портсигар—старинную лукутинскую расписную коробку,—попросил разрешения закурить.

Константин Никанорович заметил, стараясь придать своему голосу обычную учтивость:

— Не спорю: все, что вы изволили сказать, очень тонко. Но мне кажется, что, потакая слабостям человека, мы приобретаем его доверенность и достигаем большего успеха.

Дымша хлопнул крышкой коробочки, постучал по ней отточенными длинными ногтями и, поигрывая ноздрями своего характерного носа, переводя увлажнившиеся глаза со Смолича на баронессу, с прыгающей игривой улыбкой на девических, свежих, четко вырезанных и точно обнаженных губах ответил:

— Но разве у умного человека ум не является его единственной и самой чувствительной слабостью?

Баронесса отшвырнула от себя одну из подушек. Она оскалила зубы и, подавшись вперед, воскликнула:

— Mais c'est ravissant![1]

И тотчас же, все более заинтересованная, склонившись к Дымше, возбужденно глядя на него, торопливо заговорила:

— Итак, играя на этой слабости, вы можете быть вполне уверены, что с вами откровенны? Вы уверены, что никакие другие влияния не перейдут вам дорогу? Что вы сумеете вовремя их обезвредить?

— Но, баронесса, я уже сказал, что игра в шахматы только тогда дает удовлетворение, когда умеешь играть.

— О, вы умеете играть, я не сомневаюсь,—все так же быстро и возбужденно перебила баронесса,—но в таком случае что же вы находите нужным делать сейчас? Теперь, когда события ставят нас... я хотела сказать—ставят страну под угрозу диктатуры военной партии; когда с одной стороны—великий князь, с другой—Родзянко и Гучковы явно стремятся умалить престиж нашего государя; когда все люди, верные ему,—или в загоне и не имеют влияния, или, как Сухомлинов—этот амур, у которого вместо крылышек растут рога,—сами идут на удочку... и будут пойманы, я больше чем уверена... погибнут и погубят других... Кстати, вы знаете, что Елизавета Федоровна предупреждала государыню о подозрительной роли Сухомлинова?

— Да, как же, я говорил об этом с Григорием Ефимовичем. Но он мне ответил очень резонно: «Пожертвовать дураком—умных приберечь»... Как вам нравится такой афоризм?

Дымша весело и искренно рассмеялся. Баронесса, несмотря на свое возбуждение, вторила его смеху. Смолич улыбнулся. С каждой фразой Дымши в нем подымалось все большее против него раздражение и вместе все бо́льшая изумленная настороженность. Он досадовал на баронессу и восхищался ею.

«Экая все-таки умница!—думал он.—Как она умеет подбирать людей!..»

Дымша продолжал:

— Что же касается вашего сакраментального вопроса:

---

[1] Но это восхитительно!

как быть?—мне думается одно: ни предотвратить, ни изменить ход событий в настоящее время нельзя. Но нужно помнить: нам необходимы свои люди (Дымша, делая ударение на этих словах, дружески посмотрел на Смолича), чтобы ослабить удар и, когда это представится возможным, повернуть руль... Вы знаете, как это говорят: «Щи будут готовы—возьмемся за ложки».

В дверях раздались тяжелые, размеренные шаги. Говорившие оглянулись. Вошел гофмейстер.

— Ах, баронесса,—с порога закричал он,—как трудно в наше время обладать таким благородным сердцем, каким обладает барон! Он растерзан, он подавлен всем, что сейчас происходит во дворце. Он мне рассказывал вещи... Впрочем, для вас это не ново... Я понимаю причину его болезни. Представьте себе, оказывается, сегодня вся эта клика во главе с Бенкендорфом настаивала на том, чтобы государь не выходил к своему народу, кричавшему на площади «ура». Они уверяли, что можно опасаться покушения... Вы понимаете? Вы понимаете—с какой целью?

Штюрмер многозначительно оглядел всех своими близорукими глазами. Он подошел к баронессе и, целуя ей поочередно обе руки, стал прощаться.

— В такое время,—говорил он,—особенно радостно сознание, что ты не один, что у тебя есть такой верный, такой очаровательный друг, как вы, баронесса...

Вслед за гофмейстером поднялись Дымша и Смолич.

— Я надеюсь, вы у меня не последний раз?—спросила баронесса, протягивая руку Ивану Федоровичу.

Она смотрела на него с благосклонной светской улыбкой, за которой чувствовалось настойчивое требование.

— Я в полном вашем распоряжении, баронесса,—ответил Дымша с искренней готовностью,—тем более, что у вас мне впервые удалось встретиться с моим (он сделал паузу)... с моим parent[1], с которым я счастлив был познакомиться.

Он обернулся к Смоличу, раскланиваясь. Константин Никанорович собрался было сказать, что он также собирается уйти, но тотчас же поймал взгляд баронессы, удерживающий его, и проговорил с изысканной любезностью:

— Мне весьма приятно...

---

[1] Родственником.

Константин Никанорович нервно прошелся по комнате. В открытое окно слышно было, как загудела и рванулась машина Штюрмера. Баронесса, все так же сидя в глубине дивана, внимательно и молча следила за Смоличем.

— Что с вами сегодня? Я вас не узнаю.

Смолич остановился, пытаясь казаться безразличным.

— Нужно сознаться, я сам не узнаю себя,—ответил он после минутного колебания.—Меня возмутил этот тип...

— Дымша?

— Да. Он держит себя непозволительно нагло. Откуда Борис Владимирович раскопал его?

— На этот раз Борис Владимирович поступил умно,— возразила баронесса:—Дымша очень и очень полезный человек. Он нужен не только Штюрмеру, но и тебе. Ты не согласен?

Константин Никанорович молча сел в кресло, угрюмо глядя в сторону.

Баронесса протянула к нему руку.

— Сядь сюда, ближе!. Ты недоволен, потому что чувствуешь себя неправым. Тебе не нравится, что он оказался твоим родственником.

— Какой вздор!

— Нет, это так,—настойчиво продолжала баронесса; она потянула Смолича за рукав, принуждая его сесть рядом на диване.—Но будем благоразумны. Дымша настолько умен, что никогда не станет афишировать свое родство с тобою. Это не в его интересах. К тому же он так очарователен...

Константин Никанорович пожал плечами.

— Умен—да, пожалуй, но очарователен...—процедил он пренебрежительно.

Баронесса с неожиданной живостью приподнялась на колени, положив обе руки на спинку дивана и глядя оживленно на Смолича. В сумерках ее лицо, утратив свое по-мужски настороженное выражение, похорошело.

— Ты ревнуешь?—поддразнивающе, счастливо спросила она.

— Что за дикая мысль!

— Тогда ты должен признать и второе качество.

Константин Никанорович оглянулся и, чуть отодвинувшись от нее, ответил небрежно:

— Если хочешь... Я мало компетентен в этом... Но всетаки, кто же он такой?

— А, это целая история!—все так же оживленно, не замечая равнодушия, торопливо заговорила баронесса.

От всей ее маленькой костлявой фигурки веяло возбуждением. До Смолича долетало ее сухое дыханье—запах приторных духов, душный горьковатый запах чувственной, увядающей женщины.

— Это целая история,—повторила она,—и весьма поучительная. Настоящий Рокамболь... Если тебе не скучно, я могу рассказать. Ты не торопишься?

Она испуганно, жадно и жалко взглянула на Смолича, пытаясь в полумраке разглядеть выражение его лица.

— Вот там папиросы.—Она коснулась его плеча, кивнула на столик у дивана.—Нет, нет... вот в той коробке. Кури и дай мне.

— Но тебе нельзя!

— Пустяки! Одну папироску... Эти доктора... они меня изведут окончательно. Я бросила все лекарства и чувствую себя превосходно... Так слушай. Этот молодой человек... Хотя он только выглядит таким молодым: ему столько же лет, сколько и мне...—Она улыбнулась, но улыбка вышла жалкой.—Ты видишь, как я откровенна с тобой, как доверяю твоей любви!.. Ты это ценишь? Я не скрываю своих лет...—Она все более теряла самообладение, голос ее звучал фальшиво.

Константин Никанорович ответил:

— Ты хочешь сказать, что не скрываешь его лет?

Торопясь, овладевая своим возбуждением и все же не имея сил подавить его, баронесса заговорила:

— Это все равно... Так вот этот Дымша. У него действительно, кажется, весьма темное прошлое. Он служил в Париже у Рачковского, затеял какую-то кляузную историю, его прогнали, но он сумел выпутаться и даже занять еще более ответственное положение в Департаменте полиции. Состоял, кажется, в Риме при папском дворе... что-то в этом роде... оказал услуги. Потом приехал сюда и стал сотрудничать в «Новом времени» и в «Вечорке» у Бориса Суворина. Штюрмер познакомился с ним у генерала Богдановича. Генерал очень ценил его. Иван Федорович помогал ему одно время в его издательских делах и был ярым противником Григория Ефимовича, конечно, не из принципиальных соображений, а потому, что думал выплыть при помощи Богдановича... Но потом оказался ближайшим другом старца,

его правой рукой. Сейчас он усиленно проводит кандидатуру Штюрмера и, я уверена, добьется своего. Аннет уже расспрашивала меня о Борисе Владимировиче: это добрый знак. В свой черед он обещал мне, как только почувствует твердую почву, похлопотать о тебе. Я ему верю... Весной Дымша ездил за границу. Он не очень откровенен, но по всему видно, что у него специальное поручение... по шпионажу. Во всяком случае ему известно многое такое, что дает возможность держать кое-кого в своих руках. Сухомлинова например... Говорю тебе, он очень нужный, очень опасный человек...

— Это все, что тебе известно?

— Кажется, все. О нем говорил подробно Борис Владимирович, но ты понимаешь—его сведения могут быть пристрастны и далеко не полны. Старик явно и неприлично влюблен в Дымшу. В личной жизни, как я узнала от Столыпина[1], Иван Федорович—страстный картежник, банкомет, завсегдатай суворинского кружка, балетоман, коллекционер... и талантливый журналист. Год назад он развелся и женился на актрисе из Александринки—фамилию ее я забыла. Женился по страсти, как говорят, но не прочь поволочиться за женщинами. Живет, конечно, не по средствам, в долгах... Кажется, все... Одним словом, такой же, как вы все,—homme sans foi et sans coeur![2]

— Ради бога, без сопоставлений.

Конечно, баронесса права: Дымшей не следует пренебрегать, тем более вооружать против себя. Смолич хорошо знал ту кухню, в которой приготовляли очередные административные и политические блюда. Человек строгой формы, он никогда не пустился бы на авантюру, но это не мешало ему признавать необходимость существования авантюристов, услугами которых пользоваться должно при соблюдении известных предосторожностей.

Баронесса пыталась в сгущающихся сумерках разглядеть выражение лица своего гостя. Полуоткрыв рот, коротко и учащенно дыша, она напрягала зрение, всем своим телом подавшись вперед, снедаемая нетерпением, ревностью, жадным и голодным желанием.

---

[1] Сотрудник «Нового времени», брат убитого министра.
[2] Человек без принципов и без сердца.

— Ты сердишься? Ты недоволен мною?

Ее губы с трудом шевельнулись. Она торопливо облизала их, чувствуя к самой себе отвращение и не имея сил бороться. Нетерпеливым движением она почти сползла к ногам Константина Никаноровича и схватила его руки. Ладони ее были влажны, неприятно горячи.

— Киса, слушай! В конце концов это невыносимо. Я больше не могу... Мне надоело... надоело... надоело...— Она сжала кулаки.—Дела, бесконечные дела... Я не хочу! Мне нужен ты. Я тебя почти никогда не вижу наедине. Ты всегда занят... Пойми, ты дождешься того, что я наделаю глупостей...

Ее глаза истерически расширились. Дыхание оборвалось. Смолич осторожно сжал ее худые горячие локти.

— Успокойся,—сказал он, внутренно оскорбленный неуместной вспышкой,—у тебя снова жар. Тебе нужно лечь и успокоиться. Завтра у меня перед моим отъездом в Смоленскую губернию мы поговорим об этом...

Его холодный, корректный тон привел ее в бешенство.

Она приблизила свое лицо к самому его лицу, дыша горечью и жаром, но Смолич оставался спокоен. Слегка отводя лицо в сторону, потому что ему было неприятно ее дыхание, он проговорил возможно мягче, но все же с едва скрываемой усмешкой.

— Право, мне казалось, что за три года наших отношений можно было давно определить их характер... и не пытаться находить в них что-либо неожиданное. Мы не дети...

Легкий озноб прошел у нее по затылку. Она услышала звон пробегающего мимо трамвая, почувствовала проникшую в гостиную через открытые окна вечернюю сырость и тотчас же увяла,—ресницы ее стали влажны. Она досадливо зажмурилась и, трезвыми глазами взглянув на Смолича, проговорила:

— Пусти мои руки! Можно подумать, что мы подрались. Я растрепана... Боже мой, до чего это глупо!..

Она подняла руки, поправляя прическу, потом, видимо пытаясь загладить неприятное впечатление и все еще не имея сил противиться своему желанию, схватила Смолича за голову и, сжав его виски жаркими ладонями, притянула к себе и замерла, вдавив свои губы в его лоб, у самых корней волос, пахнущих вежеталем.

Внезапно их облил яркий свет.

Резко дернув головой, Константин Никанорович приподнялся. На пороге гостиной стоял барон в халате, мурмолке и теплых туфлях. Один конец шнура, обвязанный вокруг его костлявых бедер, пышной голубой шелковой кистью волочился по полу. Худое, собранное в продольные желтые складки лицо барона с длинным, тонким кривоватым носом, с реденькими крашеными, выцветшими на концах бачками, с бритой, чрезмерно широкой верхней губой, лежавшей беспомощно на нижней губе, было так растерянно, испуганно и виновато, что Константин Никанорович, несмотря на нелепость положения, невольно усмехнулся краем поджавшихся, готовых к отпору губ.

Большие выцветшие, когда-то красивые глаза барона мигнули и забегали по комнате. Он шаркнул беспомощно туфлями, подался вперед и снова остановился.

— Тебе что-нибудь нужно?—спросила баронесса. Голос ее был спокоен, глаза по-обычному смотрели внимательно и остро.

— Да... я собственно...—почему-то по-французски забормотал барон и сделал несколько шагов в сторону, наступая на волочившийся между ног шнур.—Я прошу извинения... я думал, что ты одна...

— Ты хочешь курить?—все так же невозмутимо прервала его баронесса.—Папиросы вот тут,—она сделала жест рукой, как тогда, когда предлагала папиросы Смоличу,—вот в этой коробке...

Шевеля бровями, похожими на мохнатых зеленых гусениц, что должно было одновременно обозначать улыбку и извинение за свой вид, придерживая на груди отворот халата, барон зашаркал к столику. Константин Никанорович с сдержанной и учтивой улыбкой открыл коробку и протянул ее барону. Тот взял папиросу худыми, морщинистыми, в белых пятнах пальцами, повертел ее, не зная, что с ней делать, и взглянул на Смолича. Рука его старчески подрагивала. Константин Никанорович не спеша зажег спичку.

— Да... вот...—начал барон,—вот какие дела, мой друг!..

Глаза его точно покрылись пленкой. Он пожевал губами, ища и не находя слов. Седые, падающие на глаза брови продолжали шевелиться. Руку с дымящейся папиросой в негнущихся пальцах, расставленных врозь, он держал в уровень своей груди, с тем привычным жестом светского

человека, какой им был усвоен когда-то и какой теперь повторялся им бессознательно. Он растягивал рот в любезную улыбку, принуждая себя говорить:

— Да... вот... нет, нет... пожалуйста, не беспокойтесь...

Последние слова относились к тому, что Смолич дал ему прикурить, и были сказаны со значительным опозданием.

— Да вот, le jeu est fait,[1]—повторил барон.—Война!..

— Vous êtes ridicules, mon cher[2],—глядя в упор на его обнажившийся острый кадык, холодно остановила его баронесса.

Барон дернулся, подобрал губу и тотчас же, утратив свой светский вид, виновато замахал руками; папироса упала на пол. Бормоча извинения, хватаясь за шнур и снова наступая на его конец, он попятился к дверям. На пороге остановился, как бы желая что-то сказать, сгорбился и торопливо вышел.

Константин Никанорович скомкал только что закуренную папиросу и, сдерживая все возрастающее раздражение, обернулся к баронессе.

Она сидела на диване, откинувшись на подушки, и пристально смотрела на него. Лицо ее приняло то самоуверенное, несколько упрямое выражение, какое обычно бывало у нее, когда она вполне владела собою. Смолич хорошо знал это ее выражение и знал, что за ним таится.

— Я удивляюсь вам,—сказал он, делая ударение на каждом слоге:—вы точно не хотите понять, что своей несдержанностью ставите себя и меня...

Она перебила его, смеясь ему в лицо, радуясь его раздражению:

— Нет, вы сегодня воохитительны. Вы очаровательно наивны! Неужели вы думаете, что для него эта идиллическая сцена была неожиданностью? Бросьте! Наши отношения с вами так прочны, что ни в ком не могут вызвать сомнения. Это вас пугает?

Она продолжала смеяться поддразнивающе, удовлетворенно.

Константин Никанорович, бледнея от сдерживаемого желания ее ударить, взял ее руку и, склонясь, пряча глаза, поцеловал дернувшиеся в его ладони ее пальцы.

---

[1] Игра сделана.

[2] Вы смешны (неприличны), мой друг.

— Вы знаете прекрасно, что меня вряд ли что может испугать, баронесса,—сказал он примиряюще,—mais quand même il ne faut pas oublier garder les apparances[1]. Надеюсь, что я встречу вас у себя в другом настроении. Не правда ли?

Не успел Смолич выйти из подъезда особняка фон-Флешше, как тотчас же узнал маленькую щегольскую фигурку Ивана Федоровича. Дымша стоял, опершись на трость, глядя в небо, чуть сдвинув на затылок широкополое канотье. В лицо ему с моря дул мягкий, сыроватый ветерок. Иван Федорович улыбался блаженно.

Смолич едва не смалодушничал: он дернулся было незаметно в обратную сторону, к островам. Но Дымша только и ждал этого,—оглянулся, просиял и, махнув канотье, приветствовал Константина Никаноровича радостным возгласом:

— А вот и вы! Я взял на себя смелость подождать вас, рискуя вызвать ваше неудовольствие и показаться навязчивым. Но согласитесь, у меня есть веский повод, оправдывающий эту навязчивость. Как-никак, неожиданно встретить родственника!..

Дымша говорил быстро, весело, без тени смущения или заигрывания. Он говорил так, как привык говорить в той веселой, беспечной, всегда занятой только собою и своими интересами компании журналистов, картежников, прожигателей жизни, которым нечего скрывать друг от друга своих слабостей. Очевидно, и на жизнь и на взаимоотношения людей Дымша смотрел как на легкую, азартную игру «в железку». Константин Никанорович, поджавший было губы, сдался перед этим жизнерадостным напором.

«Пожалуй, к лучшему,—подумал он:—с глазу на глаз скорее определишь отношения».

— Вы никуда не спешите?—спросил Дымша.

— Нет, никуда особенно.

— В таком случае давайте пройдемтесь. Вечер превосходный. Я люблю Каменноостровский в эту пору, в конце лета... Нет, ничто в мире не сравнится с Петербургом.

Мимо них в сторону Стрелки проносились автомобили,

---

[1] Но все же не следует забывать сохранять хотя бы видимость приличий.

экипажи, лихачи на дутых шинах. Несколько раз Дымша приподнимал канотье, приветствуя кого-то. Он говорил без умолку, называя то ту, то другую громкую фамилию, то тот, то другой фешенебельный курорт или модный европейский кабак. Он знал всю подноготную любого министра, любой кокотки. В гостиной сановника чувствовал себя так же свободно, как и за кулисами театра.

Константин Никанорович приглядывался к нему со все большим любопытством. Здесь, на улице, где за ними никто не наблюдал, Смолич твердо решил воспользоваться случаем, чтобы выяснить, в какой мере его новоявленный дядюшка может быть полезен или опасен. Незаметно он стал наводить Дымшу на тему, особенно его интересующую: о Распутине и возможном назначении Штюрмера. Но Иван Федорович предпочитал болтовню серьезному разговору. Он заговорил о женщинах, как жокей о скаковых лошадях, с жадной страстностью.

— Я глубоко убежден, что самые интересные женщины— актрисы. Путем долгих упражнений они воспитывают в себе те подлинные женские черты, которые почти утрачены женщинами наших гостиных. Я бы назвал, пожалуй, только одну светскую женщину, сохранившую в полной мере эти черты—изящество, вкус, тонкий ум, чувство юмора и коварство...

— Кто же эта женщина?

Дымша взмахнул тростью, лукаво прищурил левый глаз (он у него был—это только сейчас заметил Смолич— с косинкой) и совсем уже по-приятельски воскликнул:

— O-la-là! ne m'en tirez pas le nez![1]. Вы это так же хорошо знаете, как и я. Конечно же наша милейшая баронесса.

Константин Никанорович не успел ни возразить, ни оскорбиться этому тону, ни оценить его по достоинству.

Дымша схватил Смолича за рукав пальто и потянул к себе:

— Смотрите,—сказал он:—какой-то юноша машет вам руками и кричит что-то!

Здоровенный лихач, в парусиновом армяке с серебряным набором, с трудом и видимым желанием щегольнуть резвостью коня сдерживал, туго натянув новые синие вожжи,

[1] Ну-ну, не водите меня за нос.

тяжелого, взмыленного и прядущего ушами каракового орловца. Далеко закидывая передние ноги, орловец пронес пролетку сажени две и остановился. Ухватившись одною рукой за кушак лихача, а другою отчаянно размахивая в воздухе, стоял в пролетке юнкер в летней бескозырке с офицерской кокардой и в распахнутой небрежно накинутой на плечи шинели. Он что-то кричал, напрягая голос, но слов разобрать было нельзя из-за грохота бегущего трамвая.

Константин Никанорович тотчас же узнал Игоря.

— Ты понимаешь, это замечательно!—соскочив с пролетки, волоча за собою полы съезжающей шинели, выкрикивал Игорь.—Замечательно, что я тебя встретил. Ты не можешь себе представить... Я сразу узнал тебя. Вижу— идешь ты. Прямо удивительно!..

— Что же, собственно, удивительного?—подымая брови, невольно улыбаясь разгоряченному, сияющему лицу брата, спросил Константин Никанорович.

— Да вот все это,—продолжал Игорь, захлебываясь словами, не имея сил сдержать все шире расплывающуюся, неопределенно блаженную улыбку:—то, что я опять тебя увидел. Я адски рад, что мы с тобой были вместе там... во дворце. Это же такое событие, такое...—Он рассмеялся, глядя на Дымшу и обращаясь к нему, как к давнему приятелю.—Такое... Ведь правда?

— Конечно, это большое событие,—охотно, с видимым сочувствием ответил Дымша,—особенно для вас, будущего офицера.

— Вот, вот. Это же я и говорю!—подхватил Игорь, любовно и восхищенно переводя глаза с Дымши на брата.— Вы подумайте! Я выхожу в Преображенский и производство состоится на-днях... Представляете себе?

— Все это прекрасно,—сдержанно остановил его Константин Никанорович, заметив, что прохожие начинают оглядываться.—Я очень счастлив за тебя и от души поздравляю. Но все же советовал бы проявлять свои восторги не так экспансивно. Ты можешь нарваться на замечание и испортить себе вечер...—И увидя мгновенно потухшее, растерянное лицо брата, снисходительно добавил:—Ты еще что-нибудь хотел сообщить мне? Я охотно...

Большие карие глаза Игоря из-под нависших ресниц сделались злыми, порыжели, точно в них подлили купоросу; губы покраснели так, будто под ними растеклась кровь; вес-

нушки у крыльев широких ноздрей чуть вздернутого и точно снизу срезанного носа потемнели; у корней рыжеватых волос выступили маленькие капли пота. Игорь сдвинул каблуки, козырнул и, стараясь произносить слова явственно, отрапортовал:

— Никак нет! Сказать более ничего не имею. Счастливо оставаться!

И повернувшись налево кругом, быстрым солдатским шагом прошел к пролетке.

— Однако вы разогорчили бедного юношу,—с улыбкой глядя вслед удаляющемуся пажу, сказал Дымша.—Кто он такой?

— Мой брат,—неохотно ответил раздосадованный Смолич.

— Ваш брат!—подхватил Дымша.—Но если мне не изменяет память, вас было только двое Смоличей: вы и ваша сестра... Кажется, ее звали Наташей. Прехорошенькая, помнится, девочка.

— Да, нас двое,—идя вперед и не глядя на Ивана Федоровича, возразил Константин Никанорович. Он намеренно скупо отвечал на вопросы о своей семье, считая их излишними.—Но это мой брат—сын моего отца от второго брака.

— Очень милый и красивый мальчик.

— Я бы сказал: слишком взбалмошный.

— Очевидно, баловень семьи. Он единственный?

— Нет, их трое: два брата и сестра, все—погодки. Этот самый старший.

— Я помню вашего батюшку Никанора Ивановича... Так кажется? Он был тогда очень красивым, очень элегантным полковником.

— Теперь он генерал-лейтенант.

— Вот как! Боже, как бежит время! Все эти воспоминания милого детства...

Смолич прервал его:

— Сейчас отец командует корпусом в Ковно. Очевидно, он уже выступил в поход.

— Да, да,—продолжал Иван Федорович лирически,—это у нас в крови—le feu dans les venes[1]... Я говорю о тулубьевских отпрысках. И Вера, и я... Я сам женат второй

[1] Огонь в крови.

раз. От первой жены у меня дочь Сонечка, взрослая девушка, выше меня...—Он засмеялся, хитро и быстро глянув на Смолича.—Мне приходится скрывать ее, чтобы казаться моложе. Впрочем, мы все молодо выглядим... А вы женаты?

— К счастью, нет,—сухо оборвал Смолич.

Иван Федорович снова посмотрел на него испытующе, так, точно бы прилаживаясь ухватить его половчее, но ничего не сказал. Потом, приостановясь, весело глядя на идущую мимо роту солдат в полном походном снаряжении, воскликнул, точно отвечая своим мыслям:

— Нет, вы правы. Наши семейные отношения так запутаны, браки так многочисленны и благословенны детьми...

Он оборвал, рассмеялся, легким кошачьим движением подхватил Смолича под локоть и, увлекая его за собою, без всякого перехода добавил:

— А ведь, пожалуй, такие же вот молодчики,—трость его взмахнула по направлению идущих солдат,—уже постреливают где-нибудь на границе. А? Как вам кажется?

— Ах, дурак, ну и дурак!—бормотал Игорь, мчась на своем лихаче дальше.—Ну и дурак какой! Что мне такое пришло в голову? Ну, выпил два бокала на радостях—от этого разве бываешь пьян? Нет, тут просто глупость моя, восторженность: все не могу сдержаться, когда счастлив, все хочу рассказать другим и всегда потом раскаиваюсь... А тут еще перед кем распахнулся? Перед Костей... Его превосходительством, камер-юнкером насандаленным!.. Он же портупея, а не человек. Ну и чорт с ним! Пусть себе презирает меня на здоровье. Мне до него дела нет. Теперь, брат, хитростью и дипломатией и всякой там политикой ничего не сделаешь. Теперь, брат, от нашей смелости, от нашей твердости все зависит. И вообще все это чепуха. Вечер, вечер-то какой!

Игорь глянул на кобальтовую черту взморья, молочно-сиреневую дорогу реки, оливковое руно деревьев, сгрудившихся над водою. Конь весело выщелкивал копытами размашистый бег по деревянному настилу Елагина моста. Несколько гичек, соревнуясь, вынырнули из-под обомшелых ферм. Босоногий мальчишка, сидя верхом на перилах, крикнул им что-то вдогонку и плюнул. На слинявшее небо всходил перевернутый месяц.

«Месяц с левой стороны—к деньгам»,—подумал Игорь и внезапно, давая волю разбежавшимся мыслям, громко продекламировал гумилевские стихи, нивесть откуда пришедшие на память:

> В такие медленные вечера
> Карьером гонят кучера...

И тотчас же оборвал:

«Ну, разве не дурак? Пирамидальный дурак!»

Мысли все не могли утрястись, выныривали глупее одна другой. Слишком день этот был необычен. А тут еще поездка к Сонечке.

Идея этой поездки в Ильин день в Петербург, в Новую Деревню, к цыгану папаше Дмитро, куда должна была собраться Сонечкина компания, пришла в голову Васе Болховинову, другу детства Игоря, Николаевского училища юнкеру, и совершенно изменила намеченный было план свидания с матерью, сестрой Ириной и братом Олегом, живущими в Сестрорецке.

Вот уже год Игорь жил только одним—мечтой о женщине. Его упрямо преследовал неясный и все же обольщающий женский образ. Он был во власти мучительного и вместе невыразимо сладостного чувства, похожего на голод, которое, точно испытывая себя, не смело остановить свой выбор на ком-либо. Поэтому Игорь упорно отказывался от знакомства с Сонечкой. Он знал от товарищей, что она очаровательна, строга и в то же время доступна. Он знал, что эта девушка, принимавшая у себя исключительно состоятельную желторотую молодежь и награждавшая своей любовью только избранных, жившая на счет своих поклонников, так сумела себя повести, что все были от нее без ума и беспрекословно подчинялись ее капризам, подолгу не встречая сочувствия. Попасть в число ее поклонников было трудно. Она знакомилась с разбором. Эта чопорность наряду с беззаботной, ни с чем не считающейся распущенностью неотразимо действовала на всю ее свиту.

Все это знал Игорь и инстинктивно боялся, потому что предчувствовал, что не устоит, влюбится и испытает такое же разочарование, какое испытал, впервые познав женщину.

Но сейчас все сомнения улетучились. Еще никогда Игорь не чувствовал себя таким уверенным.

«Ах, чорт возьми, до чего все это вышло здорово!—

думал он, радуясь и коню, несущему его все так же широкой рысью, и седеющему небу, овевающему прохладой, и зелени дачных садов, мелькающих за рябью деревянных заборов.— Вот бы взять палку да провести ею по этим заборам, как по клавишам. Или большой такой косой скосить, как траву, все деревья... Экая чушь, однако, приходит в голову! Воображаю, как они там все уже перепились. Один Мезенцев чего стоит! А все-таки жаль, если не удалось им захватить Олега. Я его люблю. Я бы ему рассказал о сегодняшнем. Фу, чорт, даже не верится. Маме, конечно, придется выдумать, что нас после дворца задержали в лагерях. Все равно, скоро опять отпуск... Не забыть бы составить список, сколько и чего нужно заказать в «Экономке»[1]. Уймища денег выйдет, я знаю. Никаких экипировочных казенных не хватит. Придется мамахен раскошелиться... Воображаю, Ирина задаваться начнет, когда узнает, что нас производят. Васька Болховинов—улан! Фу ты, ну ты! Еще, пожалуй, поженятся перед отправкой на фронт. Ну, это глупо до чрезвычайности. И вообще, мне кажется, вся эта их любовь котильонного свойства, Иринкины фантазии. Она ведь, я знаю, только себя любит... Не забыть бы папе телеграмму послать. А куда? Он, может быть, уже в Пруссии гуляет. Каково! Командир корпуса! Молодец он у меня. Чего доброго, армию получит. Ух, до чего здорово! Прямо не верю».

Когда Игорь, сунув лихачу одну из двух оставшихся у него золотых пятерок, вошел с крылечка в настежь распахнутые наружные двери одноэтажного домишки, стоявшего одиноко среди пустыря, и, минуя темную прихожую, открыл другую дверь, за которой раздавались перебивающие друг друга голоса и смех, он тотчас же увидел в табачном тумане Васю Болховинова. Весело скользя по ярко, очевидно недавно выкрашенным доскам пола, позванивая необычайно длинными, новейшего фасона, шпорами, Вася вприпрыжку пробежал к пианино, легким, небрежным движением руки подвинтил табуретку, сел на нее, как на коня, верхом и помчался по клавишам в неудержимом, уверенном разбеге сильных пальцев. Пианино было дрянное, исколоченное десятками пьяных рук, и взвыло по-верблюжьи.

---

[1] Экономическое офицерское общество.

Но Вася нисколько не смутился. Окончив бравурный пассаж, он мгновенно всем корпусом обернулся к веселой компании, сидевшей в мреющей глубине комнаты на оттоманке и на полу, оскалил зубы, как цирковый наездник, проделавший замысловатый номер, и крикнул:

— А ну-ка, хором шпарь!

Он заиграл «Пупсика». Несколько срывающихся голосов со старательным воодушевлением подхватили припев:

Пупсик, твои глаза горят,
Пупсик вкусней, чем шоколад...

И тотчас же пение сменилось захлебывающимся, грохочущим смехом молодых здоровых глоток, перебиваемых тоненьким, взвизгивающим, заикающимся женским хохотком. Хохоток этот был так высок и нелеп, что Игорь, все еще никем не замеченный, невольно глянул в ту сторону, откуда он доносился.

В затененном, облачном от папиросного дыма углу на ковре перед оттоманкой Игорь увидел пажа Орбелиани, гардемарина Мезенцева и еще каких-то двух юнкеров, однокашников Болховинова. Все четверо с красными, возбужденными лицами полулежали, кто—прислонившись к оттоманке, кто—подпершись локтем на истертый ковер. Перед ними тут же на ковре стояли недопитые бутылки с коньяком и серебряная пуншевая чаша со скрещенными на ней палашами, на которых лежал наполовину истаявший, коричневый от рома, большой пузырчатый кусок сахару.

Камер-паж Кирилин, сидя спиною к Игорю на коленях, чиркал спичками, пытаясь зажечь ром. Голубой огонек то вспыхивал, растекаясь по клинку палаша, то потухал.

На оттоманке, побалтывая над пуншевой чашей ногой в огненно-красном шелковом чулке, без туфли, сидела широкоглазая девушка, улыбаясь большим яркогубым ртом. Русые волосы ее были причесаны по-старинному, на прямой пробор, с крутыми локонами, падающими на полные, с ямочками щеки. На открытой шее, очень белой и девически нежной, чернела бархатка, придававшая лицу невинное и вместе лукавое, как у котенка, выражение.

Левой рукой сидевшая обхватила шею другой девушки, положившей ей на грудь голову. Девушка эта, тоже русая, упиралась одной ногой в ковер, а коленом другой ноги в край оттоманки, неловко согнувшись, тряслась от хохота всем

своим грузным, плотным, одетым в белое кисейное платье телом. Лицо ее, прижатое рукой подруги к груди, налилось кровью, круглые щеки прыгали, белесые брови над сощуренными от смеха глазами ползали в стороны. Она задыхалась и взвизгивала все пронзительней.

«Вот чучело,—подумал Игорь, все еще не сходя с порога и быстро переводя глаза со смеющейся девушки на ту, что держала ее.—Которая же Сонечка? Ну, конечно, та, что в красном. Рот, рот какой у нее жадный!.. Как у галчонка...»

В ту же минуту Вася снова повернулся лицом к дверям и, увидя Игоря, с воплями восторга кинулся к нему.

В Сестрорецке в тот же вечер учащаяся молодежь устраивала традиционный благотворительный бал в пользу недостаточных студентов. Танцовать должны были на открытом воздухе, на площадке недалеко от моря.

За день все было готово: площадка декорирована зеленью и шестами с цветными лентами и флагами. Сколочены были будочки для прохладительных напитков, беспроигрышной лотереи, поставлен турникет для входа публики, расклеены афиши, приглашен военный оркестр.

Студенты бегали по дачам, продавая входные билеты. Весь курорт поднят был на ноги. Молодежь только и говорила о предстоящем развлечении.

Когда получены были экстренные выпуски газет с манифестом, распорядители и устроители бала заволновались—не придется ли отказаться от так хорошо налаженного предприятия?—и кинулись к местному начальству. Но так как последнее не получало по этому поводу никаких инструкций из Петербурга, а в устройстве бала принимали участие сыновья и дочери многих видных особ и в самой цели вечера не было ничего предосудительного, решено было не препятствовать молодежи потанцовать. Предложили только до начала танцев огласить манифест и выслушать гимн. Устроители, у которых были свои, не всем известные, конспиративные цели, преследующие не только пополнение студенческой кассы взаимопомощи, но и отчисление в забастовочный фонд, должны были поступиться своими принципами и согласиться на предложение ради очевидной пользы делу: сбор превышал самые радужные ожидания.

Все благоприятствовало балу—и воздух, на редкость

прозрачный, разреженный и свежий, какой бывает только в предосенние вечера близ моря, и прекрасный оркестр стрелков, с особенным воодушевлением игравший множество самых разнообразных новейших танцев, и хорошо укатанная площадка, и богатая иллюминация—все деревья вокруг визы[1] были увешаны пестрыми фонариками,—и замечательный фейерверк, привезенный юнкерами артиллерийского училища. Даже эта весть о войне, прочитанная ответственным распорядителем, не только не вызвала в большинстве присутствующих тревоги и растерянности, не только не заставила их почувствовать огромную тяжесть ответственности, какая ложилась с этой минуты на их плечи, а напротив, точно подстегнула каждого, вызвала преувеличенное ощущение своей силы и самоуверенности у мужчин и восторженную, обожающую доверчивость у девушек и молодых женщин. Никто в этот вечер на этой площадке, освещенной разноцветными огнями, гремящей веселой музыкой, под этим высоким, точно никогда не знавшим глухой, пугающей тьмы, мреющим северным небом не только не почувствовал, но и не мог себе представить в завтрашнем дне близость смерти.

Тем более далек был от мрачных сопоставлений и тревожных мыслей рыжий, потный Олег Смолич, старательно кружащий свою даму.

Голова его была полна самых серьезных, самых запутанных комбинаций и планов, требовавших немедленного разрешения.

Прежде всего нужно было во что бы то ни стало устроить так, чтоб сестре Ирине, этой фасонистой Ирине, было не скучно и она не собралась раньше времени уходить домой. Задача эта требовала больших дипломатических подходов.

Ирина с ее миленьким характером сегодня злилась до чрезвычайности. Не изволил явиться, как было условлено, ее жених—балда Васька Болховинов, которого совсем не кстати нелегкая затащила на пикник к Сонечке. Последнее обстоятельство стало известно Олегу еще сегодня днем от его друга и одноклассника, гардемарина Мезенцева, приглашавшего его с собою, но, конечно, об этом обстоятельстве Олег не сообщил сестре.

Факт оставался, однако, фактом, и весьма корявым.

---

[1] По-фински—лужайка.

Плевать можно было бы и на Ваську и на Иринку с ее капризами, если бы не нужно было из-за этого факта провожать сестру домой. Подкинуть ее какому-нибудь кавалеру нельзя было и думать. Мать напомнила об этом Олегу дважды. К тому же сама Ирина настолько разборчива, так дерет нос, что не согласится пойти с первым встречным, а приличных на ее взгляд молодых людей сегодня что-то не видно. Придется познакомить свою девчушку с Ириной, с тем, чтобы по окончании бала отправиться втроем сначала на дачу к Смоличам, бросить там сестру и тогда уже вдвоем итти в другой конец, к даче, где жили Потанины, родители его дамы. Но тут опять являлась загвоздка, и даже не одна, а две. Иринка, если познакомится с Потаниной, то может повести себя вызывающе. Она не любит барышень, а особенно не своего круга. Правда, Потанина—очень приличная, очень скромная и милая девушка, однако, все же далеко не аристократка,—дочь бухгалтера какого-то, и даже не «distinguée»[1]. На вкус Олега она одета замечательно; особенно хорош этот ее бант в волосах, придающий ей такой наивный и вместе игривый вид. Но Ирина обязательно к чему-нибудь придерется, подожмет губы, процедит два слова и пойдет домой одна. Как быть в таком случае? Потанина заметит, обидится. Получится конфуз, сплошная ерунда...

Пожалуй, еще эту первую загвоздку можно устранить. Услужливая, прекрасная память Олега в нужную минуту, между двумя турами вальса, подсказала ему одно чрезвычайно выгодное для него обстоятельство.

Несколько дней тому назад Ирина нашла у него брошенную им по забывчивости книгу, принадлежащую Потаниной, которую он случайно занес к себе домой. Книги этой Олег не раскрывал и не знал даже, как она называется. Но Ирина пристала к нему, чтобы он не относил ее еще некоторое время, так как она для чего-то ей понадобилась. Это оказалась биография или автобиография—Олег так и не разобрал—знаменитой артистки Сарры Бернар. Чепушистая, по всем видимостям, дамская книженция, но весьма задевшая Ирину. Книжку Олег оставил у сестры и теперь решил этим воспользоваться. Пусть обе девицы споются между собою, как знают,—общая тема нашлась. А там можно будет предложить тотчас же сходить за этой Саррой Бернар.

[1] Выделяющаяся.

Предлог—адски тонный. Кажется, даже Потанина сама мечтает пойти в актрисы; следовательно, нашелся не только предлог, но и недостающее «distinguée».

Но тут являлась вторая загвоздка. Ну, прямо задраивай люки и спускайся на дно. Ведь если знакомить Любочку Потанину с Ириной, то нужно знакомить с нею и сестру Любочки, Машу. А Маша эта—как бельмо на глазу у Олега: куда бы он ни собрался с Любочкой, всюду волочится Маша. И главное—с серьезными разговорами. Эпидемия какая-то, а не девушка!

— Бант! Бант—умереть можно!—громко в самое ушко Любы, в завиток волос, щекочущих губы, шепнул Олег.

Препятствия его подхлестывали. Он самоуверенно вздернул нос, и без того смотрящий в небо, кончиком языка воровато и быстро облизал полные губы сластены, что обозначало у него высшую степень возбуждения, и скосил смеющиеся, с хитрецой глаза на обнаженное Любочкино плечо.

Олег знал, что Люба совсем еще глупый подлеток, что у нее свои очень смешные, но твердые правила, и что одно из самых непоколебимых правил Любы предписывало ей презирать мальчишек, которые говорят о поцелуях и бегают за барышнями. Но Олег также убежден был и в том, что он нравится Потаниной, что она вполне ему верит, полагается на его «порядочность», как она сама говорила, и именно благодаря этой вере может простить ему многое. Важно только улучить подходящий момент.

Сейчас после вальса начнут па-д'эспань, которое он танцует с другой, тоже очень славненькой девчонкой—Катей Чумиковой. Та—куда посмелее! С ней он давно уже целуется, но она ему надоела. Потом он диранет один, тайком в балаганчик с прохладительными. Там его будет ждать студент Ильинский, распорядитель. С ним он условился выпить водчонки. Ильинский—тоняга-парень, хотя шпак и даже, кажется, социалист, каналья. А выпив водки, Олег будет еще в большем ударе. Важно только, чтобы сейчас не встретиться с Иринкой и Машей.

— Вы не устали, Любочка?

— О нет... Ах!

Люба была некрасива, но прелестна той ранней юностью, какая бросается в глаза только в особенно счастливые без-

заботные минуты. Она умом и памятью знала, что некрасива, и огорчалась этим, но теперь не думала об этом, не старалась быть лучше и интереснее, а была и хороша и лучше, чем когда-либо.

Каждая черточка на ее лице плясала, не пытаясь застыть в гримасе, какую так часто делают подростки, думая, что так больше к ним идет и что от этого лицо их становится значительней. Перед Любой не было зеркала, она забыла о нем, она просто была счастлива и даже вскрикивала: «ах, ах», кружась по мягкому гравию в руках Олега, с увлажненными глазами, с горящими нестерпимо ушами, растрепавшимися, давно утратившими симметрические волны, каштановыми волосами. Она даже забыла совсем, что лоб ее лоснится, что над верхней губой вскочил прыщик, приводивший ее в отчаяние всего лишь полчаса тому назад. Она не замечала, что слишком широкий вырез платья сполз с одного плеча и видна бретелька рубашки и что на эту бретельку пристально и воровато смотрит Олег, прижимая талию ее крепче, чем это было нужно.

Она не замечала выражения глаз Олега, да если бы и заметила, то не поняла бы его значения. Она слышала только музыку, ритмический шорох ног по гравию и свое сердце, то счастливо замиравшее, то колотившееся, как отпущенный маятник ритмометра. Она никого не видела вокруг себя, всем существом отдаваясь незамутненной радости своих семнадцати лет.

Но все же особую прелесть, особую значительность придавало в ее глазах этому вечеру то обстоятельство, что вот она танцует, как свободная взрослая барышня, а не гимназистка, какой она была до этой весны, что это первый бал, на котором она танцует не в форменном, надоевшем до одури, а в модном, хотя не бальном, по своему вкусу сшитом, любимого розового цвета, узком платье, что с нею танцует моряк, прекрасно воспитанный кавалер, каких поискать мало.

«Пусть только не воображает,—закрывая глаза от блаженства,—думала Люба,—он ни за что не должен знать, что мне он нравится. Ни за что! Мужчинам никогда не нужно показывать, что ими интересуешься, иначе рискуешь...»

В ту же минуту последний такт вальса оборвался, все вокруг загудело, разрозненно зашаркало каблуками по гра-

вию, устремляясь к скамейкам и киоскам с прохладительными напитками.

Все еще в полете, в сладком кружении, в обволакивающих звуках любимого «вальса старинного», несмотря на то, что Олег уже вел ее под руку и что-то говорил о мороженом, о «польке-кокетке», Люба смотрела перед собою затуманенным блаженным взглядом только что проснувшегося человека.

— Так значит, решено, Любочка,—говорил Олег, наклоняясь вперед, вкрадчиво заглядывая ей в глаза,—мы с вами танцуем «польку-кокетку». Вы никому ее не обещайте, а то я обижусь, честное слово! А потом краковяк, па-шинуаз и последний вальс тоже со мной. Вы танцуете, как богиня, честное слово! Ни у кого нет такой грации. Но об этом нам нужно будет серьезно поговорить. И еще о многом... Вы мне обещаете? Это для меня адски важно. Трудно даже объяснить сейчас, как важно. Вы мне разрешите проводить вас?..

Сестры, взявшись за руки, вынеслись к берегу моря. Олег шел в отдалении и мрачно бросал в воду камешки. Ему так и не удалось выполнить намеченный план. Пришлось провожать Ирину, а после тащиться втроем. Маша таки увязалась за сестрой.

Море, куда только хватал глаз, лежало недвижно. Волна едва приметно набегала на песчаную отмель. Вдоль отмели правильными рядами, точно размотанные канаты, лежали водоросли. От них бодро и горько пахло иодом.

Поверхность моря, замкнутого в зубчатом полудужьи берега, похожа была на вывернутую палевую губу гигантской раковины, горбом уходящей к горизонту. С каждым мгновеньем она меняла оттенки—то тускнела, то загоралась. Радужная судорога пробегала по ней и тотчас же покрывалась пеплом.

Впереди сестер, идущих у самого края воды, вскрикивая и подрагивая хвостами, то приостанавливаясь, то ускоряя бег, подлетывали два кулички. Глядя на них и на море, Люба прижимала к себе все крепче локоть сестры и говорила громким срывающимся, торопящимся шопотом, точно догоняя этих птиц и свои мысли:

— Ты представляешь себе, как это все вышло необы-

чайно? Ты только подумай! Я ем мороженое, вдруг подходит к нам Ирина с каким-то господином. Я страшно растерялась, не знаю, что говорить, чувствую себя дура-дурой. Но она сама обратилась ко мне. И вдруг оказывается, что у нас общие интересы. Оказывается, моя книжка—та, что брал Олег,—мемуары Сарры Бернар—все перевернула в душе Ирины, и она почувствовала, что только театр—ее призвание... Ты подумай! И она начинает спрашивать меня, как я решилась на такой шаг, где я играла и какие люблю роли. И оказывается, она тоже играла в гимназических спектаклях, но никогда серьезно не собиралась на сцену. Просто в голову не приходило. У нее ведь ко всему способности. А тут вдруг моя книга. Она так и сказала мне: «Когда я прочла ее, мне показалось, что открыли передо мной собственную жизнь и судьбу». Я бы никогда не сумела так сказать. Это—чудо, а не девушка!

Люба вобрала в грудь воздуху, помолчала, дыша ртом, точно ей невмоготу было от переполнявших ее чувств, впечатлений, мыслей и полноты жизни.

Маша—на голову выше сестры ростом, тоже шатенка, тоже в розовом платье, тоже с глубоко сидящими карими глазами, смотрящими из-под густых бровей внимательно и открыто, но с большей, чем у Любы, прямотой и рассудительностью,—кивнула головой в знак согласия и понимания, но тотчас же оглянулась назад на отставшего Олега и сказала с заботливостью верного товарища:

— А ты не думаешь, что Олег мог обидеться на нас? Мы идем так быстро и говорим о своем, точно мы одни.

— Олег?!—Люба тряхнула кудряшками и рассмеялась.—Ничего, пусть немножко подуется. Сам виноват. Уж и обозлилась же я на него! Он все норовил удрать от сестры и уверял, что не может найти тебя. Все хотел, чтобы я пошла с ним вдвоем... говорил всякие глупости о поцелуях... Если бы не моя любовь к танцам, ни в жизнь бы с ним не танцовала. Да, ты слушай,—тотчас же перебила она себя:—я же тебе не все сказала. Самое замечательное, что Иринин кавалер, с которым она сегодня познакомилась случайно на балу, тоже актер. И кто бы ты думала? Чегорин из Александринки!

— Тот самый, который...

— Ну да, тот самый, который так нам понравился в «Ассамблее». И красавец! Лучше даже, чем на сцене. И

очень воспитанный... такой простой... Он тоже все советовал Ирине попытать счастье. Они наверно влюблены друг в друга.

— Кто?

— Да они, Ирина и Чегорин.

— Как же так? Ты же только что сказала, что они познакомились на балу сегодня...

— Вот тебе раз!—Люба даже приостановилась. Смеющимися, блестящими от возбуждения глазами посмотрела на Машу.—Так что же с того, что сегодня? Боже, до чего ты глу-упая!

Она протянула последнее слово с искренним соболезнованием, сложив губы трубочкой.

— Ты долго еще будешь такая?

Маша смущенно, виновато передернула плечами. Большие умные глаза ее на скуластеньком, как у сестры, но менее подвижном и потому не таком выразительном лице потемнели и, не мигая, ответили ясной улыбкой на смеющийся взгляд сестры.

Внезапно по зрачкам ее и краю густых ресниц прошел горячий золотой луч. Все лицо Маши, за мгновенье перед тем чуть усталое и бледное от бессонной ночи, заиграло живым розовым светом.

Изумленная этим неожиданным эффектом, радуясь похорошевшей сестре, Люба ахнула и всплеснула руками:

— Боже, что такое?

Теперь Маша вся уже горела, вся светилась в своем розовом платье. Вырвавшиеся из-за деревьев парка, из-за дальней косы лучи встающего солнца стремительно бежали к морю, слепительными лезвиями дробили в мельчайшие сверкающие осколки его поверхность. Еще миг—и вся водяная громада дрогнула, серебряной лавой поднялась над посиневшим горизонтом.

— Боже!—повторила Люба.

Прижавшись друг к другу, оробев от нежданно потрясшего их восторга перед никогда еще не виденным зрелищем, сестры смотрели во все глаза.

Старшая, более высокая и более сдержанная Маша, стоя сзади сестры, смотрела поверх ее встрепанной прически, меж тонких нитей ее пылавших от солнца волос, на море с радостным вниманием трудолюбивого художника, нашедшего новые краски для своей палитры.

Люба, чувствуя на горячей щеке своей легкое Машино дыханье, напротив, едва сознавала, что с нею.

Счастливый озноб пробегал по всему ее телу. Она едва сдерживала себя, чтобы не закричать, не сделать какой-нибудь глупости. Красоту этого утра она ощущала в самой себе, в каждой поре своего лица, рук, открытой шеи.

Остановившийся поодаль Олег наблюдал за нею. По-наполеоновски скрестив руки, расставив ноги в широких клёшах, он внезапно запел пронзительно и лихо:

Барышни, барышни
Взорами печальными
Вслед уходящим глядят морякам...

Тотчас же придя в себя, с присущей ей живостью Люба оглянулась на него и рассмеялась. Но Олег продолжал, делая вид, что нисколько ею не интересуется:

Ах, песнь моя-а,
Любименькая-а!
Буль-буль-буль, бутылочка
Казенного вина!

— Олег!—крикнула Люба.—Олег, вы слышите? Идите сюда!

Все так же не меняя позы, Олег ответил:

— Есть: идите сюда...

— Да вы бросьте дуться. Слышите? Я вам серьезно говорю.

— Есть: серьезно говорю,—повторил Олег.

Тогда, не имея сил сдержать плещущую через край энергию, задор, Люба сама подбежала к нему и, схватив его за рукав белой голанки, крикнула в самое ухо:

— Я нисколько не сержусь на вас, вы не думайте. Мне это раньше казалось. Я даже благодарна вам: ваша сестра—прелесть, прелесть. Мы с ней говорили... Хотите, скажу—о ком?

Она лукаво, поддразнивающе глянула на него, но, поймав его радостной уверенностью и жадностью блеснувший взгляд, отскочила в сторону и, смеясь, прижав к груди руки, побежала за медленно удалявшейся сестрой.

21
3
ПОНЕДЕЛЬНИК

НА УТРО ГЕРМАНСКИЕ войска открыли огонь против переведенного на военное положение таможенного поста в Птикруа.

На утро немцы вошли в Люксембург, крохотное автономное герцогство, захватили здания правительственных учреждений и перерезали телеграфные провода...

Были выстрелы, и стоны, и крики о помощи, и приглушенный плач. Война начала делать свое дело—трезво и вполне осмысленно.

Так же трезво и осмысленно, под сурдинку входила в жизнь и вступала в борьбу с войной иная сила. Ее голос был едва внятен.

Первый манифест ее появился в то же утро, 21 июля.

В Петербурге, на Выборгской стороне, поверх нашлепанных с ночи на забор малиновых объявлений о мобилизации и белых листков с расценкой за приносимые мобилизуемыми вещи, чья-то рука торопливо наклеила серый листок с убористой мелкой печатью. Другая уверенная рука, видимо, пыталась сорвать этот листок, но—клеили накрепко,—большая часть афиши причудливым носатым профилем, оскаленной пастью светлела на малиновом фоне, и смысл текста угадать было нетрудно каждому, кто хотел бы внимательно приглядеться к густому петиту:

Международный
страже интересов
во главе этого движения в пользу
призывает рабочий класс протестовать
«Долой войну! Война войне!»—должно катиться
по городам и весям широкой Руси. Рабочие должны помнить:
нет врагов по ту сторону границ; везде рабочий класс
угнетается богатыми и власть имущими, везде гнетет
его ярмо эксплоатации и цепи нищеты.
Царское правительство заявило себя в грядущем конфликте
«покровителем и освободителем» славянских народов, но мы
здесь видим не покровительство, а лишь жажду захвата
новых владений.
Японией с востока, наши безответственные кровавые
тайных дипломатических соглашений пытаются
воде ближнего Востока. Рабочая печать

в эту «эпоху крови» сказать слова
газета от имени трудового
Еще не успели смыть рабочую кровь с петербургских мостовых
только вчера весь рабочий Петербург, а с ним и
все трудящиеся объявлены «внутренними врагами»
против казаков и продажной полиции,—теперь при-
Солдаты и рабочие! Вас призывают
Нет, мы не хотим войны,—должны заявить вы,—
Вот должен быть ваш клич. Да,
рабочая солидарность!.. Да здравствует
дать крестьянам всю землю, и рабо-
за лучший мир, за социализм,
долой войну! Долой царское
Амнистии всем муче-
пишет РСДРП

Утром на заседении парламентской фракции социал-демократов в Берлине депутат Гере,—один из тех, о которых еще в двенадцатом году говорил доктор Вальтер Ратенау—банкир и электрический король, что они у него на жалованьи,—кричал, взмахивая руками и ударяя себя в грудь:

— Германия всем нам дорога. Она всем родная мать. На нас напали, и мы ее отстоим. Мы покажем, что и социалисты умеют умирать за родину. Страшно подумать об участи наших бедных соотечественников в России.

— Это кого же? Каких соотечественников? пивоваров? лавочников? купцов? коммиво-яжеров?—ядовито спрашивал Либкнехт.

— Брось!—подхватил его слова Гаазе.—Разве ты не видишь, во что превратила этих людей война? Голосовать за военный бюджет. Кому? Социал-демократам? Марксистам? И вам не стыдно ваших опозоренных седин?

Гаазе резко обернулся, в упор взглянув на Каутского, растерянно трясущего бороденкой. Старик высох, сжался в маленький дряблый кулачок.

— В такое страшное время каждый должен уметь нести свой крест,—забормотал он.

— Свой крест?!—не выдержав, вскрикнул Либкнехт.—С каких это пор вы стали носить крест на шее? С тех пор как предали пролетариат?

— Что такое!

Это было неслыханно дерзко. Разговаривать так с вождем партии! Гул голосов ударил в стены, кулаки таранили воздух. Большинство готово было перейти в рукопашную. Но голос Либкнехта звенел, покрывая все голоса:

— Вы не заставите нас быть предателями!

Штадгаген, пыхтя, утирая обильно катившийся со лба пот, протискался к Карлу Либкнехту и, ухватив его за лацкан пиджака, хрипел:

— Оставьте свои мальчишеские выкрики. Война—факт. Воздержавшись от голосования, социалисты в глазах массы могут потерять всю популярность... Их сочтут за врагов отечества... Надо же понимать. Надо же иметь голову, чорт возьми! Это отразится на будущности партии. Рабочие массы—за войну.

— Рабочие—за войну. Это ясно,—подхватило еще несколько голосов.

— Германия должна обороняться,—на выручку Штадгагену выскочил Гере.

— Когда разбойники напали на мой дом, я буду дурак, если стану рассуждать о «гуманности», вместо того чтобы их пристрелить,—не унимался Штадгаген.

— А мировая рабочая солидарность?—бил его Либкнехт. В потемневших глазах Карла уже метался так знакомый всем синий огонек издевки.—В какой карман своего защитного френча спрятали вы рабочую солидарность—лозунг нашей партии?

— Она бессильна предотвратить войну!—выходил из себя Гере.

— Если редакция «Форвертса» до сих пор не поняла, в чем наш долг,—авторитетно заявил Вендель,—редакцию надо послать в дом для идиотов... В такие минуты, когда развертываются мировые события,—они все еще жуют книжную мудрость! С такими людьми аргументы излишни...

Вендель налился кровью, шея его побагровела. Он поднял плечи,—казалось, в эту минуту на них жгутом вьются генеральские нашивки.

— Тут следует помнить, что сейчас все решается пулей,—подняв палец и скосив на Карла глаза, закончил он.

— Во всяком случае, что касается меня,—вызывающе глядя на Карла, отрезал Вендель,—то я еду сражаться...

— С кем?

— С врагами отечества. На поле брани. Там я нужнее, чем в редакции «Форвертса».

— С этой минуты—конечно,—с горечью оборвал его Либкнехт.

Он безнадежно отмахнулся от все еще наседавших противников.

— Вы безнадежны,—сказал он.—Сегодня мы разваливаем Интернационал... Пролетариат не простит немецкой социал-демократии сегодняшнего шага... Нет, не простит.

Он побледнел, осунулся, почувствовал себя здесь одиноким. Скорей на улицу, вон отсюда!

«Исходя из всех указанных причин, социал-демократическая фракция высказывается за кредит»,—донеслось до него монотонное чтение резолюции из-за захлопнувшейся за ним двери.

Либкнехт остановился. Его точно ударил в спину электрический ток. Он обернулся. В коридоре рейхстага было серо и гулко от одиноких шагов. За запертой дверью фракционного кабинета взорвался гул голосов *бывших* товарищей.

— Нет, мы так этого не оставим!—резко вскрикнул неистовый Карл.—Надо действовать. Надо бороться за немедленный мир. Надо разоблачить лицемерие правительства. Надо сорвать с них маску. Надо бороться...

— Да, это борьба не на жизнь, а на смерть. Но тем лучше. Мир узнает, что такое Германия!

Кронпринц Вильгельм только что вышел из кабинета императора, к которому ездил проститься перед отправкой на фронт. Коляска уже была подана, и принц садился, когда к нему подошел рейхсканцлер Бетман-Гольвег. Слова кронпринца были обращены к престарелому министру, растерянно пожелавшему его высочеству удачи в предстоящей борьбе.

— Как вы думаете, армия справится с врагами?—сутулясь, бормотал Бетман-Гольвег.

— Все, что армия в силах сделать,—она сделает,—резко ответил кронпринц.

Он терпеть не мог канцлера, считал его бездарным политиком, не сумевшим обеспечить Германии более выгодные союзнические связи к предстоящей войне, и потому, говоря с ним, смотрел в сторону и произносил слова в нос:

— Но я должен сказать вашему превосходительству, что мы воюем при условиях, крайне неблагоприятных в отношении к группировке воюющих с нами держав.

— Что вы этим хотите сказать, ваше высочество? Мне кажется напротив...

— Вам кажется!—кронпринц фыркнул. Он поставил между ног торчком свой палаш, стукнув им о ковровое дно коляски.—А мне кажется, что это всякому ясно,—ледяным тоном чеканил он:—Россия, Франция и Англия—против нас. Италия и Румыния останутся нейтральными, если мы будем иметь успех, а в случае неудачи перейдут на сторону наших врагов.

— Ваше высочество!..

Бетман-Гольвег болезненно сморщился. Вся его высокая тощая фигура казалась исполненной тоски.

— Вы говорите невозможные вещи, ваше высочество... Англия, конечно же, будет соблюдать нейтралитет. Наши договоры...

— ...не стоят выеденного яйца,—резко перебил старика кронпринц.—Ваше превосходительство скоро получит от Англии вызов, ручаюсь головой. Нам остается одно—искать союзников. Необходимо немедленно употребить все средства, чтобы привлечь Турцию и Болгарию на нашу сторону.

Бетман-Гольвег внезапно вспыхнул. Кирпичные пятна пошли гулять по опавшим щекам. Он выпрямился, сдерживая себя, вобрал шею в плечи, молвил самым любезным тоном:

— Если бы мы поступили так, как рекомендует нам его высочество, мы нанесли бы Германии непоправимое зло. Англия нам никогда не простила бы привлечения Турции и Болгарии на нашу сторону... и тогда, конечно, она объявила бы нам войну.

Палаш лязгнул, катясь со ступенек коляски, кронпринц рванулся с места.

— Трогай!—бешено крикнул он.—Трогай, чорт тебя дери!

Кони с места взяли рысью. Рейхсканцлер едва успел отскочить в сторону.

— Кретин! идиот!—бесновался кронпринц, подпрыгивая на подушках коляски.—И этакий рамоли[1] делает политику! Хороши советники у папаши! Нет, когда я буду императором...

Это лето мать Игоря, Ольга Андреевна, оставив мужа в Ковно, где стоял штаб его корпуса, проводила в Сестрорец-

[1] Развалина.

ке со своей дочерью Ириной, весной окончившей гимназию, и сыном Олегом, приехавшим в месячный отпуск из Ганге, где стояло его учебное судно.

Обычно Ольга Андреевна на лето уезжала в Кисловодск или на воды за границу, но на этот раз уступила дочери, настаивавшей на поездке в Сестрорецк. Одним из доводов Ирины было желание встретиться с братьями, которых она давно уже не видала и которые не могли надолго и далеко уехать— один из красносельских лагерей, другой—со своего корабля.

Но самым значительным обстоятельством, побудившим ее настаивать на поездке в Сестрорецк, было невысказанное вслух, но понятное Ольге Андреевне стремление дочери жить поблизости к жениху—юнкеру Николаевского училища Васе Болховинову.

Вася Болховинов не был официально объявлен женихом Ирины, но все в доме знали, что они влюблены друг в друга и, конечно, поженятся, когда придет пора. Ирина была кумиром отца и общим баловнем в семье. Даже Ольга Андреевна, не склонная к излишней сентиментальности, с трудом отказывала дочери в чем-либо. Тревога за слабое здоровье Ирины, страдавшей какими-то нервными припадками, часто кончавшимися обмороками, заставляла мать подчиняться ее капризам даже тогда, когда эти капризы явно шли в разрез с понятиями и правилами Ольги Андреевны.

В данном случае она нисколько не сочувствовала роману дочери с Болховиновым и отнюдь не в восторге была от пребывания своего в Сестрорецке. Вася казался Ольге Андреевне пустым, без всякой будущности мальчишкой, тем более недостойным стать мужем Ирины, что этого брака хотел и эту влюбленность поощрял Никанор Иванович, а с Никанором Ивановичем, своим мужем, Ольга Андреевна расходилась во всем, особенно в вопросе о воспитании детей.

В отличие от всех отпрысков рода генерала Смолича только у Ирины, у единственной, были такие черные, густые и длинные волосы. Костя был темный шатен. Наташа—скорее блондинка, чем шатенка, Игорь был рыжеватым шатеном, а Олег так и совсем рыжим, с веснушками и белой прозрачной, как у всех рыжих, кожей. Только у Ирины волосы были ни в отца, ни в блондинку мать, а в бабушку со стороны матери, давно умершую от чахотки, жену князя Вадбольского. Это выделяло Ирину из всех Смоличей, и это сходство волос ее с волосами рано умершей бабушки особенно тревожило ро-

дителей Ирины, заставляя предполагать плохую наследственность—туберкулез.

Ее с детства кутали, пичкали лекарствами—отец гомеопатически, мать—аллопатически, следили за каждым ее лишним движением, боялись разволновать неосторожным словом или необычайным зрелищем. К пятнадцати годам Ирине все это надоело до-смерти. Она объявила решительную борьбу чрезмерной опеке, лекарствам и постоянным страхам.

Туберкулеза никакого не оказалось, но зато развились малокровие, повышенная нервозность и мнительность. Тогда же в пятнадцать лет Ирина, глядя в зеркало, убедилась, что у нее не только великолепные, отличные от других волосы, но и глаза замечательные—совершенно рыжие. Правда, у Игоря глаза были тоже хороши, в них тоже, как искры, горели рыжие пятнышки, но у Ирины весь ободок вокруг зрачка был огненно-рыжий, «как у пантеры»,—тут же определила она. Это открытие повергло Ирину в мистическую печаль. Она признала себя отмеченной, не такой, как все, с судьбой таинственной, необычайной. Особенно она укрепилась в этом своем убеждении, когда узнала, что ее бабка Вадбольская, передавшая ей по наследству волосы, была цыганкой из табора. Эти сведения сообщил ей по секрету отец, склонный к устарелой романтике. В действительности жена князя Вадбольского была певицей из кафешантанного хора, и эту ее профессию тщательно скрывал князь, принужденный из-за такого «мезальянса» покинуть столицу и прозябать в глуши.

Ирина стала жить тайнами. Порою ей они надоедали, но «исключительность натуры» обязывала.

Теперь, живя с матерью в Сестрорецке, куда она сама настаивала ехать, Ирина изнывала от скуки и мучившего ее открытия. Скучно было оттого, что Вася Болховиков редко удосуживался приезжать на дачу, а когда приезжал, становился невыносимо банален: рассказывал армейские, хорошо, что хоть приличные, анекдоты, пел заезженные романсы и приставал с поцелуями, совершенно забывая, что Ирина не первая встречная девчонка, тающая от нежностей жениха. Положительно, репертуар, столь занимательный и оригинальный в Вильне, когда Ирина была еще гимназисткой,—

теперь, в Сестрорецке, светской барышне в достаточной мере приелся.

А открытием, вот уже несколько дней томившим Ирину, было то, что она наконец нашла свое призвание, свой исключительный путь в жизни. Она поняла, что все ее вкусы, способности, внешние данные и душевные склонности предопределяют ей артистическую театральную карьеру, готовят ей судьбу русской Сарры Бернар.

Это открытие, как всякое открытие, явившееся случайно, благодаря прочитанной книжке, найденной у Олега, дало широкий простор Ирининой фантазии.

«Теперь никто не посмеет сказать, что я кривляюсь,— думала Ирина, взволнованно прохаживаясь по дорожке сада, теребя трепанную Любонькину книжку. Теперь даже мама должна будет понять, что я иначе не могу, что это свойство моего характера... Талант, драматический талант. Я только не знала, как объяснить его, до сегодняшнего дня была слепа: чувствовала, чувствовала, все чего-то искала, а оно вот что».

Ирина останавливалась, закидывала голову, смотря в небо, тяжелый узел волос ее касался спины, глаза отражали блеск солнца,—она представляла себе самоё себя в алом хитоне, на котурнах, с напряженно вытянутыми вдоль бедер руками, с трагически-прекрасным лицом Федры, призывающей в свидетели своей любви пламенное небо. Ирина, действительно, была хороша в эту минуту, но не страшной, подавляющей красотой Федры, а той мимовольной красотой, какую не изуродует никакая поза, как бы она ни казалась неестественной и комичной у девушки семнадцати лет.

«Воображаю, как удивится Вася, когда я объявлю ему о своем решении. Он, конечно, станет отговаривать. Офицерам нельзя жениться на актрисе... Ну что же, пусть выходит в отставку, если любит...»

Ирина была зла на Васю за то, что он не приехал 20-го, и теперь ждала его, чтобы отчитать по-своему. Сарра Бернар не могла заполнить пустоту воскресного дня, всегда занятого Васиными шуточками, криками, прогулками верхом или на лодке, поцелуями в каждую свободную от постороннего глаза минуту. Но Болховинов не шел. По аллее прохаживались смеющиеся парочки, велосипедист уже в третий раз проносился мимо, тараща на Ирину влюбленные глаза. Волнуясь и в то же время следя за собой, делая равнодушное лицо, Ирина заслонила ладонью глаза от солнца и тотчас же узнала идущую

со стороны вокзала квадратную фигуру Мезенцева. Гардемарин шел медленно, размахивая руками, не замечая Ирины или делая вид, что не узнает ее. Так по крайней мере показалось ей. Рванувшись, она легко побежала к калитке, чувствуя, как отчаянно бьется сердце, и, браня себя за неслушающийся голос, крикнула:

— А Вася... он с вами?

Мезенцев подошел к калитке все тем же широким шагом в раскачку, который он усвоил, чтобы походить на старого морского волка. Широкое угреватое лицо его виновато осклабилось. Он полез за открытый ворот своей белой голанки и вытащил оттуда чуть влажный от пота, уже затертый по краям конверт.

— Это вам просил передать Игорь...

Помолчал, поболтал клешами и, глядя в сторону, добавил:

— А Васю я не видал...

И нелепо размахивая короткими руками, бочком, торопливо мимо Ирины проскользнул на дачу, к Олегу, звавшему его с балкона, со второго этажа.

Не сходя с места, Ирина рванула конверт, но, тотчас же вспомнив, что на нее смотрят, вскинув голову, поджала губы и не спеша пошла в дальний конец сада.

Вася Болховинов считал свое положение отчаянным. Он так и написал Олегу, прося его притти сегодня в пять часов к сестрорецкому вокзалу на свидание для совместного обсуждения обстоятельств дела и выработки плана дальнейших действий. Письмо свое он передал Мезенцеву, который должен был свезти его в Сестрорецк, вместе с письмом Игоря Ирине.

Мезенцев сидел на перилах балкончика, на втором этаже дачи, занимаемой Смоличами, против настежь распахнутых дверей в комнату Олега и брыкался от смеха.

— Нет, ты постой,—тоже смеясь и чему-то чрезвычайно радуясь, останавливал его Олег, сидя на корточках перед лежащим на полу разобранным велосипедом: он смазывал переднее колесо маслом.—Так ты говоришь, Игорь этой самой туфлей... Постой... расскажи все по порядку.

— Да я же тебе говорю,—валясь грудью на перила, вытягивая ноги, начинал Мезенцев снова:—у Сонечки такое правило: тот, кого она выберет своим очередным любовником,

должен выпить из ее туфли. И надо же было так случиться, что на этот раз повезло Болховинову. Он, положим, давно ловчился: и сережки ей старинные купил, и Лицицию одел с ног до головы...

— Какую Лицицию?

— А это подруга Сонечки. Тоже фрукт, доложу тебе. Сонечка ее как кузину представляет, невинной девушкой. Всюду с ней таскается, ну, и подкидывает дуракам вместо себя, чтоб не упустить денежки...Соображаешь? Такая хитрая комбинация! Ой-ей!

— Как-так—«подкидывает»?

— Подожди. Не в этом дело. После объясню. Одним словом, из кожи лез Васька и добился своего. Но все-таки номер этот нас всех здорово ошарашил. Думали мы, что за Кирилиным очередь: Сонечка последнее время с ним заливала, стихи декламировали вместе, а вышло—лево на борт: не Кирилин, а Болховинов. Ну, нам что! Стали мы поздравлять новобрачных (так у нас по ритуалу заведено), в шутку, разумеется. А Игорь возьми да и озлись. Такой скандальчик запузырил!

— Да из-за чего же скандал?

— Вот в том-то и штука, что никто как следует и не понял—из-за чего. Заорал, заорал: «Я не позволю! Это гнусность!..» Знаешь, как он умеет. Всякие интеллигентные слова вытряхивать... И хвать Сонечкиной туфлей, полной вина, в самую физию Болховинова...

— Он с ума спятил?

— Конечно, сумасшедший. Ты разве не знаешь своего братца? Он тоняга и добрейший малый, но когда наскочит бзик... Да тут он, надо сознаться, пьян был изрядно. Мы все нализались...

— Ему нельзя пить,—рассудительно вставил Олег:—он моментально бледнеет и—на стену...

— Вот, вот. Я то же самое говорю,—воодушевляясь, продолжал Мезенцев.—Его только не нужно задевать в такие минуты. Поорет, повозмущается, а потом извиняться станет. Не впервой. Я это принял в расчет: руки ему скрутил за спину и в угол на диван бросил. Кирилин—он, знаешь, патентованный уговариватель—сел над ним с водой, отчитывать. А Игорь свое: «Не позволю! Гнусность! И вообще все это—безобразие. В такой день устроили кабак!» Сонечку помянул жирным словом. Тут Васька на рожон полез, с кулаками. Едва розняли. «Ты,—кричит Игорь,—пошляк, Тебе только за прости-

тутками ухаживать. Вот и женись на ней. А к нам в дом запрещаю появляться...»

— Ч-чоррт!—облизывая губы, с наслаждением вскрикнул Олег:—так прямо и ляпнул?

— Так и ляпнул. Да это еще что! Требовал тут же дуэли. «Он,—кричит,—оскорбил мою сестру. Он разыгрывает здесь гнусную комедию, сидит женихом и думает, что после этого я ему позволю переступить порог нашего дома. Вызываю его, пусть дерется». Представляешь себе! Хозяин дома, цыган Дмитро, рвет бороду со страха, дочка его, певица Шура, сама кидается на Сонечку: «Это все из-за вас»! Сонечка— в истерику. Да тут еще пьяные николаевцы за Болховинова вступились, а Орбелиани за Игоря—с тесаком на них. Настоящие «Гугеноты». Едва уговорили отложить дуэль до завтра. Я думал: проспятся оба и—дело в шляпе. А вышла такая чепуха...

— А что? Неужели будут драться?

— Нет, драться не будут. Кирилин очень умно повел. Его Игорь секундантом взял. Так он встретился вчера с Васиными товарищами, и они порешили, что дело выеденного яйца не стоит, что оба скандалили по пьяной лавочке. А для проформы и отвода глаз постановили: ввиду военного времени отложить дуэль до окончания войны. Очень умно закрутили. Но беда в том, что толку от этого мало...

— Игорь не соглашается?

— Да нет—не то.

Мезенцев спустил ноги на пол, подсел к Олегу. Широкое лобастое лицо его стало необычайно серьезно. Он сдвинул брови, собирая мысли.

— Мы сначала решили,—начал он,—что Игорь просто спьяну взревновал Сонечку к Васе. Они ведь во всем тягаются. Но потом, когда Игорь помянул Ирину, я сообразил, что его обидели наши поздравления новобрачных: ведь он знал, что Ирина—невеста Болховинова, а тут какая-то Сонечка... Соображаешь?.. Никому из нас и в голову бы не пришло сравнивать, а Игорь—фантазер, да еще в подпитии. Ему чорт знает что могло показаться. Будто Вася с Ириной также... Соображаешь?.. Вася действительно с ветром в голове. Ему бы нужно было тотчас же объясниться с Игорем в сторонке, а он— на дыбы, за Сонечку вступился и уехал с ней... А тут еще эта Лициция.

— Разве она не уехала с Сонечкой?

— Нет. Ее Сонечка нарочно подкинула Игорю для утешения. Сидит и сидит, дура... «Ах, бедный мальчик! Какой нервный!» Это она—Игорю. Голову ему на плечо, а сама вдоск пьяная. Кирилин и юнкера ушли совещаться и за деньгами домой, нас выкупить. Только я да Орбелиани остались. Игорь все объяснить нам что-то хочет. Повез длинное—скука. Долакали опивки. Папаша Дмитро заперся с дочкой и нас запер, чтобы не удрали, не расплатившись... Соображаешь? Ну вот...

Мезенцев примолк, глядя на спицу велосипедного колеса, точно ища в ней разрешения запутанного ребуса.

— Ну вот,—повторил он,—даже я, и то нализался... И Лициция эта... Уродина она страшенная... вспомнить противно...

В глазах Олега забегали живчики. Он бросил тряпку, с жадным любопытством ухватил Мезенцева за плечи, зашептал:

— Значит, ты и Игорь тоже с ней?..

— В том-то и штука,—с необычайным для себя смущеньем перебил его Мезенцев.—Конечно, это вздор. Подумаешь! Мало ли что... Правда, она свинья розовая... Стошнило ее. А так бы гладко сошло... Игорь, как проснулся, увидел ее рядом, вскочил, зеленый, губы трясутся, не отвечает. В двери! Заперты. Через окно!.. В коломяжском парке его догнали.

— Вот чудак!

— Сначала не хотел говорить со мною. Потом схватил меня за ворот и говорит: «Я домой ехать не могу, не поеду... и этому прохвосту Болховинову передай, что запрещаю ехать к нам»... Глаза совсем дикие. Кричит: «Запрещаю!»—так, точно я виноват. Потом попросил притти за письмом... И Васька этот—тоже с письмом... Нашли почтальона!..

— Воображаю,—давясь со смеху, кричал Олег.—Свинья, говоришь? Ох! Ну и чучело гороховое!.. А она здоро́ва?.. Из-за чего же тогда трагедия? Вот чучело? Я бы... да я бы... Ох! И чорт меня дернул остаться здесь. Только зря проболтался... Да я бы такое навернул—никаких трагедий! Я бы...

Он оборвал на полуслове, проглотив смех, уставясь на дверь.

Из комнаты шла Ирина. По тому, как судорожно дергался левый угол ее сжатых губ, и по тому, как остро, не мигая, смотрели желтые глаза сестры, Олег понял, что она находится

в том состоянии крайнего возбуждения, когда малейшее неосторожное слово или взгляд могут довести ее до истерики. Поворотясь к Мезенцеву, Олег подмигнул и сказал озабоченно:

— Чорт его знает, в чем дело. Как ни ставлю заднее колесо, все время восьмерки крутит.

Ирина остановилась на пороге балкона. В руках она комкала какую-то бумажку, худенькое тело напряженно вытянулось, на прозрачной шее билась голубая жилка.

Олег покорно прошел в глубь комнаты.

— Что все это значит?

— Что именно?—добросовестно изображая на лице своем недоумение, переспросил Олег.

— Почему Игорь не хочет, чтобы у нас бывал Болховинов? Почему?.. Вот...—Ирина подняла руку с зажатой в ней бумажкой и тотчас же опустила.—Игорь пишет... Ты должен знать...

— Да откуда же мне?—попытался увильнуть Олег.

— Не ври!—крикнула Ирина, ловя ускользающий взгляд брата.—Не смей врать! Мне нужно... Я должна знать!

Угол Ирининого рта дергался все резче. Медлить было опасно.

— Ну вот,—протянул Олег, собираясь с мыслями,—тут вот какое дело... Повздорили они... Ты же знаешь Игоря. Он из-за выеденного яйца...

— Неправда!—крикнула Ирина.—Неправда! Игорь не стал бы мне писать такого письма, если бы это был вздор.

Она снова протянула Олегу скомканную бумажку и снова убрала ее, точно боясь, что ее отнимут.

Олег понял: в эту минуту от сестры можно было ждать всего.

— Да ты не волнуйся,—заговорил Олег примиряющим добродушным тоном.—Все это, если хочешь, я выясню подробно сам, очень просто. Выясню и расскажу тебе, честное слово. Я убежден, что ничего ужасного не произошло. Копейки не стоит. Я знаю. Постой, постой!—перебил он себя, заметив нетерпеливое движение Ирины.—Постой,—повторил он торжествуя,—это же идея! Тебе и ждать не придется долго... Вот что. Я с Мезенцевым сейчас же махнем к Ваське.

— Я поеду с вами.

Это было сказано так решительно, что Олег на мгновенье растерялся.

— Я должна его видеть,—настойчиво повторила Ирина.

Тогда, чувствуя, что сейчас все поставлено на карту, что от его изворотливости зависит благополучный исход этого скользкого разговора, Олег, прижав кулаки к тельнику, вложил в свои слова всю силу убеждения:

— Зачем тебе ехать? Ты хочешь его видеть? Мы доставим тебе его—живого или мертвого. Тем лучше. Какое мне дело, в конце концов! Через два часа он будет в твоем распоряжении. Объясняйтесь на здоровье. О чем толковать, честное слово! Оставайся и жди. А если думаешь, что мы его собираемся шпиговать, так это форменная ерунда. Мы, вот тебе честное слово,—Олег размашисто перекрестился,—сами ничего не понимаем и понимать не желаем. Спроси Леньку, если не веришь.

Ирина перечла письмо Игоря вторично, сидя на камне, там, где назначила через Олега свицание Болховинову. Она нарочно пришла задолго до условленного срока, чтобы Вася мог ее увидеть еще издали и подивиться ее позе, которую она тщательно обдумала и приняла заранее.

Место это—огромный седой валун, окруженный водой и удаленный от обычных мест, посещаемых дачниками,—Ирина выбрала не случайно. Она находила его очень поэтическим, очень одиноким, очень печальным. Ее склоненная фигура, с брошенными на колени руками, беспомощная на этом огромном камне, ясно видная на фоне моря и пышного заката, должна была, по ее мнению, производить неизгладимое впечатление. К тому же с этим камнем связано было у Ирины одно воспоминание, которое, несомненно, всплывет как укор в памяти Васи, когда он явится сюда.

«Интересно,—думала она,—как он попадет ко мне? Тогда он снял сапоги и перенес меня на руках, а теперь? Неужели в такую минуту он посмеет разуться? Этого еще не хватало»:

Сама Ирина прошла к камню с берега босая, высоко подняв подол платья,—вода доходила до колен, и теперь, обсушив ноги, надела чулки и туфли.

Она совсем успокоилась. Мысли приняли иное направление, по-иному были окрашены. Ей нравилась ее новая роль—несчастной, разочарованной в любимом человеке, оскорбленной женщины. Она забыла думать, по своему обыкновению, о причине, вызвавшей ее недовольство, а думала о том, как повести себя сейчас, о чем сейчас ей следует помнить, чтобы

настроить себя так, как ей того хотелось. От этих забот и мыслей она, как всегда, пришла в равновесие и одобрила самоё себя. Весь вопрос для нее был теперь в том, как сесть, какое придать выражение своему лицу, какие слова подобрать для первой реплики. Обдумывая все это, Ирина не сомневалась, что поступает не только правильно, но даже искренно.

Под первым впечатлением от письма Игоря Ирина действовала вслепую и теперь спешила заново пережить эту минуту. Она представила себе и тут же поверила, что письмо принес ей незнакомый моряк, заставший ее здесь, на берегу моря, поджидающую своего возлюбленного, уехавшего в кругосветное плавание. И вот—она сидит на камне, в безлюдьи, в безысходной тоске и читает:

«Дорогая Ри!

Письмо мое покажется тебе странным, но постарайся понять меня. Многое я не сумею и не решусь сказать, потому что для меня самого не все ясно. Но верь, что я до конца искренен и думал только о тебе, о твоем счастьи, когда сел писать.

Не пугайся—страшного ничего нет, но нужно смотреть правде в глаза. А сейчас это моя обязанность, когда мне предстоит ехать на фронт и делать такое большое, святое дело. Я и так не знаю, имею ли я право... (Зачеркнута вся фраза.)

Я не понимаю, как можно шутить с тем, что для каждого порядочного человека, особенно для офицера, должно быть дороже жизни. Как можно поступаться своей честью даже в мелочах. Ты знаешь, как я на это смотрю, и знаешь, что во многом не щажу себя и первый сознаюсь в том, что́ у меня дурного. Того же я требую и от близких, от товарищей, от тех, кого я привык считать близкими и товарищами.

«Пусть бросит камень в него тот, кто сам без греха»,— так, кажется, сказано в писании. Но кто же тогда должен покарать преступника? Нет, это ложь. Мы все грешны, но, помня о своих грехах, обязаны напомнить о них другим, а если те глухи, то их следует клеймить, уничтожать.

Так только думая, только в это веря, я иду на войну и с радостью пожертвую жизнью. Это не слова,—ты увидишь. Я не хочу терпеть около себя, около своих близких—таких негодяев (зачеркнуто последнее слово), слабохарактерных людей, которые не понимают, что есть предел слабости и бесчестья.

К таким людям относится, к сожалению, Болховинов. Я должен это тебе сказать прямо, не боясь причинить тебе страданий. Лучше выстрадать это сейчас, чем после, когда не будет выхода.

Болховинов не только слаб и бесчестен, как я это понимаю, но он еще слеп и глух, что делает его безнадежным. К тому же он на вид так безобиден и мил, что привлекает к себе всех, и тем еще опаснее.

Пусть он живет, как знает, но только вдалеке от тебя, от всех нас.

Ты в праве требовать от меня объяснений. У меня есть основания так судить, но я не могу, не имею права их тебе сообщить. Может быть, когда-нибудь после, с фронта. Ты должна мне верить. Таких вещей не говорят невесте про жениха, не имея неопровержимых данных. Я написал «жених», и мне тошно. Ты не должна быть его невестой. Постарайся забыть скорее, что была ею. Это отвратительно.

Я запретил ему бывать у нас. Если он только посмеет, я не отвечаю ни за что. Пишу тебе, потому что сам не могу приехать домой, пока не уляжется во мне все. Может быть, не увижу тебя до самой отправки на фронт. С мамой говорить об этом не могу. Постарайся объяснить ей мое отсутствие и исчезновение Б. хлопотами перед производством. Мама, умница, давно уже подозрительно к нему относилась.

Верь мне и не очень мучайся.

Твой Игорь».

Море подергивалось фиолетовой рябью. Соленый ветер то бежал широкой, упругой волной, то поникал устало, и тогда шеи Ирины касалось горячее дыхание накаленного за день камня. Несколько чаек с криком ныряли и ловили рыбешек у самых ее ног. Письмо оказалось не таким зловещим, каким должно было быть. Ничто лично не угрожало Ирине. Ее возлюбленный (так ей нравилось сейчас называть Васю) жив и здоров и не разлюбил ее. Но он б е с ч е с т е н. Ирине понравилось слово: оно звучало романтикой.

— Он бесчестен, — повторила она, прислушиваясь к своему голосу, улавливая то выражение оскорбленной гордости, какое должно было при этом появиться на ее лице.— Пусть на коленях вымолит себе прощение.

И тотчас же представив себе Васю—уже не обесчещен-

ного рыцаря, а Васю с его веселой улыбкой и счастливыми глазами, ползущего на коленях с берега в воде,—Ирина улыбнулась смешливой девичьей улыбкой, той самой, которую она никогда еще не ловила в зеркале, но которая одна лишь казала ее лицо единственным. Тонкие строгие брови приподнялись удивленно и беспомощно; безукоризненно очерченные губы, обычно открывавшие мелкий ряд зубов заученным движением, теперь по-детски мягко поползли в стороны; подбородок, всегда чуть вытянутый, переходящий в шею прекрасной скульптурной линией, пошел маленькими, торопливо бегущими морщинками к порозовевшим щекам и точно обезоружил все лицо. На короткое мгновенье оно стало беззащитным, девственно ясным в своей беспомощности. Что-то до слез жалкое, обреченное, что-то такое, чего никак нельзя было вызвать сознательно, проступило и засветилось дальним меркнущим светом в рыжих, обычно вызывающих, красующихся глазах Ирины. Но только на мгновенье. Губы подобрались, подбородок разгладился, брови темными, уверенными штрихами тушью затенили, точно загримировали по-обычному необычайные глаза.

Ирина аккуратно разгладила помятое письмо, сложила его в восьмую долю, спрятала на груди и стала ждать, бросив руки на колени. Теперь она уже ни о чем не думала, ничем не мучилась. Только нетерпеливое любопытство бродило в ней. Образ героя предстоящей драмы был ясен: он бесчестный человек, изгнанный из общества. Пусть понесет достойную кару, а там... бог весть, может быть, она разделит с ним его жалкий жребий, или он вернется с войны, увенчанный славой,—тогда ему все простится. Теперь, когда она бесповоротно решила стать артисткой, второй Саррой Бернар, ей безразлично мнение света. Она поставит всех на колени перед своим талантом. То, что говорила ей эта Потанина о курсах, о работе, о трудностях попасть на сцену,—все это может быть правдой в отношении к Потаниной, славной, но серенькой девчонке. У Ирины иная судьба, иные пути. Ей нужно только захотеть... Недаром Чегорин...

— Ириночка! Ирина Никаноровна!..

Она не пошевелилась, не оглянулась, несмотря на неожиданно раздавшийся голос, заставивший ее вздрогнуть, еще пристальней вгляделась в морскую даль.

— Ирина Никаноровна, это я...

Вася надавил носком сапога влажный песок, глядя

безнадежно на то, как наполнялась водой образовавшаяся ямка.

Ему не отвечали.

«Что мне делать?—подумал он.—Лезть на этот камень? Или звать ее к себе? Вот дурацкое положение!..»

— Ириночка... я пришел поговорить... нам нужно...

— Я вас слушаю...

Ирина все не шевелилась, попрежнему сидела в профиль. Голос ее звучал бесстрастно.

— Но как же нам говорить? Так же неудобно...

Вася потоптался на месте, осторожно звякнул шпорами, чтобы подбодрить себя.

— Как знаете.

Рассчитав расстояние, отделявшее камень от берега, Болховинов соображал, можно ли прыгнуть. Если бы камень не был покат и скользок, тогда еще полбеды, а тут придется карабкаться, держась руками, да и то трудно в обуви. Этакая история! Итти в брод? Придется в конце концов, но как? Снимать сапоги?

Ирина следила за ним краем глаза.

«Разуется, или нет? С него хватит наглости. Ну, тогда... тогда я прогоню его вон—и между нами все кончено».

Она видела, как Вася нерешительно прошелся вдоль берега туда и обратно, вскидывал голову вверх, жалко взглядывая на Ирину, пожимал плечами и нежданно, высоко подняв ногу, одним махом опустил ее в воду. Лицо его было полно решимости, даже повеселело. Он шагал широко, в сапоги залилась вода, ногам стало холодно, а в голове прояснилось.

«Будь что будет,—решил Вася:—пропадать, так с музыкой. Ну, скажу ей всю правду—и дело с концом. Если любит, поймет...»

Впервые подумал об Ирине: «если любит». Раньше, даже тогда, когда они часами до головокружения целовались, он не задумывался над тем, что она его может любить. Она никогда этого не говорила. Он привык исполнять ее капризы, только всего. Ему приятно было подчиняться им. А теперь, шлепая по воде, чувствуя себя кругом виноватым... да уж так ли виноватым? Болховинов внезапно почувствовал что-то, никогда не испытанное им раньше, наполнившее его решимостью и нечеловеческой—так ему казалось—богатырской силой.

«Если она любит...»—повторил он, беря камень яростным приступом и уже ничего не боясь.

Мокрый, грязный, с липкой зеленью на груди и коленях, но с блестящими, на все готовыми глазами Болховинов потянулся к Ирине, забыв все слова, какие повторял дорогой, забыв даже о том, что привело его сюда.

— Ириночка, это же, понимаешь...—начал было он тем обычным своим звонким, веселым, но теперь глубоко звучащим голосом, каким говорил всегда.—Это же, понимаешь...—И взял ее за руку.

— Ах, пожалуйста, оставьте меня,—брезгливо выдергивая руку, отодвигаясь, но не меняя позы и выражения лица, сказала Ирина.—Вы хотели, кажется, что-то сказать. Можете говорить, но прошу меня не трогать...

— Ну вот... я же говорю,—тотчас же подчиняясь ей, ответил Вася:—Игорь просто все не так понял...

— Что у вас произошло с ним?

— Вот я и говорю,—повторил он, стараясь говорить яснее, не сводя с Ирины глаз, чувствуя, как силы и уверенность гаснут в нем.—Игорь рассердился на меня по пустякам. Он думал, что это было всерьез, а вот клянусь тебе...

Неожиданно резко Ирина привстала на колени и крикнула, глядя на Васю округлившимися, потемневшими глазами:

— Только правду! Слышите? Говорите правду. Правду только, если хотите, чтобы я вас хоть немного уважала.

— Ну, конечно, правду,—повторил Болховинов, усомнившись, надо ли говорить правду, как он хотел за минуту перед тем.

Он смолк, посмотрел на свои испачканные руки, стал медленно размазывать пальцем грязь по ладони.

— Я вас слушаю,—повторила Ирина,—только помните: мне все известно...

— Да,—сказал он уныло.

Стало скучно и непонятно, зачем он сидит здесь, что ему делать дальше. Может быть вовсе не нужно было слушаться Олега и приходить сюда. Раз Игорь все написал, о чем же еще говорить? То, что казалось таким легким, когда он брел по воде, стало невероятно трудным и ненужным. Правду говорить было нельзя. Никак нельзя. Как он может говорить здесь о Сонечке? Разве об этом говорят? Вася только

сейчас это до конца понял. Скорей всего не понял, а представил себе все, как было, и ужаснулся.

«Если Игорь написал, тем хуже для него,—подумал он, краснея.—Но как же может Ирина спрашивать меня об этом?»

Вася исподлобья, с непривычным для него пристальным вниманием посмотрел на Ирину. Он заметил отчетливо белизну ее обнаженной шеи, родинку у правого уха, тяжесть черных волос, большим узлом падающих на девический слабый затылок. Рука его невольно приподнялась коснуться этих волос, но он тотчас же опустил ее.

— Да,—повторил он,—Игорь написал тебе, ну и все... О чем говорить...

— Все равно, я хочу слышать от тебя,—возразила Ирина, чуть склонив набок голову, как птица, когда она прислушивается, и, как птица, с любопытством кругля немигающий зрачок.

— Кто этого не делает?—глухо ответил Вася, с удивлением замечая, что говорит не то, что хотелось бы сказать, что самое нужное не идет на язык.—Это тебе каждый скажет...—добавил он с усилием.

— Вот как!

Ирина дернула ртом в презрительной гримасе. Но гримаса не удалась ей, губы задрожали. Она растерянно смолкла, неясное беспокойство перехватило ей дыхание. Васины слова косолапо, жестко вышли из круга ее обычных представлений, звучали правдой, которую она не хотела, боялась знать.

И как в ту минуту, когда она представила себе Васю, ползущего к ней на коленях по воде, так и теперь лицо ее стало беззащитным, девически ясным. Она сделала усилие над собой, сжала кулак и, напрягшись, голосом, каким, ей казалось, говорят на сцене, крикнула то, что собиралась сказать Болховинову тотчас же, как его увидит:

— Вы бесчестный человек!

«Она все знает. Вот она какая!—тяжело и жарко подумал Вася, не имея сил отвести глаз от необычайного, впервые узнанного, желанного лица ее.—Все равно ведь любит... будет моей женой... Вот она... волосы какие...»

И не отдавая себе отчета, что с ним, что думает делать, Болховинов резко и грубо, потому что неожиданно для себя, схватил Ирину за ломкие плечи и жадно и больно, как никогда раньше, закинув ей голову и сбив узел волос, поцеловал в губы.

Константин Никанорович девятичасовым вечерним поездом выехал сегодня из Петербурга в Смоленскую губернию, в имение своей матери Веры Владимировны Карышевой «Самолюбово». Он давно уже собирался туда, да все не представлялось удобного случая. Вернее, ничто не казалось Смоличу случаем, подходящим для поездки. Поездка откладывалась со дня на день. Константин Никанорович терпеть не мог деревни. Все, что не связано было с его службой, карьерой, столичными удовольствиями и привычками холостой жизни высокоадминистративного чиновника, претило Смоличу. Но ехать все-таки надо было. Две недели назад он списался с сестрою Наташей, гастролировавшей в Риге, и условился, что встретится с нею в Самолюбове. Ехать надо было не потому, конечно, что уже много лет Константин Никанорович не виделся с матерью и соскучился по ней, а потому, что денежные дела камер-юнкера сложились так, что необходимо было спешно переговорить с матерью о возможности получить свою часть доходов с имения. Обсуждая с самим собою этот вопрос, Смолич давно уже пришел к убеждению, что у него есть основания для такой претензии. Особенно это стало для него не терпящим отлагательства делом, когда мать его не только обзавелась сыном от второго своего мужа, Бунакова, но, выйдя после смерти последнего в третий раз замуж, взяла и усыновила внебрачную дочь этого третьего мужа, Карышева,—«какую-то девчонку, прижитую от портнихи», как говорил о ней Смолич. Но что заставило наконец Константина Никаноровича сорваться с места и «закипеть благородным негодованием», так это весть о том, что мать его разъехалась и с третьим своим мужем, разъехалась из-за какого-то вздора, приревновав к кому-то, и теперь живет со своей приемной дочерью Людмилой у себя в имении, где эта «дочь» ведет хозяйство. Последнего обстоятельства Константин Никанорович стерпеть не мог. Надо было во что бы то ни стало заставить мать вернуться к мужу. «На старости лет не ревнуют,—раздраженно думал Смолич.—Она со своим феноменальным эгоизмом не считается ни со своей репутацией, ни с тем, как эти ее фокусы отражаются на моей карьере; так уж тем паче она не подумает обо мне, когда вопрос коснется раздела имущества... Надо ехать...»

Имение «Самолюбово», в котором теперь жила безвыездно Вера Владимировна, было раньше частью большого поместья

старика Тулубьева, отца Веры Владимировны. Имение это, называвшееся «Рай», находилось в Тильском уезде Смоленской губернии и считалось родовым семьи Тулубьевых. Но старик Тулубьев еще при жизни отделил кусок земли в полторы тысячи десятин жене своей в пожизненное пользование, с условием, чтобы по смерти ее этот кусок достался дочери его Вере. Оставшуюся бóльшую часть имения, около пяти тысяч десятин, дважды заложенную, завещал своим сыновьям Дмитрию и Якову в нераздельное пользование, с тем, чтобы Дмитрий, старший, хозяйничал, а младшему выплачивал его часть. Старик знал легкомыслие меньшого. Но вскоре после смерти отца умер Дмитрий, двадцати восьми лет от роду. Яков вступил во владение и сперва в третий раз заложил, а потом, запутавшись в долгах, продал имение на отруба мужикам через Крестьянский банк. Усадьбу купил у него, выйдя в отставку, преподаватель Смоленской мужской гимназии Алексей Леонтьевич Крутовской. Теперь там, по слухам, дошедшим до Константина Никаноровича, «крестьянствовал» на двадцати десятинах пахоты, луга и сада сын преподавателя Леонтий— какой-то чудак, не то толстовец, не то социалист, сколотивший с соседями-хуторянами сельскохозяйственную артель а ля Томас Моор.

Константин Никанорович смутно помнил усадьбу, в которой жил в раннем детстве, еще тогда, когда Вера Владимировна не была в разводе с его отцом, Никанором Ивановичем. Но Смолич знал, что усадьба эта отстояла в полуверсте от усадьбы «Рай», где теперь жил Леонтий Крутовской, что она расположена на холме, у берега студеной и прозрачной речонки Ящура, притока Днепра. Смолич знал по рассказам старожилов, что в былое время на холме этом, покрытом березовым лесом, его бабка устраивала пикники с приезжавшими «на траву» кавалеристами, что, должно быть, в память этого веселого времени она и решила поставить здесь дом, когда муж отделил ее. Бабка, тогда красивая тридцативосьмилетняя женщина, сама руководила распланировкой сада, сама сажала плодовые деревья, разбивала куртины и разводила любимые свои розы, которыми славился ее сад и поныне. Дом выстроен был крепкий, удобный, со всеми новейшими приспособлениями. «Из-за одного самолюбия я хочу, чтобы мой сад был лучше раевского»,—говорила Тулубьева, и с тех пор так и прозвали ее имение—«Самолюбово».

Смолич знал и очень хорошо запомнил, что, после того

как умерла легкомысленная его бабка и Вера Владимировна согласно завещанию отца своего должна была получить ее имение, оказалось, что старуха успела наделать такое количество долгов, что не только не было никакого расчета входить во владение имуществом, подлежащим продаже с торгов, но и еще пришлось бы доложить своих денег. Волей-неволей приходилось навсегда распрощаться с насиженным гнездом. Но тут на выручку пришел Никанор Иванович, отец Константина,—полковник Смолич. Он решил спасти остатки родового поместья жены и, «обернувшись» через банк, приложив кое-какие свои наследственные деньжата, выкупил Самолюбово и рыцарски перевел его на имя Веры Владимировны.

Константин Никанорович это обстоятельство знал твердо, хотя все это происходило, когда он был ребенком. Он знал также, что после развода с его отцом мать вела с Никанором Ивановичем длинную переписку, которую Никанор Иванович хранил у себя среди документов, как оправдание перед детьми своими, как доказательство того, что он, несмотря на судебное осуждение по разводу, никогда и ни в чем не был виноват в отношении к их матери. Письма эти Костя еще мальчиком однажды тайком прочел и запомнил. В них Никанор Иванович просил Веру Владимировну, напоминая о том, каким образом досталось ей Самолюбово, законным порядком закрепить право наследования этого имения за их детьми—Константином и Натальей, так как ему горько было бы, после тех жертв, которые он принес, спасая имение, ежели бы оно досталось чужим ему людям, хотя бы и детям Веры Владимировны от другого брака. В свой черед Вера Владимировна писала бывшему мужу, что она, конечно, не забудет «дорогих ей малюток», что никаких других детей у нее не будет, но что Никанор Иванович должен помочь ей все же выплачивать банковский долг, который остался за имением, и который он сам сделал, покупая Самолюбово. Это последнее требование, становившееся с каждым письмом все настойчивее и настойчивее и логически ничем нн оправдываемое, на взгляд Константина Никаноровича, особенно тогда, когда у Веры Владимировны родился от второго мужа, Бунакова, сын,—в конце концов было выполнено полковником Смоличем. Таким образом Самолюбово не только должно было по моральным соображениям перейти по смерти матери к Константину и Наталье, но фактически,—целиком купленное на деньги

их отца,—принадлежало ему. «И было бы странно,—каждый раз доходя мысленно до этого аргумента, говорил себе Константин Никанорович,—если бы мать не пошла на соглашение. Как-никак, судя по письмам, роль ее во всем этом деле не ахти какая. Лишнее напоминание о нем не может ей быть приятным... А она у меня не только эгоистка, но и охранительница престижа семьи и всяких благородных традиций».

Зная и помня все это, Константин Никанорович, списавшись с сестрой, получил причитающееся ему жалованье, задержанное выдачей на день из-за манифеста, взял отпуск в министерстве, послал телеграмму матери и сел в поезд, отходящий на Москву в десять вечера, купив билет первого класса до станции «Тильск».

Устраиваясь в своем купе, провожаемый усатым и дородным жандармом, Константин Никанорович испытал чувство, близкое к чувству исполненного долга. Он попрыскал вокруг себя одеколоном, попросил проводника закрыть окно, спустил штору, чтобы не проникала пыль, надел туфли и пижаму, зажег лампу на столике у изголовья и стал просматривать газеты, восторженно славословящие войну.

Петербург—Москва—Смоленск—на бархатном пунцовом диване. Мимо, мимо трепанные деревеньки, российское безлюдье и бездолье, и галки на многоверстных полях, и чеховские герои на полустанках, жадными глазами провожающие вас...

Все дальше—в поля, к июльскому солнцу, в «благорастворение воздухов», все дальше от грохота событий—в дворянские гнезда, под липы,—к Тургеневу, опоздавшему умереть, в бунинский «Суходол», еще не проданный с молотка, к «расейским» феодалам, случайно заблудившимся в электрическом веке,—к чудеснейшим, милейшим...

В купе уютно, горит лампа, притушенная зеленой шелковой юбочкой, пахнет «коти», лимоном и пылью. Ждут обозренья «Новое время», «Русское слово», «Сатирикон», цветастое «Солнце России». Скучает роман Арцыбашева, небрежно брошенный на английский плед, слышится поблизости французская речь...

Совсем, как в Европах...

За огненной сетью несущихся искр не видно, не слышно лохматой России, ползущей мимо вшивой рванью, гнилой

соломой крыш, потом божьего хлебушка, причитающими по ушедшим мужьям бабами, взвизгивающими, орущими, захлебывающимися гармоникой эшелонами, уходящими на фронт. Поезд несется в полосе отчуждения, в звездных пространствах—от двойного кружка до кружка с рюмкой.

Петербург—Москва—Смоленск.

Константин Никанорович полузакрыл глаза, откинулся плоским затылком на спинку дивана, не то подремывал, не то вспоминал... и когда-то читанного Тургенева, и недочитанного Бунина, и дядюшку Якова Владимировича—прожигателя жизни и «бонвивана», живущего теперь на хлебах у сестры своей в Самолюбове, и стихи Блока, слышанные случайно на каком-то вечере, и усатого жандарма, провожавшего его в Петербурге, и что-то беспокойное и неопределенное, что называется войной...

Сидя в вагоне, в вынужденном бездействии, предоставленный самому себе, Смолич невольно перебирал в памяти события своей жизни, проверял свои взаимоотношения с людьми. Проверял их не потому, что считал себя в чем-нибудь перед ними виновным или хотя бы неправым,—этого он никогда не думал и не допускал мысли, что его могут упрекнуть в чем-либо,—а потому, что рассматривал каждого человека со стороны той пользы, которую он мог из него извлечь при тех или иных обстоятельствах и взаимоотношениях.

Людей бесполезных для него (а их было большинство и среди них могли оказаться самые близкие по крови, и по воспитанию, и по детским связям люди) Смолич и вовсе не замечал. Сызмальства имел он тяготение ко всему блестящему, сначала к галунам и форменным позументам,—его правоведский мундирчик всегда был с иголочки, он старательно сдувал с него малейшую пылинку,—потом к трескучим фамилиям, титулам, придворным чинам. Так как его восхищение перед «сильными мира сего» было вполне искренне, его сдержанная, но глубокая почтительность в обращении к особам выше пятого класса звучала неподдельным энтузиазмом и достоинством правоверного,—он легко, шутя нашел себе покровителей, ходатаев, снисходительных благожелателей и быстро пошел в гору. О нем говорили как о «воспитаннейшем, образованнейшем, приятнейшем молодом человеке», у которого впереди «блестящая карьера, широкий административный

путь». Это говорили даже те, кто его не знал: настолько мнение о нем закрепилось, визировалось в том обществе, которое одно считало себя в праве выдавать патент на «добропорядочность». Окончив правоведение, Смолич не пошел в министерство юстиции: судейская карьера его непрельщала, так как была недостаточно блестяща, не достаточно на виду, считалась в его обществе подозрительно разночинной. У графа Шереметева в его особняке на Фонтанке Костя встретился с князем Святополк-Мирским, женатым на племяннице Шереметева, с «Пепкой», как его называл отец Смолича, Никанор Иванович, однокашник князя по Пажескому корпусу. Князь предложил Косте место чиновника особых поручений при себе. Тогда Святополк-Мирский правил в Вильне в качестве генерал-губернатора и ждал назначения в Петербург. Вскоре шереметевский салон выдвинул его на пост министра внутренних дел, и вместе с ним молодой Смолич вернулся в столицу «делать карьеру». Он умел улавливать настроения, прислушиваться к чужим мнениям. И не без основания говаривал впоследствии, что пресловутая «весна», инспирация беседы Мирского с французским журналистом Гистоном Лару—дело его влияния на слабохарактерного князя. Однако это не помешало ему, двадцатитрехлетнему юнцу, впоследствии безболезненно закинуть удочку в противный лагерь и, когда Святополк-Мирского свалили, оказаться желанным сотрудником у Витте. Это он,—принявший революцию 1905 года как личное оскорбление,—если не первый, то один из первых пустил в обиход словечки на «кон» в будирующих гостиных у престарелых сановниц,—словечки, символизирующие конституцию: коньяк, кондитерская, конъюнктура... Это плоское остроумие создало ему репутацию умного и дальновидного человека, когда революция и все «блага» конституции были расстреляны Мином. Князь Мещерский снова загремел в «Гражданине» о самодержавии, высмеивая Святополк-Мирского, которому незадолго до этого, по просьбе своего любимчика—Костеньки Смолича, писал декларацию о «доверии».

Навсегда памятным Смоличу остался особняк князя Мещерского в Гродненском переулке. Там собирались министры, брюзжащие генералы в отставке, богомольные и богатые дуры, архиереи, подозрительные журналисты, странники и аферисты всех марок, всех цветов и—как украшение—несколько молодых людей, очень тихих, скромных, с жен-

ственными ужимками, несколько педерастов, «делающих карьеру», а среди них—сам князь, когда-то, и точно, руководивший политикой, ворчливо повторяющий в своем «Гражданине» старое, но не утративший «расположения», маленький, с нависшими седыми бровями, прочный и твердый, но с нежными, выхоленными руками, отвратительными на ощупь. Молодежь за глаза называла князя его литературным псевдонимом—«Старый боб». Иногда он угощал своих избранников обедами у Контана, и они пили шампанское и пели псалмы, и тайком, в соседнем кабинете, волочились за женщинами и рассказывали скабрезные анекдоты, и отвечали понимающими улыбками на заигрывания князя... В сущности говоря, Смолич всегда тяготился этим знакомством. Здравый смысл заставлял его смотреть со стороны на то, в чем он участвовал, но тот же здравый смысл сделал его камер-юнкером... Поездку на предвыборную агитацию по поручению министерства устроила Косте баронесса фон-Флешше; это дало ему ni plus ni moins[1] вице-директора департамента. Тогда-то он смело мог наплевать на четверги у князя...

Смолич засвистал; у него была эта глупая привычка: он отвечал свистом на свои мысли.

«Лишь бы Наташе поскорее удалось водворить мамашу в «лоно семьи», замять этот скандал с ее разводом и устроить денежные дела...»

Предстоящая встреча с матерью мало радовала Константина Никаноровича, он всегда был к ней равнодушен.

«А еще этот тип—приемная ее дочь, этот карышевский ублюдок, дитя любви запретной—Людмила... Воображаю, что за особа! Если бы не Наташа, сам чорт меня бы не занес в их тихую пристань... Разыгрывать роль любящего сынка в надежде получить гроши—занятие пиковое. Но что делать, эти гроши необходимы...» Смолич поджал губы, вспомнив о баронесе фон-Флешше. С тех пор, как у него эта связь, деньги тают, «яко воск перед лицом господа». Конечно, он многим обязан баронессе, но автомобили, цветы, все это «представительство», очищают карманы быстрее, чем их можно наполнить... Да, надо было выполнить намеченную программу. Надо было помочь сестре уговорить мать примириться с мужем,

[1] Ни более, ни менее.

этим самым отвлечь ее интересы от имения, отправить ее на жительство в город и тогда начать переговоры о разделе недвижимости. Ничего не поделаешь, нужно претерпеть... Помощь отца, присылаемая им из Ковно, где генерал командовал корпусом, едва-едва покрывала расходы камер-юнкера, весьма расчетливого в личном бюджете, но умеющего в обществе, когда это нужно было, показать себя тароватым и не стесняющимся в средствах. К тому же исподволь, под большим секретом, Константин Никанорович подготовлял почву для своей кандидатуры на пост губернатора, именно смоленского губернатора. Будучи помещиком этой губернии, он легко мог бы прослыть человеком, прекрасно знакомым с местными условиями. Смолич не только уже говорил, где нужно, но и сам верил, что действительно знает «местные условия», произносимые со значительным видом, тогда как не только никогда не выходил за пределы усадьбы своей матери, когда живал там мальчишкой, но даже смутно представлял себе значение самих этих слов, так часто повторяемых вокруг него. Зато для него было очевидным, что, оставив департамент ради губернии, он может при своих связях легко получить на худой конец товарища министра, если не министра, тогда как, сидя в вице-директорском кресле, он так и засохнет в нем.

— К тому же,—громко произнес Константин Никанорович и открыл глаза,—это назначение естественным и безболезненным образом развяжет мне руки. Баронесса останется в Петербурге, и ее женские прелести больше не будут докучать мне... Мы займемся эпистолярным искусством,—Смолич улыбнулся.—Меня это вполне устроит...

В Москве спокойное и сравнительно удобное путешествие Константина Никаноровича было нарушено непредвиденным обстоятельством.

Выйдя на перрон, чтобы размять ноги и купить газеты (поезд стоял здесь долго: вагоны переводили с одного вокзала на другой), Смолич неожиданно столкнулся лицом к лицу со своим единоутробным братом Витей Бунаковым.

Было жарко. Витя Бунаков в белой косоворотке, расстегнутой на широкой загорелой груди, со своей путейской институтской фуражкой, сдвинутой на затылок, потным лбом, в высоких охотничьих сапогах, с чемоданчиком, кое-как увязанным ремнями, и с ружьем в холщевом чехле за пле-

чами, наскочил на холеного братца, как дюжий навьюченный першерон на прогуливаемого по кругу английского бегового фаворита.

Камер-юнкер сделал легкое движение назад, подняв и чуть отведя руку с дымящейся папироской. Студент-путеец расставил ноги, грохнул чемоданом об асфальт платформы и крикнул юношеским, хриповатым баском:

— Костя! Вот не ожидал.

— Я еще того менее,—ответил, сдержанно улыбаясь, Смолич.—Откуда и куда едешь?

— Из Володимирской губернии, с практики, к мамахен в Самолюбово.

— Туда же и я,—принимая обычный свой тон и с любопытством оглядывая брата, так, будто бы перед ним стояло существо странной и непонятной породы, сказал Константин Никанорович.—Еду этим поездом из Петербурга.

— Чудеса!—перебил его Витя.—Чудеса в решете! Как же это ты выбрался из своего министерства? Ведь там же без тебя пойдет все кубарем. Ты же ведь персона какая!

Витя ухмылялся добродушно и озорно,—в серых глазах его бегали насмешливые живчики. Они стояли друг против друга, все так же, в расстоянии шага, не протягивая руки: Смолич—держа папиросу, Витя—чемодан. Праздная публика на них оглядывалась. Константину Никаноровичу стало неловко. Он сказал, стараясь придать своему голосу добродушие и простоту:

— Ну что же, зачем же мы стоим тут? Если ты едешь этим же поездом, садись ко мне: у меня отдельное купе. Отлично проведем время, поболтаем...—Он сделал движение к вагону.

— Да ты, поди, в первом классе,—остановил его Витя.

Смолич глянул на брата недоуменно.

— А я в третьем,—не дождавшись ответа, но по выражению лица Кости догадавшись, что не ошибся, продолжал Витя.—Я, брат, на демократических началах...—И заметив поджавшиеся было губы брата, поспешно добавил:—не из принципа только, ты не подумай—к чорту принципы!—а денег в обрез. Все вышли, едва наскреб на билетик и телеграмму мамахен. Прожился.

Смолич уже стоял на площадке вагона. Витя говорил громко, камер-юнкеру казалось, что все обращают на них внимание. Проводник, стоявший у подножки вагона, улыбался... Чувство раздражения, неловкости и сознание необходимости

сохранить свой престиж и не показать виду, что он смущен, заставило Смолича сказать решительно и твердо:

— Все это пустяки... Послушайте,—обратился он к проводнику, глядя куда-то поверх его головы, как всегда, когда говорил с услужающими,—возьмите у молодого человека чемодан, отнесите в мое купе, и вот вам деньги—доплатите разницу билета...

Он вынул из жилетного кармана десятку, все глядя в сторону, подал ее проводнику и прошел в вагон.

Витя, пожимая плечами и улыбаясь уже явно насмешливо, не дал проводнику чемодана и полез в вагон следом за братом. Он тотчас же рассудил, что обижаться незачем, что провести ночь на мягком диване куда удобнее, чем на жестком, а что разницу в стоимости билета он вернет Константину, когда получит очередную сумму. «Чорт с ним, у него свои фанаберии, пусть при них и останется. Мамахен обрадуется, когда узнает, что мы «дружественно» совершили войяж в купе первого класса, как подобает порядочным людям».

Но «дружественно» проехаться братьям не удалось. Началось с пустяков. После нескольких общих фраз о войне, о которой Витя еще не составил себе никакого мнения и думать о ней не хотел, разговор перешел на спорт. Витя доказывал, что спорт развивает не только мускулы, но и мыслительные способности; он приводил тому множество примеров, ссылаясь даже на греков. Константин Никанорович поджимал губы, теребил подстриженные усы, болезненно морщился и повторял, что спорт хорош только для кретинов с куриными мозгами, и почему-то вспоминал атлетов из цирка. Братья друг друга не понимали и понимать не хотели. Но Витя оставался покоен, он не бледнел, не краснел, как Константин Никанорович, говорил с английской бесстрастностью—коротко и точно.

Чтобы успокоиться, Смолич предложил сразиться в шахматы. Он разложил на вагонном диване дорожные шахматы, и они стали играть. Но и тут старшему не повезло. Витя без усилий загнал короля брата в угол. Тогда Константин Никанорович закурил папироску, поджал под себя ноги и стал читать газеты, раздраженный до-нельзя. Ему казалось, что брат принял его поражение как доказательство правоты своей в предыдущем споре, и не знал, чем еще доказать свое пре-

небрежение. Чтобы успокоить себя, он стал думать о вещах приятных: о том, что он камер-юнкер, что в свои тридцать три года он вице-директор департатмента, что с ним считаются. А Витя, расстегнув тужурку, стал заниматься гимнастикой.

«Везет мне на братьев,—перебивая общий ход мыслей, досадливо бормотал себе под нос Смолич:—Игорь—фантазер, беспочвенный мечтатель, несомненно деградирующий тип, а этот—бурбон какой-то, в своего плебейского папашу... Бунаков... что за фамилия? Очевидно, из выслужившихся во дворяне... Станет путейским инженером, будет красть, женится на купчихе... Пошляк!»

Он взглядывал из-за газеты на Витю, на его коренастую фигуру, на его хорошо развитые, равномерно набухающие при гимнастике бицепсы, на его круглое украинское лицо, обветренное, тронутое загаром, на его прямые серые, небольшие глаза, короткий нос, открытую улыбку, придающую всему лицу ребячливо-озорное выражение, на стриженную под машинку круглую, с крепким выпуклым затылком, голову. Все казалось Смоличу в брате плебейским.

«Ни одной черты матери, ни одной повадки. Хоть бы что-нибудь от Тулубьевых... Нет, положительно, maman выбирала себе мужей по странному принципу: за исключением моего отца, и Бунаков, и этот Карышев, какой-то преподаватель юнкерского училища, один хуже другого... Вечные разводы, страсти, скандалы... «Мамахен»...—тотчас же вспомнил он, как Витя назвал мать—«мамахен»,—отвратительно...

— Прошу тебя, закрой окно!—раздраженно проговорил он.—Пыль, дышать нельзя.

— А я люблю солнце,—подзадоривающе крикнул Витя и высунулся по пояс в окно.—Чудесно!

Смолич подобрал под себя ноги, зевнул, чтобы не выказать раздражения.

— Все хорошо, когда в меру...Кстати сказать, я заметил, что тебя мало интересуют общие вопросы, вопросы широкого значения. Только охота, спорт, узкая специальность твоя—инженерство...

Почему это замечание было кстати в отношении к жаре и солнцу, Константин Никанорович не знал, очевидно, сам,—он просто невольно для себя искал повода уколоть брата.

— Даже война тебя не задела, не взволновала...Впрочем, этот индиферентизм я наблюдал у большинства современной молодежи,—добавил он примиряюще.

Витя ответил, глядя в сторону на несущуюся навстречу поезду воронью стаю:

— Нет, почему же? И политика, и война, и общие вопросы—все это очень интересно. Но каждому свое. Каждый должен делать свое дело. Я техник, инженер,—я знаю, что России нужны дороги и крепкие люди. Я укрепляю свое здоровье и люблю свое дело. Кажется, это вполне понятно?—спросил он.

— Весьма понятно,—повторил Смолич саркастически и после минуты молчания спросил все тем же небрежным тоном:—А скажи мне пожалуйста,—ты с ней часто встречался,—она таких же взглядов придерживается... эта... как ее?.. мамина воспитанница Людмила? Что она из себя представляет?

Людмила ждала Леонтия Крутовского в лодке у пристани.

Леонтий Алексеевич пробрался из дому чащей и прыгнул в лодку.

Лодка качнулась, широкие круги пошли по воде. Девушка молча поднялась и пересела на руль. Крутовской занял ее место. Скрипнули уключины, весла с упругим свистом взмахнули в воздухе. Лодка дрогнула и вынеслась на середину Ящура. Крутовской хмуро молчал, не подымая глаз.

— Я вас слушаю, Леонтий Алексеевич,—внимательно вглядываясь в него, молвила Людмила.

У них было заведено: каждый вечер встречаться и докладывать все, что произошло за день, «проверять себя и друг друга», как называла это Людмила. «Проверка» эта вошла в привычку, без нее день казался обоим незавершонным, но нынче Крутовской не знал, как начать разговор. Он был в таком настроении, когда человек, оглядываясь на пройденные дни, на свершонное им, замечает с особенной остротой несоответствие того, что он задумал сделать, с тем, что он сделал, разлад между тем, каким он себе казался, и тем, каков он в действительности.

Лодка неслышно и быстро скользила вперед, следуя за извивами верткого Ящура, минуя обе усадьбы, хозяйственные постройки, купальни. По обе стороны распахнулись поемные луга. Глубокие «окна», похожие на осколки зеркала, в светлых лиловых сумерках казались выше травы, выпуклыми. Таким же выпуклым казался и Ящур. Течение

было здесь едва приметно, точно река боялась пролиться на зеленый ковер, смять его.

— Да о чем же особенном рассказывать,—наконец перебил молчание Леонтий Алексеевич, не подымая головы.— Новые жернова привезли, завтра ставить будем.

Он оборвал речь, чувствуя на губах терпкую горечь. Молчала Людмила. Красный платок с желтыми и розовыми розанами лежал на ее полных плечах, пламенел ядовито в поблекшем воздухе. Каштановые волосы, стянутые на затылке в тугую косу, растрепались, вокруг лица лучился венчик: так падал на них свет.

— Не могу я говорить сегодня, вы уж извините меня, Людмила Александровна.

Но, не дождавшись ее ответа, заговорил взволнованно, криво усмехаясь:

— И почему это за каждым нашим прекрасным, как нам кажется, побуждением, даже поступком непременно же тотчас следует какая-нибудь пакость,—результат противоречит причине?.. И всякий «начнет, как бог, а кончит, как свинья»...

— Опять что-нибудь с артелью?—участливо подсказала Людмила.

— Да, и с артелью,—согласился Леонтий Алексеевич, хотя, видимо, думал не об этом.—Вот именно... Ну, что прикажете делать? Вы знаете, сколько сил кладу я в нее, как она для меня важна,—принципиально, морально важна... Сколько времени ухлопал я на то, чтобы уговорить наших мужичков организоваться!.. У каждого из моих хуторян по пять, десять десятин, не больше, ковырялись сошками без толку... А теперь у нас и паровая молотилка, и жатка двуконная, и много еще всякого добра. Отару овец сколотил, мельницу исправил, осенью водяную будем ставить. С трехполки на девятиполку перешли... Так они рады сейчас, довольны. Разбогатели, и только одного, видите ли, не хватает: батраков! «Зачем батраков? Каких батраков?— кричу им.—Это против нашего устава». Смеются, черти. «Устав,—говорят,—бумажка, переписать можно, а коли рук не хватает, нужны батраки». И ведь врут: хватило бы рук, а—лень. Зажирели, работать не хотят. «Ну ладно,— говорю,—пускай по-вашему: мало рук—возьмем в артель еще мужичков,—найдутся в деревне охотники».—«В артель? Ни за что! Мы,—говорят»,—все своими руками наладили,

сколько мук претерпели!.. Не нужно нам хозяев на готовое»... И опять врут: никакой муки не терпели, деньжата у всех у них водились,—отруба купили через банк у Тулубьева, отстроиться я им помог своим лесом, все хлопоты по артели брал на себя...

Крутовской передохнул, утер платком со лба пот.

— И ведь развалят! Развалят дело, вот увидите. Каждый норовит себе в кубышку. И уже прицениваются то к тому, то к другому куску «на особицу»... «Мы,—кричат,—свое отработали, теперь полное право имеем батраков держать. Чем мы хуже помещиков?» А давно ли из-под помещичьего ярма сами выбрались?.. Чорт! В петлю к этому прохвосту Ерандакову лезут. Его махинации нюхом чую. Ему наша артель поперек горла. За бесценок готов уступить землю моим дуракам, лишь бы угробить артель.

Крутовской даже весло поднял и ударил им с размаху по борту.

— Однако взбесили они вас,—смеясь, сказала Людмила.—Только в них ли дело, Леонтий Алексеевич?

— То есть как это? А в ком же?

— А в том, что, может быть, и нельзя иначе у нас...

— Опять ваше—или все, или ничего?—хмуро спросил Крутовской.

— Если кругом так, то как же рядышком может существовать иное?—светло взглянув прямо ему в глаза, вопросом ответила она на вопрос.—Если бы кругом все вдруг переменилось, тогда... ну, тогда... Вы же естественник, знаете, что такое среда...

Она не умела толком высказать свою мысль: сама еще бродила ощупью в этих вопросах.

— А воля? А вера? А идея?—перехватил Леонтий Алексеевич.—А человеческое сознание? Разве же нельзя и среди дикарей жить по-человечески? Значит, по-вашему—катись по проторенной дорожке и не смей строить жизнь так, как считаешь лучше? Иди с большинством. Нет... Не будем об этом... это наш вечный спор...

— А почему же нам не закончить его сегодня, договориться до конца?—упрямо качнув головой, возразила Людмила.

— Да потому, что доказывать мне свою правду—значит оправдываться,—с горечью бормотнул Крутовской, отводя глаза от своей собеседницы.—Не только отстаивать свои

убеждения придется, но и свое поведение, всю свою деятельность. Да, да...—внезапно подняв голову, ожесточенно продолжал он:—не пожимайте плечами. Я же знаю...

И как всегда бывает с нервными, неуравновешенными, но вместе глубоко искренними, честными людьми, Крутовской тотчас же стал говорить именно о том, о чем говорить не хотел и никогда не говорил Людмиле:

— Да, да... Бывший эсер, я сижу здесь на земле, хозяйствую и останусь здесь и буду продолжать начатое дело. Почему, спросите вы? Да потому, что иного пути для себя не вижу...—Он помолчал, заговорил тише, примиренней:—С юных лет, с ничем не замутненной верой я ушел в революцию. Это не был юношеский порыв. Вся наша семья, типичная семья интеллигентного труженика, всегда была революционно настроена. В свое время мой отец с моей матерью, тогда курсисткой, работал на голоде, был выслан, потом ушел в земскую работу в героические ее годы, учительствовал. Это был идеалист, не революционер, конечно, но честный, убежденный человек. Моя мать прошла с ним всю жизнь рука об руку в идейной близости. С детских лет, как себя помню, у нас выписывалось «Русское богатство»—единственный, по понятиям отца, честный и, нужно сознаться, скучнейший журнал. Отец был приятелем Владимира Галактионовича, его другом детства, земляком, и письма от Короленко у нас, я помню, читались вслух, торжественно, как молитва. Как видите, почва была вполне пригодная для того, чтобы сын укрепил отцовские позиции, углубил их, стал настоящим революционером. Уже с шестого класса гимназии я работал в партийном кружке. Потом—университет, подпольная работа, агитация в деревне, среди солдат в Японскую войну. Революция. Для меня это был мой жизненный путь... Понимаете? Горел ли я, не мне судить. Я исполнял свой долг.

Крутовской смолк, растерянно и смущенно оглянувшись. Первый порыв откровенности прошел. Воспоминания были слишком мучительны, слишком близки, именно сегодня, сейчас. Лучше бы встать и итти, куда глаза глядят, со своей неустроенностью, но Людмила смотрела на него строго, со вниманием. Нужно было продолжать.

— Я исполнял свой долг,—повторил он,—пока шел

по проторенной дорожке. Но когда пришлось бежать, эмигрировать, остаться наедине с собою, когда в безделии изгнания начались партийные распри и оторванная от жизни заумь, я почувствовал до конца всю ненужность свою и своих товарищей, всю идейную свою беспомощность, практическую беспочвенность. Я очутился в положении Дон-Кихота, но только отнюдь не с его слепой верой. А только с этой слепой верой можно было проделывать то, что проделывали мы. Вы скажете: нельзя разочаровываться от неудач. Нет, это не было разочарование. Это было полное банкротство. Все дело было никуда не годно, поставлено не на те рельсы. Мне оставалось одно: уйти. Может быть, просто уйти из жизни. Но на это меня не хватило... или я был слишком здоров, слишком зауряден. Свое разочарование я затаил в самом себе. А жить нужно... Когда пришла амнистия, я вернулся сюда. Отец умер, клочок его земли ждал рабочих рук. Служить я не хотел: мне претило. Раздать землю крестьянам...—Крутовской усмехнулся.—Это бы уже совсем вышло по-маниловски и, главное, глупо. Я не толстовец. А работать самому и дать работу другим я мог. Так я и сделал...

Он помолчал и внезапно закончил в другом, успокоенном тоне:

— Да что, право... Все это вы сами знаете, нового для вас здесь ничего нет. И конечно, ни в чем я вас не убедил... Да и не нужно это вам, а хотели меня слушать—пеняйте на себя.

— И хорошо, что высказались. Разве говорят только для того, чтобы убедить другого? Важнее проверить и убедить самого себя.

Она доверчиво и ласково глянула на Крутовского. Глаза их встретились. Леонтий Алексеевич улыбнулся смущенно, и вдруг все его бородатое, обветренное лицо залилось чистым румянцем точно от чрезмерного напряжения. Он отвел глаза и не в такт замахал веслами.

Людмила внимательно вглядывалась в своего спутника, помедлила минуту, потом тихо окликнула:

— Леонтий Алексеевич!

— Я слушаю.

— Вы опять получили письмо от нее, да?

Он молча кивнул головой.

— Только сейчас?

— Да, по приезде домой. Оно меня ждало.
— Оно с вами?
— Нет, я оставил его, забыл...
Он солгал. Письмо было с ним.
Людмила стала поворачивать лодку.
Весь обратный путь они плыли молча.
Выйдя на берег, Людмила кивнула Крутовскому и быстро пошла по аллее.
Крутовской видел, как она поднялась на холм, как белое ее платье мелькнуло меж темных уснувших деревьев, услышал ее голос, повторенный эхом:
— Тетя, а тетя, где вы?

Вера Владимировна ходила по дорожкам сада вдоль шпалер любимых своих роз. Цвели поздние штамповые розы, лучшие сорта, за которыми Вера Владимировна ухаживала сама.

От ветра ли, от долгой ли засухи, но на розах каждый день появлялись муравьи, зеленые паразиты, изумрудные блестящие жуки. Они равнодушно поедали листья, бутоны, расцветшие цветы.

Это очень волновало Веру Владимировну. С тряпочкой, садовыми ножницами, табачным настоем она переходила от одного куста к другому. С печальными восклицаниями, с горестным покачиванием головы она опускалась на колени, матерински ласково вытирала тряпицей искалеченные бутоны, тонкие молодые ростки с красноватыми свернутыми листочками. Перед штамбовыми розами она становилась на цыпочки, поднимала кверху подбородок и вытягивала губы, словно для нежного поцелуя, всей душой болея с страдающими цветами. Невольно она сравнивала себя с ними. Ей казалось, что и ее душу гложат эти маленькие насекомые, вызывая не перестающую зудящую боль.

Белые, розовые, персиковые, чайные, всех цветов, всех оттенков, отдыхали розы после дневного волнения, неподвижно вытягивались на тонких стеблях или, удовлетворенные, осыпанные блестящими каплями, томно склонялись долу.

Тонкими сухими пальцами Вера Владимировна касалась бережно их лепестков, сладостно развернутых, свитых в благоухающее руно.

Из лесов, где так часто были в эту ветреную сушь пожары, низом с сыростью полз горьковатый запах гари, тлеющего торфа, испепеленной хвои. Он смешивался с дыханием роз, с целой радугой волнующих запахов, слитых в один волшебный напиток.

Сильнее билось сердце, и на душу, как роса, упадали печаль и воспоминания. Чуть примешивалась к ним горечь обиды на себя, на людей, на канувшие годы...

Тряпка выскальзывала из ее рук. Глаза переставали видеть окружающее. Нет, это невыносимо. Нужно положить этому конец. Она чувствует, что тупеет, теряет себя от вечного гнета заброшенности, ненужности, одиночества. Опять услышать его голос, опять знать, что тут, около есть человек, который принадлежит тебе, и ты принадлежишь ему... Какое это счастье! Почему оно невозможно? Втайне от себя Вера Владимировна ждала, что муж напишет ей, станет просить прощения. Ее угнетало его молчание, его безразличное отношение к тому, что она ушла от него. Сперва он испугался, когда открылась его измена, потом стал отрицать ее, клялся, что всегда оставался верен, что любит жену и не может без нее жить. Наконец, когда обман стал слишком очевиден, полковник стал дерзок, насмешлив и циничен.

— Вы сами знаете, сударыня,—говорил он,—что я полнокровен. Воздержание мне вредно, это скажет вам любой доктор. Мне вас недостаточно...

Он стоял перед нею здоровый, краснощекий, с торчащими кверху светло-русыми усами и смеющимися глазами. Заложа руки в карманы брюк, отчего тужурка сзади собралась складками, открывая затянутый круглый зад, сильный торс сохранившегося мужчины, он раскачивался на носках лакированных ботинок и усмехался хитро и вместе благодушно, с тем особенным сознанием своей силы и превосходства, которое Вера Владимировна всегда замечала в нем по отношению к себе. Она смотрела на этого человека со страхом, ненавистью и обожанием. Он был противен, гадок ей, но все же она не переставала его обожать. Когда-то она его боготворила, только в нем, в нем одном она замкнула свою жизнь. Вне его, его нужд у нее не было интересов. За стенами своей квартиры, где она спала, любила и ждала мужа, она не хотела знать мира. Все время ревнуя, все время вол-

нуясь, она все же считала себя счастливой. Неопровержимые доказательства измены мужа (до того Вера Владимировна ревновала без причины,—«в счет будущего», как, смеясь, говорил полковник),—доказательства очевиднее самой смерти,—уничтожили бедную женщину, отняли волю, достоинство, уважение к себе. У нее хватило хитрости, сдержанности, терпения, чтобы до конца узнать все. Француженка, Витина гувернантка, с которой сошелся Александр Ясонович уже несколько лет назад, имела неосторожность звонить к нему по телефону на дом. Случайно на звонок подошла Вера Владимировна и, назвавшись горничной, обещала передать барину поручение.

— Позвольте узнать имя,—спросила Карышева, едва владея собой.

— Имья не нюшно: он знаит,—отвечала, смеясь, француженка и повесила трубку.

И придавленная этим внезапным открытием, Вера Владимировна впервые сдержала себя. Не привыкшая притворяться,—она лгала и притворялась, ничего не сказала мужу, целовала его и охотно отпускала из дому. О, боже, что это были за часы, дни, недели! Да, ровно две недели она выслеживала полковника; ездила за ним на извозчиках, подкупала прислугу, швейцаров, дворников, и наконец узнала все и ушла от мужа. Чтобы больше не возвращаться. Конечно, она не могла вспомнить без содрогания все пережитое. Она была самолюбива и горда; те унижения, которые она испытывала, ведя дознание, не давали ей покоя, когда все уже было кончено.

Тем больнее чувствовала она оскорбление, что сама же столько дней себя оскорбляла. Все было порвано—с мужем, со знакомыми, с самим городом, где она жила. Круг замкнулся. Ее потянуло в родной угол. Людмила должна была ехать с нею: это была месть ее,—жалкая месть, потому что полковник рад был развязать себе руки.

Она принялась за хозяйство, окружила себя тысячью мелких забот и успокоилась. Дни брали свое. Но чувство одиночества не покидало ее; чем дальше, тем сильнее она его чувствовала. Ей было жутко ложиться спать у себя в спальне, где все еще оставалась пустая кровать мужа. Это не были воспоминания утраченного счастья или раскаяние в необдуманном шаге,—нет, она все еще хотела любви. Ведь вне любви, любовных перипетий у нее не было ни цели

в жизни, ни самой жизни. Она почти до галлюцинации слышала голос мужа, его смех, ощущала его крепкий мужской запах. У нее кружилась голова, слабели ноги... Как часто, приходя по вечерам в свою одинокую спальню и медленно раздеваясь среди безнадежного молчания, Вера Владимировна с испугом начинала прислушиваться. Ей казалось, что тишина звенит: до того она была полной. Лежа в темноте с открытыми глазами, Вера Владимировна с ужасом прислушивалась к этому звону, который рос, ширился, наполнял всю комнату. Еще минута—и она вскакивала с кровати, вся в горячем поту, готовая кричать не своим голосом, звать на помощь. Дрожащими руками она зажигала свечу. Тусклый свет потрескивающего пламени уныло озарял спальню и пустую кровать мужа с холодными кружевными накидками.

Она была безнадежно одна в мире. Мир казался пустым, ледяным пространством. Ею свладевало безумие. Она начинала ходить по комнате—босая, в длинной белой рубахе. Она открывала комод, шкаф, доставала оттуда белье, платья, тупо смотрела на них и кидала на пол. У нее являлось желание переменить рубашку, потому что ее не переставал палить жар, но она сейчас же забывала об этом, и когда вынимала вещи,—не знала, для чего ей это нужно. Звон в ушах ни на минуту не прекращался. Тогда, изнемогшая, она падала на стул у туалетного стола и сидела неподвижно, глядя на себя в зеркало. Вид усталого лица, темных впадин глаз, старчески сомкнутых губ точно отрезвлял ее. Она роняла голову на руки и глухо плакала, без слез. Потом, едва двигаясь, добиралась до своей кровати и, натягивая на себя одеяло, стучала зубами и ежилась от сковывавшего ее ледяного холода, который казался особенно жестоким после горячей испарины. Так она лежала, стараясь согреться, до первого проблеска зари, когда, наконец, в ее усталую душу возвращался покой и она засыпала.

И вот сейчас в ее руках его письмо. Оно пришло вчера, оно заслонило собою все.

Разве можно было думать о чем-нибудь другом?

Вера Владимировна ходила по любимой своей дорожке вдоль штамповых роз. Туман и роса не могли бы загнать ее в спальню. «Милая и дорогая Вера Владимировна,—писал

ей муж,—я решился обратиться к тебе. Положение создалось невероятное. Мои седины повелевают мне вспомнить о долге отца и мужа...»

— Неправда, у него нет седин,—шептала Карышева.— Он опять выдумывает. Боже, что за человек!

Но улыбка мелькала на ее губах. Она подымала брови, кивала головой, ширила ноздри. Все-таки он извиняется, он признает себя виновным. Как это он пишет? «...Повелевают мне вспомнить»... Да, да, и еще: «Если бы я смел мечтать, если бы я мог надеяться, что ты не простишь, а снизойдешь, то я у твоих ног умолял бы тебя вернуться». «Снизойдешь»!.. Я не понимаю этого слова,—пожимая плечами, думала Вера Владимировна.—Он меня оскорбил,—можно только забыть это, и я, кажется, забыла... Но ведь это не то. Мне нужна любовь. Да, да,—любовь, а о ней он не говорит ни слова. «Вернуться»... Зачем? Чтобы снова мучиться? «Прошлое перед моими глазами,—пишет он,—я готов плакать, и к тому же чувствую одиночество»... А моего одиночества он не чувствует! Не понимает, что́ я перенесла и переношу... «Прошлое перед моими глазами»... Но разве это прошлое не было для меня полно любви, одной любви? Вернуть прошлое... Но ведь для этого он должен и полюбить меня попрежнему. Господи, какая мука, какой ужас!

Карышева подносила письмо к губам и рвала его зубами, кусала себе пальцы.

«Что же мне делать?»—в тысячный раз спрашивала она, останавливаясь перед розами и беспомощно озираясь.

— Тетя, где вы?

Вера Владимировна вздрогнула, схватилась за сердце. У нее было такое ощущение, точно ее внезапно разбудили и она, вскочив с постели, не знает, куда бежать, ничего вокруг себя не видит.

— Тетя, милая, уже поздно, вы можете озябнуть. Чай пить пора.

Людмила дотронулась до ее руки. Пахнуло знакомым теплом. Сердце забилось успокоенно, ресницы стали влажны.

В столовой поджидал их Яков Владимирович. Он сидел в своем кресле перед круглым обеденным столом, пренебрежительно выпятив губу, водил ложкой по глубокой тарелке.

— Удивительные порядки!—брюзжал он.—Ты, Вера,

точно и не оставляла института! Ходишь среди роз, мечтаешь о райских микдалах, а прислуга подает гнуснейшую бурду вместо простокваши... Пришла почта. Тебе письмо и две телеграммы,—помолчав, продолжал он.—В газетах чепуха: австрийцы бомбардируют Белград, мы разыгрываем благородное негодование... бряцаем оружием...

— От Кости! От Вити!—вскрикнула Вера Владимировна, не слушая брата, вскрыв телеграммы и бледнея.— Приезжают оба завтра утром. Как странно!..—Она потерла виски, стараясь притти в себя, вернуться к жизни, освоиться с мыслью, что все стоит на своих местах.—Я испугалась... Не перевариваю депеш! Ну, слава богу... А письмо от Наташи...

Тулубьев насмешливо щурился.

— От обожаемой контральто. От несравненной дивы. Что там ни говори, elle a du chien[1], надо отдать ей справедливость.

Вера Владимировна недовольно вскинула на него глаза.

— Тише, ты мне мешаешь...—и снова склонилась над письмом.

Наташа первая пробудила в Вере Владимировне если и недостаточно сильные, то все же материнские чувства. Она была дочерью первого человека, которого полюбила Тулубьева, и годы ее младенчества все же были годами счастья. Тем более остро напоминала она матери и первое разочарование, и стыд за свое чувство, когда оно поблекло, перейдя в озлобление. Издали мать следила за воспитанием Наты и всегда была им недовольна. Отец баловал свою дочь, она у него росла, как хотела: и училась, и не училась, и набралась идей, чуждых Вере Владимировне; и поступила на курсы и, живя у старой тетки, конечно, стала не тем, чем хотела бы ее видеть мать. Вера Владимировна узнавала о дочери урывками, стороною; слухи не могли ее радовать. Узнав же, что Наташа стала певицей, совсем потеряла представление о дочери. Последнее время Смолич частенько писала Вере Владимировне. Это были очень милые, очень тонкие письма, в которых проглядывали и внимательность, и почтительная сдержанность скромной, но достаточно опытной дочери, и сочувствие, и намеки на личные горести, будто бы схожие с горестями матери. Они трогали, льстили,

---

[1] Она—с огоньком (выражение непереводимо).

вызывали чувство горделивого удовлетворения материнского самолюбия. Вера Владимировна сдержанно отвечала дочери, вскользь делясь с ней своими мыслями, и наконец обмолвилась, что была бы рада ее повидать. Наталья трогательно благодарила мать, извещала о скором прибытии, о том, что у нее есть «кое-какие приятные вести для мамы» и что именно они, эти вести, заставляют ее торопиться с приездом и даже отказаться от предложенного концертного турне.

Вера Владимировна провела рукой по лицу, точно отгоняя от себя сомнение, положила письмо на скатерть около подноса и, разливая чай, сказала, как что-то давно известное:

— Ну что же, пусть все дети соединятся у меня летом. Людмила, милая, позвони пожалуйста. Мне нужно напомнить Кате, чтобы она оставила горячей воды: я буду мыть голову...

Катя взяла остывший самовар и, держа его на весу, покраснев, то ли от тяжести самовара, то ли от волнения, сообщила:

— Барыня, к вам Никита пришел.

— Никита?—Вера Владимировна подняла голову, невидящими глазами посмотрела на горничную.—Что ему нужно? Сколько раз я просила...

— Говорит, взойти надо. Дело есть, говорит.

Карышева посмотрела на Катю страдальчески, поняла, что та не отстанет, пока не добьется своего.

— Ну что же, позови,—и снова опустила глаза на письмо.

Вошел красивый, рослый парень, стриженный в скобку, одетый в опрятную канареечную сатиновую рубаху, подпоясанную кучерским, с серебряным набором, ремешком, и синие нанковые шаровары, падающие на умопомрачительно начищенные сапоги. Он постоял, помолчал, с веселым любопытством и усмешкой снисходительного превосходства оглядывая столовую, помещицу и ее брата. Потом глянул удовлетворенно на свои сапоги, переступил с ноги на ногу, отчего сапоги приятно скрипнули, и сказал бойким певучим голосом:

— А я к вам, барыня, прощаться пришел.

Яков Владимирович ерзнул в кресле и обернулся на голос.

— Вера,—морщась, протянул он,—что же ты?.. Видишь...

Вера Владимировна глубоко вздохнула, схватясь за сердце, и испуганно, приоткрыв рот, повела глазами по комнате.

— Ко мне?—спросила она и, увидав Никиту, кивнула головой и заулыбалась, перенося на него всю ту теплоту и ласку, которые залили в это мгновение ее сердце при чтении Наташиного письма.

— Тебе что-нибудь нужно?

Никита улыбался широко, радуясь заранее тому, как он удивит господ неожиданной новостью.

— Прощаться пришел,—повторил он так, точно бы сообщал, что женится.

— Почему прощаться?—недоуменно спросила Вера Владимировна.

Яков Владимирович, щурясь, тоже воззрился на конюха.

— Забрили меня,—звонко ответил Никита:—велено итти в Тильск на призывной пункт! воевать.

— Дурак!—неожиданно для себя ворчливо буркнул Яков Владимирович, зашуршав газетой.—Что за вздор! Какая война?

— Никак нет,—бойко возразил Никита, глядя на Тулубьева загоревшимися глазами, радуясь случаю рассказать то, что, видимо, сильно занимало его.—В самую правду—воевать. Урядник приезжал. По деревне берут запасных, на мобилизацию велено доставить без промедления к завтрему утру. Погонят на Красный, оттуда—на фронт. Манифест вышел—воевать с немцем.

Вера Владимировна, сдвигая брови, переводила глаза с Никиты на брата.

— Ничего не понимаю... Что он говорит?

— Ты не врешь?—спросил по-необычному серьезно Яков Владимирович.

— Чего врать. Вся деревня знает. В ночь приказано выехать... С немцами война,—повторил Никита, наслаждаясь произведенным впечатлением.

Вера Владимировна все еще не понимала.

Яков Владимирович, приподнявшись, помедлил минуту, точно не зная, стоит ли встать на ноги или сесть снова, и, упав на подушки кресла, закричал раздраженно и плаксиво:

— Ну вот! Пожалуйста. Не угодно ли вам? С этой идиотской почтой мы все узнаем последними. Война. Уже война, а я читаю какие-то дурацкие сообщения о том, что инцидент исчерпан благополучно... Чорт!..

Он скомкал лежащее перед ним «Новое время» и швырнул его в сторону.

Никита все продолжал улыбаться. Он был холост. Служба в конюхах ему не нравилась, кое с какими личными делишками пора было развязаться,—призыв казался ему кстати подвернувшимся развлечением.

— Газеты у нас на четвертые сутки приходят,—подхватил он.—Да мы и без газет слыхали, что воевать обязательно будем... Очень немец себе воображает. Побьем немца... ну его,—надоело...

Последнее слово Никита произнес с видимым искренним облегчением. Что, собственно, ему надоело, он так и не объяснил.

Вера Владимировна поднялась. Теперь она слышала все, понимала все.

— Война,—проговорила она, точно вслушиваясь в звук этого слова и проверяя его.—Так у нас война? Яша, как же так?..

Она тотчас же подумала о муже. Ведь он же военный, он же уйдет тоже на войну. Но успокоенно вспомнила, что Карышев—инженер, преподаватель в юнкерском училище,—его не возьмут.

— Война. Так ты пойдешь на войну?

Она смотрела на Никиту растроганно, влажными удивленными глазами. Какое-то новое, не испытанное раньше волнение охватило ее. Смутно проносилось в памяти что-то давно прочитанное, что-то из «Войны и мира», какие-то семейные предания о проводах на войну, о геройстве, о жертвенности, о любви к родине... Надо было что-то говорить, что-то делать, не то и не так, как обычно.

— Никита... подойди поближе...

Конюх, все не оставляя своей самодовольной улыбки, приблизился к ней. Он ждал подарка. «Может, отвалит рублик сверх жалованья»,—подумал он.

— Никита, ты понимаешь, на какое святое дело призвали тебя?—спросила Вера Владимировна. Голос ее пресекся и, порывисто протянув руки, она взяла Никиту за голову, поцеловала его в лоб и перекрестила.

— Благословляю... благословляю тебя...

Никита неуклюже ткнулся губами в ее руку.

— Нет, подожди... Надо позвать всех, пусть все придут... Катя!—крикнула она, суетливо и бестолково заметавшись по комнате.

— Да что с тобой, мать моя?

Яков Владимирович смотрел на сестру, брезгливо поджав губы.

— Что за истерика! Зачем тебе нужны люди? Все уже легли спать. Дай ему на водку, и пусть идет с богом...

Внезапно лицо его сморщилось в улыбку. Он поднял брови, глянув на Никиту:

— Ты-то знаешь, зачем тебя воевать посылают? А?

Никита тряхнул волосами.

— Никак нет,—озорно ответил он.

— Ну вот,—Яков Владимирович оглянулся на сестру.—Он не знает, зачем идет. А ты со своими восторгами... Я тоже, братец, не знаю,—снова обращаясь к Никите, сказал Тулубьев.—Впрочем, это не важно. И на войне не хуже и не умнее, чем здесь. Можешь быть уверен... Вера, сядь! Война нас не касается. Она выдумана для молодежи. Кровопускание ей полезно. Но все-таки я утверждаю, что почта у нас из рук вон. Читать старые газеты так же унизительно, как носить грязные воротнички... Уходи, Никита. Желаю тебе ни пуха, ни пера, как желают охотникам. Впрочем, охота за людьми мало привлекательна: убиваешь много, а домой возвращаешься с пустыми руками. Иной раз, правда, и совсем не воротишься. Последнее безусловно выгоднее: остаешься в уверенности, что не зря трепал сапоги... Ступай, тебе вредно меня слушать...

Тулубьев умолк, отвернулся, берясь за книгу.

Вера Владимировна остановилась, опустив руки. Порыв восторженности угас. Мысли снова вернулись к письму, к мужу, к своей боли. Она почувствовала на пальцах следы жира от Никитиных волос: очевидно, он мазал их какой-то гадостью. Она уловила тот особенный запах пота и конюшни, который всегда сопутствует человеку, постоянно находящемуся при лошадях.

Вера Владимировна вытерла пальцы о чайное полотенце, озабоченно оглядела стол, закрыла крышкой сахарницу, отогнала от хлеба мух. Лицо стало сосредоточенным, нахмуренным, какое бывает оно у людей рассеянных в те минуты,

когда они пытаются привести в порядок разбежавшиеся мысли. Вера Владимировна уже не видела Никиты, забыла о нем.

Никита постоял-постоял, улыбка сошла с губ. Он еще раз тряхнул волосами, растрепанными нежданной барыниной лаской, и, не дождавшись рублика, вышел иа столовой, нарочно громко хлопнув дверью.

Вера Владимировна вздрогнула, провела рукой по щеке и, оглянувшись, произнесла устало:

— Ну, что это он так стучит?.. Что за люди, право! Придут, нашумят, помешают... Сколько раз просила... Вот опять не помню, что я хотела сделать.

— Собрать людей и объявить им радостную весть о войне,—не подымая глаз от книги, ядовито процедил Яков Владимирович.

— Да нет... вовсе не это...

Вера Владимировна озабоченно переставила с места на место чашки, потрогала почему-то в полоскательнице кончиком пальца остывшую мутную воду и вдруг вспомнила:

— Ну да, конечно. Я хотела вымыть голову... Катя! Катя!.. Да что за наказание! Всё перезабудут... Катя!..

За дверью в жаркой темноте Катя, перехватив вышедшего от господ Никиту, прильнула к нему туго сдавленной лифчиком полной грудью и, целуя его в плечо, туда, где особенно сладко и мучительно, по-родному пахло пòтом и конюшней, шептала:

— Миленький мой!.. родненький мой!.. Что я без тебя...

Пронзительный, как казалось ей, голос из-за двери прервал ее. Никита резко шевельнул плечом и пошел прочь. Девушка слепо шарахнулась в сторону и, ударившись о какой-то острый угол, тяжело дыша, поспешила на зов.

Крутовской знал Людмилу еще девочкой, когда она приезжала с отцом и приемной матерью в Самолюбово гостить на лето, потом встречался с нею, когда она жила в Тильске и училась в гимназии.

Она жила тогда на хлебах у начальницы гимназии, росла особняком, в стороне от других. По субботам за ней присылали экипаж из имения, где она оставалась до воскрес-

ного вечера. Но вскоре она отказалась от экипажа и приходила домой пешком, уверяя, что так гораздо веселее. В одну из таких суббот Крутовской встретил ее при дороге у канавы, полной воды (это было весною), поглощенною наблюдением за жизнью головастиков, плавунцов и прочей мелочи, наполняющей мутную воду. Она была так поглощена своими наблюдениями, что даже не услышала приближающихся шагов. Крутовской остановился поодаль, с улыбкой следя за отражением в канаве возбужденного, внимательного лица девушки, потом присел рядом с нею на корточки и спросил, что ее так заинтересовало.

Она повела худеньким плечиком и, не отрываясь от своего дела, ответила старательно, по-книжному:

— Вы видите, какое множество! Если бы из всех из них вышли лягушки, они покрыли бы собой все поле. Но природа и щедра, и жестока: только треть из этих головастиков пройдут все стадии своего развития, остальные погибнут... Так и с нами со всеми...

Она помолчала, шевеля губами, нахмурясь. Потом спросила, чем питаются в воде пиявки, раз там нет крови. Крутовской ответил (он был естественник по образованию). Так началась их дружба.

Леонтий Алексеевич внимательно приглядывался к Людмиле. Эта девушка, живущая в имении среди людей, давно свыкшихся с раз навсегда установленным бытом и традициями, и сумевшая отстоять свою индивидуальность, свою независимость, нисколько не выделяясь из общего уровня, невольно заинтересовывала его все больше. Их споры, носившие сначала характер дискуссий не в меру допытливого и прыткого ученика со своим выдержанным ментором, постепенно перешли в дружеские беседы внимательных друг к другу, не всегда согласных, но желающих понять один другого друзей, заинтересованных больше в предмете спора и его разрешении, чем в словесном состязании. День за день они привыкли друг к другу. В их беседы вплелись личные мотивы. Они стали более откровенными, не боялись высказывать до конца свои тревоги, чувства, невзгоды. Разница в летах незаметно стерлась. Людмила женским своим чутьем частенько даже приходила на помощь Крутовскому. Осторожно, мягко, незаметно склоняла его на то или иное решение.

Политических и экономических вопросов они не каса-

лись. Людмила в них еще едва разбиралась, удаленная от них условиями жизни, в которые она попала случайно, благодаря вмешательству в ее судьбу Веры Владимировны. Она наивно подменяла социальное—биологией, первой научной дисциплиной, увлекшей ее.

Крутовской не трогал вопросов, уже для него решенных, но все же еще больных.

В последнюю зиму перед окончанием гимназии Людмила значительно изменилась. Перемена произошла в ней внезапно, неожиданно для Крутовского и сказалась одновременно как во внешнем облике девушки, так и в ее внутреннем существе. Из растрепанной, всегда чем-нибудь возбужденной девчонки, готовой с жаром отстаивать свои взгляды и убеждения, подчас слишком прямолинейной и крайней в суждениях своих, вечно занятой какими-то своими делами, исчезающей по целым дням, вырывающей время от уроков на беготню по полям и лесам в поисках новых объектов для наблюдений, даже во сне продолжающей что-то вскрикивать и бормотать, она превратилась в сдержанную, молчаливую, внимательную и опрятную девушку. Исчезли ее так возмущавшие раньше Веру Владимировну «лохмы» непослушных, наспех скрученных волос, пригладились всегда мятые, запачканные в глину и зелень кофточки, спрятались под длинную юбку ободранные до колена, искусанные комарами ноги.

Людмила обложилась книгами. Ее комнатенки у начальницы гимназии и в самолюбовском мезонине превратились в книжный склад, как до этого служили пристанищем разной живности. Случайно входя к Людмиле, Яков Владимирович еще месяц назад трагически зажимал нос.

— У тебя, мать моя, зверинец какой-то, а не девичья светелка,—говорил он.

Теперь Тулубьев сообщал знакомым, многозначительно подымая брови:

— Людмила переменила профессию: она стала букинистом. Вся райская библиотека, кинутая мамашей на чердак, переведена в мезонин.

Читала Людмила запоем, и, конечно, бессистемно. В ней осталась прежняя жажда познавать мир. Многое она пересмотрела и переоценила заново.

На лбу между бровей ее ясно обозначалась тонкая черточка, точно отметившая на лице какой-то пройденный этап. И Крутовской уже не мог относиться к ней как к девочке-

подростку, любопытному зверушке. Его откровенность с Людмилой приняла иной смысл. В ней стало звучать неосознанное им самим тревожное, нежное чувство.

После экзаменов, переехав совсем из города в Самолюбово, сняв форменное серое платье и черный передник, Людмила превратилась во взрослую, занятую по хозяйству девушку. Вера Владимировна свалила ей на руки все заботы по дому, саду и огородам. Но и в это дело Людмила вложила, как всегда, всю себя.

В минуту взволнованной откровенности, когда человек ищет в близких сочувствия, поддержки, Леонтий Алексеевич рассказал Людмиле о своем прошлом, может быть, с излишней прямизной, с подчеркнутым самобичеванием, но от всей души. Девушка слушала его всем существом, воспринимала каждое слово. Крутовской это сразу почувствовал и принял с благодарностью. С того часа их беседы частенько прерывались сочувственным молчанием, которое иной раз значительнее слов.

Правда, все, о чем рассказывал Крутовской, казалось ему теперь слишком далеким и остро не задевало его. Только иногда это прошлое становилось явью и бередило,—когда в Рай приходили письма в надушенных конвертах, немного насмешливые, чуть печальные, цель которых никогда не была ясна Крутовскому. Людмила тотчас же догадывалась, когда Леонтий Алексеевич получал их. Она знала, от кого они—он как-то признался ей в этом,—но никогда не пыталась узнать их содержание...

Нынче Крутовскому было особенно не по себе. Более чем когда-либо, хотелось доверить свою тревогу дружески расположенному человеку, и вместе, как никогда, трудно было на это решиться.

Зажегши свечку, прошел Леонтий Алексеевич бесконечным рядом нежилых комнат—ободранных, пахнущих мышами и плесенью,—в зал. Там он поставил подсвечник с оплывшей свечей на рояль,, открыл крышку и ударил по клавишам. Рокочущий, недовольный гул разнесся по всему пустому дому, с потолка посыпалась штукатурка.

Леонтий Алексеевич ударил еще раз, пробежал крепкими, твердыми пальцами по всем клавишам и заиграл бравурный марш. Играл он неплохо играл по слуху все, что ни

попало, но сейчас музыка его производила странное впечатление. Ветхий дом трещал, кряхтел, точно старик, разбуженный в неурочный час. За окном проплывала ночная летняя тишь, а в обширной низкой зале сидел перед роялем крепкий, рослый, далеко не поэтической наружности человек и с ожесточением играл бравурный марш. Лица его не было видно, оно пряталось в тени, только широкая его спина в полотняной тужурке и мелькающие сильные руки освещались кружащим огнем свечи. Но внезапно он оборвал игру, хлопнул крышкой, отчего долго еще печально гудело в черном брюхе разбитого рояля, и, схватив свечу, подошел к стене, где висел большой засиженный мухами овальный портрет, писанный масляными красками, и несколько минут, не шевелясь, смотрел на него.

Это был портрет Елизаветы Яковлевны Тулубьевой, матери Веры Владимировны, так и оставленный висеть здесь и проданный вместе с домом отцу Крутовского равнодушным ее сыном.

Смотрел на портрет Леонтий Алексеевич тупо, упорно, точно бы ничего перед собой не видя. Он плотно сдавил челюсти, как человек, решившийся броситься головой в прорубь. Пальцы, за минуту перед тем твердо, с отчаянием ударявшие по клавишам, теперь цепко охватили ножку тяжелого подсвечника. Сил больше недостало сдерживать себя.

Крутовской резко повернулся, опять поставил свечу на крышку рояля, вынул из внутреннего кармана тужурки смятое письмо и начал его перечитывать.

«Леонтий, я писала вам много раз, и вы или отмалчивались, или повторяли то же, что сказали тогда, в последнее наше свидание. Вы писали мне, что вы не хотите меня видеть, не хотите слушать никаких оправданий и просите оставить вас в покое. Я так сначала и думала поступить, но теперь вижу, что не могу. Я должна вас повидать и все выяснить. Вы должны будете понять. Может быть, это на ваш взгляд гадко, но я все-таки так сделаю. Наконец, я имею право приехать сюда: меня зовет моя мать, с которой я не видалась два года. Может быть, я дурная, испорченная, преступная, но сейчас я одинока, мне нужна поддержка, нужен свой угол. Ребенок мой умер месяц тому назад, с отцом его я порвала, ничто меня не радует, не манит. Мне приелись люди, приелась и я сама себе. Мне нужен покой, а по-

лучить его я могу, только чувствуя себя свободной ото всего. Вы все-таки были моим единственным другом, и я иду к вам, если даже и без надежды вернуть вашу дружбу, то хотя бы для того, чтобы исповедаться перед вами и найти в этом облегчение. Наконец, я просто этого хочу, и так будет.

Н.»

Леонтий Алексеевич зажал в ладони письмо и прошелся несколько раз по залу. Он чувствовал, что его душит бессильная злоба. В нем поднялась вся горечь, вся муть прожитых лет, которые, казалось, давно улеглись в нем. Что от него хотят? с чем идут к нему? Живя здесь, он никогда не был охранен от неприятной ему встречи, но встреча сама по себе не пугала его: он достаточно перенес, достаточно пережил, чтобы суметь хладнокровно относиться ко всяким неожиданностям. Но с ним хотели говорить, к нему подходили с какими-то требованиями. Теперь, когда он снова принял мир, нашел дело и заставил себя полюбить это дело; когда он усилием воли, дорого ему давшимся, поборол в себе отвращение к людям; когда...

Он был студентом-естественником, она—филологичкой. Они встретились в актовом зале университета на лекции Евгения Тарле в хмельные дни митингов и забастовок 1905 года. Впервые стены университета увидели такое множество женских взволнованных лиц, услышали такие овации, дышали таким острым запахом красных гвоздик, которыми засыпали популярного тогда приват-доцента, распевавшего соловьем о Великой французской революции. В жаркой, наэлектризованной толпе они оказались рядом, стиснутые, задыхающиеся, но счастливые. Время от времени они переглядывались, еще незнакомые друг с другом, но связанные молодостью, любопытством, общностью настроения. В тот день все было необычайно, приподнято, театрально. Наташа Смолич была в черном, наглухо закрытом платье, в черной шляпке, оттенявшей ее светлые волосы и полное розовое, смеющееся, возбужденное лицо. Красная гвоздика точно плыла на ее высокой груди. Наконец изнемогающая от духоты и давки девушка попробовала продвинуться к выходу, но остановилась в бессилии, с отчаявшейся, умоляющей улыбкой оглянулась на Крутовского. Тот поспешил ей на

выручку с такой горячностью, так ревностно принялся расчищать ей дорогу, что в несколько минут они уже очутились в коридоре, провожаемые шиканьем и недовольными замечаниями. Крутовской назвал себя, она с открытой улыбкой протянула ему свою руку. Они оказались земляками, соседями, и то, что они узнали об этом только сейчас, назвав свои фамилии, а раньше никогда друг друга не видели, почему-то еще более развеселило их, придало отпечаток романтизма их встрече. Они стали прохаживаться туда и обратно по бесконечному коридору, гулко отдававшему их шаги и отражавшему в застекленных своих книжных полках их высокие молодые фигуры. Потом они спустились в вестибюль, оделись и вышли на набережную.

Осенний ветер подхватил и понес их через Дворцовый мост, мимо Зимнего дорца, Летнего сада на Моховую, где рядом с особняком редакции «Вестника Европы» жила тетка Смолич. Всю дорогу они говорили о том, как вольно и широко стало дышать, как много впереди дела, как незабываемы эти дни первой русской революции. Они уверяли друг друга, что общество наконец проснулось, что прежнему возврата нет.

Ветер, обдувающий их со всех сторон, простор стальной Невы, Марсова поля, тревожный, торжественный гул старых лип Летнего сада—придавали значительность, особый глубокий смысл их обывательским словам. Не открывая своей партийности, Крутовской все же решил, что нашел в своей красивой спутнице верную единомышленницу. У подъезда они крепко пожали друг другу руки. Смолич пригласила Леонтия к себе,—она пользовалась абсолютной свободой, делала, что хотела, имела свой круг знакомых. Крутовской обещал зайти на-днях.

Вторая встреча была еще более необычайной и решила их дальнейшую судьбу. За множеством дела Леонтий Алексеевич так и не удосужился побывать у Наташи, и вот через несколько дней, участвуя в демонстрации студентов по поводу закрытия университета, в ту минуту, когда преследуемая казаками толпа, растерявшаяся, бежала назад, Крутовской увидел Наташу. Она стояла на тротуаре у решотки родильного дома профессора Отта, что-то крича и размахивая сумочкой. В то же мгновенье один из казаков, теснивших толпу к университету, повернул коня к девушке. Тогда, не помня себя, забыв о неминуемой опасности, Леонтий кинулся через площадь мимо казачьей сотни, крича Наташе, чтобы она бежала.

Но внезапно почувствовал обжигающую боль в плече, упал на одно колено, услышал скребущий лязг подков у своего лица и в приторной, кружащей тьме потерял сознание.

Очнулся Крутовской через две-три минуты, показавшиеся ему вечностью. Казаков уже не было, площадь опустела, в разбитые университетские окна первого этажа выглядывали возбужденные студенческие лица. Над Леонтием стояла Наташа—бледная, возбужденная и пыталась поднять его. Он пробовал улыбнуться, пробормотал какое-то извинение, но режущая боль обдала его варом, и он застонал. Девушка крикнула ему:

— Подождите, я сейчас...—и убежала.

Стиснув зубы, кое-как поднявшись, Крутовской добрался до тумбы и присел. Крови нигде не было видно, но рукав пальто у плеча был сорван, очевидно ударом нагайки. Леонтию стало нестерпимо стыдно за свою слабость.

У него мелькнуло желание удрать и больше никогда не встречаться с Наташей. Но девушка уже подъезжала к нему на извозчике, стоя в пролетке и что-то объясняя растерянному ваньке.

Крутовской отказывался ехать. Наташа настаивала и настояла на своем. Она довезла его до дома на Петербургской стороне, вошла к нему в комнату, заставила снять пальто, тужурку, рубашку и забинтовала его багровое, вспухшее плечо. Потом сама вскипятила на спиртовке чай. Она это делала так непринужденно, с такой веселой бодростью, что у Леонтия сразу отлегло от сердца. Снова действительность иллюминовалась перед ним в яркие, бенгальские огни. Происшествие, до этого казавшееся унизительным, далеко не героическим, теперь предстало перед ним как один из эпизодов Великой французской революции, вырванный из романа Дюма или из первого акта «Мадам Сан-Жен». Впоследствии Крутовской заметил, что Наташа любила и умела вносить с собою во все этот налет мелодраматизма и театральщины. Но тогда он не мог не поверить в ее искренность. Он держал девушку за руку, горячо убеждая ее серьезно заняться «самоопределением» и уточнить свои взгляды.

Она откинула светловолосую голову на спинку обшарпанного штофного дивана, ноздри ее раздувались, глаза фосфоресцировали в наступивших сумерках, грудь подымалась высоко. Внезапно она вскочила с таким решительным видом, точно собралась сейчас же бежать на баррикады. Раньше чем

Крутовской успел остановить ее, уверенный, что она хочет уйти, она сказала зазвеневшим, задыхающимся голосом:

— Решено: я остаюсь у тебя.—И резким движением руки сорвала с головы своей шляпу.

Эта фраза долго еще звучала в ушах Крутовского, недоуменно спрашивавшего себя, неужто счастье всегда приходит так нежданно быстро и так щедро дарит своих избранников.

Она казалась любящей, дельной, умной подругой. Ее считали своей, хотя она не вошла в организацию. Дочь генерала довольно видного, с большими связями, она часто оказывала маленькие услуги партии, и ее квартира считалась безопасной, «чистой»: в ней не боялись сыска. Иногда в ней хранили «предметы», и она всегда со смехом, с веселыми шуточкам упрятывала их куда-нибудь в шифоньерку с бельем и платьями. К ней приходили друзья ее брата и знакомились там с ее товарищами. Она называла такие собрания «салонами», и все находили это очень остроумным приемом конспирации. Среди лицеистов, правоведов, юнкеров, молодых чиновников, под пение, музыку, подчас танцы, свои говорили о своих делах, забавные—в студенческих мундирах, с белыми перчатками и шпагами, в смокингах и жакетах. Старуха тетка, глухая, придурковатая, у которой жили Наташа и Костя, приехавшие из Вильны продолжать свое образование, никогда ничему не мешала.

Всё будто бы в видах той же конспирации Смолич бросила высшие курсы и поступила в консерваторию. Она стала петь,—у нее был прекрасный голос,—посещать артистические кабачки, стала читать стихи, носить стилизованные под старинные платья, говорить о наслаждении жизнью, о проблеме пола, о смерти, о боге, о культе тела. Такая была пора,— Крутовскому приходилось мириться. Она любила рестораны, и он ездил с нею по ресторанам; она пила, и он пил с нею. Но все шло по-старому, когда внезапно, не застав ее дома, он нашел у нее записку, клочок бумажки, заставивший его подумать, что он сошел с ума.

Последняя неудача оказалась делом рук Наташи. Она выдала всех,—не было сомнения. Он готов был растерзать ее, бить по лицу, плевать ей в глаза. Но сдержал себя и стал следить за нею. Через неделю он уже знал наверное, что она предавала их. Предавала спокойно, систематически, с улыб-

кой—за деньги. Его Наташа, его любимая. Это открытие было так ужасно, так нелепо, но вместе так достоверно, что он и точно думал, что сойдет с ума. Несколько дней он не знал, на что решиться. Он метался по городу, из трактира в трактир, приходя то к одному, то к другому решению, с ужасом сознавая, что, несмотря ни на что, он ее любит. Он не понимает, как не опустился тогда, как не стал жалким, безвольным пьяницей. Но все-таки он был достаточно здоров и крепок. Наконец, грязный, опухший от пьянства, он вернулся домой и лег спать, впервые за эти долгие отвратительные дни. Он решил не выдавать ее партии, а покончить с нею сам.

Он пошел к ней, дождался ее возвращения из консерватории и сказал, что знает все. Он и сейчас видит ее глаза, какими она на него взглянула. Но, оправившись, она стала смеяться. Она смеялась, точно ей сказали невероятно забавную вещь, тихоньким, неверным смешком, немного в сторону. Он вспомнил, что она часто так смеялась, и каждый раз, когда обманывала. Но когда она увидела в его руках револьвер, она поняла, что все потеряно. Она кинулась ему в ноги, цеплялась за его колени, кричала, плакала. Что это был за голос! Режущий, тупой, как у обезумевшего животного. Она дрожала мелкой дрожью, и когда он нагнулся к ней, кошачьим движением она выхватила у него револьвер, и раньше чем он понял, что месть ему не удастся, она схватила его голову руками и стала осыпать его поцелуями, бешеными, голодными поцелуями, как и в былые дни, подчинившими его...

Он чувствовал к себе омерзение. Придя домой, он лег не раздеваясь, в пальто и фуражке, на кровать и пролежал без дум, недвижно до утра.

И он уехал. Один из его уцелевших товарищей сообщил ему, чтобы он спасался, если не хочет губить всего дела. Собаки настигали зверя.

Почему он удрал? Почему он остался жить? Почему сумел пережить все это? Конечно, для того, чтобы жить. Разве он стал бы теперь отказываться от жизни? Так в чем же дело? И что ему Наталья Никаноровна Смолич, певица-контральто, дочь его соседки по имению, Веры Владимировны Карышевой? Мои, твои, и так себе,—как говорит этот плут Ерандаков. Аминь...

Бросать хозяйство, насиженное место только для того, чтобы не встречаться с этой женщиной? Мстить?.. Мстить можно только тогда, когда не простыла ненависть, когда

оскорбление перед лицом. Он не сделал этого раньше, пережил в себе,—поздно думать об этом теперь, через семь лет. Презрение? Он его чувствовал, чувствовал и гадливость. Но хорош бы он был, ежели бы вздумал бежать от нее, скрываться, разыгрывать роль оскорбленной добродетели.

Леонтий Алексеевич распахнул пыльное окно в сад, полной грудью вдохнул росный воздух.

Сверху, из Самолюбова, плыла теплая волна, напитанная дыханием роз—целой радугой запахов. Оттуда же, сверху, должно было притти и то, что казалось Крутовскому похороненным.

Но Крутовской остыл, к нему вернулась его непоколебимость, он чувствовал, что он осилит и это последнее препятствие.

На востоке, за густой чащею, занималась заря. Перекликались петухи — самолюбовский и райский; вскоре им ответили вперебой, тонко и басом, с других концов.

С земли поднялся туман. Он перекинул молочный призрачный мост из одной усадьбы в другую, через уснувшую речку. Небо стало прозрачно и трепетно, словно крылья капустницы; голубовато-желтое и чуть-чуть изумрудное, оно точно слиняло, точно в чернила влили лимонной кислоты.

Леонтий Алексеевич загасил свечу, прыгнул через окно в мокрую траву, и, оставляя темный след за собою по росному полю, цепляясь за мокрые ветки, обдавшие его холодным дождем, пробрался к Ящуру.

Там, на пристаньке, он быстро разделся и кинулся в воду, похожую на молочный кисель.

Двумя взмахами сильных рук он был далеко от берега, далеко от горестных своих мыслей.

По росе, сквозь туман шли запасные к Тильску, вдоль извивов Ящура. Их сняли с поля, с жатвы, сонных переписали и погнали, как скот, гуртом, не дав забежать в деревню к семье. По дороге перехватили двух парней из артели Крутовского и самолюбовского конюха Никиту. Никита всю ночь не спал, угощал дворню водкой, играл на гармони и пел диким голосом песни, не боясь разбудить барыню.

Катя, с распухшим от слез лицом, молча не сводила с него глаз, молча пила водку, которую Никита насильно заставлял ее пить, молча шла провожать его, не смея подойти и как со-

бачонка, боящаяся своего хозяина, не велевшего ей следовать за ним, съежившись, в отдалении все-таки шла, утирая нос кружевным своим передником.

Крутовской увидел запасных, вылезши на берег после купанья, далеко от своей усадьбы. Он стоял голый, мокрый, улыбающийся, освещенный сбоку еще не греющим, розовым светом встающего солнца, когда на него нежданно выплыли из тумана колеблющиеся в неравномерном шаге человеческие фигуры. Леонтий Алексеевич глянул внимательнее и посторонился. Мимо прошел несколько опередивший других высокий бородатый мужик с сухим, преждевременно состарившимся от нужды лицом. Он шел прямо-прямо, глядел себе под ноги, тощими ногами в закачанных по колено холстинковых портах косолапо загребал траву.

— Максим Григорьевич, куда это?—крикнул ему Крутовской, недоуменно оглядывая мужиков.

Высокий поднял голову и строго посмотрел на Леонтия Алексеевича, точно отдаляя его от себя взглядом, оскорбляясь его наготою, и, не ответив, пошел дальше.

Леонтий Алексеевич невольно прикрылся рукой и, как всегда бывает с человеком голым в присутствии одетых людей, почувствовал себя неловко.

С ним поровнялись остальные.

— Да вот идем немца воевать,—крикнул Никита и растянул гармошку.—Эх ты, жизнь наша пропащая! Лихом не поминайте, Леонтий Алексеевич.

Он протискался вперед и протянул Крутовскому руку с той особой подчеркнутой размашистостью, которая говорила, что теперь и за руку с барином здороваться ему никто запретить не посмеет.

Двое мужиков из артели Крутовского заулыбались, чему-то подмигивая и подергивая плечами.

— Купаетесь, Леонтий Алексеевич?—сказал один из них—приземистый, с белесыми, влажными, как туман, глазами.—Водичка теплая... приятно... А нам вот вышло итти на сборный пункт. Не знай, когда домой отпустят со своими повидаться. Вы уж забегите к нашим-то, сообщите... Сундучишко пусть соберут, а я, мол, благословляю...

Крутовской, стараясь не выдать своего недоумения, ответил:

— Обязательно зайду, Савелий Михайлович.

— Работу мою по артели брат справит. Он спроворный, не отступится... Я ему отпишу.

— А ну, идем, что ли,—перебил сзади чей-то хмурый голос.—Стали тут, черти... до полдня не дойти.

Мужики тронулись дальше. Взвизгнула гармошка. Савелий Михайлович обернулся, еще хотел что-то сказать, да раздумал, махнул рукой и пошел прочь. Леонтий Алексеевич голый остался на месте. Он тоже было собрался что-то крикнуть, пожелать счастливого пути, но не разомкнул губ, даже не спросил толком, зачем идут эти мужики в самую страдную пору на призывной пункт.

Солнце всходило выше, туман таял, приникал к траве, расстилался маревом. Занимался добрый денек. Крутовской бормотал себе под нос:

— Неужто война?

И, оглядываясь вокруг, не мог этому поверить.

Но внезапно тяжелый топот прервал недоуменные мысли Крутовского. Он пригляделся: к нему бежал Никита.

Гармошку конюх прижимал к груди, рубаха горбом поднялась на спине. Шапку он скинул по дороге, волосы масляной прядью в такт бега взмахивали над вспотевшим лбом.

Никита круто остановился перед Леонтием Алексеевичем. Лицо у него было шалое, такое, какое бывает у человека, решившегося на крайнее, счастливого тем, что вот он сорвался с цепи и не знает удержу, не знает, что сделает через минуту, и знать не хочет.

От бега он запыхался, слова не шли с перекошенных, запекшихся губ.

— Эх!—наконец выдыхнул Никита:—купаетесь, а нам помирать? Ну да...

Он не договорил, видимо, только сейчас поняв, что говорит не то и не так, как хотелось бы. Глаза его налились ненавистью—к своей ли немоте или к голому человеку, стоящему перед ним беззащитно. Гармошку парень прижимал еще крепче к своей груди, точно защищая ее от чьих-то жадных рук, как единственное свое достояние. Помедлив, остервенело плюнул себе под ноги и так же стремительно, как появился, убежал прочь.

Крутовской даже и опомниться не успел. Только много позже он пришел в себя от неожиданности и смущения, но все не мог уразуметь—как же так: сперва дружественная улыбка и протянутая для пожатия рука, а после

с ненавистью брошенное в лицо, как лютому врагу, ругательство?

— Я же и знаком-то с ним был едва,—бормотнул растерянно Крутовской.—За что же он меня?..

Но обиды не было. Что-то более глубокое, чем обида, какой-то намек на догадку, на горькую правду, которую не хотелось знать, разбередил мысли и надолго отравил ясность разгорающегося утра.

23
5
СРЕДА

НЕМЕЦКИЕ социалисты доказали миру свою патриотичность. Они поняли свой долг и вместе со всем германским народом выступили на защиту отечества. Мы верим, что и наши социалисты окажутся такими же мужественными и, забыв партийные распри, принципиальные споры, честно откликнутся на призыв родины... Что вы можете сказать по этому поводу, многоуважаемый депутат?.. Каковы установки и намерения вашей фракции социал-демократов? Какую позицию она займет в настоящее время?

— Как относятся рабочие к войне? Как будут себя вести в Думе рабочие депутаты?

Блокноты были раскрыты. Карандаши и вечные перья готовы бежать по бумаге. Глаза улыбаются любезно и хитро. Корреспонденты навострили уши. Вопросы поставлены в лоб. Туманными фразами отделаться трудно. А нут-ка!

Но у рабочего депутата спокойное, будничное утреннее лицо. Голос его звучит уверенно. Стрелки усов по-обычному топорщатся вверх.

Бадаев ответил, не колеблясь:

— Рабочий класс будет бороться всеми силами против войны.

— Что?—Карандаши и вечные перья замерли в воздухе.

— Война не в интересах рабочих.

— Простите... Мы не ослышались?

— Нисколько. Впрочем, я могу говорить громче... Всем своим острием война направлена против рабочего класса всего мира. На международном конгрессе в Базеле было принято решение от имени пролетариата всего мира—в случае

объявления войны повести против нее решительную борьбу.

— Но позвольте, ведь настоящая война—это война во имя принципов справедливости. В защиту малых народностей. Наконец, раз немецкие социалисты нарушили постановление конференции...

— ...то это не значит, что мы должны следовать их примеру. «Война—войне»—вот наш лозунг, и он им останется до конца.

— Это ваше личное мнение.

— Нет. За этот лозунг мы все—действительные представители рабочего класса—будем бороться до конца. Наша фракция всеми имеющимися в ее распоряжении средствами будет решительно бороться против войны.

— Даже если неприятель вторгнется в пределы России?

Корреспондент «Речи» встал. Капли пота короновали его лысину. Нервически он запрятывал в карман визитки свой блокнот.

— Вы останетесь с вашей фракцией, это несомненно, в полном одиночестве. Предупреждаю вас. Все социалистические партии...

— ...побежали на поводу у кадетов... Мы это знаем и—не завидуем...

Бадаев улыбнулся. Корреспонденты раскланялись разочарованно. Интервью было сенсационно, но они уже знали, что его нигде нельзя будет напечатать.

25/7 ПЯТНИЦА

ЖАНДАРМСКИЙ вахмистр Полечек ходил хмурый, разбрызгивая грязь по улицам своими высокими сапогами, подергивая седеющий ус. Он страдал почками, ему вредно было волнение. Бумажки из Тарга портили ему кровь.

— Чорт их знает,—говорил он,—и чего они вздумали заводить переписку?.. Ну, приказали бы выселить всех иностранцев—и делу конец. А то пишут сегодня об одном, завтра об другом,—не разберешь...

Нынче вахмистр был особенно не в духе. Он получил

предписание произвести обыск у одного из русских и даже арестовать его. Бумажка была получена от военных властей из НовогоТарга и, как всякая бумажка, составленная в военной канцелярии, отличалась лаконичностью, решительным тоном и малопонятностью. Какого рода обыск произвести, что именно искать и что изымать, сказано не было. Так же точно не было сказано, надо ли арестовать русского независимо от того, что у него будет найдено, или только в случае нахождения чего-нибудь недозволенного. Бумажка гласила сухо: «Произвести обыск у русского подданного такого-то, проживающего в местечке Поронино, и препроводить последнего в Новый Тарг».

Русского в Поронине многие хорошо знали. Это был лысоватый, небольшого роста, коренастый человек, быстрый в движениях, очень простой в обхождении со всеми и несмотря на неказистый пиджачок и простецкие ухватки, пользующийся общим уважением и авторитетом. Он жил в небольшой деревянной дачке, на окраине местечка, с больной женой и матерью жены. К нему то-и-дело наезжали гости, и вместе с хозяином предпринимали далекие прогулки. Ходил слушок, что русский занимается политикой и к себе на родину вернуться не может, потому что на него очень зол царь, которого он собирался убить. Но вернее всего, что слух этот только сплетня. Вряд ли такие, как он, бросают бомбы.

Как бы то ни было предписание надо было выполнить. Вахмистр взял понятого, местного крестьянина, дал ему старую винтовку для устрашения и пошел месить грязь к даче, где жил русский.

Он застал русского за работой. Жена его возилась по хозяйству, мать жены помогала ей.

— Вы ко мне?—спросил русский и прищурил, всматриваясь в вошедших, один глаз.

Крутой лоб его блестел от косых лучей солнца. Голос русского был спокоен, рука не оставляла пера, которым он только что скрипел по бумаге.

Вахмистр остановился на пороге и откашлялся. Ему никогда не приходилось арестовывать таких почтенных и, видимо, ученых людей. Он оглянулся на понятого, снявшего шапку и не знавшего, куда девать ружье.

— Очень грязно сегодня,—сказал вахмистр.

Русский внимательно смотрел на вошедших. Чуть уловимая усмешка появилась у края его губ, шевельнув усы.

— Что вам собственно нужно?—наконец произнес он.

В ту же минуту на пороге из другой комнаты показалась маленькая, худенькая женщина и молча вскинула глаза на пришедших.

— Я должен извиниться перед господином,—начал вахмистр и опять прокашлялся. Он все более чувствовал себя смущенным и оттого с большой досадой оглядывался на понятого.—Ты как держишь ружье, дурень?—крикнул он ему и, выхватив из рук его шапку, бросил ее на подоконник.—Садись вот тут, у двери!.. Вы позволите? — снова обратился он к русскому.

— Что вам от меня нужно? — повторил свой вопрос русский. — Очевидно, у вас какое-нибудь поручение от вашего начальства?

— Так точно,—радостно подхватил вахмистр, наконец найдя нужные слова,—у меня предписание произвести у вас обыск.

— Обыск?—повторила женщина и сделала шаг вперед.—Но по какому праву?

Русский остановил ее движением головы и, вставая и отложив перо в сторону, сказал:

— Ну что же, делайте свое дело.

Вахмистр потоптался на месте. Легко сказать: делайте свое дело, а как его делать на глазах у этого человека, да еще в компании с этим дурнем, понятым.

Понятой сидел на краешке стула, расставив ноги, держа между них обеими руками ружье. Он моргал, смущенно и виновато отводил глаза от хозяев квартиры. Вахмистр подошел к столу, взял книгу, перелистал, взял другую, проглядел мелко исписанные листки с рядом цифр и выкладок. Все было непонятно и скучно.

Русские молчали. Чтобы как-нибудь выйти из неловкого положения, вахмистр снова глянул на понятого, схватил банку с клеем, показал ему.

— Видишь?

— Вижу,—ответил понятой.

— Это бомба,—сказал вахмистр, притворно хмурясь, и, обернувшись к русскому, рассмеялся:

— Он никогда не видел бомб. А у вас есть настоящие бомбы?

— Нет, бомб у меня нет,—не принимая шутки и, видимо, наскучившись, ответил русский.—Я бы очень просил вас не тратить попусту время.

Тогда вахмистр, деловито откашлявшись и уже не оглядываясь на русских, молча следивших за ним, приступил к тщательному обыску: он выдвинул ящики стола, открыл дверцы шкапа, вытащил на середину комнаты чемоданы, вытряхнул белье. Все было самое обычное, и только на дне одного из ящиков попался ему не заряженный, очевидно забытый владельцем браунинг. Приложив этот браунинг к стопке книг и рукописей, вахмистр связал их бечевкой и передал понятому.

— Вот, конец,—сказал он облегченно и снова потоптался на месте.—Теперь у меня есть приказание арестовать вас, но...—Вахмистр оборвал, не зная, как выразить свое доверие к этому человеку, спокойно сидевшему перед ним, и вместе не уронить своего авторитета.—Но,—повторил он,—поезд в Новый Тарг идет только завтра, в шесть утра. Пусть господин сам придет к поезду, я его буду дожидаться... Господин обещает мне исполнить уговор?

Вахмистр звякнул шпорами, осклабился.

— Все-таки лучше выспаться дома лишнюю ночь,—добавил он,—Ничего не поделаешь—война! Надо быть осторожным. Кругом шпионы, враги. Господин не должен обижаться... До завтрашнего утра!..

Уже затемно русский пришел к своему другу, тоже русскому, жившему на другом конце местечка. Он пришел посоветоваться, как быть дальше.

— Только что у меня был обыск,—сказал он и потер рукой лоб, точно отгоняя тревожные мысли, мешающие ему разобраться спокойно в случившемся.

— Так, уже началось?..—обеспокоенно переспросил его друг.

— Обыск произвел здешний жандармский вахмистр, приказал утром явиться к поезду, чтобы ехать к старосте в Новый Тарг. Жандарм неумелый, видимо, стеснялся,—не чета нашим. Дурак, всю партийную переписку оставил, забрал только мою рукопись по аграрному вопросу...—Русский усмехнулся.—Статистические таблицы принял за шифр... Обидно: рукопись не закончена, как бы не затерялась... Хорошо—переписку не взял: там адреса—подвел бы сильно.

Русский помолчал, пробежался по комнате, снова сел и рассмеялся.

— Да, еще в хламе нашел какой-то браунинг—я даже забыл о его существовании—незаряженный... Как вы думаете, арестуют меня завтра в Тарге или отпустят?

— Пожалуй, что и арестуют,—ответил друг.—Война!.. Пока разберутся... Во всяком случае не следует мешкать. Идемте на почту, дадим телеграмму. Я напишу депутату Мареку, он мой хороший знакомый, а вы сообщите о случившемся в краковскую полицию: вас же там знают как эмигранта...

— Да, да, вы правы,—согласился русский.—Идемте... А с моими женщинами я попрошу на время поселиться Тихомирова. Все-таки им будет спокойнее... Идемте...

Наутро тюремный надзиратель, сидя у себя в канцелярии новотаргской тюрьмы, надев очки, старательно записывал в тюремную книгу вновь доставленного арестанта:

«3 августа, 11 часов утра. Владимир Ульянов. Уроженец России. Лет 44. Православного вероисповедания. Русский эмигрант. При нем найдены: 91 крона 99 геллеров, черные часы и перочинный нож».



АВГУСТ

С ПЕРВЫХ ЖЕ дней войны русская армия проявила полную свою боеспособность. Никто не ожидал, что мобилизация может пройти так гладко. Настроение общества становилось все более уверенным.

В выборе Николая Николаевича в качестве верховного главнокомандующего большинство видело как бы залог победы. Николая Николаевича считали человеком сильной воли. От него ждали, что он справится не только с генералами, тягавшимися друг с другом за первенство, но и с великими князьями, занимавшими командные посты, что ему удастся устранить или, по крайней мере, обезвредить придворные влияния на царя.

Начало кампании сложилось для русских войск вполне благоприятно. Энергичное вторжение северной армии в Во-

сточную Пруссию, успешный отпор германского нападения на левом берегу Вислы нашей армией центра—все предвещало и дальнейшие успехи.

Отступление армии генерала Данкля, продвинувшейся уже 19 июля почти до Люблина, и занятие русскими войсками Галиции с юга давали уверенность в возможности наступления центра на Берлин с Вислы. Там сходились главные железнодорожные линии из внутренних русских губерний, способствовавшие сосредоточению огромных боевых сил.

В связи с этим успешным началом кампании и как бы для поощрения и усиления общего подъема и веры в благие начинания императорского правительства верховный главнокомандующий 2 августа опубликовал воззвание к полякам, начинавшееся так:

«Поляки!

Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться.

Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла душа ее. Она жила надеждой, что наступит час воскресения польского народа, братского примирения его с великой Россией.

Русские войска несут вам благую весть этого примирения.

Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да возродится он воедино под скипетром русского царя!

Под скипетром этим возродится Польша, свободная в своей вере, языке, в самоуправлении...»

Вслед за этим воззванием последовало другое—обращенное к «русскому народу», к галичанам. Оно явно стремилось показать, что правительство твердо намерено выполнить обещание, высказанное верховным.

«Как бурный поток рвет камни,—в обычном своем громокипящем стиле писал Николай Николаевич,—чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению.

Да не будет больше подъяремной Руси! Достояние Владимира Святого, земля Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, великой, нераздельной России!..»

И то и другое воззвания как бы предопределяли возможность самоопределения народов, объединенных под скипетром русского императора. Это было настолько неожиданно, так шло в разрез с общей давней политикой правительства, что, конечно, никто не верил в искренность обещаний. Тем более, что обещания эти были запоздалым и жалким слепком таких же обещаний, высказанных Вильгельмом в его воззваниях и к полякам и к галичанам.

Неумолимая железная логика развивающихся событий безжалостно рассеивала иллюзии.

С постепенным передвижением войск, размещением их по деревням и городам Западного края, с развитием военных действий на недавно мирной территории началось вынужденное переселение и паническое бегство жителей прифронтовой полосы в центральные губернии. Этого следовало ожидать. Но военное командование императорской армии, лишенное каких бы то ни было знаний экономической и бытовой жизни страны, не считало нужным вдумываться в отдаваемые им приказы по очищению полей предстоящих сражений. В свой черед гражданская власть, видя проведение этих приказов в жизнь, видя, в какую уродливую и чреватую последствиями форму оно выливается, не сочла своим долгом приостановить его до более зрелой к нему подготовки. И тысячи людей, гонимые насильственно со своих земель, лишенные всего, голодные, больные, всем чужие, разнося заразу и панику, устремились навстречу идущим на фронт войскам, запрудили железнодорожные пути вплоть до Уральского хребта, создали заторы транспорта и санитарных поездов.

Армия тотчас же стала ощущать беспорядок в подвозе довольствия и боевого снаряжения. Началось мародерство и воровство.

Между тем на союзнических фронтах дела пошли под гору. Немцы победили при Шарлеруа, нанесли сильный удар французам на юге Бельгийских Арденн, вблизи от Невшато, железным кольцом охватили лагерь Мобежа и проникли кавалерийскими разведывательными отрядами вплоть до окрестностей Рубэ, находящегося в двухстах пятидесяти километрах от Парижа.

«... План войны германского генерального штаба слишком ясен, чтобы было нужно до крайности настаивать на необходимости наступления русских армий на Берлин,—раздра-

женно писали Морису Палеологу его патроны.—Предупредите неотложно правительство и настаивайте...»

По мнению лучших и опытнейших генералов, такое наступление было преждевременно и обречено на неудачу. Армия еще не была вполне организована, трудности транспорта все увеличивались, войска не сосредоточились, как того требовала предстоящая операция, местность, по которой должны были проходить армии, с ее лесами, озерами и болотами не напрасно сравнивали с губкой. Но—по векселям надо было платить, и Николай Николаевич, подталкиваемый, с одной стороны, настойчивыми требованиями союзников, а с другой—нетерпеливым честолюбием, не только решил вторжение северной армии в Восточную Пруссию до соединения обеих южных армий, но и сам устремился туда с главной квартирой, потеряв связь с остальными армиями, и принес в жертву сотни тысяч—целые армейские корпуса — более подвижному и более расчетливому противнику.

Стратегический план этого наступления был выработан генерал-квартирмейстером ставки Юрием Даниловым, «Черным», как его называли, обнаружившим полную свою стратегическую безграмотность. По расположению немецких крепостей туда нельзя было наступать без риска оказаться в окружении, особенно тогда, когда наступающая армия не только не была защищена с флангов, но не имела ни внутренней связи, ни тыла, ни обозов—ничего, что дает войскам уверенность в разумном их руководстве.

При такой обстановке и при таких обстоятельствах 15 августа последовала битва под Танненбургом. Окруженные болотами, имея в тылу германские крепости, охватываемые с флангов неприятелем, центральные корпуса 2-й армии Самсонова остались без поддержки и должны были сложить оружие. На поле битвы русские оставили всю свою артиллерию, огромное количество броневиков, множество военного материала и двести пятьдесят тысяч убитыми и ранеными.

Генералы Клюев, Угрюмов, Ден, Преженцев, Пестич, Масалитинов попали в плен. Штаб армии в лице его начальника генерал-майора Постовского, генерал-квартирмейстера Филимонова и четырех офицеров оперативного отделения должен был спасаться бегством.

Со штабом ушел и сам командующий армией, генерал-от-кавалерии Александр Васильевич Самсонов.

17/30 ВОСКРЕСЕНЬЕ

Болховинов выехал из штаба 13-го корпуса еще засветло, когда всем стало ясно, что противник прорвал фронт и обходит корпус с левого фланга. Связь с соседним 15-м корпусом была утеряна, из штаба армии не приходило никаких директив, да если бы они имелись, выполнить их было поздно.

Дан был приказ отступать, но пути к отступлению никто не знал: в нужную минуту не оказалось ни карт, ни связи, ни тыла, ни обозов.

Сидя на колодезном срубе против сарая, где помещался штаб корпуса, командир корпуса смотрел на встрепанных кур, расхаживающих по двору фермы, пустыми, невидящими глазами.

Худое, налитое желчью лицо его с жиденькой бородкой ничего не выражало, кроме смертной усталости и полного бессилия. Он сидел без фуражки; седые волосы, примятые на затылке, падали на острые коричневые уши слипшимися космами, похожими на перья. То-и-дело он тянулся, не глядя, за папироской, которую ему протягивал офицер для поручений, стоявший рядом, сминал ее негнущимися, дрожащими пальцами, прикуривал и, забывшись, тотчас же выплевывал. На все обращаемые к нему вопросы он отвечал отрывистым, испуганным «Да, да...» и снова, подняв плечи, поеживаясь, смотрел на кур.

Нарастающий вой, похожий на тысячеголосый собачий угон, прерываемый тупым ревом, смыкался все уже. Разрывы тяжелых непрерывно вскидывали в небо огромные черные фонтаны земли и дыма. В накаленном воздухе пахло гарью и падалью.

Ехать куда бы то ни было не представлялось возможным. Это понимали все, в том числе и плотный, все еще бодрящийся начальник штаба, передавший Болховинову тут же наскоро нацарапанное донесение. Местонахождение штаба армии было неизвестно. В данное время штаб не мог оставаться там, где он находился в начале операции.

— Советую проехать лесом в северо-восточном направлении, — сказал начальник штаба. — Вам придется спешиться за лесом: начинаются болота... Это самый безопасный и верный путь. Одному человеку пробраться ничего не стоит.

Он посмотрел на Болховинова круглым, свирепым глазом, говорящим яснее слов, что все это совершеннейшая ерунда. Даже если бы Болховинову и удалось найти штаб, спасения корпусу уже нет. Но вместе с тем и начальник штаба, и стоявшие тут же офицеры, и сам Болховинов, вопреки ясному сознанию безнадежности положения, тотчас же оживились, как только нашлась возможность проявить инициативу.

Томительные часы слепого бездействия казались страшнее надвигающейся катастрофы.

— А как прикажете, ваше превосходительство, поступить с моими уланами?—спросил Вася.

— С уланами?

Болховинов явился сюда, в штаб корпуса, случайно. Он послан был в разведку еще вчера ночью, нарвался в совершенно неожиданном месте на неприятельское заграждение и едва унес ноги со своими тремя уланами. В штабе его задержали до случая. Теперь уланы, сидя за стеною сарая, у стога соломы, дулись в орлянку. Тут же стояли нерасседланные кони.

— Уланы?—повторил начальник штаба.—Ну что же, оставьте их у нас.

Едва Болховинов выехал за ворота и свернул смятым, травленным полем по направлению к лесу, из-за бугра выскочило несколько всадников. Они мчались на неоседланных лошадях, постромки разлетались в стороны. Четверо из них пронеслись мимо Васи. Это были ездовые артиллерийского парка. Они лежали на лошадиной шее, ухватясь за гриву, разиня рот. Двое отставших, поровнявшись с Болховиновым, остановились.

Один из них—прапорщик с длинной рыжей бородой, лысый, фуражки на нем не было,—кулем свалился с лошади и спотыкающимся шагом, на согнутых коленях кинулся к Васе. Глядя на него белыми, закатившимися глазами, он закричал визгливым бабьим голосом:

— Ага! вот! Из штаба. Ага! Тут они. Тут, собачьи дети. Вот я им прямо... Ведь это же кабак.

Другой, молоденький безусый подпоручик, упершись обеими руками в шею лошади, тяжело раздувающей бока, смотрел на Васю с сумасшедшей, расплывшейся во все лицо улыбкой.

Подбирая поводья, напрягая мускулы, чтобы не сдаться, «не сдрейфить», как он тут же сказал себе, Болховинов спросил:

— А вы откуда же?

— Откуда?—тоненько вскрикнул прапорщик.—Спросите лучше, как вырвались. Слышишь, Петя? Они интересуются.

Прапорщик засмеялся скачущим смешком, глаза налились кровью.

— Каюк, вот что. Поголовно всех, дочиста. Только мы вот с постромками... Пусть судят! Пусть судят, сукины дети!

Он сжал кулак, потряс им перед мордой васиного коня.

Подпоручик качнулся и, не переставая улыбаться, сипло сказал:

— Соснуть бы...

— Да я не о том,—заорал Болховинов,—я спрашиваю, господин подпоручик, куда вы несетесь?

Бессильная ярость выдавила на его обострившихся скулах два багровых пятна.

— Куда?—не давая ответить подпоручику, крикнул прапорщик.—Из кабака. К чортовой матери. Поняли? Да ну вас...

Он махнул рукой, затих и, все так же спотыкаясь, поплелся к своей лошади.

Из лесу густой лавиной шел многоголосый гул.

— Гонят,—хрипло и безучастно пробормотал подпоручик, неожиданно выпрямившись, взял под козырек и затрусил во двор фермы.

Сжав зубы, Болховинов упрямо поворотил коня в сторону леса.

— Сволочи!—бормотал он, беря пологий подъем свободной рысью и выносясь на гребень холма.—Сволочи!

Видневшийся впереди лес находился по диспозиции в тылу русских войск. По ту сторону его, у опушки, стояла батарея, впереди, за полторы версты, тянулись два ряда окопов. Еще вчера вечером Болховинов со своими уланами был там. «Каким же образом могли очутиться здесь эти батарейцы? Значит, фронт прорван? Значит, не отступление, а бегство? Не может быть!»

Отсюда, сверху, перед Васей открылась невидная раньше за холмом дорога, идущая мимо леса и вползающая на соседний холм. Лес уходил, все плотнее, налево за горизонт. Направо открывалась овальной чашей широкая котловина.

Вправо от нее на бугре темным пятном щетинилась какая-то деревня или городок с остроконечной киркой. На левом краю котловины по жнивью видны были черные жгуты окопов. Это были те самые окопы, в которых еще вчера сидели звенигородцы. Сейчас они были пусты. За ними, в сторону леса, во всю ширину котловины, перебегали в цепи черные точки людей, за второй цепью двигались плотные колонны, к флангам скакала кавалерия марш-маршем. Со стороны городка, перемещаясь, занимала позиции легкая и гаубичная артиллерия. Из лесу на дорогу и по дороге с соседнего холма, в версте от Болховинова, грохочущим, стонущим, воющим клубком, то сматывающимся в кишащий узел, то растекающимся мутной лавиной, несся людской поток.

Вася скорее инстинктом, чем зрением, узнал в бегущих солдат своего корпуса. Некоторые из них, отделившись от общего потока, раскинув руки, пригнувшись, взбирались на холм, где стоял Болховинов.

С опушки, не умолкая, сыпал в живую кашу пулемет. Немецкая кавалерия—«наверно 36-го уланского», мимовольно отметил Вася,—уже вынеслась из-за леса наперерез бегущим. Орудия смолкли. В наступившей серой тишине (Васе, несмотря на солнце, пламенеющее на склоне, всё показалось серо) явственно слышен был тяжелый топ.

Конь Болховинова вытянул шею и заржал.

Медлить было нельзя. Вася с трудом пошевелил отекшей ногой и тронул коня шпорой. Он все еще не в силах был отвести глаза от дороги, где смешавшиеся люди, падая, наседая друг на друга, как муравьи из разворошенной кучи, обезумев, поливаемые пулеметом, рвались навстречу смерти.

Вышколенный англичанин—«Фурор»—вынес Болховинова лугом к дальнему левому крылу соснового бора еще до того, как первые наездники—немецкие уланы—пересекли дорогу, по которой все еще бежали им навстречу отступающие.

В мелколесьи, тотчас же за гречневым полем, конь нежданно прянул в сторону и, храпя, дрожа напряженными мышцами, остановился. С шелковым шорохом из-под копыт Фурора посыпался песок в глубокую воронкообразную яму. Дно ямы было завалено мелко наломанным, обуглившимся ельником. Вокруг сажени на две весь кустарник был спален и изжеван. Чуть подале на тонкой, как палец, прямой сосне, масленой от заходящего солнца, сидели две вороны и, на-

нахохлясь, опустив носы, вытянув шеи, прилаживаясь на ветке, поочередно недоуменно каркали.

Внизу под сосной Вася увидел расщепленную винтовку, окровавленный лоскут, початую консервную банку и два трупа.

Один, прислонясь к стволу сосны, подобрал колено правой ноги и положил на плечо, точно собираясь соснуть, голову с сорванным затылком. Вывалившиеся из черепной коробки мозги бурыми сгустками налипли вдоль разорванной штанины и стекли в подвернутую наружу ладонь вытянутой, как для подаяния, левой руки. Оторванная правая рука висела далеко на можжевеловом кусте.

Другой труп лежал грудью кверху, неведомой силой вздыбленный и кинутый на сломанную, пригнутую к земле ель. Оголенные бедра свернуты были винтом, голые обуглившиеся ноги, чуть согнутые в коленях, вися над землей, точно выплясывали лихой танец. Выпотрошенный живот покоился на лохматых, рыжих от крови еловых лапах. На груди, прикрытой окровавленной гимнастеркой, лежала нижняя челюсть. Лица не было вовсе, руки, в последнем отчаянии вскинутые наверх, зацепились скрюченными пальцами за сучья.

Болховинов тронул коня и медленно отъехал прочь. Его не испугал вид растерзанных трупов. Он и в детстве не боялся крови, частенько потехи ради травил собаками кошек. Недостаток воображения давал ему возможность со спокойным любопытством смотреть на раны, на изуродованные тела. Лишения и неудобства войны ничуть не утомляли его. К войне он тотчас же, как только попал в полк и со своим эскадроном был прикомандирован к пехотной дивизии для несения разведывательной службы, отнесся, как всякий здоровый человек относится к трудному, опасному для жизни делу,— с уверенностью, что он-то сумеет с ним сладить и все обойдется благополучно.

Всего более раздражала Васю мысль, что ему рано или поздно придется спешиться и лечь в окопы, как это не раз имело место в других кавалерийских частях. Все другое: убыль воинского состава, нераспорядительность начальства, смерть таких же, как он, здоровых и веселых товарищей, самая цель войны, даже то, что она оказалась далеко не такой картинной, какой представлялась в училище,—все это скользило мимо Васи, не задевая его чувств и мыслей. Но было не-

что, что отравляло ему существование. Это нечто было то, что он уже около месяца, со дня отъезда из Петрограда, был болен гонореей. Лечиться на походе было трудно. Вася по школьной привычке относиться к этой болезни как к чему-то пустяшному, вроде насморка, удосужился только однажды побывать у врача и обходился своими средствами. Разведывательная служба приковывала его к седлу и вызывала ухудшение болезни.

Сейчас в наступившей внезапно тишине, остановясь перед трупами, кощунственно обнажившими перед ним свои растерзанные, окровавленные тела, Болховинов вспомнил о том, что с ним самим, и скрипнул зубами от досады и боли.

Фурор успокоился и, все еще прядая ушами, вошел в гущу леса. Влажный от пота затылок обвеяло смолистым холодком. По высоким шапкам сосен били косые лучи, у стволов залегал вечерний сумрак. Чем дальше, тем тишина становилась полнее. Копыта уходили в подушки рудого мха, изредка только с шипом разваливался трухлявый пень, подточенный сыростью, или крякал сухой валежник. Это был многоверстный бор, переходящий в болота. Цепь лесных озер шла в северо-восточном направлении. Только по этому пути могла отступать самсоновская армия, если она еще цела.

Отдав поводья, Вася дожевывал остатки шоколада и галет. Бессвязно в памяти оживали недавние события, последние петербургские дни. Лицо начальника штаба нежданно преображалось в ухмыляющуюся рожу Мезенцева, Мезенцев двоился—и вот уже с ним Олег. «Ну что же,—говорит Олег со своей хитренькой усмешкой,—благородному человеку остается одно: стреляться». И снова выстрелы, гул, белые от страха глаза прапорщика, рыжая борода его, как веснушки Олега и глаза Ирины... Ирина на камне, поднятые дужкой тонкие брови, беспомощные губы ее, как никогда близкие, женские... Бесстыдно свернутые обнаженные ноги трупа—там, на окровавленных сосновых лапах...

— Нет, это вздор, не может быть,—громко пробормотал Болховинов, натянув поводья.—Нет... Я же помню хорошо, что тогда еще ничего не было, я же помню, что я тогда не был болен...

Он поежился: сырость забиралась под гимнастерку.

— Куда, чорт, я все-таки еду?

Вокруг все уже смыкались сосны, вверху небо редело и гасло, под копытами почва набухала, колебалась, как парус.

Перелетывая вслед за Болховиновым, дразня его, неизменно впереди и высоко тарахтел дятел.

«Вот бы подстрелить каналью»,—обозлившись, подумал Вася и поднял шаг приставшего Фурора.

Колкие ветки били по крупу коня, по Васиным ногам, по плечам. Что-то шипело, шуршало, шушукалось, проплывало в плотнеющем воздухе, не нарушая немоты ползущей ночи.

Нежданно впереди мелькнул просвет, сосны раздались в стороны, потянуло острым запахом грибов, гнили, Фурор споткнулся раз-другой и ушел передними ногами в топь.

Вася торопливо соскочил наземь, едва удержавшись на кочке. За кочкой разлилась лужа, за лужей шла просека и заваленная орешником узкая гать. В дальнем западном конце гати видна была вишневая полоса заката. Налево, к востоку, слоился туман чудовищной дымчатой гусеницей. Оттуда несся то повышаясь, то понижаясь на хроматических нотах, неумолчный звон. То пели миллиарды лягушек. Казалось, на огромном блюде перекатываются, ударяясь друг о друга, множество стеклянных шаров.

Болховинов, держа за повод коня, пошел вброд к просеке. Черная жижа тяжестью набрякала на сапогах, на галифе. Фурор, отфыркиваясь, завязал по грудь. У самой гати пришлось выкарабкиваться ползком, хватаясь за режущий пальцы хвощ.

Едва ступив на булькающий, шаткий настил, поднявшись на дрожащие от напряжения ноги, Вася пробормотал свирепо и неожиданно для себя:

— А Соньке, стерве, морду я все-таки набью.

Мокрая жирная грязь не позволяла ему сесть на коня. Пришлось итти пехтурой, скользя на круглешах, цепляясь шпорами за сучки и лыко, перепрыгивая через черные, полные гнилой торфяной жижи рытвины. На мгновенье в памяти мелькнуло воспоминание о том, как точно так же вброд шел он к камню, на котором сидела Ирина. Тогда после минутного колебания Вася с радостью бултыхнулся в воду: впереди была Ирина, правда, обиженная, злая, но, как всегда, необыкновенная, несравнимая и своя. Как мог дурак Игорь подумать, что Ирина для него то же, что Сонечка? Ирина—божество.

Болховинова обдало варом. Он приостановился и срыву, нарочно стуча сапогами, зажмурясь, устремился вперед.

«Не может этого быть, вздор какой! Не мог я ее...—отмахиваясь от непрошенных мыслей, подумал он.—Дорожка, дьявол ее возьми совсем!»

Гать, чем дале, тем становилась непроходимей. Прислонясь к тяжело опадающему боку Фурора, Вася закурил. Курить он не умел, давился дымом, ругался еще круче.

Было ясно, что просека тянулась на многие версты, вела в полную неизвестность. Однако сворачивать тоже было некуда. Кругом в густеющих сумерках, ватных от слоистого тумана, поднявшегося в уровень с вершинами елей, хрипел, булькал, аукался бесконечный торфяной худосочный лес. В просветах между тонкими, как жерди, голыми соснами топорщились можжевельник и встрепанные елки, заваленные мусором, перегнившим буреломом, лесным рогатым хламом, рассыпающимся от малейшего прикосновения. Все было пропитано мажущей сыростью, пахло тленом, горьким бродилом, желчью, неустанно перерабатывающей волокна когда-то живых растений в жирный бурый прах.

Дятел перестал долбить, не слышно было ворон, самая память о бое, о криках борющихся за жизнь людей стерлась, осела в мертвой хлюпающей тишине. Сырость пронизывала до костей. Раздувая все ярче огонек папиросы, Болховинов натянул на себя намокшую шинель, но согреться не мог. Повинуясь необходимости действовать, он снова побрел вперед, безучастно глядя себе под ноги, и опомнился только тогда, когда увидел в двух шагах от себя группу идущих в одном направлении с ним людей. От неожиданности он и те, что шли впереди, остановились. Инстинктивно Вася схватился за кобуру и отскочил в сторону. Встречные сделали то же движение, но тотчас же один из них крикнул, вглядываясь в серую колеблющуюся муть:

— Эй, кто там? Свои.

Из облака на Васю наплыло мокрое, черное от загара и устали, осунувшееся лицо в помятой офицерской фуражке.

— Господин корнет... из тринадцатой дивизии?.. Не важно, не важно... С вами лошадь? Прекрасно!.. Вы уступите ее генералу...

— Позвольте, кто вы такой?

На незнакомце была надета измазанная длиннополая, подтянутая широким ремнем шинель, без погона. На ремне сбоку висела шашка с красным темляком. Вася еще раз взглянул на плечи со следами погон, сорванных по нарукав-

ному шву. Его настолько смутило отсутствие последних, что он снова невольно потянулся за револьвером и не заметил еще подошедших пяти человек.

— Не важно, не важно,—повторил первый, с трудом владевший сорванным голосом.—Ваше высокопревосходительство, пожалуйте сюда... Тут лошадь... лошадь... Вы можете сесть... пожалуйста...

Он говорил быстро, забывая нужные слова, повторяя по нескольку раз одни и те же, не меняя выражения.

— Пожалуйте... пожалуйте... Вот тут лошадь... лошадь.

Болховинов оглянулся. Грузный, точно раздавленный туманом, седой старик, тоже в шинели и тоже без погон, с трудом передвигая ноги, опираясь на кривую, подобранную в пути палку, подходил к Фурору. Рядом с ним, чуть поддерживая его за левый локоть, шел высокий, очень худой, с длинными, унылыми седыми усами человек. Так же, как у первого и второго, погон на нем не было. Не было их и на остальных четырех. Только у одного, вынырнувшего из тумана последним, молодого, безусого, бодрее всех выглядевшего, парня на короткой гимнастерке виднелись защитного цвета солдатские, с номером полка, нашлепки. Легко простучав тяжелыми сапогами за спиною Васи, парень перехватил из рук его поводья и, ухмыляясь чему-то своему, ткнулся носом в гриву засучившего ногами Фурора.

Грузный человек, не глядя на Болховинова, не подымая головы, положил руку на луку седла. Высокий и тот, кто первый заговорил с Васей, подхватили его сзади и помогли сесть. Поерзав, как бы уминая место, он косолапо, но привычно охватил негнущимися коленями подведенные бока лошади, горбя сутулую спину, обеими руками принял от парня повод.

— Ну что же, можно дальше...

При звуке этого увядшего, едва слышного голоса Болховинов подался вперед, оправил плечи, выгнул грудь, рука потянулась к козырьку.

Во все глаза глядя на того, кто сидел на его лошади, он начал:

— Разрешите доложить, ваше высокопревосходительство...

Грузный человек поднял голову, недоуменно, точно со сна, взглянул на вытянувшегося перед ним Васю, болезненная жалкая гримаса дернула его давно не бритую дряблую

щеку. Он шевельнулся в седле и торопливо, точно боясь услышать то, что он не хотел знать, перебил Болховинова неожиданно тонко, испуганно сорвавшимся в тумане голосом:

— Погоны... снять нужно, молодой человек...

Едущий теперь на Васином Фуроре по хлюпающим бревнам гати сгорбленный, точно раздавленный тяжестью тумана, грузный человек был несчастный, обезволенный, потерявший все—и воинскую честь, и войско, и веру в себя и людей—главнокомандующий 2-й армией, генерал-от-кавалерии Александр Васильевич Самсонов. За ним шли, едва передвигая ноги и так же утратив былую самоуверенность, постаревшие сразу на много лет, начальник штаба генерал-майор Постовский, генерал-квартирмейстер Филимонов (тот, кто первый подошел к Болховинову), два офицера для поручений и четыре офицера разведывательного отдела со своим начальником. Замыкал шествие Болховинов и веселый парень Кондрат, денщик командующего.

Никто из идущих штабистов не заговаривал с Васей, даже как будто не замечал его присутствия. Нужна была его лошадь, ее взяли под верх для изнемогавшего Самсонова. Хозяин ее мог больше не существовать. Его присутствие, присутствие человека постороннего, армейского офицера, случайно избежавшего смерти, одного из тысяч убитых и преданных командованием, было не только стеснительно, но даже неприлично. Особенно резали глаза его погоны, которых Вася так и не снял, предпочтя отойти подальше.

В свой черед Болховинову едва был терпим денщик, шедший рядом и то-и-дело заговаривавший с ним.

Вася оскорблялся тем, что солдат, нижний чин, мало того, что видит позор своего начальника, видит все высшее командование без погон, но и понимает, конечно, почему они их сорвали, и, наверно, посмеивается над тем, что вот, мол, этой уловкой генералитет хочет спасти свою шкуру.

«Чорт их раздери совсем,—думал Болховинов, промокшими насквозь сапогами шлепая по жиже.—Как же так? У них стыда не хватило, чтобы шлендрать в таком виде. Это же позор. Стреляться лучше... И куда их несет дьявол? Чтобы я когда-нибудь, хотя бы для спасения жизни,—Ирининой даже жизни—снял погоны. Да ни за что! Пулю в лоб, только не это. Такой срам, несмываемый срам. А тут еще

этот болван,—перерывая себя для того, чтобы выругать громко гнилые бревна, туман, ночь, продолжал возмущаться Болховинов,—идет себе, поплевывает... Ему что? Ему начихать на то, что его начальство в дураках, опозоренное, тащится к дьяволу на рога. Он, небось, даже радуется. Пожалуй, еще и меня считает таким же трусом!.. Сволочи! Всех бы их... Послали, олухи царя небесного, искать помощи... Ищи у них! Здрасте-пожалуйста. Приятная встреча с милым обществом в неожиданном месте. А я-то при чем? А меня с какой радости в эту кашу вляпали? Меня-то для чего перед этой скотиной криворотой трусом заделали? Наглость какая! Разговаривает еще!..»

Кондрат, стуча рядом сапогами, то-и-дело оступаясь, касался плечом васиного плеча. В липкой темноте его не было видно, слышно было только его глубокое дыхание и горловой бойкий голос. Пахло от него болотом и хреном.

— Ну и места!—говорил он, очевидно, радуясь, что слышит свой голос и разговором подбадривая себя.—Это совсем пропасти, а не места. На какие огромадные версты одна сосна да амшарник!.. Совсем для хозяйства не уютно. Я так думаю, ваше благородие, что даже немцу земля эта ни к чему.

Он замолкал и, не получая ответа, начинал снова:

— Тут антилерию нипочем не протащишь. Определенно! Только цаплям ходить. Ну, выберемся как-нибудь...

Он откашлялся, пошел проворней.

— Счастье, что с вами столкнулись, а то беда. Легко ли старому человеку такой путь пешком... со смертями столькими?..

— Ты бы помолчал,—раздраженно перебил его Болховинов.

— Можно,—откликнулся Кондрат, нисколько, видимо, не способный понять раздражение корнета и чувствующий себя здесь, в непроницаемом мраке, свободней в обращении с офицером.

Через несколько шагов он начал снова:

— А что я вас, ваше благородие, спросить хочу...

— Что такое?

— А можно снарядом канавы копать?

— Какие канавы? Каким снарядом?

— Да вот из тяжелого орудия, к примеру, гвоздить сподряд на взятую дистанцию вдоль, для просушки болота. А

то копай-копай—в годы не осушишь. Можно али нельзя, как по-вашему?

— Дурак ты, вот что по-моему,—обозлившись, перебил его Болховинов,—чушь порешь.

Он ускорил шаг и, опередив денщика, дышавшего все громче под тяжестью мешка с генеральской поклажей, приблизился к идущим впереди.

Кто-то из них говорил раздраженным полушопотом:

— Ни в какой мере штаб нельзя будет обвинять в верхоглядстве и отсутствии предусмотрительности. Еще за месяц у нас было все разработано до мельчайших деталей. Если командиры корпусов олухи, если наша артиллерия устраивает какие-то артиллерийские дуэли без участия пехоты, если пехота наша вся поголовно стреляет через головы противника, если, наконец, Жилинский ставит нас в известность о предстоящей операции перед самым ее осуществлением...

— Ну, батенька,—отвечал другой с брюзгливым равнодушием,—кто вас станет слушать?.. Факт остается фактом: провал операции налицо.

— Да, но по чьей вине? Кто нас кинул в этот мешок?

— Бросьте, господа,—вмешался третий, высокий грассирующий тенорок.—Вы послушайте, что рассказывает Терехов. В штабе верховного за стол каждый приплачивает в месяц не больше тридцати рублей, а у нас выходило тридцать семь. И что подают? При нем к обеду подавали кулебяку с рыбой и капустой, ростбиф с салатом и огурцами, десерт—кофе и виноград. А у нас, что ни день,—буженина. Я говорил, что хваленый наш Казимир Осипович составит к концу войны капиталец...

— Поесть было бы неплохо,—подхватил четвертый.—Вы уверены, господа, что мы идем правильно?

— Безусловно. Сейчас будет поворот на тропу в юго-восточном направлении. Там можно будет устроить привал.

— Общий смысл его донесения,—продолжал первый голос,—был ясен. Войска отступили не под давлением противника, а от путаницы и дезорганизации с первого момента боя. Что это доказывает? Это доказывает, что виною тут не диспозиция, намеченная нами, а полная неграмотность и нераспорядительность командующего корпусом.

— Ну, батенька...—опять начал было второй брюзгливый голос.

Но тотчас же идущие впереди что-то закричали. Голоса их глохли в тумане, слов разобрать нельзя было.

— Что? Что такое?—спросил кто-то, хватая Болховинова за рукав.

— Остановка!.. Привал!—весело ответил грасирующий тенорок.

В темноте, не разводя костра, чтобы не привлечь внимания, чиркая спичками, толкаясь, генералы и офицеры разместились на ночлег.

— Вы бы покушали, ваше превосходительство,—несколько раз доносился до Болховинова, устроившегося под деревом в стороне, уговаривающий голос Кондрата.

В сыром, промозглом воздухе слышны были только надсадный, надолго не умолкающий кашель, вздохи, треск сломанной под тяжестью лежавшего тела ветки, пофыркивание Фурора.

Никто не говорил. Сначала поставили сменную охрану, но вскоре убрали и ее.

Болховинов слышал сквозь сон, как Самсонов сказал:

— Какая там охрана! Для чего это?

Кондрат возился еще долго. Он вставал, рыскал вокруг по лесу.

Натянув фуражку на нос, подняв воротник шинели, засунув руки в рукава, Вася пытался согреться и заснуть. Он сидел, опершись спиною о гладкий ствол сосны. Веки казались набухшими, в висках что-то противно и надоедно жужжало.

Туман рваными тряпками оседал на кусты. Сквозь поредевшую заросль снизу вверх видно было небо с просыпавшимися звездами. Деревья точно оторвались друг от друга и разошлись по местам.

В полглаза смотря перед собою, Болховинов увидел в нескольких шагах от себя Фурора, стоявшего к нему мокрым крупом, и рядом с ним Кондрата. Денщик кормил лошадь с руки травою, где-то им собранной.

— Эх, хороший конь, пропадает ни за зря,—неожиданно сказал он,—за нашу дурость...

— Почему пропадает?—борясь с замыкающей его сонной одурью, нежданно забеспокоясь, просипел не своим голосом Вася.

— Да как же... бросить придется,—охотно и домовито ответил Кондрат.—Больше ему ходу нет: завязнет. Я тут все обошел округ. Лужайка небольшенькая, а за ней топь. Сажен на десять в ширину до другого островка... Человеку можно, если сосну свалить, а коню крышка...

Кондрат еще говорил что-то, даже, кажется, спичек попросил прикурить, но Болховинов, несмотря на тревогу свою за лошадь, уже не мог ни отвечать, ни слышать: его опутал по рукам и ногам, прикрыв шапкой, глухой сон.

Звезды тлели жарко и пристально. На северной окраине леса, как розовый блистающий веер, то свертывалось, то развертывалось зарево.

Через ровные, как биение сердца, промежутки неслись оттуда тупые удары. Казалось, в гущу бора, в черную топь падало что-то тяжелое, литое, ударяясь о медную доску, потом на мгновение звук гас. Вслед за ним поспешно, дробясь, катилось эхо. Точно с разных сторон мчались по колдобинам все ближе к сосне, где лежал Болховинов, тряские телеги.

Вокруг Васи, чиркая спичками, бегали, кричали, суетились всклокоченные тени.

Открыв глаза, Вася с трудом припомнил, где он и что с ним. Все тело казалось спеленутым, налитым свинцом. Он едва выпростал из рукавов руки, вскочил на затрещавшие в суставах ноги, нащупал, на месте ли револьвер и сабля. Кто-то крикнул над самым его ухом:

— Да нет же его, говорят вам!

— Ведь это же придет в голову!—откликнулся голос со стороны.

— Однако нельзя же так, господа...—прервал его другой.

— Кого нет? Кого ищут?—спросил Вася, стараясь различить лица.

Он заметил высокую фигуру Филимонова и подошел к нему.

— Ваше превосходительство, разрешите узнать...

— Ах, это вы!

Филимонов неожиданно схватил его за локоть, потянул к себе.

— Очень кстати, очень кстати...—заговорил он, как и в

первый раз, повторяя одни и те же слова, глядя куда-то в сторону.—Не в качестве приказания, а как старший товарищ, просил бы вас... Денщика одного посылать опасно, опасно... Вы бы с ним вместе...

— Куда прикажете, ваше превосходительство?

— Куда?.. То есть, как куда?

Филимонов оттолкнул от себя Васю, все не отпуская его локоть, и опять притянул к себе.—Да вы что? не слыхали?

— Никак нет, ваше превосходительство.

Филимонов отдернул руку. Он полез пальцем за ворот шинели, точно ворот мешал ему говорить. После короткой паузы произнес деревянным начальническим тоном:

— Среди ночи, когда вы изволили спать, господин корнет, ушел в неизвестном направлении главнокомандующий... очевидно, в поисках удобного пути... пути... Потрудитесь взять с собою денщика и разыскать генерала. Вы отвечаете нам за его жизнь... да, жизнь... Карта при вас? Отлично!.. Отметьте себе направление, в каком пойдет штаб, и не мешкайте... не мешкайте...

— Слушаю-с, ваше превосходительство.

Сырость и волнение прогнали последние остатки сна. Вася прекрасно понимал, в какое трудное и ответственное положение попал он. На него возлагали обязанность найти Самсонова среди ночи, в болоте, да еще под носом у неприятеля, гвоздившего теперь уже с севера, а следовательно, отрезавшего все пути к отступлению.

«Сдыхать мне в этом болоте, что ли, по их милости,— мрачно соображал Болховинов, окликая в темноте Кондрата.—Веселенькое дело, нечего сказать».

По мере того, как ему все яснее становилась невыполнимость поручения, он все более свирепел. Все громче говорил в нем здравый смысл здорового, молодого, полного сил человека. Вышколенный в училище, он понимал воинский долг и охотно подчинялся ему, но в пределах все того же здравого смысла. На взгляд Болховинова, кавалерист должен был ходить в атаку, производить разведку, на худой конец—лежать в окопе, но рыскать пехтурой по болотам в поисках удравшего генерала, промазавшего сражение,— верх глупости. Вася ни на минуту не подумал о Самсонове как о больном, старом, страдающем человеке. Для него он

был неудачливым командующим, утратившим все свое воинское обаяние.

«Ну и шут с ним, если завязнет,—думал он.—Не маленький. Сам знает, что делает...»

И все-таки нельзя было не итти. Нельзя было не оставить коня. Нельзя было даже куда-нибудь скрыться на время с тем, чтобы после вернуться и сказать, что генерал не разыскан.

С Васей шел Кондрат. Денщик старательно свернул шинель, закатав в нее добрый ломоть хлеба и попону, и теперь, разводя руки в стороны, то поглядывая на звезды, то себе под ноги, пробирался вперед сквозь густые можжевеловые заросли по найденной им, едва различимой тропе.

— Вы только за меня держитесь,—изредка покрикивал он.—Я выведу... Здесь скот гоняли обочиной...

Время от времени он останавливался, прикладывал ладони рупором ко рту и кричал. Ему отвечали все слабеющие разрозненные голоса уходивших в другом направлении штабистов.

Заря застала Болховинова и Кондрата у края безлесного, покрытого пепельного цвета мхом торфяного болота. Они просидели здесь два часа в ожидании рассвета, побоялись среди ночи ступить дальше.

Лес обрывался ровной полосой, уходил в стороны на юго-запад и северо-восток. Напротив на восток простиралась бесконечная кочковатая низменность с торчащими кое-где хилыми обомшелыми сосенками. Над ними в молочной дали восходило дымным розовым шаром мохнатое солнце.

Весь путь от него по болоту до самого леса сверкал и лучился от росы. Ничего, казалось, не было проще, как встать и итти все прямо по этой мягкой, играющей радугами дороге. Но едва Болховинов попытался ступить на нее, сделал один только шаг, как ушел по колено в булькающую теплую трясину...

Генерал Самсонов встал среди ночи, когда все спали. Заснуть он не мог и не мог оставаться на месте. Он пробовал заглушать кашель, чтобы никого не разбудить, закрывая ладонями рот. Кашель был мучителен, шел из самой глубины, выворачивал душу. Александр Васильевич думал, что если он пройдется немного, то кашель перестанет. Других при-

чин для того, чтобы уходить от штаба, генерал не имел: так по крайней мере, ему казалось. Но в действительности Самсонов один среди ночи бросил своих и пошел наугад в болото так же, как делает это старый подстреленный кабан, подчиняющийся тайному инстинкту мудрого зверя, ищущего одиночества, чтобы умереть.

Александр Васильевич, сам того не сознавая, шел умирать.

Если бы его кто-нибудь остановил в это время и спросил, куда и зачем он идет, генерал тотчас же без колебаний ответил бы, что идет искать дорогу, что ему все равно не спится, что времени терять нельзя. И он сказал бы правду, потому что желание смерти, овладевшее его измученным, не находящим во сне покоя телом, не воспринималось притупленным разумом. Желание смерти, то есть забвения всего, отрешения от всего, настолько властно проникло в дряхлеющие мышцы, в ткани мускулов, в кровь его, что он даже позабыл об усталости, за час до того лишившей его возможности двигаться. Напротив, он ее не ощущал вовсе, пробираясь сквозь чащу, выкарабкиваясь из рытвин, погружаясь по пояс в торфяники.

В мыслях генерала было только одно сознание, что что-то нужно как можно скорее найти, что только когда это что-то будет разыскано, он будет иметь право остановиться.

Все предшествовавшее его долгому одинокому пути в глухих дебрях ночи заволоклось реденьким противным желтым туманом, умалилось до игрушечных размеров, стало ненужным. А вместе с тем именно это прошлое и являлось причиной того, что жить больше было не для чего.

Это прошлое—военная служба, карьера, войны, отношения с людьми, манифест, власть полководца, победное шествие за пределы родины и позорное бегство—сейчас казались связанными в один маленький надоедливый, не дающий покоя клубок, настолько незначительный и ненужный, что именно от этой его ненужности и хотелось бежать и укрыться, как бежишь и прячешься от комара.

Никогда ни в одну минуту долгой своей жизни, полной забот, радостей и печалей, Александр Васильевич не представлял себе, что так ничтожна, так никуда не ведет его жизнь. Напротив, он всегда верил и неизменно убеждался в том, что он не только нужен другим, но и творит сам по собственной воле, часто даже наперекор чужой воли свою жизнь и

управляет во благо жизнью других людей. Теперь же он не только не верил в это, забыл об этом думать, но знал всем своим дряхлым телом, что только этот путь—во тьме, холоде, одиночестве—и есть его настоящий путь, ведущий к успокоению. Теперь он знал, что всегда был одинок, жил собою, не хотел и не умел выйти из своего одиночества и не хочет и не может оставаться дольше среди людей. Люди стали ему ненужны и противны физически, потому что и раньше он жил для себя, а не для них, хотя никогда в этом не признался бы. Сейчас, упав с вершины власти и раздавленный, Александр Васильевич всем существом своим почувствовал, что и он никому не нужен. Это чувство укрепилось в нем так глубоко и прочно, что нисколько не казалось оскорбительным, не причиняло страданий, не вызывало самоунижения или раскаяния. Оно только давало силы итти до неминуемого, ничуть не пугающего конца.

Изредка Александр Васильевич приостанавливался, чтобы переждать кашель, и снова шел дальше. Самое движение казалось приятным, несмотря на преодолеваемые трудности.

Генерал не взял с собой ни карты, ни компаса, ни бинокля, ни пищи. В правом кармане его шинели остался револьвер, маленький, легкий, прекрасный, новейшей системы браунинг. Но и его генерал оставил при себе не потому, что думал воспользоваться им при случае, а только потому, что не вспомнил о нем. Мысль о самоубийстве ни разу не доходила до его сознания. Да если бы и дошла, Александр Васильевич отогнал бы ее тотчас же по привычке религиозного человека считать самоубийство тяжким грехом. Он знал только, что ему нужно итти.

Когда с севера послышались орудийные разрывы и по небу лихорадочно заметалось зарево, генерал задержался лишь на минуту и по старой, приобретенной за долгие годы военной службы, привычке подумал:

«Навесная шрапнель... из полевой легкой гаубицы... Атака в обход правого фланга...»

Но ни эта мысль, ни самые звуки далекого боя, ни зарево, на мгновенье освещающее безотрадность окружающего, не вызвали в нем горечи и сопротивления. Он тотчас же перестал замечать все это, как не замечает раненый кабан далеких выстрелов по другому зверю и видит только лежащий перед ним последний путь...

Заря застала Самсонова среди того самого болота, покрытого блестящим от росы седым мхом, перед которым остановились искавшие его Болховинов и денщик Кондрат.

В то время, как денщик, первый ступивший на зыбкую почву, с неимоверным трудом и напряжением всех мускулов осторожно переступал по брошенной им перед собой жерди, держа в руках другую, чтобы бросить ее дальше и взять первую, а Вася, замысловато ругаясь, замотав шинель, пробовал следовать за ним,—командующий армией лежал, завалившись на левый бок, в нескольких саженях от них, по грудь уйдя в топь.

Правой свободной рукой он инстинктивно хватался за ветки суницы, сплошь покрытые налитыми лиловыми ягодами. Ветки выскальзывали из пальцев, раздавленные ягоды густой кровью размазывались на ладони и сыпали в лицо студеные капли, пахнущие дурманом. Шинель горбом поднялась за спиною Александра Васильевича, задерживая его на поверхности. Светлыми, испуганными, удивленными, какие только бывают у детей, глазами генерал смотрел перед собой на сверкающую перед ним, заплетенную бисерной паутиной, розовеющую, ласковую даль, с повисшим над нею зыбким парным солнцем и все еще пытался встать и итти, потому что остались силы, но без желания и страха.

То маленькое, желтое, надоедное, что вытянулось за ним и толкало вперед, что было его прожитой жизнью, едва покалывало у края глаз и мешало видеть, вот-вот готовое уйти совсем. Генерал прикрывал слезящиеся веки и снова подымал их в надежде, что теперь уже все кончено. Но дыхание утра было так живоносно, так потрясающе победно, что умереть было нельзя, и Александр Васильевич снова тянулся за веткой, снова приподымал плечи, стонал и выбивался из тоненько и сладко поющей, засасывающей тьмы.

Кондрат только по счастливой случайности услышал тихий стон генерала. Все внимание его было обращено на то, чтобы не упасть с облепленной грязью скользкой жерди.

За спиной его во все горло ругался Болховинов, посылая всех к чортовой матери, кулики и лягушки подняли свою шумливую утреннюю возню,—все болото громко и счастливо аукалось и звенело.

Александр Васильевич стонал и даже подымал голос вовсе не потому, что ждал помощи. Он не только не ждал, но и не хотел, не думал о ней. Он был далек от людей в эти сол-

нечные, наконец-то несущие забвенье минуты. Он даже и не заметил, как денщик, вскрикивая и ахая, едва не проваливаясь сам в трясину, стал тянуть его, подкладывая ему под спину и под грудь жерди. Слабея, теряя силы, генерал в эти минуты видел перед собою только зыбкую, слепящую, никуда не зовущую, никуда не ведущую, пустую, безлюдную даль.

Лицо его было серо, за ночь выросшая седая щетина мертво и жестко скрыла опавшие щеки, в углах закатившихся глаз застыли мутные, равнодушные старческие слезы.

Больше часу денщик с Болховиновым провозились над ним, пока не удалось дотащить его до сухого места. Придя в себя, Самсонов послушно, как ребенок, выпил предложенный ему Васей коньяк и жадно, с трудом, широко открывая рот, стал есть хлеб. Кондрат, все продолжая ахать и суетиться, вытащил из закатанной шинели неизвестно зачем захваченную с собою попону и подложил ее под генерала.

Съев хлеб, Александр Васильевич поднял глаза и тут впервые вгляделся в лицо незнакомого корнета.

Вася стоял перед ним свежий, бодрый, несмотря на усталость и бессонную ночь, и даже улыбался, спрашивая о чем-то. Его лицо, раскрасневшееся от усилий и загорелое, белый широкой ряд зубов, его крепкие губы, небритый круглый подбородок, напрягшиеся, не успевшие еще опасть мускулы и на сильных, по локоть видных из-под засученных рукавов гимнастерки руках, его корнетские, помятые, защитного цвета погоны—особенно эти погоны на широких плечах—с внезапной ужасающей жестокостью вернули генерала к жизни и памяти. Самсонов зажмурил глаза, схватился за сердце и отвернулся.

— Да, да, благодарю вас,—подбирая забытые слова, наконец произнес он.—Это вышло так глупо... я искал дорогу и провалился... А где же все остальные?

Он говорил, как человек, только что научившийся чужому языку, запинаясь, делая фальшивые ударения. Жалкая виноватая улыбка беспомощно растягивала его губы. Он с омерзением чувствовал, что все то, что казалось ему так недавно и навсегда забытым, ушедшим, оживало вновь. И вместе с тем ему было так тяжело видеть пред собою людей, о чем-то хлопочущих, что-то спрашивающих, чем-то связанных с ним, что он не выдержал и, все так же морщась, косноязычно, но твердо, вспоминая прежние свои начальнические интонации, приказал им: одному—Болховинову—до-

гнать остальных и сообщить им, что генерал Самсонов разыскан; другому—Кондрату—пойти искать удобный брод, выводящий на ближайшую дорогу.

— А сам я отдохну...—изнеможенно добавил он, протягивая Васе руку.

Оставшись один, Александр Васильевич посмотрел на все выше всползающее солнце, на вспыхнувшие пламенем вершины сосен, на попону, по которой уже бегали суетливо и деловито рыжие муравьи,—короткая обреченная улыбка дернула щеки, голова мотнулась к груди, и, вновь чувствуя во всем теле разбитость, усталость больного, осужденного на жизнь тела, и боль умаленного в своей гордыне загнанного человека, он застонал в надежде, что его пожалеют и услышат, и всей тяжестью своего шестидесятилетнего тела повалился лицом в попону на растерявшихся муравьев.

Они шли гуськом, один за другим, как волки. Как волки, они были голодны, запуганы, усталы и злы лютой бессильной злобой. Вокруг них сжималось кольцо облавы. Орудийный гул загонял их все дальше в болото. Подымающееся солнце было ненавистно, как предатель. От него нельзя было спрятаться.

Они сошлись с разных концов,—пять человек, пять солдат разных частей, перемешавшихся в общем паническом бегстве. Они прятались сначала друг от друга за кустарник, дожевывали последние лепешки, думали, что в одиночку легче будет проскочить, спрятаться от неприятеля, от своего начальства, от ужаса, от войны... Втайне каждый из них надеялся, что разгром их части был последним, завершающим разгромом, что после такого поражения уже невозможно будет начать снова, что о нем—о единственном, о маленькой песчинке, о нижнем чине—забудут в общей сумятице и можно будет скрыться навсегда.

Но болото свело их вместе. По болоту одному пробираться было нельзя,—нужна была помощь.

Никита первый, самый молодой из них и смелый, крикнул одному из четырех остальных, случайно выглянувшему из-за можжевельника, чтобы он шел к нему.

— А ну-ка, вылазь... Вдвоем способнее... Небось, я не сука, не выдам.

Они стали ломать сушняк и устилать им путь в неиз-

вестную зыбкую даль. Третий, приглядевшись к их работе, вылез сам. У него оказался с собой шанцевый инструмент. На озабоченное тяпанье топорика пришел четвертый, за ним пятый.

Так организовался их волчий отряд.

Впереди, притаптывая ногою, раскачиваясь и матюкаясь, шел Никита, самолюбовский конюх, теперь солдат Звенигородского полка и дезертир. За ним, передавая один другому жерди, плелись остальные—кто как мог. Они были связаны одной узкой колеблющейся тропой, одним страхом перед тем, что осталось позади, и перед тем, как бы не нарваться на боевую часть впереди. Им хотелось одного: уйти подальше и поглубже в лес, чтобы как можно вернее сохранить свою жизнь. Во всем остальном они были не только солдатами разных частей и разных родов оружия, не только существами, не похожими друг на друга и разного возраста, но и людьми с отличной от всех жизнью, судьбой, желаниями, чувствами.

Каждый из них нес на спине ему одному принадлежащий груз прошлого, который по-разному давил им на плечи, заставляя одного едва передвигать ноги, другого—поминутно вздыхать и оглядываться, третьего—ругаться...

Никита прежде всего и больше всего дорожил своей силой, красотой и молодостью. Он не хотел умирать, потому что ему весело было жить. Он любил свою гармошку,—она осталась в окопе. Чорт с ней: гармошка дело наживное. Будет жизнь—будет и гармошка. Жалеть о прошлом было нечего,—в прошлом кинуты были: грязная лачуга солдатки-матери, чужие табуны лошадей с конского завода, где он служил мальчишкой-вожавым, самолюбовские конюшни и Катька, опостылевшие одинаково. Теперь кинут был фронт, куда он шел озорно и с любопытством, но откуда бежал ошалелый, оглушенный, ненавидящий. Он бежал не из трусости перед смертью, а потому, что кто-то смел безнаказанно играть его жизнью, молодостью, красотой, подвергая их лютой опасности и даже не объясняя, зачем это надобно.

Этот «кто-то», очевидно, был очень сильный, очень большой, может быть, генерал, может быть, царь, может быть, даже сам господь бог. Но Никита не заглядывал так далеко. Он ненавидел тех, кто непосредственно командовал им, муштровал его, владел его существом. Он ненавидел вахмистра, ненавидел прапорщика Нефедова, тихого и даже робкого

человека, именно за то, что этот робкий человек «никудышный» человек, имел над ним власть, ненавидел так же, как в свое время ненавидел на конском заводе щуплого тренера, а в Самолюбове—зашибленного конем чахоточного кучера. Но там, в тылу, Никита мог озоровать, напиваться со зла пьяным и буйствовать: его рассчитывали—и дело с концом. Здесь же, на войне, озоровать—значит быть убитым не немцем, так своими. Никита предпочел бежать в общей сумятице и панике. Он даже крикнул Нефедову, тщетно пытавшемуся остановить бегущих: «Подбирай порты, сыпь к лешему! Сопля—на спичке, поигрался—будет!» И нарочно, пробегая мимо, больно ударил его прикладом.

Вот почему теперь, идя впереди своей стаи—волчицей, он только ругался отборными, смачными, веселыми ругательствами и ни о чем не вспоминал, ни по чему не вздыхал.

Вторым шел широкоплечий, приземистый мужик Степан Касимов, ездовой артиллерийского парка. Он шел вторым потому, что так было безопасней всего—за спиной вожака, по не загруженным еще вязкам хвороста. Касимов ступал тяжело, медленно, глядел себе под ноги, раньше чем ступать, торкал припасенной для этого палкой. В сумке у него был запас галет и кусок пожелтевшего, прогорьклого сала, привезенного еще из дому. Можно было продержаться трое-четверо суток. Степан нарочно не вынимал своих запасов, чтобы не возбудить зависти, берег до случая. Слов он тоже не бросал попусту. На спине у него был тяжелый, но привычный и необходимый, как жизнь, груз—тридцать шесть лет крестьянства на тридцати десятинах земли, крепко налаженное прижимистое хозяйство, сытая живность, новый кирпичный дом на недавно купленном участке, жена, трое детишек. Касимов охотно подставлял свои широкие плечи—только поднаваливай, не забывал своей ноши и на фронте: ею жил, мысленно ее облаживал, общупывал, оглядывал, берег от чужого глаза, говорил о ней скупо и не со всяким. Был недоверчив. К волчьей стае примкнул последним, только тогда, когда облазал в одиночку все лазейки и не мог найти броду, когда увидел, что «солдатики» обдумали переправу на совесть. Но с побоища бежал впереди всех, отцепив лошадь от патронного ящика, наколачивая ее, что есть мочи, и ногами и постромками, вылупив белые от ужаса глаза, воя бабьим голосом, потерял фуражку, не заметил, как свалился раненый, мчавшийся рядом, его товарищ, гнал,

пока конь, храпя, не упал передними ногами в топь. Он сидел над храпящей лошадью и плакал. Скупые, злые слезы стекали у него с густой жесткой бороды. Плакал от страха потерять жизнь.

— Ироды проклятые! За что?—спрашивал он, оглядываясь оторопело.

Бежал он, спасая свою ношу, но когда подумал, что его могут судить, как дезертира, испугался еще больше. Закон он уважал, уважал начальство, уважал презирая, уважал так, чтобы видимость была—для них, по сути—для себя, сохранить свое. Когда в дикую, непонятную и страшную минуту общей паники «для них» и «для себя» раскололось, Касимов предал их, но спас себя. Как уйти от всемогущего, всевидящего закона? Как после всего, что случилось, пребывать в законе?

Коня было жаль. Конь подыхал. С него можно было снять шкуру, нарезать и навялить мясо. Степан было приступил с ножом к коню, но, услышав чьи-то шаги в чаще леса, оглушил коня между глаз палкой и побежал прочь.

— Ну его, казенное добро: донесут!.. Пусть думают—подох конь сам по себе...

Колеблющийся узкий путь по валежнику вел не знай куда. Но вел к жизни. Жить надо было во что бы то ни стало,—кто станет облаживать, охаживать дорогой груз? Беда была в том, пронесешь ли его целехоньким по такому пути, да еще в такой компании...

Вот почему Степан Касимов, постукивая палкой, прилаживая каждый шаг, то-и-дело тяжко и озабоченно вздыхал и оглядывался.

Следом за Касимовым, припрыгивая, скользя и охая, взмахивая руками, как коромыслом, и крестясь, лотошил, раздражая Степана, щуплый низенький солдат-сапер, тот самый, у которого был с собой шанцевый инструмент. Звали его как-то уж очень чудно и неподходяще ко всему его мелкому облику—Лосось. Этому солдату тащить было на спине нечего, кроме своего шанцевого инструмента, да и тот он охотно уступил Никите.

— Ты бери, бери, голубчик, миленький мой, бери... его себе,—говорил он.

Так точно взваливал он на чужие плечи все, что было ему обременительно в жизни, оставляя себе припрыжку, водчонку, девочек, анекдоты...

Лет ему было немного, не больше двадцати трех, но лицо его было морщинисто, зеленовато, собрано в дряблый кулачок, из которого глядели остренькие, сластолюбивые глазки. Был он сыном слободского лавочника, выгнан из гимназии за богохульство: пририсовал к Исусу в гимназической церкви половой орган масляными красками. На фронте стал покаянно и противно набожен: крестился на каждую церковь, крестился, когда рыл окопы и бежал за нуждой. Устроился в саперную часть «по благородству» и из трусости: полагал, что меньше будет риску. Застала его трагическая расплата в тыловых частях, при обозе. Когда все побежало и тыл нежданно повернулся незащищенным фронтом, Лосось, крестясь и всхлипывая, сперва кинулся за санитарной повозкой, подвязав себе обрывком рубахи руку, прося спасти его, но когда повозку на его глазах разнесло в щепы, он присел и, не помня себя, ползком добрался до леса. Там его подобрал четвертый, идущий теперь за ним, солдат—Белайнен.

Этот четвертый был высок, прям и до того негибок и скован, точно его высекли из булыжника, кое-как потяпали топориком и пустили в жизнь, как мальчишки пускают по воде камень—чиркнуть два-три раза против волны и скрыться в пучине, залечь на дно.

Лицо Белайнена можно было разглядеть и запомнить только в профиль: крупный нос, тяжелый подбородок, упрямый, крутой лоб. Шел он, не сгибая колен, не поводя плечами, чуть подняв их и прижав локти к кушаку. Нести на спине ему также было нечего, как и Лососю, с той разницей, что и отмахиваться было не от чего. Он пришел из-под Риги, с фермы, которую арендовал у помещика, как и большинство бедняков крестьян тех мест—своей земли у него не водилось. Ферма эта состояла из полуобвалившегося каменного дома, четырех десятин земли, жесткой, как он сам. Платить за ферму надо было вдвое больше того, что приносила земля. Белайнен голодал, упрямо грыз землю, не сдавался, и не ушел бы с фермы, если бы не война. Жена его ушла раньше—от голода и тоски—прачкой в город, сын умер от скарлатины. Ферма, наверное, уже была сдана другому. Но Белайнен хотел жить и ушел с фронта совершенно сознательно. Воевать он больше не желал. Его пустил кто-то озорной по воде против волны, но он знал, что стоит ему нырнуть поглубже—и он снова примется упрямо грызть землю.

Руки у него были длинные, сильные. Белайнен верил, что с такими руками пропасть нельзя. Где-нибудь живут люди, не бросающие камни, а умеющие из них складывать дома.

Поэтому Белайнен не вздыхал, и не ругался, и не крестился. Он просто шел по единственной, доступной ему дороге.

Пятым в цепи, с трудом передвигая больные, стертые в кровь ноги, ковылял Пушко, донбасский шахтер. У этого было черное от угольной пыли, широкое бритое лицо. На круглых плечах воротцами топорщились погоны, из коротких рукавов выпрастывались с набухшими синими жилами, покрытые рыжеватым пушком руки, гимнастерка на черной груди распахнулась. Пушко снял сапоги, чтобы легче было бежать: сапоги натерли мозоли, а бегать Пушко не умел и не любил. Годами он был старше остальных своих спутников и тащил на себе память долгих, трудных лет работы и подземной тьмы. Сейчас же он смотрел веселее всех. Был он, так же, как и Никита, рядовым пехотного Звенигородского полка и побежал тогда, когда побежали все, хотя бежать, на его взгляд, было опаснее, чем оставаться на месте и сдаться в плен. Идя болотом к неведомой цели, Пушко хорошо знал, что если останется жив, то снова придется ему вернуться к тому, от чего ушел,—в маршевую роту, на фронт. Он знал, что по собственной воле не выскочишь в иной мир, «не проснешься ханом», как говорил он, и потому, не обольщаясь видимой свободой данной минуты, чувствовал себя свободней других. Дважды в жизни ему пришлось сидеть в тюрьме «за политику и понятие»,—как он скупо объяснял любопытствующим, перевидал тьму людишек, а сейчас больше всего радовался свежести утра, пению птиц и тому, что он идет не один.

— Одному, браток, только до ветру хорошо бегать,— говорил он.—Одному и уходить не от кого, и итти не к кому. Ты понимай!..

И хитро складывал круглое лицо свое в глубокие складки так, точно сминал мячик.

С собою у него была только «трубочка»—огромнейшая, самодельная трубка, слепленная им в тюрьме из хлебного мякиша и слюны—«всероссийская кочегарка», как ее прозвали солдаты, да полные карманы крупной махорки.

Он косолапо цеплялся голыми обезьяньими пальцами ног за валежник, дымил и поплевывал.

— Вот и повоевали,—сказал он, когда вся стая, наконец, добралась до твердого места и, бросив грязные охапки хвороста, полегла на землю.

Это был небольшой, сажени в четыре, бугорок, поросший чахлой сосенкой и суницей.

Солнце поднялось высоко, начало припекать. За спиной,—оттуда, откуда бежали пятеро,—погромыхивало снова: видимо, достреливали последних. Впереди все казалось безмятежным и успокоенным.

— Ну их к чертям собачьим!—отозвался на замечание Пушко Никита.—Чорт их с ихней войной!

Лосось поднял личико, жевал он травинку, глаза-пуговки перекатились с Никиты на Касимова; он сидел около последнего, прилаживался к сумке, чуя носом в сумке шамовку.

— Неудачная вышла диспозиция,—пояснил он.—Раз на раз не приходится, а вообще... если надо защищать культуру...

— Война определяется в общих видах,—перебил его Касимов:—не нам судить...

— А кому?—весело спросил Пушко.

— Кому положено,—отрезал Степан.—Впротчем, мне она ни к чему.

— Тебе ни к чему,—передразнил его Никита; он был голоден, разувался, жалел изорванные сапоги, свысока поглядывал на случайных попутчиков.—Ты это почему про себя говоришь? «Мне ни к чему». Ты кто такой особенный, позволь узнать.

— Про себя знаю, про себя говорю; про других не знаю—пусть сами говорят...

— Ах, ты ирод дубовый!

Никита снял сапог, откинул в сторону, руками оперся в землю, вытянул шею, ненавидя, буравил глазами Касимова.

— На других, значит, наплевать? «Мне ни к чему». А ты, сукин сын, спасаешься? За меня держишься? По моим следам идешь?

— Ну, иду,—не понимая Никиту, согласился Степан.

Никита и сам себя толком не понимал. Обида душила его оттого, что он, сильный, молодой и красивый парень, должен сидеть в этом проклятом болоте, как затравленный

зверь, и, как зверь, инстинктом чуял, что Касимов именно тот человек, который держится сейчас за него только потому, что он молод и силен и может его вызволить. Но придет час—и Касимов, спасая свою шкуру, продаст его, не задумываясь.

— Да ты, братан, чего на него насел?—с любопытством, но точно угадывая чувства Никиты, спросил Пушко.

— Они от голода злые,—ввязался Лосось.—От голода люди могут матерь задушить.

— Молчи!—огрызнулся на него Никита выдохшись, и, оборотившись к Пушко, пояснил.—Всем нам война проклята, а он про себя одного...

— Верно,—потянув из «кочегарки»,—буркнул Пушко, опять лицо его пошло складками.—Положим, что так,—добавил он.—Ну, а дальше?

— Чего—«дальше»?

— А дальше, выходит, ничего. Воевать всё одно будут.

— Я не буду,—упрямо мотнув головой, отрезал Никита.

Пушко засмеялся, укутался дымом.

— Ты не будешь? А еще его ругал,—он мотнул головой в сторону Касимова:—«про себя знаю,—на других плевать». Выходит и ты такой же... Эх, браток, зря спорил!

Пушко отвел от лица трубку, смачно плюнул.

Никита обиженно пялил губы.

— Врешь ты, я про другое,—крикнул Никита.

— Следовало бы, да не вышло... А ты как? Молчишь?—спросил Пушко Белайнена.

Белайнен лежал на спине, закинув руки под каменную свою голову, смотрел на небо бледно-голубыми глазами. Лежал неподвижно. Казалось, не оторвешь его от земли.

— Уйти надо,—спустя минуту ответил он.

— Чего?—переспросил Пушко.

— Пойдем,—еще подумав, сказал Белайнен и неожиданно легко и быстро встал на ноги.

Не сгибая спины, он выкинул вперед левую ногу, точно на ученьи, и тотчас же что-то совсем недалеко застрекотало часто и сухо. Белайнен охнул и все так же, не сгибая колени, прямо держа плечи, камнем пал на землю, лицом в мох, и остался лежать неподвижно.

Было это столь неожиданно, так непохоже было на правду, так далеко было от болотного безлюдья, окружавшего солдат, что в первое мгновенье никто из них не поднялся,

не попытался скрыться, не вскрикнул. Все четверо недоуменно смотрели перед собою, слушали недалекий треск и близкий щелк по сучьям и стволам сосенок, вздрагивающих и роняющих хвою. И только, когда вслед за упавшим Белайненом взвыл поросячьим визгом Лосось, ухватясь за щеку, и по пальцам его потекла кровь, только тогда каждый понял, что смерть близко, что война—здесь, что от нее не уйдешь.

Защищаться было и нечем и незачем: враг стрелял, очевидно, с суши, из лесу, между ним и беглецами дышала все та же непроходимая топь...

В эту коротенькую смертную минуту каждый подумал только о себе, о своей единственной, неповторимой жизни, каждый по-своему сделал первое, инстинктивное движение самозащиты.

Лосось, все продолжая взвизгивать и не отрывая левой руки от сорванного уха, присел на корточки и, как побитая камнем трехногая собака, припрыгивая, кинулся к противоположному краю холма, к зарослям суницы, куда уже полз Касимов. Схватив Касимова за полу рубахи, он заполз к нему под грудь, тычась окровавленной головой в землю, в неистовом желании укрыться, найти защиту в комнибудь другом, сильнейшем.

— Ой!.. ой!.. ей!.. ей!..—всхлипывая, трясущимися губами взвизгивал он, царапая Касимова судорожно скрюченными пальцами и мешая его движениям.—Ой, папенька... родинька... не оставь... Ой, не оставь!..

— Чорт! Дьявол!—шипел Касимов, отрывая от себя руки Лосося, как отрывает от себя тонущий руки другого тонущего, и все же не мог оторвать.—У, сволочь!

Он сжал зубы, по губам на бороду, пузырясь, стекала пена, отрывая от себя Лосося, лягал его тяжелым сапогом в живот и, внезапно напрягшись, сжавшись комочком, подобрав под себя колени для упору, схватил Лосося за горло и, душа его, кулем вместе с ним скатился на мох, на зыбкую, живую болотную гладь...

Первым движением Никиты было вскочить. Гибкие, молодые и сильные ноги легко подняли его мускулистое тело и в два прыжка отнесли в сторону. Пули весело пощелкивали, хмель опасной игры со смертью ударил в голову, гдето по краю сознания прошла озорная мысль: «Чорта с два, меня не укусишь». Никита уже собрался новым прыжком миновать пространство, отделяющее его от другой сосны по-

толще, за которую можно было схорониться, как кто-то снизу ударил его под коленку и, потеряв равновесие, он упал на земь.

— Дурья голова!—услыхал Никита рядом над ухом приглушенный басок.—Ты что—девка, или смерти ищешь? Пулеметом кроют, а он бегает... Лежи!

Неловко подвернув голову, из-за плеча, Никита увидел лежащего рядом Пушко. В зубах у него все еще торчала погасшая трубка. Лежал он на животе, уставив подбородок в землю.

— Ты чего?—раздраженно спросил Никита, пошевеливая скулами.—Что тебе надо?

— Видал?—мотнув подбородком в сторону недвижно лежащего Белайнена, бормотнул Пушко.—Уйти хотел... а ушел в землю... Уйти нельзя... Слышишь, те двое топнут?.. Кончать надо... по-умному..

— А ну тебя!—скрипнул зубами Никита.—Лежи, смерти дожидайся.

Пулемет заработал чаще, над головой бежал ветерок, сшибал кору с сосен, звал с собою. Никита рванулся и снова вскочил на ноги. «Один-два прыжка—край холма, а там—вниз. Сообразим как-нибудь. И не в таких бывали...» Но прыжок никуда не вынес. Обмякнув, тело грузно шлепнулось на еще не остывшее место, нога подвернулась, ударив по спине Пушко. Никита, стиснув до боли зубы, простонал и царапнул ногтями землю, точно бы она уходила из-под него.

Пушко, чуть отвалясь в сторону, глянул на ударившую его по спине Никитину ногу. Она лежала нелепо завернувшись, точно бы распоротый лоскут, набухала черной кровью.

— Ну, я же казал,—досадливо забасил Пушко.—Уйти!.. уйти!..

И перевалясь на спину, упершись крепко плечами в землю, он стал шаркать носком левой ноги по заднику сапога правой ноги, кряхтя, стянул сапог, лежа, подогнув колено, размотал онучу и, натянув ее на конец палки, лежащей рядом, поднял над головой—торчком, как белый флаг перемирья...

Кондрат, денщик командующего, добросовестно исполнил приказание генерала и, найдя брод, выводящий на бли-

жайшую дорогу, вернулся обратно. Но Самсонова не оказалось на том месте, где его оставил денщик. Кондрат кричал, звал, исшарил вокруг лес, торфяники и наконец, решив, что генерал сам набрел на путь и ушел по нему далеко, решил итти на соединение со штабом.

Через десять дней он явился в штаб, находившийся в тылу, с попоной, на которой отдыхал главнокомандующий. Денщика арестовали, подозревая в убийстве и ограблении генерала. Ему угрожал расстрел.

Только много после стало известно, что Самсонова спящим захватили немецкие разведчики и что он, не выдержав пытки позора, изменив своим религиозным убеждениям, покончил самоубийством и похоронен в Германии.

День гибели самсоновской армии и для союзнических войск был днем потерь и неудач. 17 августа по старому стилю французы и англичане продолжали отступление. Французы отошли от границы, очистив часть провинций Па-де-Кале и Фландрии; англичане оставили позицию Камбре—Ле-Като.

Развивая энергичное наступление в охват левого крыла французов, немцы захватили Ла-Фер (при слиянии рек Серра и Уазы), сломили сопротивление Бельгии, ворвались в область западной Самбры со стороны северных путей на Париж и подходили своими авангардными боями к столице Франции...

Все это говорило за то, что жертвы, принесенные русскими войсками во спасение «красы цивилизации», были недостаточны и еще не дали плодов. Надо было усилить дозу, действуя столь же решительно в раз принятом направлении...

А в Сестрорецке попрежнему стояли на диво солнечные благословенные дни, и никто еще, несмотря на средину августа и на слухи о возможной бомбардировке германским флотом побережья, не собирался в город.

Попрежнему на пляже сходилось веселое, оживленное общество, молодежь в полосатых купальных костюмах усиленно, как всегда перед концом сезона, отдавалась флирту, развязывались и запутывались до отчаяния начатые весною романы, разоблачались секреты и измены, читались патриотические рассказы с фронта, мазались кремом Симон и мы-

лись огуречным рассолом загоревшие за лето гимназистки, чтобы вернуться в город с интересной бледностью. Под шумок по дачам, где имелись рояли и граммофоны, танцевали танго. Иногда, просматривая списки раненых и убитых, находили знакомые и близкие имена; тогда запирались от всех и вспоминали, выплакивая свое горе, что война—не только газетный лист, шуршащий о победах, не только письма с фронта, где пишущие неизменно пытались казаться бодрыми.

Игорь в те дни находился в тылу, обучая маршевую роту, и никакой опасности его жизни не угрожало. Олег «бегал за девчонками», по выражению его матери, и о войне не помышлял. Ирина, по обычаю своему, была таинственна, но не более, чем всегда. От Васи она получила только одно письмо, написанное тотчас же после прибытия его в полк. Ольга Андреевна, однако, не замечала, чтобы дочь ее особенно остро переживала разлуку, и больше заботилась, как бы отвлечь Иринино внимание от театра.

В день разгрома 2-й армии, в тот час 17 августа, когда Вася, проклиная все и вся, ехал по гати в мазурских лесах перед встречей с Самсоновым, Ирина, Люба Потанина, сестра ее Маша, Катя Чумикова, Олег Смолич и студент Ильинский возвращались из поездки верхами, предпринятой ими в Озерки. Все они устали, и всем было весело. Особенно хорошо и счастливо чувствовала себя Люба. Она впервые сидела по-мужски и, несмотря на отчаянную боль в икрах и коленках, несмотря на волнение перед поездкой и страх во время езды, испытывала неизъяснимое, ни с чем не сравнимое блаженство.

Всю обратную дорогу Люба ехала рядом с Олегом. Он ни на минуту не отставал от нее и оказывал ей явное предпочтение перед Катей Чумиковой. Ветер и растрепавшиеся локончики мешали Любе видеть, в мыслях было только одно: как бы не упасть и подтянуть юбку, специально сшитую для этого случая в виде шаровар, непрестанно поднимавшуюся выше колен; сердце замирало в блаженстве и ужасе. Люба никак не ожидала от себя такой прыти. Правда, лошади попались смирные, с ленцой. Их все время нужно было понукать, нахлестывать вербой, чтобы они переходили с медленной трусцы на галоп, а Любина лошадь, так та даже оказалась с норовом. Она ни за что не хотела бежать впереди других лошадей. Чтобы заставить скакать ее галопом, нужно было останавливаться, пропускать остальных далеко вперед,

и только тогда уже она изо всех сил старалась догнать своих товарищей.

Когда Люба слезла у калитки своей дачи и попробовала сделать несколько шагов, оказалось, что это совершенно невозможно. Ноги дрожали и разъезжались, земля уплывала куда-то в сторону. Это было до того смешно, что Люба и Маша, стоя друг против друга, не решаясь ступить вперед, хохотали до слез.

Пришлось Олегу и Ильинскому подхватить их под руки и довести до крыльца, где за чайным столом под лампой уже сидели мать и отец Потанины.

Хохоча, махая перед лицом руками и не имея сил от смеха выговорить слово, Люба все же собралась с силами и, спотыкаясь, как пьяненькая, снова побежала назад к калитке. Она вспомнила, что не поцеловалась с Ириной и не сказала ей «самого главного».

Подбежав в темноте (после освещенного балкона здесь на дороге казалось особенно темно) к лошади, на которой, поджидая брата, сидела Ирина, Люба ухватилась за край длинной ее амазонки (Ирина ни за что не согласилась ехать по-мужски, считая это дурным тоном) и, хохоча, пошатываясь, тряся локончиками и распустившимся на затылке бантом, зашептала сквозь слезы и смех:

— Ой, не могу!.. Ириночка, счастьюшко!.. Ой, до чего я рада!.. Я ведь прибежала сказать тебе это... до чего рада! Прямо прихихешка несчастная!.. Но это ничего, ты поймешь, ты только не забывай нашего... мы еще поговорим. «Сцена — моя жизнь», да? Ой, ноги крутит! Ой, не могу!

И, став на цыпочки, вытягиваясь, что было силы, она схватила за шею склонившуюся к ней Ирину и жарко, бешено поцеловала ее в самые губы.

На балконе перед остывающей огромной чашкой, похожей на лохань, сидел Прокофий Васильевич, отец Любы, и, морща брови, дергая седеющий, но все еще пышный ус, шуршал газетой. Мать Любы, Екатерина Матвеевна, сухонькая, подтянутая женщина с пепельной взбитой прической, вытирала блюдце чайным полотенцем с вышитыми на концах красными петухами. По тому, как она сидела на своем стуле—вытянувшись прямо, и смотрела своими серыми, озабоченными глазами на блюдце, которое вертела, держа обе-

ими руками перед грудью и все не переставая вытирать, по тому, как Маша дула в чай и беспокойно и виновато оглядывалась, Любонька тотчас же догадалась, что домашние чем-то недовольны, или расстроены. Но радость, бьющая в сердце, не отпускала ее. Все еще смеясь, с трудом передвигая ноги, она добежала до своего места, с размаху плюхнулась на стул и, облокотившись на стол, отчего зазвенела посуда, оглядела всех сияющими дурашливыми глазами.

И отец, и мать, и сестра молчали, точно бы не замечая ее.

— Ну вот, всегда так,—перестав смеяться, погасая, обидчиво протянула Люба:—стоит только развеселиться... Ну, чем мы опять виноваты?

Екатерина Матвеевна медленно поставила на поднос блюдце, сложила полотенце и, прикрыв им чайник, для чего-то потрогала двумя пальцами тоненько посвистывающий самовар. Прокофий Васильевич перевернул газетный лист и подвинулся ближе к столу. Полные щеки его слегка подрагивали, но он, по своему обыкновению ни во что не вмешиваться, продолжал сидеть молча. Большие блестящие глаза его, не мигая, непроницаемо отсвечивали ламповую горелку. Маша попрежнему дула в чай и не отвечала на обращенный к ней недоуменный взгляд сестры.

— Ты всегда, мой друг, ляпнешь, не подумавши и не узнав толком,—сказала наконец Екатерина Матвеевна спокойным своим, размеренным голосом.—Никто тебя ни в чем не упрекает... Мы только что прочли в газете: ранен дядя Паша...

— Ранен?

Люба ахнула и, съежившись, закусила пальцы.

Дядя Паша был младшим братом отца,—очень красивый, очень умный, на взгляд Любы, молодой электротехник. Он недавно кончил институт и был отправлен на фронт прапорщиком. Люба кусала пальцы, чтобы поскорее понять, осмыслить и поверить в то, что она услышала. Веселый, вечно поддразнивающий, задирающий ее, смеющийся дядя Паша не мог быть, не мыслился раненым, калекой. Этого не могло быть.

Пальцы не помогали. Люба открыла рот, поморгала на свет глазами. Над лампой кружилась, прыгала ночная мелочь, обжигала крылья, падала на скатерть. Все это было не то, не то... Люба рванулась, выхватила из рук отца газету, стала искать столбец, где обычно помещали списки убитых

и раненых. В длинном ряду раненых она прочла: «Потанин, Павел Васильевич, прапорщик». Это тоже было не то...

— Но ведь, как же так?..—начала она.

Мать убирала посуду, отец продолжал молчать, постукивая пальцами по скатерти. «От него все равно не добьешься толку. Он нарочно молчит, хоть и знает». Маша печально и задумчиво смотрела на букет с астрами.

— Завтра мы пошлем телеграмму,—сказала Екатерина Матвеевна, перемывая чашки.—Если он ранен тяжело, его привезут в Петроград...

С худых, стертых от домашней работы пальцев ее тихонько капала вода в полоскательницу—кап-кап-кап...

Люба моргнула еще раз, почувствовала, что ресницы влажны, досадливо зажмурилась, накрепко сомкнула веки и убежала к себе в комнату.

«Не то, не то, совсем не то», — думала в темноте, ощупью раздеваясь и ложась в кровать. Ей не хотелось видеть себя, свои руки, свои ноги, отчаянно нывшие. Она вся себе была неприятна.

«Небось, зажгу свет—так обязательно посмотрюсь в зеркало,—с обидой на себя призналась Люба.—У, пустельга несчастная!..»

Она не понимала, за что на себя сердится, но твердо знала, что нужно что-то понять, и что это что-то никак ей не дается, растекается, нудит жалостью к себе, к дяде Паше... А тут—не то, не то...

Когда пришла Маша и тихонько, чтобы не разбудить, как мышь, зашуршала платьем, Люба вскочила, нарочно босыми, горевшими ногами стала на прохладные доски пола, окликнула сестру:

— Маша, тебе жаль дядю Пашу?

Маша пошуршала юбкой, уронила туфлю, ответила, заскрипев кроватью:

— Конечно. Он был всегда такой веселый. Не дай бог, если ему оторвало руку или ногу... Я бы не могла этого видеть...

— Вот, вот,—перебивая ее, в темноте пришлепав к ней, нащупывая под одеялом ее руки, жарко заговорила Люба.— Вот это самое и я думаю. Видеть его таким, изуродованным, будет очень страшно. Но это не то, не то, Маша, пойми, это не то!.. Тут совсем другое, тут в том дело, что война... Ах, я не могу сказать этого, но я знаю, знаю... Дело в том, что это

совершенно напрасно, что от этого никому не будет лучше, никому... А этого нельзя думать, я знаю—нельзя...

— Как же так?—откликнулась Маша испуганно.—А немцы? А родина?

Она повторила первые пришедшие ей на ум, хорошо запомнившиеся из газет и из разговоров слова, тотчас же испугавшись того, что они падают, как пустые орехи—легко и ненужно.

— Нет, не... Не то, не то!—вскрикнула Люба в отчаяньи, чувствуя, как озноб бежит у нее по ногам.—Не то... Это очень страшно...

Людмила видна была в профиль. Одной обнаженной до локтя рукой она придерживала платок у подбородка, другою опиралась о доску скамейки. Лицо ее казалось бледнее обыкновенного, должно быть, при сравнении с ярким, пестрым платком, но от этого черты лица ее стали резче и характернее.

Густые черные брови были сдвинуты к тонкой переносице, строгие губы плотно сомкнуты, глаза внимательно смотрели на что-то перед собою.

Крутовской приостановился и, скрытый листьями сирени, невольно залюбовался ею. Но через мгновенье сделал еще шаг вперед и, ступив на порог беседки, промолвил:

— Ну вот, как я рад, что нашел вас здесь. Мне думалось, что нам так и не придется встретиться сегодня.

Людмила передернула плечами и, испуганно взглянув на него, поспешила подняться со скамьи.

Леонтий Алексеевич, изумленный ее смущением, невольно оглянулся, да так и остался, окаменев, стоять на месте.

Из дальнего угла беседки медленно подходила к нему молодая женщина в сером платье, с зеленым шарфом на русых волосах.

Она улыбалась не то смущенно, не то насмешливо, фиалковые глаза ее по-детски расширились.

— Узнаете, Леонтий Алексеевич?

Ее голос, высокое контральто, похожее на журавлиный клекот, несущийся с осеннего неба, заставил Крутовского очнуться.

Он порывисто и преувеличенно метнулся в ее сторону, пожал ее холодные, сухие пальцы.

— Конечно, узнал, Наталья Никаноровна... Когда же вы приехали?

Она широко смотрела на него, точно желая показать, что понимает и прощает ему его смущение, и в то же время будто бы полна ожившими воспоминаниями, ищет увидеть в нем давно знакомые черты.

Под этим взглядом Крутовской смущался все более. Невольно и он вглядывался в нее—пополневшую, расцветшую, превратившуюся из чуть угловатой курсистки в уверенную в себе женщину, в опытную актрису, каждое движение которой было закончено и точно.

— Я приехала сегодня из Киева дневным поездом, как снег на голову, не предупредив,—заговорила она просто, без тени смущения, точно встретила доброго знакомого, с которым недавно виделась.—Я писала маме, что приеду через неделю, но дела меня задержали, пришлось продлить концерты... Вы знаете, Киев—такой восторженный город...

С ее слов—все путешествие от Киева до Самолюбова было сплошным приключением. Сначала она села не в тот поезд, потом потеряла свой саквояж. Телеграмму матери поручила послать случайному знакомому, спутнику по вагону, очень милому корнету—«ах, такому бестолковому и смешному!»—но позабыла написать на бланке адрес, а может быть, он позабыл спросить его: «так все спешили—было много, бездна цветов и шампанского, провожал целый эскадрон»... С багажом тоже произошла какая-то путаница. Телеграмма так и не дошла; пришлось тащиться на отвратительном извозчике.

— Меня встретила только Людмилушка: ни мамы, ни братьев не было дома. Они нашли меня за столом, с полной тарелкой клубники, которой меня угостила моя милая девочка...

Наталья Никаноровна подошла к Людмиле, обняла ее, привлекла к себе и медленно опустилась с нею на скамью, чуть склонив к девушке голову. Людмила повела было плечом в сторону, но не отодвинулась, осталась неподвижной.

— Конечно, их удивлению и восторгу не было границ,—продолжала Смолич.—Мама сейчас же захлопотала, забегала,—кстати, она очень хорошо выглядит,—а дядя Яша приветствовал меня двумя французскими комплиментами, как всегда, изысканными. Я его люблю, этого дядю Яшу, этого галантного старичка, этого рамоли по принципу. Потом,

вдосталь наслушавшись семейных разговоров, я попросила Людмилушку показать мне сад, мои милые-милые березы... Я была здесь совсем крошкой, ничего не помню. Потом... (Она сделала паузу и опять не то виновато, не то насмешливо поглядела на Крутовского.) Потом я захотела посмотреть на вашу усадьбу, на Рай. Людмилушка привела меня сюда... Мы задумались, каждая о своем. Я—о печальном прошлом, она, моя дорогая сестрица, моя красивая девочка,—вероятно, о счастливом будущем... ведь, не правда ли, ей идет этот платок? Я спросила, знает ли она об этом, но плутовка не хотела ответить мне...

Наталья Никаноровна полузакрыла глаза, легким движением руки коснувшись своих волос.

— Ну что, право, какая я глупая! Сижу, болтаю всякий вздор и ничего у вас не спрашиваю. Дайте же посмотреть на вас... Вы ни чуточки не изменились, пожалуй, стали мужественней, и бородка чуть-чуть больше. Вам идет... Только подумайте, сколько лет мы с вами не видались!..

Крутовской смущенно поглядывал на Людмилу, с неловкой полуулыбкой на губах наклонял голову. Он сидел не по-всегдашнему—уверенно и плотно,—а бочком, на краешке скамьи, очень неудобно.

Наталья Никаноровна говорила о гастролях, о блестяще закончившихся концертах в Риге и в Киеве.

С каждой минутой тревога утихала в душе Леонтия Алексеевича. Он с любопытством наблюдал за Смолич, отмечал ее движения, манеру выражаться. В ее речи непрестанно мелькали модные словечки: «утонченный», «интимный», «эстетный». От этих слов так и веяло кулисами, будуаром в номерах гостиницы. «Сколько ей теперь лет?—спрашивал себя Крутовской, оглядывая ее все еще стройный стан.—Наверно, за тридцать, но кажется она моложе».

Внезапно Наталья Никаноровна поднялась с места.

—Леонтий Алексеевич!—крикнула она (Крутовскому почудилось, что голос ее раздался особенно резко).—Леонтий Алексеевич, вы должны показать мне свой сад, свое хозяйство.

И не дожидаясь его ответа, она, смеясь, побежала по дорожке, вниз к Ящуру.

Крутовской нагнал ее со стесненным сердцем, чувствуя, что сейчас произойдет разговор, которого так боялся. Обернулся и посмотрел на Людмилу, втайне надеясь, что она пой-

дет с ними, но девушка не глядела в его сторону. Она осталась сидеть на месте.

Они перешли мосток и скрылись за густою стеной орешника и сирени. Под ногами хрустели сухие ветки, колебались причудливые тени. Наталья Никаноровна все шла вперед.

Неочищенная дорожка привела ее к высохшему пруду. Когда-то правильный, копанный четырехугольник воды пышно зарос теперь аиром, ирисами и тмином. Старая, прогнившая лодка лежала вверх дном, покрытая рубчатым мохом, в щели и зияющие дыры мощно вырывались к солнцу широколистный лопух и крапива. Изумрудная лягушка сидела на краю кормы.

Наталья Никаноровна, резко остановившись, повернулась к следовавшему за ней Крутовскому. Лицо ее было строго, решительно, глаза потемнели.

— Я очень виновата перед вами, Леонтий Алексеевич,— произнесла она. Руки ее опустились, голос дрогнул.

Крутовской смешался.

— Не возражайте и выслушайте меня. Я ничего не хочу от вас, я хотела одного: сказать вам это. Только сейчас я поняла до конца, как я виновата перед вами и перед собою. Это непоправимо, я знаю. И оправдываться не нужно. Нужно молчать. Я была глупа, эгоистична, когда писала вам, когда чего-то добивалась. Говорить о прошлом—значит переживать его вновь, вновь повторять свои ошибки. Не бойтесь, этого не случится. Здесь, в деревне, все сложности, все запутанности, самобичевания излишни. Здесь только—«да» или «нет». Леонтий Алексеевич, дайте мне вашу руку. Верьте мне: все кончено, все вытравлено. Постарайтесь увидеть во мне только новую знакомую. Видите, как мало мне нужно.

Она протягивала ему руку. Она улыбалась смущенно и грустно.

— Я даже не прошу у вас дружбы,—добавила она чуть слышно.

Перед ужином, прогуливаясь с матерью по гостиной и читалке в колеблющихся, неясных сумерках, Смолич продолжала свои излияния с особенной подкупающей нежностью, с какой говорят на сцене, когда хотят подчеркнуть дружескую искренность монолога:

— Милая, дорогая, хорошая моя мама. Как хорошо, как тепло у меня на душе от того, что я с тобой, от того, что я тебя

вижу, что я могу называть тебя мамой. Если бы ты знала, как это сладко! Точно я из пустыни, после многих лет странствования, набрела на живой источник и приникла к нему пересохшими губами. Человеческий мир—это ведь такая пустыня... Если бы ты знала, как я боялась застать тебя осунувшейся, постаревшей после того горя, какое ты пережила!.. Нет, нет, не возражай. Позволь мне быть с тобой откровенной: ведь я же твоя дочь, дочь, много выстрадавшая, а потому имеющая право говорить откровенно со своей матерью... Ты пережила большое горе, я знаю. Но хорошо, что в тебе еще столько мужества, столько сил, и ты так бодро выглядишь. Право, я горжусь тобой, мамочка.

Крепко прижимая к себе тонкий стан Веры Владимировны, Смолич заговорила о своей последней поездке в Киев, о своих успехах в этом прелестном городе, потом, точно невзначай, точно обмолвившись, назвала Карышева. И смущенно оправдываясь, торопливо стала объяснять, как произошла эта встреча, как пришел к ней Александр Ясонович за кулисы, как долго говорил с нею о «бедной-бедной мамочке».

Не дав Вере Владимировне ни возразить, ни остановить себя, она опять заговорила о себе, о своем разбитом сердце, о том, что она бы простила все, если бы любимый человек упал к ее ногам и просил бы его помиловать. И неожиданно:

— Ты ответила на его письмо?

Вера Владимировна побледнела, закрыла глаза. Она ждала и боялась этого вопроса. Она не переставала думать о себе, о муже, о его письме. Это письмо она носила с собой, по нескольку раз в день перечитывала. Возможна ли их совместная жизнь? Новый, долгий мир? Она стала мнительной. Перестала доверять себе. Она не решалась действовать, не решалась ответить на письмо, не находила в себе достаточно мужества...

— Я взволновала тебя, мама? Прости меня, я не хотела этого. Мне так жаль тебя...

Наталья Никаноровна порывисто пригнулась и поцеловала оледеневшую руку матери.

Вера Владимировна, растроганная до слез, схватила голову дочери и прильнула к ее лбу пожухшими губами с немой благодарностью. В ней проснулось материнское чувство. Пристально глядя влажными глазами в глаза Наташи, она произнесла срывающимся голосом:

— Дочь моя...

Наталья Никаноровна прижалась к матери, чувствуя, что и у нее выступили сентиментальные слезы. На мгновение она почувствовала себя совсем маленькой девочкой.

— Мама, мамочка, не нужно плакать!.. Мы будем счастливы...

И тотчас же, поправив легким движением руки сбитую прическу, сказала со спокойной уверенностью:

— Поверь мне, все устроится. Ты слишком замучилась. Так нельзя. Ты должна простить его, вернуться к нему. Он тебя любит, он страдает. Позволь же мне позаботиться о вас. Я знаю, как тяжело сделать первый шаг. Ты вернешься в Киев и все забудешь. Поверь мне: все мужчины одинаковы — не хуже, не лучше. Они—как дети: их нужно наказывать и прощать. Подумай о себе. Ты не так молода, чтобы искать нового счастья, а одиночество может убить тебя.

— Ах, Наташа, я сама не знаю, что делать... Я боюсь, боюсь всего... Это верно,—нужно взять себя в руки.

Вера Владимировна беспомощно поежилась. Глаза ее высохли. Взгляд был растерян. Ее знобило.

— Мне казалось, что я начинаю привыкать к мысли навсегда остаться... брошенной. Я решила посвятить себя вашим интересам. Но боюсь, что и из этого ничего не выйдет. Как же это так, Наташа?

Смолич чуть улыбнулась. Она произнесла успокаивающе:

— Я понимаю твое желание посвятить себя заботам о нас, но разве твое примирение с мужем помешает этому? Напротив. Что делать, если ты все еще женщина?..—Она добавила с шутливой полуулыбкой:—Я признаюсь тебе, мама, что я такая же, как ты. Мы не вольны над своим сердцем...

Это было бестактно. Вера Владимировна подобралась и сдержанно ответила:

— Сердце дано нам для любви, Наташа, но с годами оно подчиняется разуму, если только мы не безнадежно глупы.

Смолич прикусила язык.

— Я, может быть, говорила не то, что нужно,—вкрадчиво произнесла она,—но все же, мама, верь, мною руководит только желание помочь тебе. Прошу тебя: позволь, я отвечу ему... успокою...

Потупляясь, как девочка, вспыхивая, Вера Владимировна молвила:

— Я почти решилась.

— Ну, вот и отлично,—перебила ее дочь,—и слава богу. Давно пора... Сегодня же мы отправим письмо. Я попрошу его назначить день. Ему неловко будет сразу приехать сюда, вы встретитесь с ним в Смоленске. Это удобнее и лучше. Переговорив, вы решите, что делать дальше... Ну, скажи, мамуся, не умница ли я?

Лампа под шелковым абажуром освещала комнату оранжевым светом. Наталья Никаноровна сняла платье и, встряхнув его, бросила на спинку стула. Потом наклонилась над умывальником, с наслаждением погружая руки в холодную воду. Она не переставала улыбаться, под сурдинку напевая французскую песенку о барашке и девочке. Она чувствовала себя бодрой, взвинченной после свидания с Крутовским, закончившегося так мелодраматично. Боже, до чего мужчины сентиментальны и... глупы!

Разговор с матерью тоже ее вполне удовлетворил. Начало было удачно.

Наталья Никаноровна подошла к зеркалу. Закинув за голову руки, посмотрела на свое отражение. На тонкой розовой коже у сгиба рук натянулись две тоненькие бледно-голубые жилки. Они были так нежны, так очаровательны, что ей захотелось их поцеловать.

— Мы еще молодцом,—удовлетворенно произнесла она.

Ее полнота не отталкивала, не казалась тяжелой. Ее крепкое, округлое, свежее тело в меру расцвело и созрело. Роды ничуть не обезобразили ее. При воспоминании о своем ребенке Смолич на мгновенье нахмурилась. Этот случайный ребенок не принес ей счастья, его смерть не сразила ее. С его отцом у нее тянулась нудная любовь, тягостная обоим. Все же она убедилась, что никогда по-настоящему не любила. В ней мало страсти, весь темперамент ее уходит на другое—на заботы о своем голосе, своем успехе, своих развлечениях. Нужно сознаться, она больше всего любила себя. В конце концов это не так плохо. Если она увлекалась и увлекала, то только из любопытства и еще потому, быть может, что каждое увлечение несло с собой новые радости. Наталья Никаноровна потянулась, грудь поднялась выше, зашевелив тонкий прозрачный узор кружев. Она втянула ноздрями свой запах— сладкий запах духов и тела. Она так любила его. Духи всегда были ее первейшей заботой, она сама составляла смесь и никому не открыла бы своего секрета. Разве кто-нибудь из

тех, кто любил ее, кому она отдавалась, умели любить ее тело так, как она его любила? Они все были грубы, в конце концов неприятны. Нет, конечно, страсть никогда еще не заставляла ее забыться, не приносила ей тех радостей, какие дают запахи духов, тонкое белье, теплая вода ванны, густое вино, зрелище своей красоты и сознание своей силы...

Смолич прошлась по комнате. Чуть ощутимое дуновение приятно ласкало ее обнаженные руки, шею, грудь. Что, собственно, она хочет от Крутовского? Может быть, он ей все еще немного нравится. Она не хотела серьезно разбираться в этом. Может быть и то, и другое, и третье. Все-таки, как он слаб, несмотря на весь свой вид делового человека! Растерялся, переконфузился, не мог выговорить слова... Иногда сладко вернуть прошлое. Не потому ли она приехала сюда? Конечно, она сумела бы найти кого-нибудь другого, если бы захотела. Она понимает, что не сегодня—завтра ей понадобится надежная опора, верный угол. Но разве один Крутовской остался у нее для роли этой верной опоры? Ах, идеи ей были так же чужды, как и люди. Вся ее революционная полоса не была ли игрой на нервах? Интересные, острые ощущения, почти такие же, какие вызываются холодной струей воды, внезапно оросившей тело. Конечно, она никогда не была предательницей, изменницей,—что за нелепость! Она никогда не изменяла себе. По правде сказать, она плохо верила в то, чтобы люди серьезно и самоотверженно отдавали себя идее. Они притворяются... они притворяются, быть может, сами не замечая этого. В конце концов в этой игре, в этом притворстве выигрывает тот, кто во-время сумеет остановиться. Ведь увлекаются люди рискованным спортом, ежеминутно находясь на грани гибели. Оттого спорт завлекает, тогда как опасная работа только тягостна... Этот жандармский ротмистр с каменным подбородком, этот Мясоедов, несмотря на всю свою силу, все же был слишком серьезен, чтобы наслаждаться своим делом. Он никак не хотел поверить ей, что на деньги, которые она получала от него, она смотрела как на выигрыш. Это были ш а л ь н ы е деньги—и только.

На полу, на мягких кретоновых креслах, на столах, на кровати—всюду были разбросаны платья, легкие, фантастические, в этом освещении похожие на неведомые цветы, бесстыдно развернувшие свои пестрые, приторно-благоухающие лепестки.

Наталья Никаноровна быстро двигалась среди этого

цветника, то нагибаясь, то выпрямляясь. Она напевала вполголоса, легкая усмешка не сходила с ее губ. Иногда останавливаясь, пристально смотрела на абажур, закусывая нижнюю губу, точно что-то припоминая.

Грудь ее медленно и спокойно приподнималась, несколько тонких, блестящих нитей волос упало ей на щеки. Мясоедов... Мясоедов... глупый ротмистр Мясоедов... где-то он теперь? Умолял вернуться, клялся развестись с женой... До чего наивны мужчины!..

Кто-то осторожно постучал в дверь.

Держа в руках только что вынутую из сундука кофточку, озабоченно разглядывая примятые кружева, Смолич молвила:

— Войдите.

Дверь осторожно скрипнула. В комнату вошел Константин Никанорович.

— Я не помешал тебе?

Он был, как всегда, безукоризненно одет, свеж и легок. Что-то колючее, настороженное проглядывало в нем. В розовом свете бросался в глаза ослепительно белый низкий воротничок.

— Садись вот сюда, на это кресло!—отвечала сестра.— У меня голова идет кругом, пришлось везти весь гардероб с собой, хоть плачь...

Константин Никанорович сел, щелкнул серебряной зажигалкой, закурил тоненькую папироску (он никогда не затягивался), заложил ногу за ногу и протянул:

— Итак... порядком вы заставили себя ждать...

Наталья Никаноровна скосила один глаз в его сторону, усмехнулась (она улыбалась точь-в-точь, как брат) и, продолжая бесшумно двигаться по комнате, заговорила:

— Ну что же, сделано пока все, что можно... Я видела восхитительного полковника, говорила с ним. Он рассыпался в комплиментах, целовал ручки, поднес великолепный букет, словом, был очарователен.—И мои старания не пропали даром. Собственно, между нами, maman сильно подалась за последние годы. Грешным делом, я весьма сочувствую бедному полковнику. Он мне рассказывал такие вещи, такие вещи— ты просто не поверишь,—я умирала со смеху. Ты знаешь, она все еще жаждет любви... в ее годы. Полковник чуть не плакал. «Помилуйте, говорит, я очень уважаю вашу матушку, я всегда готов был соблюдать декорум, но, посудите сами, мы

достаточно пожили... Разве я бросал ее, разве я афишировал мою связь?..» Одним словом, если он хитер и мышиный жеребчик, то все же во многом прав. Ты только подумай: ему еще сорок три года, а маме—пятьдесят. Это так естественно... Он клялся мне, что личные дела его сильно запутаны. Что его француженка надоела ему давно, но что он не может с ней окончательно развязаться, так как у нее от него дети, мальчик и девочка. (Это он мне сказал под большим секретом.) Одному—восемь, другой—десять лет. К детям он равнодушен. «Но вы понимаете,—воскликнул он,—долг отца, как-никак: их нужно учить, их нужно воспитывать». Жермена—так зовут его француженку—души в нем не чает. А жить с нею maritalement[1] ему неудобно: это помешает его карьере, и все такое прочее... Конечно, я не подала виду, что сочувствую ему. О, я говорила очень длинно, очень высоко, с большим подъемом и убедительностью. Я не забыла упомянуть о фальшивом положении, в каком он находится, о дочери его Людмиле, о которой тоже следует позаботиться и увезти из деревни. Ты понимаешь... Наконец, о его будущем, которое не может быть особенно сладко, если он не вернется к семье. Его, кажется, больше всего беспокоят неприятности по службе в связи с предстоящим разводом. Но я не забыла о лирике,—я заговорила о себе, о своих дочерних чувствах, о маме, о ее тоске и горе, что так опасно в ее годы... Я не забыла возмущаться его поступком, недостойным солидного человека, я предсказала ему, что не сегодня—завтра его бросит его француженка и он останется один, стареющий, одинокий. Последнее, кажется, его мало тронуло. Но он усиленно целовал мои ручки, преданно заглядывал в глаза и обещал исправиться, если не сейчас, то в недалеком будущем. Он просил меня переговорить с maman, убедить ее простить его. И под мою диктовку написал ей покаянное письмо. Она его получила. Теперь остается подготовить свидание. Я думаю, это не трудно: она его попрежнему любит. Что поделаешь, мы, женщины, избалованные успехом, никогда не знаем, когда пора остановиться. Для нас никогда не кажется довольно жить, довольно бороться. Мама всю жизнь прожила для себя, ей не на кого было оглянуться, чтобы сравнить себя... Сознаюсь, я чувствую, что во мне много общего с ней.

Наталья Никаноровна замолкла. Расстегнув баульчик,

---

[1] В законном брачном сожительстве.

она стала расставлять на туалете бесчисленные коробочки, баночки, флаконы, тускло поблескивавшие в ее руках.

Потом проговорила медленно и печально:

— Право, мне иногда жаль маму, как она ни забавна. Неужели и мне будет когда-нибудь пятьдесят лет?—И после короткой паузы оживленно:—Нет, ты только послушай Людмилу. Ведь это какой-то солдат в юбке. Что значит кровь!.. И потом—эти благородные слова. Я им не верю: знаем мы этих благородных людей, видали. Я кое-что заметила. Пока не стану говорить... У нее как будто шашни с этим Крутовским. Но во всяком случае с ее стороны нам опасаться нечего. Мне не нравится только ее излишняя близость к маме. Во всяком случае, чем скорее они отсюда уедут, тем лучше. Раздел должен быть совершон до начала сезона.

Константин Никанорович пустил струю дыма, прищурился, скосил глаза на кончик носа и, разглядывая холеные свои ногти, молвил:

— Я весьма тебе благодарен за хлопоты по водворению мамаши в лоно добродетели и семьи. Я склонен думать, что и Людмилу нетрудно будет отсюда выкурить, но ты забываешь дядю Яшу.

— Дядю Яшу?

Наталья Никаноровна рассмеялась от всего сердца.

— Боже мой, дядя Яша... Чем же он может нам помешать? эта фигура с пробкой в голове? (Певица не всегда была сдержанна в выражениях.) О нем я даже не думаю.

— Что за тон!—поморщился Смолич.—Так и пахнет кулисами.

— А ты попрежнему презираешь актрис? Почему же в таком случае разговаривает со мной его превосходительство?

— Ты мне сестра, к сожалению... Но скажи, быть может, у тебя есть какие-нибудь виды на этого... как его?.. ну, твое увлечение молодости?..

Наталья Никаноровна сдвинула брови. Она ответила резко и твердо:

— Я просила бы, Костя, не касаться меня и моих личных дел. Что бы я ни делала, во всем я сама себе отдаю отчет и никому другому. Радуйся, что твои интересы отчасти совпадают с моими, и не мешай мне. Благодарить будешь после, а теперь ступай спать.

Глаза ее погасли, она потянулась, зевнула, похрустывая костями корсета, и, равнодушно глянув на темнеющий за

открытым окном сад, на звезды, протянула подчеркнуто безразличным тоном:

— Однако, до чего я все-таки устала!.. Иди, иди спать. Покойной ночи!

А когда за братом захлопнулась дверь, схватила первую попавшуюся под руку тряпку и, швыряя ее на стул, в сердцах крикнула:

— И он еще воображает, что я стану хлопотать за него! Дудки, ваше превосходительство, дудки!

Вера Владимировна закрыла глаза, отдаваясь равномерному покачиванию вагонных рессор. Так колесный говор умерял стук сердца, заглушал биение крови, убаюкивал разбежавшиеся мысли. Открыв глаза, она не могла бы сосредоточиться: ей нужно было бы все увидеть, во всем разобраться с тем особенным нервным напряжением, похожим на панический ужас, когда каждый пустяк, каждый вздорный предмет приобретает особое значение, особый зловещий смысл.

— Мамочка, ты спишь?

Вера Владимировна почувствовала прикосновение дочерней руки, но не шевельнулась, не ответила. Она сидела, откинув на полосатый чехол спинки голову, с плотно сомкнутыми губами, с страдальчески опущенными углами рта, с темными тенями под глазами. Особенно резко выступали румяна на побледневших, опавших щеках, тронутых у подбородка и у висков дряблой старческой желтизной. Бледные руки со вздувшимися у кисти синими жилками и с тонкими пальцами, каждый сустав которых выдавался вперед, подчеркивая их худобу, лежали тяжело и беспомощно на коленях.

Наконец пришел день, решающий ее судьбу. Она ехала на свидание с мужем. Она подойдет к нему, дотронется до его плеча, заговорит с ним. Она увидит его глаза и должна будет попрежнему улыбнуться им. Посмеет ли она сделать это? Какие нелепые мысли!.. Ведь она так этого хотела. Он обнимет и поцелует ее; он имеет полное право это сделать, и она примет его поцелуй. Значит, она простила, значит, она забыла? Значит—ничего не было?.. Но ведь она мечтала о его поцелуях, нужно сознаться, она хотела их, ну да, хотела, ждала, сходила с ума по ним. Почему это звучит так неприятно сейчас, когда ее желания близки к осуществлению? Зачем об этом думать, когда все придет само собою? Нужно только

знать, что все это необходимо. Необходимо для нее, для мужа, для детей, для общества. Конечно так. Наташа совершенно права. Нужно поскорей покончить с этим. Она должна. Да нет, не должна, а не может иначе...

Когда пришла телеграмма, извещавшая, что Карышев выезжает в Смоленск, Вера Владимировна сидела в спальне перед зеркалом и расчесывала волосы. Наташа вошла к ней, плотно притворила дверь и с таинственным и многозначительным лицом протянула клочок бумаги. Испуганная Вера Владимировна почувствовала, что краснеет, краснеет до корня волос, точно пойманная в чем-то постыдном. Она не смела поднять глаза на дочь, не смела отложить в сторону телеграмму, не смела ничего сказать.

— Мама, ты счастлива?

Она съежилась от этого вопроса, показавшегося ей бесстыдным. Дочь не должна спрашивать, не должна была читать телеграмму и приносить ее сюда, не должна стоять тут и смотреть на свою мать, неодетую, с распущенными волосами, теперь, в самую большую, страшную минуту ее жизни.

До боли остро показалось ей, что Наташа видит ее голой, читает в ее душе. Вера Владимировна проговорила через силу:

— Хорошо, спасибо, Наташа, а теперь уходи: мне нужно одеться.

Знала, что от нее ждут других слов, что смотрят на нее с удивлением, но не могла себя пересилить.

И до отъезда это были мучительные, нелепые часы, в которые она не знала, куда себя девать, вздрагивала от каждого слова, от каждого шума, ходила, опустив голову, растерянная и жалкая. Она боялась вопросов, избегала своих детей, чувствуя, не зная сама почему, странную робость перед ними, даже неприязнь. Особенно ей была неприятна Наташа; а встречаясь с молчаливым взглядом Людмилы, она краснела и потуплялась, сознавая, что с ней она должна быть откровенна, желая этой откровенности и не имея сил ее высказать. Как, когда поедет—она не знала, боялась думать. И уже под вечер спохватилась, что завтра должна быть в Смоленске и что сейчас, сию минуту ей нужно собраться и ехать. Она остановилась, холодея, не зная, на что решиться. Хватала нужные в дорогу вещи и, запрятывая их кое-как в баульчик, повторяла: «Нет, нет, я не поеду, я не могу ехать»,—почти теряя сознание при одной мысли, что через несколько часов, все

и бесповоротно решится. Она прошла по всем комнатам своего дома, точно прощаясь с ними, точно желая найти в них, в их спокойной неизменности покинувшее ее самообладание. Она остановилась перед вазой с розами и долго перебирала дрожащими пальцами влажные податливые лепестки, постепенно погружаясь в оцепенение, тупое безразличие. Она могла бы простоять так еще долго, если бы стук колес не пробудил ее. Тогда она бросилась в комнату дочери, крича испуганно:

— Наташа! Наташа!

Внезапно почувствовав, что ей необходима дочь, что без нее она потеряется, замучается, выскочит из поезда на какой-нибудь станции и не поедет дальше.

— Ты звала меня, мама?

— Да, да. Едем, едем скорее!

Вера Владимировна не удивилась тому, что Наташа была уже готова и спокойно, без возражений, взяла ее под руку и села рядом с нею в коляску.

«Мне нужно было взять с собою Людмилу»,—проплыло где-то далеко в ее мыслях, но она сейчас же забыла об этом, пристально всматриваясь в широкую спину кучера Филиппа, показавшуюся ей почему-то особенно милой и верной. «Вот так, хорошо, что он тут, передо мною, и что я вижу его, а он меня не видит»,—подумала она, успокаиваясь и плотнее забившись в угол коляски.

Наутро они прибыли в Смоленск.

— Мы остановимся в «Дворянской»,—сказала Наталья Никаноровна,—где остановился Александр Ясонович.

— Нет, нет, только не там,—испуганно возразила Вера Владимировна.—Где угодно, только не там.

Смолич пожала плечами, но решила не спорить, скорей бы только кончилась эта комедия, начинающая раздражать ее. «Совсем как институтка»,—подумала она о матери. В вагоне было душно, окна нельзя было открыть, потому что тотчас же сыпалась пыль, и Наталья Никаноровна проклинала поездку. От жары она много пила и теперь боялась за свое горло.

— Хорошо, мы поедем в другую,—ответила она, стараясь не раскрывать рта.—Я зайду за полковником и приведу его.

— Ты приведешь его?

Так неужели же правда, что она его сейчас увидит? Вот тут, в этом городе. Волнуясь, схватила дочь за руку и, торопясь, срывающимся голосом заговорила:

— Наташа, милая, ради бога помоги мне, успокой меня, дай собраться с силами. Я сама не своя, я волнуюсь, как девчонка. Мне стыдно, мне до ужаса стыдно. Мне всегда казалось, что это не случится, и вот теперь, когда остался один шаг к примирению, я робею, я не верю в себя, в свои силы. Ты не знаешь, чего мне это стоит. Совестно сознаться тебе, но были минуты, когда я хотела броситься с поезда. Это малодушие конечно, но что делать? Господи, что я скажу ему? Если он будет просить прощения, я не выдержу, я расплачусь, я убегу от него.

Она помолчала, собираясь с мыслями, потом зашептала заискивающе:

— Наташа, я прошу тебя, не приводи его в гостиницу: я не могу его т а м принять. Пусть лучше мы встретимся в саду, где-нибудь на улице, только не в комнате. Я буду чувствовать себя спокойнее, когда буду знать, что вокруг меня люди, шум. Сделай это ради меня!..

Она склонялась к дочери с трогательной мольбой, точно то, о чем она просила, было почти невыполнимо. Тронутая этой беспомощностью, Наталья Никаноровна поцеловала мать и, смеясь, ответила:

— Ну, конечно же, мамочка, какая ты потешная! Я все, все сделаю, как ты хочешь.

Они остановились в большой шумной гостинице с лифтом и кафе-концертом в примыкающем саду. В ней останавливались военные, дельцы, певички, разный темный, крикливый, кутящий люд. Вот почему полковник Карышев предпочел хотя и не столь нарядную, но тихую «Дворянскую»: он считал, что она более подходит к серьезной минуте свидания его с женой.

Но Вера Владимировна расстроила его планы. Они заняли единственный, оставшийся свободным номер, выходящий окнами в летний сад, и стали приводить себя в порядок. Решено было, что Смолич проведет мать в Лопатинский сад, предупредив полковника по телефону.

Вера Владимировна старалась ни о чем не думать. Она

поспешно мылась, причесывалась, переодевалась. За стеною два голоса, мужской и женский, разучивали шансонетку.

— Должно быть, певцы с открытой сцены,—сказала Наталья Никаноровна.

— Да, да, должно быть,—конфузливо улыбаясь, согласилась Вера Владимировна.—И поют, кажется, что-то веселое. Я когда-то в Киеве слыхала...

При этом воспоминании она вспыхнула, глянув искоса на дочь.

Завтрак им подали в номер. Дочь ела с аппетитом, мать делала вид, что ест. От утомления, от бессонной ночи, от мыслей у нее разболелось сердце.

«Я не доживу, я заболею»,—думала она тоскливо.

Потом они шли по улице, обе в светлых летних платьях, обе одного почти роста, и сзади мать казалась легче и моложе дочери.

Они поднялись в гору, где разбит был парк, густой и темный. С Лопатинского сада был виден весь Смоленск, белые стены кремля, излучины Днепра. Все залито было ослепительным солнцем. Стоя на самом высоком месте у обрыва, заросшего орешником и липой, чуть тронутой желтизной, они смотрели перед собою, невольно жмуря глаза, восхищенные зрелищем этого древнего города, дремавшего среди своих садов.

«Я хорошо сделала, что пришла сюда,—подумала Вера Владимировна, чувствуя, как постепенно сладкий покой разливается по всему ее телу.—Здесь так благостно, так высоко... Хорошо было бы здесь остаться надолго». Сквозь листья солнце грело ей затылок и спину. Ей казалось, что горячие лучи добираются до ее сердца, согревают его. «Если бы я была моложе, я непременно сбежала бы вниз по этому откосу. Тут такая зеленая и, должно быть, мягкая трава. Лечь вот так на спину в эту траву, подложить под голову руки и лежать, ни о чем не думая... Почему я всегда тормошусь, всегда волнуюсь? И собственно, что мне нужно?—Она печально пожала плечами, улыбаясь тихой, успокоенной улыбкой.— Ничего, пусть все так и будет, как должно быть, как хочет бог...»

— Ты не устала, мама?.. Что же он не идет?—волновалась Наталья Никаноровна, которой надоело стоять на припеке.

Вера Владимировна посмотрела на дочь, впервые увидев

в ней дочь. «Вот она какая!»—почти вслух подумала она и сейчас же ответила:

— Нет, Наташа, я не устала. Его, должно быть, что-нибудь задержало, но он, конечно, скоро будет. Если хочешь, можешь вернуться в город, я и одна подожду его.

Смолич внимательно глянула на мать, стараясь понять, какая перемена произошла в ней.

«Она боится, что я убегу отсюда,—догадалась Вера Владимировна.—Как странна и неестественна эта ее забота обо мне! Неужели ее волнует мое будущее, моя одинокая старость?..»

Они смотрели друг на друга молча, приглядываясь, изучая выражение лица. «У меня очень взрослая дочь и совсем женщина. Да она, конечно, уже не девушка,— вот что»,—решила Вера Владимировна, удивляясь спокойствию, с каким она об этом подумала.

— Ну, вот и полковник!—неожиданно вскрикнула Смолич и, сделав два шага в сторону, заулыбалась, закивала головой.

Вера Владимировна оглянулась. К ним навстречу по песочной дорожке шел легкой, свободной поступью среднего роста офицер, придерживая одной рукой шашку, другой прикладываясь к козырьку. Несмотря на заметное желание быть серьезным, он весело улыбался, скаля под светлыми пушистыми усами ровные, крупные зубы и глядя серыми живыми глазами попеременно то на Веру Владимировну, то на Смолич.

Похрустывая по песку мягкими, хорошо пригнанными сапогами, он сделал несколько шагов, приостановился, снял фуражку и, слегка согнув круглую спину, сутулясь, склонив голову, пробежал, мелко семеня ногами, отделяющее его пространство от жены и, чуть оттопырив губы для почтительного поцелуя, нагнулся к ее руке.

— Вера! Верочка!—вскрикнул он два раза дребезжащим баском и задохнулся, не подымая лица.

«У него лысинка стала больше,—невольно подумала Вера Владимировна и сейчас же, начиная волноваться, вспомнила:—когда он жил со мною, он не лысел, потому что вел правильный образ жизни, а теперь его эти француженки и вино заездили...»

— Ну, господь с тобою,—произнесла она, целуя его в лоб и удивляясь тому, что сейчас она так спокойна, что сердце не болит, что она жива и так хорошо во всем разбирается.

Наталья Никаноровна скромно отошла в сторону, потом и совсем скрылась за деревьями.

Они остались вдвоем, высоко над городом, в чужом саду, не зная, что сказать друг другу.

— Пойдем пройдемся,—сказала Вера Владимировна, испытывая странное раздражение.

— Да, пройдемся,—повторил полковник и, выпрямившись, беря себя за пуговицу френча, зашептал, напрягшись:— Поверь мне, Вера, я понимаю...

Жена остановила его движением руки, и они стали прохаживаться по площадке туда и обратно, в глубоком молчании.

«Он все такой же,—беспомощно морща лоб, думала Вера Владимировна, чувствуя, как непонятная тоска опять начинает сковывать ее душу.—Он ничуть не постарел и так же здоров, как был, но у него покраснел нос и стал толще: это оттого, что он много пил, конечно, и даже, кажется, сейчас от него пахнет вином».

— Саша,—наконец сказала она, останавливаясь и смотря на мужа, скромно опустившего глаза,—мы оба виноваты во всем, что случилось. Мы слишком жили жизнью тела, мы не уважали друг друга. Постараемся стать другими...

«Я совсем не то говорю, что надо,—морщась, думала она,—совсем не то, и потом—я обманываю себя: и теперь люблю его как мужчину».

Александр Ясонович схватил ее руку и, тиская ее в своих полных руках, воскликнул:

— Ах, Верочка, ты слишком великодушна! Ты святая женщина. Я страшно виноват перед тобою и готов искупить... А ты ангел... Когда ты вернешься ко мне, мы станем жить по-другому, я исправлюсь, и конечно, вздор, что я тогда говорил о полнокровии... Это пройдет...

«Зачем, зачем эти слова?—продолжала думать Вера Владимировна.—И он тоже обманывает и не верит тому, что говорит. Но разве это не все равно? Я вернусь к нему, ведь я не могу иначе. Я даже готова пойти на унижение, лишь бы снова принадлежать ему. Да разве все это сейчас не унижение?»

Она устало закрыла глаза, чувствуя все свое тело, истомленное жарой и волнением. «Это проклятие, должно быть, мое, что я никак не могу успокоиться, что у меня такие грязные мысли, что до сих пор я женщина и всегда ношу с собою это свое женское. Господи, боже мой, помоги мне!»

— Ну, идем теперь домой,—через силу сказала она.— У меня начинается мигрень, должно быть, от жары. Проводи меня до извозчика.

— Конечно, конечно, дорогая,—засуетился и забасил полковник.—Солнце печет адски, а мы и не думали уйти в тень. Полежи, отдохни, потом я зайду за тобой пообедать, и тогда мы все обсудим.

Он рад был, что все так гладко и скоро обошлось, без лишних слез и сцен: он немного трусил, когда шел на свидание.

— Хорошо, мой друг,—отвечала Вера Владимировна, опираясь на его руку и мысленно добавила: «Вот я иду со своим мужем, и все кончено. Зачем же было так волноваться, так мучиться. Боже, как все это не то, не то!..»

Ровно в шесть часов Александр Ясонович ждал жену в отдельном кабинете ресторана. Бубня себе под нос новый, недавно слышанный им куплет, ходил по комнате, расправляя усы, пахнувшие «L'origan». Он заказал простой, но вкусный обед и приказал заморозить шампанское своей любимой марки. Настроение у него было чудесное, хотя он и вообще не мог пожаловаться на свое настроение. Он привык, что ему во всем везет, что у него крепкое здоровье и хороший заработок. Его беспокоила только одна мысль: удастся ли ему сегодня вечером попасть в летний сад, где пела, как он узнал, одна француженка, интересовавшая его еще в Киеве?

Карышев имел большую склонность к француженкам. У него это было своего рода манией. Он находил, что русские женщины скучны, вечно недовольны и плачут, неопрятны и бездарны в любви. При всей своей самоуверенности Александр Ясонович робел перед светскими женщинами—женами своих товарищей, а тем паче перед женами начальствующих лиц. Волей-неволей он довольствовался мещаночками попроще, портнихами и даже горничными. Но где-то в глубине души своей каждый раз бывал уязвлен такими жалкими победами, стоившими ему всего лишь несколько рублей, потраченных на отрез материи, и двух-трех ухаживаний где-нибудь в отдаленном уголке парка. Сын нежинского соборного дьякона, перешедший из семинарии в юнкерское училище, окончивший инженерную академию и сразу переменивший среду, Карышев скрывал свое происхождение и вместе с увеличением

заработка и чинами изощрял свои вкусы. Он мечтал об изяществе, кружевном белье, тонком обращении, острых наслаждениях; а горничные, портнихи, мещаночки с Петербургской стороны и киевского Подола, умели только ахать, опускать глазки, вздыхать, пахли потом, носили полотняные панталоны и плакали, шмыгая носом, когда приходила пора расставаться. Поступив в академию, Александр Ясонович наконец-таки обрел свой идеал в певчике из «Вилла Родэ». Она трещала, как сорока, по-французски, надушена была с ног до головы и носила не только кружевное, но и черное шелковое белье. Правда, кроме запаха и приятного недоумения от непонятного аристократического языка и некоторых ухищрений в страсти, она оставила по себе еще и весьма стеснительную память, но все же Александр Ясонович наконец-то почувствовал себя настоящим барином и европейцем.

С тех пор он стал душить свои пушистые усы, с грехом пополам выучился петь две-три французских шансонетки, пить только шампанское sec одной лишь марки veuve Clicquot[1], носить шелковое цветное белье и увлекаться француженками.

Очень часто он срывался посреди лекций и убегал из академии только для того, чтобы иметь возможность шепнуть на ухо какому-нибудь своему приятелю:

— Ничего не поделаешь: бегу, бегу. Меня ждет Лулушка. Знаешь, та парижаночка из «Аквариума»... ревнючая— страсть!..

Вера Владимировна была его первой светской победой. Он встретил ее в «Вилла Родэ» в обществе своих товарищей по академии, двух военных инженеров, и Якова Владимировича. Она была тогда уже вдовой, и так как ее второй муж, Бунаков, тоже был инженером, то она не порывала связи с его приятелями и изредка позволяла себе, под охраной брата, легкие, безобидные развлечения—поездки в театр, а оттуда на тройке в рестораны. Полная еще сил, молодая, красивая, она любила эти «вылазки», как называл их Яков Владимирович, это взвинченное настроение, которое приходит вместе с вином, румынским оркестром, звоном тарелок, любопытными, раздевающими взглядами, двусмысленными шуточками и более откровенным, чем обычно, ухаживанием мужчин.

---

[1] «Вдова Клико»—марка шампанского завода вдовы Клико в Реймсе.

Вдовье одиночество становилось ей в тягость, любовь не приходила, на мимолетные связи она не решалась: слишком крепка была в ней старая закваска. Она презирала женщин, не умевших или неспособных закрепить законными узами свои увлечения. На брак она смотрела как на абонемент в театр: он давал право пользоваться безвозбранно супружеским ложем. Она никогда не снизошла бы до контрамарки, как бы ни было сильно ее желание.

В кафе-шантане, в дорогом ресторане, в обществе знакомых, да тем более под охраной брата, можно было чуть-чуть распустить тугой корсет условностей, этикета, хорошего тона, можно было на некоторое время забыть, что ты светская женщина. Это почти то же, что маскарад, карнавал, это почти театральные подмостки, где каждая «приличная дама» может играть, ну, если не совсем, ну, если и с усмешечкой, то все же роль о д н о й и з т е х.

Александр Ясонович, привыкший к холостым компаниям, представлявший себе все рестораны резиденцией только таких селадонов, как он, и их подруг, принял сначала Веру Владимировну за кокотку высшего полета. Декольтированная, в изящном сиреневом платье, отделанном дорогими кружевами, с великолепным цветом лица, с плечами богини,— как тут же определил Карышев,—пахнущая тоньше и вместе приманчивее других его приятельниц,—вдова произвела на Карышева неотразимое впечатление. Зрелая ее красота, еще свежая благодаря нормальному образу жизни, распространяющая вокруг себя чувственное дыхание долго сдерживаемых желаний, ударила ему в голову. Разгоряченный, более, чем когда-либо, взвинченный, ставший даже остроумным, он с места в карьер начал ухаживать за Верой Владимировной с усвоенными, вошедшими уже в привычку, ужимочками, комплиментами, французскими анекдотами. Яков Владимирович, скандализированный таким обращением, попытался было вмешаться, но вдова, смеясь и делая знаки, чтобы ее не выдавали, почти весь вечер мистифицировала своего собеседника. Она была в восторге от этой невинной, но все же рискованной забавы, заставлявшей ее все время быть начеку и точно перенесшей ее в иной, незнакомый, волнующий, запретный мир.

Когда же настало время прощаться и когда Карышев уже готов был, отведя ее в сторону, умолять «бросить этих дураков» и ехать с ним, она, смеясь, назвала себя, сообщила ему,

что она вдова его бывшего сослуживца, что один из «дураков» — ее родной брат, и что она все же рада будет видеть его у себя ежедневно от четырех до шести часов, когда она принимает своих друзей.

Александр Ясонович, сраженный, долго не мог произнести ни слова. Широкая шея его побагровела, усы шевелились, как у кота, пойманного с поличным, глаза стали маленькими и виновато-сладкими. Наконец, оправившись от первого смущенья, он рассыпался в извинениях, которых не приняли на том основании, что виноват не он, — и, усадив Веру Владимировну в автомобиль вместе с ее шокированным братом, долго объяснял хохотавшим приятелям, разводя руками:

— Но кто бы мог подумать? Такая роскошная женщина!

Однако, несмотря на конфуз, он все же на другой день разлетелся с визитом. И вскоре, очарованный, не веря самому себе, польщенный вниманием «настоящей светской» богатой женщины, говорившей по-французски так же бегло, как и его певички, но к тому же еще принятой в высшем обществе, почти влюбленный и вожделеющий, так как здесь не могло быть и речи о легкой интрижке, объявлен был женихом, отделал квартиру на широкую ногу и стал ждать вожделенный брачный миг, как нечто, никогда еще не изведанное.

С поповской хитрецой в Карышеве уживалась большая доля простецкой наивности. Женясь на состоятельной вдове, он не учел, что, несмотря на свою аристократичность, она старше его и, несмотря на знание французского языка, — все же женщина весьма строгих, даже узких правил. Эта оборотная сторона его брака сказалась очень быстро. Ласки перезрелой женщины оказались приторными: в них было слишком много чувства и очень мало разнообразия.

Испытав снова разочарование в любви русской женщины, Александр Ясонович обратил свой взор на француженок. Он вернулся к прежним своим привязанностям, убегая в шантаны под видом заседаний. Когда же, получив назначение в Киев, он должен был покинуть Петербург с его соблазнами, Карышеву помогли Вера Владимировна и удобный случай. К Вите была приглашена гувернантка — француженка m-lle Жермен. Большеглазая, подвижная, говорливая, веселая, она наполняла весь дом смехом и треском картавого

«г». Из опасения не найти другую подходящую гувернантку в Киеве, Вера Владимировна взяла ее с собою.

Подтрунивая, поддразнивая ревнивую жену, Александр Ясонович усвоил с m-lle тот легкий, заигрывающий тон, который под видом шутки позволяет говорить двусмысленности и не дает повода обижаться. Француженка отвечала остроумно и зло, но все же ей льстило ухаживание «monsieur le colonel»[1].

Встревоженная несколько и вместе с тем довольная, что легкий этот флирт проходил на ее глазах, что Александр Ясонович все чаще остается дома, Вера Владимировна смотрела на него сквозь пальцы и была не только удивлена и раздосадована, но и огорчена, когда в один прекрасный день m-lle пришла к ней с красными заплаканными глазами и объявила, что хотя она любит madame, привыкла к ней, привязалась к дорогому Witti, но все же должна их покинуть. Объяснила m-lle свой уход сбивчиво, путано. Целовала Вере Владимировне руки, уверяя, что та заменила ей мать, что не очень польстило Карышевой. Крупные блестящие слезы дрожали на длинных ресницах француженки. Она обещала со временем опять вернуться, если только будет нужно и, захватив легонький свой чемоданчик с платьишками, исчезла. В действительности—всего лишь переехала на другую улицу, в крохотную квартирку, в ожидании бэби от monsieur le colonel.

Вряд ли Александр Ясонович был очень рад такому обороту дела. Однако пришлось смириться. Наивная, уступчивая, легковерная m-lle Жермен оказалась непреклонной с той минуты, как почувствовала себя матерью. Когда Карышев заговорил с нею об аборте, она сумела показать не только свои тридцать шесть прекрасных зубов, но и когти. Она стала похожа на кошку, у которой хотят посмотреть котят.

— Jamais de ma vie[2]!—заявила она коротко.

Александр Ясонович, полагая, что порыв материнских чувств вызван соображениями материального свойства, пробовал откупиться. Однако и это не помогло.

— Я умру лучше с голоду, но сына не предам,—воскликнула она патетически, уверенная почему-то, что родится непременно сын.

---

[1] Господин полковник.

[2] Никогда в жизни!

Они помирились. Александр Ясонович стал жить на два дома. Только спустя четыре года, Вера Владимировна нарушила эту идиллию.

Сидя в бездельи в ожидании Натальи Никаноровны, от скуки проглядывая экстренный выпуск газеты, Карышев пришел к заключению, что на этот раз он поступает умно, что не примирись он с женой,—жизнь его пойдет к ущербу, карьера будет сломана.

Жермена ничего не хотела знать, кроме своих детей. У нее действительно родился мальчик, которого она назвала Пьером, с тем, чтобы он был так же тверд, как его патрон. А через два года после того—и тоже по заранее задуманному плану—она родила девочку, Аннету. Она их крестила в костеле и дала им свою фамилию. С тех пор она говорила только о них, думала только о них, восхищалась только ими, никуда не шла без них. Не раз она вырывалась из объятий своего любовника, чтобы хотя краешком глаза глянуть на своих спящих «пчелок»: так она называла их, потому что носила фамилию Абейль. Она оставалась все так же весела и жизнерадостна, как и раньше, но теперь ее веселость, имеющая только один источник—детей, прискучила Карышеву. Он очень надеялся, что, примирившись с женой, он будет иметь возможность отдалить от себя под благовидным предлогом Жермену.

— Только бы чего-нибудь опять не выкинула старушенция,—бормотал он, нюхая кончики своих надушенных усов.— А все-таки сдала она порядочно за последнее время... Но зато дочь! Дочь напоминает мать в лучшие ее годы. Она совсем такая, как Вера тогда, в «Вилла Родэ», только светлее и занозистее...

Тут только Карышев, поймав себя на игривой мыслишке, пристальней взглянул на газету и, все еще улыбаясь далекой самодовольной улыбкой, воскликнул:

— Тэ-тэ-тэ, однако! Дела разгораются не на шутку! Чорт возьми, неужели так и не удастся мне отсидеться в Киеве? Но, с другой стороны, если меня командируют в крепостной район, мое примирение с Верой будет совершенно фиктивным, и никто не придерется...

Японская война, заставшая Карышева пехотным офицером, оставила по себе самые отвратительные воспоминания.

Тогда-то он «окопался» в академии. Теперь его до поры до времени спасала его профессура в юнкерском училище. Надо было «окапываться» глубже.

В половине восьмого в кабинет вошла Наталья Никаноровна и сказала, что Вере Владимировне нездоровится, что обедать она не будет и просит мужа притти к ней после обеда, вечером.

Полковник слегка поморщился: его планы, кажется, расстраивались.

— Но как она себя чувствует? Она не нервничает?—с беспокойством спросил он.

— Нет, нет, все в порядке,—смеясь, ответила Смолич.— Не бойтесь, она больше не убежит от вас: птичка поймана, и поверьте мне—навсегда.

Тогда, глядя в смеющиеся глаза падчерицы и вновь приходя в игривое и радостное настроение, он воскликнул, потирая руки:

— Что же делать! Мы выпьем за здоровье нашей старушки, и вы, надеюсь, не откажетесь разделить со мною мою скромную трапезу.

Он помог Наталье Никаноровне снять шляпку, перецеловал ей каждый пальчик, стягивая перчатки. Суетился, басил, нюхал и менял закуску. Вскочив из-за стола после жаркого, сыграл ей новую французскую шансонетку, смеялся полным, круглым, довольным смехом и играл глазами, томно вздыхал и грозно кричал на лакея, принесшего для шампанского не те фужеры. Словом, чувствовал себя в своей тарелке и увлечен был своей дамой, ничуть от него не отстававшей. За все время обеда не было произнесено ни одного серьезного, скучного слова, кажется, даже не поминалось и имя Веры Владимировны, если не считать того, что раза два полковник шутя, но вовсе не зло, назвал ее «моя старушка», «моя старушенция». Пили за будущее, за встречу в Киеве, пили молча, многозначительно и быстро взглядывая друг на друга, пили так, просто потому, что хотелось пить и в кабинете было жарко. Вместо одной заказанной выпили две бутылки шампанского.

C'est une belle fille,
Vraiment, rudement gentile!

Je la regarde, elle me rigolle.
Ça va, ça va, ça colle![1]—

размахивая руками и топыря усы, пел Карышев.

Наконец лакей внес свечи, и они вспомнили, что пора ехать в гостиницу. Тогда, у самых дверей, Александр Ясонович остановился на полуслове (он говорил какой-то французский каламбур), наморщил лоб и, делая серьезное лицо, спросил озабоченно:

— Ах, да, кстати, что с моей дочерью Людмилой? Вы мне писали о ней что-то. Надеюсь, ничего серьезного?

Наталья Никаноровна не ответила; она почла за лучшее разговор этот отложить до более благоприятного случая.

Сославшись на мигрень, Вера Владимировна отослала дочь к мужу, чтобы эти часы побыть одной, разобраться в себе, обдумать свою дальнейшую жизнь.

Вот сейчас придет муж. Они заговорят, как и куда ехать, что куда уложить, сколько будет стоить перевозка ее вещей и мебели обратно в город. Они будут говорить с озабоченными, серьезными лицами, может быть, поспорят и погорячатся— такие разговоры никогда без этого не обходятся. И так пойдет изо дня в день, точно между ними ничего и не произошло; начнется жизнь, по которой так тосковала Вера Владимировна. «Но ведь нужно было бы как-нибудь иначе»,— тоскливо шептала Карышева, смотря на рисунок обоев и прислушиваясь к музыке за стеною, где кто-то играл: «Я помню все: и голос милый...»

«Это какой-то очень старый романс,—невольно перебивая главную, самую важную мысль, которую нужно было додумать скорее, соображала лениво Вера Владимировна:— помнится мне, я пела его еще барышней. Да, помню. Это было тоже летом, в Павловске. Я была совсем молоденькой, только что окончившей институткой, и этот романс казался мне особенно грустным. Ника, приезжая из красносельских лагерей, любил его слушать. Странно, что вот тут, сейчас, его играет певичка из сада... и тогда было то же, что теперь, и что нужно изменить во что бы то ни стало. И этот звон

[1] Это красивая девушка, действительно очень милая! Я смотрю на нее, она мне смеется. Дело идет на лад!

в ушах, и то, что я румянюсь,—все это одно и то же,—снова, напрягаясь, переходила она к самому важному.—И до тех пор, пока это будет, я не смею гордиться и думать, что я лучше той вот певички, что играет за стеною».

Она встала и прошлась по комнате, брезгливо глядя на бархатную пунцовую и уже потертую мебель, на прожженную в нескольких местах скатерть, покрывавшую круглый стол, на бамбуковые ширмы, на коврик, где выткана была белая собака с куропаткой в зубах, на картины в золоченых рамах, изображающие дочь фараона с младенцем Моисеем в синем тростнике и прием Колумба испанским королем. «Да, и эта вот обстановка, и это пение за стеной, и крики пьяных на лестнице—это именно то, чего я достойна, пока я такая,—томительно влачилась мысль в уставшей голове.— Всю жизнь я пила из одного источника, который стал теперь мутным и грязным и от которого я все-таки не могу оторвать губ. Боже, какой это камень и как мне его сдвинуть! Но я не могу, не могу иначе, у меня нет ничего другого, я растеряла все, пока жила так, сначала с Никой, потом с Сережей и с Сашей. Я иссушила свою душу, и мне нужна страсть, чтобы согревать ее. Я никогда не была матерью, я стыдилась своих детей, я заботилась о них только потому, что, устраивая свое счастье и видя их перед собою, я не хотела, чтобы они, болея и шаля, расстраивали это мое счастье. Но не видя их, я о них не думала, не знала, как о них думать... Ах,—стискивая зубы и открывая широко скорбные глаза, продолжала думать Вера Владимировна,—напрасно я не встретилась с мужем впервые здесь, в этом загаженном номере, напрасно этим брезгала: ведь все равно я не откажусь остаться здесь сегодня ночью с ним и лечь в эту кровать... Да, да, не для детей и не для того, чтобы вести разумную жизнь семьянинки и чтобы не состариться в одиночестве, я согласилась примириться с мужем, а ради этого, только ради этого».

В комнате становилось темнее, из окна принесло вместе с пылью и кухонным чадом вечернюю свежесть. Вера Владимировна глянула в окно. Между тощих липок зажигались газовые фонари, рабочие прибирали столы и стулья, скребли дорожки, перед открытой сценой возились с нотами и инструментами заспанные музыканты, помятые лакеи звенели тарелками и стаканами, из кегельбана раздавался четкий стук шаров, грохот кеглей.

— Что же они не идут?—прошептала Карышева, сразу

забывая все, о чем она думала только что, и поспешно поправляя прическу.—Уже, должно быть, восьмой час.

Оглаживая юбку, она сняла с нее несколько пушинок, расправила кружева кофточки, потом, быстрым шагом подойдя к баульчику, достала духи и пудру и, нагибаясь перед зеркалом на комоде, становясь на цыпочки и похрустывая косточками корсета, провела несколько раз пуховкой по тонкому носу, по лбу и подбородку. Затем, выпрямившись, налила на ладонь духов и, медленно проводя рукой по груди, плечам и подмышками, вдыхала, зажмурясь, их нежный девический запах.

Приятная свежесть и бодрость наполнили тело. Она снова прошлась по комнате, по привычке зорко оглядываясь и переставляя стулья, обмахивая скатерть, оправляя постель. Поджав губу, она проверяла, лучше ли, уютнее ли стало от ее уборки. Заслышав шаги поблизости, подбежала к дверям и прислушалась, но ключ щелкнул в соседнем номере, женский голос вскрикнул радостно, треснула крышка рояля, чмокнул сочный, беззастенчивый поцелуй.

— Чорт возьми, я устал порядком! Будь она проклята, эта идиотская пьеса!—отчетливо прозвучал мужской голос, точно говоривший был в одном номере с Карышевой.

Вера Владимировна на цыпочках отошла от двери, улыбаясь многозначительно, но тотчас же улыбка стала печальной, она прошептала нетерпеливо:

— Да что же они не идут, наконец?

Легкая дрожь прошла вдоль спины и заставила поежиться. Тоскливо еще раз оглянула она комнату, уже занавешенную неподвижными сумерками.

Внезапно грянул оркестр. Сердце болезненно замерло.

Вера Владимировна, стиснув зубы, стремительно выбежала в коридор.

«С ним что-нибудь случилось,—мелькнула привычная мысль, всегда терзавшая ее, когда муж долго не возвращался.—Но почему же Наташа...»

Стараясь не додумать до конца, Карышева стала спускаться по лестнице, решив позвонить по телефону в тот ресторан, где обедал полковник.

Она спустилась на второй этаж, когда услышала гудение подымающегося лифта. Она остановилась, прислонясь к перилам. Кабинка медленно подымалась вверх. Сначала

показались чьи-то головы: женская шляпа и военная фуражка.

«Ну да, это они»,—подумала Вера Владимировна, вспыхивая от волнения, не имея сил подойти к дверце и крикнуть.

И точно, сейчас же выплыли из-под пола во весь рост Наталья Никаноровна и полковник. Они смеялись. Александр Ясонович, вытягивая пухлые губы, жмурясь, ловил руки Наташи, которая махала ими в воздухе. Потом он наклонился к ее локтю, мыча и фыркая, как молодой бычок.

Уже видны были только их ноги, когда со взрывом смеха до Карышевой донесся обрывок фразы: «Нас приколотит моя старушка...»—и все скрылось.

Одеревянев, стояла Вера Владимировна у перил, все еще глядя вверх перед собою. Щеки ее жгло так, что она чувствовала кожу на них, губы дрожали, но слезы не шли из глаз. Не глядя по сторонам, она сошла в вестибюль, прошла без шляпки мимо озадаченного швейцара и медленно пошла по улице. Случайно ей попался какой-то сквер, она вошла в него и, пройдя по аллейке, села на скамью.

Мимо нее проходили гуляющие, но она не глядела на них, не замечала их взглядов. Ей было только одно приятно, что сумерки совсем низко упали на землю и свет не резал глаза, и можно было глубже заглянуть в свою душу. Мысли ее стали глубоки и ясны, но они не передавались словами: тайный ход их она лишь чувствовала в себе, не умея дать им обличье живых слов. Иногда только она шептала ссохшимися губами: «И я того же хотела для себя», когда перед ней, уплывая вверх, опять стояли муж и дочь.

Она сидела так и час и два. Стало совсем темно, гуляющие скрылись, только лист шуршал над головой в ветвях, да издали, оттуда, из летнего сада, заносило дуновением ветра обрывки музыки.

Наконец она поднялась, чувствуя тяжесть и разбитость во всем теле, каждая косточка болела и ныла. «Старушка,—прошептала она, слабо улыбаясь, но без горечи.—Конечно, я старушка; что же тут обидного? Но если так, то почему я не иду к ним? Я должна пойти к ним и сказать, что ничуть не зла на них, ведь они ничего дурного не делали, это была только легкая шалость. Но я ревную... Да, ревную,—повторила она громко.—Мне все еще кажется, что я имею право

ревновать, как женщина...» Она застонала, закусывая губы, готовая упасть наземь, но пересилила себя и, тяжело пригибаясь к земле, как ветвь, отягченная созревшими плодами, побрела по скверу, переходя с одной дорожки на другую.

Нежданно она остановилась у чьей-то высокой темной фигуры. Это был памятник Глинке, золотые значки нот поблескивали на узоре решотки. «Я в Блоне,—подумала она,—у ног любимого композитора. Скоро ночь, а я одна, без шляпки. Вот куда завели меня мои мысли! Если бы я не была старухой, я, наверно, расплакалась бы у этой решотки. Но сейчас я только кажусь себе смешной и жалкой, очень смешной и постыдно жалкой...»

Она стояла так несколько минут, стараясь разобрать золотые ноты, но было совсем темно, глаза ее плохо видели.

— Пора уходить, госпожа,—услышала она охрипший голос,—потому мы сад запирать будем.

Она спустилась к Днепру, перешла мост, на мгновение остановилась, глядя на темную воду, и снова пошла дальше. Она не чувствовала усталости, не спрашивала себя, куда ведут ее ноги, тупое безразличие овладело ею. Внезапно она увидела себя на какой-то площади. Низенькие домишки окружали ее, низкое небо мигало над нею россыпью звезд, где-то поблизости пронзительно вскрикивали паровозные гудки...

Пыльная тьма вкруг нее жила, дышала, двигалась, разбухала от переполнявших ее голосов.

Вера Владимировна остановилась испуганно, стараясь увидеть и понять, где она, кто вокруг нее. Она различила копошащиеся тени, спутанный клубок тел, какие-то острогорбые бугры, преграждающие дорогу. Постепенно в этом хаосе она заметила то там, то здесь вспыхивающие огоньки, чьи-то лица, освещенные неверным светом, различила голоса, женские истерические взвизги, всхлипы, причитания, детский плач...

На мгновенье Вере Владимировне показалось, что она стоит в центре какой-то кишащей человеческой толпы, обращающей к ней свои вопли. «Я, кажется, схожу с ума»,—подумала она, но тотчас же что-то зашевелилось у ее ног, приподнялось, застонало, и женский сдавленный, охрипший голос произнес будничные, простые слова:

— Ой! ну и что это такое, даже спать не дают!..

Карышева, отшатнувшись, увидела поднявшуюся с тротуара женщину, обмотанную платками. Старческое изможденное лицо приблизилось к ее лицу, и тот же глухой голос спросил:

— Что, уже надо ехать?

— Куда надо ехать?—оторопело спросила Вера Владимировна.

Несколько мгновений ей не отвечали, потом женщина взмахнула руками и заговорила торопливо, точно боясь, что ее прервут, не дадут до конца высказаться, выплакать свое.

— Ой, куда ехать? Вы спрашиваете,—а я разве знаю? Я думала, что вы тоже беженка... Извиняюсь, но вы не беженка? Так я вам скажу: лучше умереть голодной смертью, лучше быть всеми покинутой, чем быть такими, как мы,—беженцами...

Она еще вскинула руками, пряди волос выбились из-под платка. Какие-то тени приблизились к Карышевой. Инстинктивно она стала искать свою сумочку, чтобы достать денег, но сумочки с нею не было.

— Что? Они знают, куда нас повезут?—спросил кто-то из темноты.

— Нет, я ничего не знаю,—смущенно ответила Вера Владимировна.—Я нечаянно зашла сюда. А вы откуда же?

Теперь она различала лица окруживших ее людей. Это были евреи—старики, старухи и дети. Все они что-то говорили друг с другом на своем картавом языке и одновременно обращались к ней по-русски, и плакали, и вздыхали, и повышали голоса до крика. Запах нечистого платья, чужой непонятный говор заставили Веру Владимировну невольно сжаться, забыть о своей боли.

— Разве кто-нибудь может знать, куда нас повезут и когда повезут,—сказал кто-то за ее спиною и чиркнул спичкой.

Карышева оглянулась. Грязные заскорузлые пальцы поднесли зажженную спичку к рыжей спутанной бороде, к полуобгорелой вертушке. Огонек побежал по бумаге, повалил густой махорочный дым. Неизвестный поднял спичку в уровень своего лица, видимо, разглядывая Веру Владимировну. Он был без шапки. Рыжая копна волос курчаво дыбилась над кирпичным лбом, его глаза щурились от дыма. Лицо было изуродовано оспой.

— Что вы пристали к мадам?—сказал он.—Откуда они могут знать, где будет для нас последняя черта оседлости?

Пропустите мадам пройти по своему делу,—они, наверное, заблудились...

— Да!—обрадованно воскликнула Карышева, одновременно преисполняясь сочувствием и доверием к рыжему человеку, выручившему ее, и вместе испытывая прилив невыносимой жалости к себе.—Да, я ничего не знаю, я заблудилась... Я первый раз в этом городе. Тут так темно и что-то навалено...

— А вы не бойтесь, мадам,—словоохотливо и весело подхватил рыжий.—Это совсем пустяки. Если вам нужно пройти на вокзал, я могу проводить вас.

И он начал расталкивать собравшихся вокруг людей, покрикивая на них и обращаясь к Карышевой так, точно давно ее знает и прекрасно осведомлен о ее делах.

Вера Владимировна покорно пошла за ним и только у самого вокзала вспомнила, что на ней нет шляпки и нет с собою денег. Она попыталась сбивчиво, краснея, объяснить, в каком она безвыходном положении, но рыжий понял ее с полуслова, побежал за извозчиком, посадил ее и, успокаивающе мотнув головою, сам деловито примостился на козлах.

— Ты поезжай шибко,—сказал он извозчику, едва держась на краю сиденья и все не выпуская изо рта догоревшей вертушки.—У мадам неприятность: она забыла в гостинице свой чемодан, а другие вещи оставила со своими детками на вокзале. Так мы очень боимся, как бы кто-нибудь не обидел деток. Мы тебе хорошо заплатим, только поезжай как можно шибче...

— Вы слышите, мадам?—кричал он Вере Владимировне, стараясь заглушить грохот колес по булыжнику и дребезг пролетки,—все будет хорошо. Мы возьмем чемодан, и я сам посажу вас и ваших деток в поезд, и вы себе поедете в свой маенток, как настоящая графиня...

«О каких детках говорит он?»—думала Вера Владимировна, но не возражала и даже радовалась тому, что едет не одна, а с нею этот смешной рыжий человек.

— Мы из-под Ружан,—рассказывал рыжий, то обращаясь к извозчику, то к Карышевой,—из местечка Незбудки... Вы такой не слыхали? Ну, какая там была жизнь? Но все-таки жили. Ничего себе жили, пока не пришла война. Но тут надо было выбираться...

— Немцев забоялись?—спросил извозчик.

— Почему—немцев?—вскрикнул рыжий.—А ты пробовал, когда двое дерутся, стать посередке? Нет? Так ты и не

пробуй! Мы терпели, пока можно было терпеть... Вы слышите, мадам? Я говорю: мы были русскими евреями и хотим остаться русскими евреями. У нас была одна черта оседлости, а если вам надо как раз на том месте, где стоит наше местечко, копать окопы, так дайте нам другую черту оседлости. Разве неверно? Так нас посажали в поезд, а потом погнали по дороге пешком, а потом опять посажали в поезд, и мы ехали неделю и еще неделю и приехали в Смоленск, и сидим пятый день. И нам говорят, что здесь не может быть наша черта оседлости, а нужно искать другое место... И нас выехало пятьсот человек, а теперь осталось меньше половины: другие поболели тифом и померли. А жители говорят: «Будьте вы прокляты с вашей заразой!» И губернатор не хочет нас оставить в своей губернии, чтобы от нас не перезаразились его служащие. И он кричит тоже: «Уезжайте скорее!» А железная дорога говорит: «У нас нет состава, мы везем солдат»...—Он захлебнулся и помотал головой, точно желая убедиться, держится ли она еще у него на худой шее.—И вот мы живем на площади, и мы ждем, что будет дальше, и дети наши хотят кушать, и жены наши плачут, и уже старики начинают молиться, чтобы бог им послал умереть в своей Незбудке и чтобы мы повезли их обратно... А никакой Незбудки уже больше нет! И черты оседлости тоже не видно, чтобы я так жил! И мы стали всем страшные, и даже мадам, когда увидела нас, тоже забоялась, и только мне поверила, что я человек... Разве неправда?

Сквозь стук и дребезг слова рыжего долетали с пятого на десятое. Вера Владимировна пыталась понять их, но не могла, смутно догадываясь, что над людьми, о которых говорил ее спутник, стряслась беда. Но голос рыжего был так бодр и уверен, так сам он казался деятелен, что не верилось в подлинность сообщаемых им фактов,—казалось, что все это выдумано для красного словца, как выдумал он каких-то несуществующих деток.

«Нет, разве у них может быть горе? Разве они поймут?—думала Карышева. Острая боль оскорбления, покинутости, одиночества сдавливала ей горло, нудила сердце.—Какой вздор! Зачем людям ехать по неделям неизвестно куда? Кто это допустит? Болтает пустяки. Как не надоест?.. Он хочет, верно, развлечь меня своими глупыми разговорами. Глупый человек, разве голод и усталость и даже смерть могут сравниться с моей болью? Нет! Нет! Конечно, конечно!

Больше никогда... Бросить меня одну, в чужом городе с каким-то евреем... Он еще ограбит, убьет меня...»

— Извозчик! куда ты меня везешь? Извозчик!—вскрикнула она, приподнявшись, дрожа всем телом, готовая в ужасе выскочить из пролетки.

Но рыжий предупредил ее намерение, проворно прыгнул с козел на подножку и, держась за кузов, успокаивающе закивал головой.

— Ну, вот мы и приехали! Вот мы уже сейчас будем на месте. Вот еще немного, и все будет хорошо. Успокойтесь, мадам! Стой!—закричал на извозчика угрожающе.—Что ты не видишь нашу гостиницу?

Противная мелкая дрожь не оставляла Веру Владимировну. Она не в силах была сказать слово: страх, животный страх все более овладевал ею,—страх перед этим рыжим человеком, перед встречей с мужем, с дочерью. Ноги отказывались итти туда, наверх, в постылый номер.

Подхватив ее под локоть, рыжий помог ей сойти с пролетки, ввел ее в вестибюль гостиницы, что-то сказал швейцару, поднялся с нею на лифте.

Коридорный вынес им ключ от номера.

— Барышня и барин ушли в летний сад,—сказал он услуживо.—Они просили доложить вам, ежели вы изволите прийтить раньше их, что они будут обратно не позже часу...

Вера Владимировна молчала, остановясь среди номера, озираясь, не узнавая своих вещей. Мучительная работа мысли, все возвращающаяся к одному и тому же, не позволяла ей вникнуть в происходящее вокруг.

— Ну, которые ваши вещи?—спрашивал рыжий деловито и не дожидаясь ответа, в то время как она мучительно повторяла себе: «Если я стала другой, если у меня есть силы побороть все темное и грязное, я должна простить и остаться с мужем, да, должна».

Он затянул ремни ее чемодана, подал ей шляпку и, соболезнующе глядя ей в глаза, цикая языком и покачивая головой, усовещевал:

— Не стоит волноваться, мадам. Все будет хорошо. Наденьте шляпочку и поедем на вокзал. С кем не бывает неприятностей? Я вам скажу, нет такого человека...—Глаза его налились тоской.

И Вера Владимировна покорно надела шляпку, застегнула пальто, расплатилась с номерным, сказала, куда ей

нужно ехать, снова села на дожидавшегося извозчика и поехала на вокзал.

Теперь рыжий сидел рядом, держа на коленях чемодан, а Вера Владимировна тайком плакала, забывая из-под вуальки утирать слезы.

— Когда вы приедете на место, то пошлете им телеграмму,—наставительно говорил ей ее спутник.—А когда они спросят, как вы задумали одна уехать, так вы скажите, что не у всех такое холодное сердце, как у них, что нашелся один бедный еврей из Незбудки, который все вам обделал в один момент...

На вокзале рыжий взял у нее деньги, купил ей билет, сам посадил ее в купе первого класса и долго желал ей счастливого пути. Красные глаза его слезились. Растерянная, она невольно протянула ему руку, он приложился к ней жестковатой бородой, целуя и дохнув на нее махоркой. Тогда она вспомнила, что его нужно поблагодарить, нашарила в сумочке скомканную рублевку, болезненно морщась, подала ее. Он взял деньги без стеснения, как заранее договоренную плату за труд, еще раз поцикал и устало покачал головой, попробовал, надежно ли лежит в сетке чемодан, и ушел, оставив после себя запах махорки, чесноку и бесприютности.

Вера Владимировна сжала виски, заставляя себя вернуться к действительности. Вагон дернуло, платформа поплыла мимо.

— Беженцы,—пробормотала Карышева, глядя в окно, за которым гудело человеческое месиво, теснимое жандармами,—беженцы... От чего они бегут? Куда они бегут? От кого я сама бегу и куда бегу?

И еще бо́льшая жалость к себе, к своему пронзила ее сердце. Она задернула занавеску, опустилась на диван, сняла шляпку и, подложив под голову подушечку из розовых лепестков и сомкнув отяжелевшие веки, стала молиться: «Господи, господи, помоги мне снести мою ношу. Господи, помоги. Ты видишь, я слабая и грязная, и у меня нет сил потушить темный огонь, так дай мне перегореть в себе, чтобы предстать перед тобой чистой. Господи, не оставь меня...».

Чужой темный город, ночная площадь, вопиющая о нищете и бездольи, рыжий еврей с его рассказами—еще раз, как нелепое сновидение, ничем не связанное с подлинной жизнью, какой жила, мучилась и какую не могла оставить

Вера Владимировна, промелькнули перед ее глазами и сменились тупым оцепенением.

В отсутствие Веры Владимировны за Яковом Владимировичем ухаживала Людмила. Она приготавливала ему лекарства (он принимал какие-то микстуры, уверяя, что у него катар легких и больные почки), носила ему то плед, то карты, то книжку романа, иногда читала ему или играла с ним в безик.

— Ты мой ангел, душа моя,—говорил Тулубьев, следя за ней покрасневшими кофейными своими глазами, кажущимися всегда подернутыми слезой умиления.—У тебя золотые руки, des mains de Sylfe[1]. Они делают все неслышно, быстро и удивительно красиво, точно два одушевленных существа, уверяю тебя. Ты меня трогаешь, мне стыдно своей беспомощности, я чувствую себя до безобразия ничтожным при виде того, как ты ухаживаешь за мной... Ах,—вздыхая, шептал он:—если бы я был моложе, если бы ко мне вернулись мои былые силы, я стоял бы перед тобой на коленях и ждал бы твоих приказаний. Но, увы, я только старый рамоли, ни на что не нужный старик, годный разве лишь на то, чтобы на мне ты лишний раз испытала свое золотое сердце...

— Ну, что вы, дядя! Как вам не стыдно?—возражала, улыбаясь, Людмила и, садясь рядом с ним, гладила его по руке.

— Нет, нет, душа моя, это так, я не тешу себя иллюзиями как моя сестра, бог ей прости. Я хорошо знаю, что̀ я такое,—une vielle rosse; et rien que ça![2] И меня нисколько это не смущает, поверь мне, я не жалуюсь. Ба, я сумел взять все, что мог, в свое время, больше, чем мог... Каюсь, душа моя, я любил в жизни только две вещи: праздность и смех, смех и праздность. Я всегда и во всем находил только смешное. Это, на мой взгляд, самое большее, чего достойна наша жизнь. Я всегда следовал принципу мудрого Боссюэта: «Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir rire»[3]. Это великий завет, поверь мне. Чем бы я был сейчас, если бы

---

[1] Руки сильфиды.

[2] Старая кляча—и ничего больше.

[3] Нужно смеяться, не будучи даже счастливым, дабы не умереть, не познав смеха.

не мое чувство юмора?.. Что поделаешь, я не верю ни во что другое, никакая ложь не скрыла бы от меня истины,—а она всегда вызывала во мне только снисходительную улыбку. Ты молода еще, дитя мое, ты очень серьезна. У тебя прекрасная душа, ты глубоко чувствуешь, но ты не умеешь еще смеяться. Это большое твое несчастье. Нельзя быть всегда серьезной: этого не выдержат никакие нервы, никакая воля... Ты знаешь, чего больше всего мне жаль из того, что я утратил? Моего цилиндра. Не смейся, мой друг,—мой последний цилиндр утонул, когда я переплывал Ламанш. С тех пор я не покупал себе другого. Я сказал себе, что это указующий знак. Когда у порядочного человека цилиндр начинает ходить за водою вместо того чтобы сидеть на голове, это значит, что такому человеку следует надеть чепец и забиться в свое кресло. Душа моя, утратив респектабельность джентльмена, уже ничем не вернешь ее. Все остальное относительно, даже здоровье, уверяю тебя... Я прожил бурную, бестолковую, вряд ли разумную и полезную жизнь, но больше всего я смеялся. Это сохранило мне мой желудок и душевное равновесие. Вот почему я так люблю Париж. Там люди хорошо усвоили себе этот принцип, у них есть чувство юмора. Это помешало им стать ханжами и мистиками, несмотря на то, что у них в центре Парижа стоит изумительная Sainte Chapelle[1], приводящая даже скептика в религиозный экстаз. И они ничуть не пришли в ужас и не утратили веры в свой художественный вкус, увидя в одно прекрасное утро Эйфелеву башню! Они нашли для характеристики этого пошлейшего сооружения одно mot[2], гениальность которого ты оценила бы тотчас же, если бы я решился произнести его при тебе вслух... Ах, дитя мое, для твоего счастья я хотел бы чаще видеть на твоем лице улыбку, улыбку снисходительности и превосходства. Я знаю, ты мечтаешь победить жизнь, но это потому, что ты молода. У нас есть только одно оружие против нее: смех. Даже побежденные—улыбаясь, мы будем сознавать себя выше нее. Говоря о жизни, я мог бы перефразировать стихи венецианского поэта Бурати на знаменитую болонскую певицу из романа Стендаля «Пармский монастырь». Жизнь полна коварства. Не стремись познать эту змею. Если ты серьезно станешь изучать ее, безумный, ты позабудешь ее капризы; если будешь иметь

[1] Название старинной часовни.
[2] Словечко.

смелость прислушаться к ней, ты позабудешь самого себя и в одно мгновение любовь сделает из тебя то, что некогда Цирцея сделала с товарищами Улисса.—Яков Владимирович поднял высоко брови и засмеялся. — Вот видите, моя очаровательная племянница, какой философ ваш дядя,—сказал он.—Когда боишься своих мыслей, самое лучшее—их высказывать. Должно быть, все философы были большие трусы... Им следовало бы тоже чаще смеяться...

Он откинулся на спинку кресла и, дыша как рыба, чуть раскрыв рот, посмотрел в потолок.

— Я чувствую, что из этого ничего не выйдет,—пробормотал он совсем тихо.—Сестра никогда не знала меры... ах, знаю ли я меру?..

Вечером после ужина Яков Владимирович попросил Витю пройти к нему в комнату. Он запер дверь на ключ, осмотрелся и, подойдя развинченной своей походкой к племяннику, положил ему на плечо руку.

— Я получил письмо,—сказал он строго.—Оно касается Людмилы.

— Это письмо от Кости?—поспешно перебил его Бунаков.

— Не знаю, оно без подписи. Я не пытался разузнавать, кто писал его, но оно настолько гнусно, что говорит само за себя.

— Я знаю, что его писал Костя,—настойчиво проговорил Витя.—Вернее, оно написано под его диктовку... Что же вы думаете с ним делать?

Яков Владимирович не ответил. Он подошел к ночному столику, достал оттуда листок бумаги и, развернув его двумя пальцами, точно боясь запачкаться, показал Вите.

— Вот оно,—сказал он всё так же тихо, строго и медленно.—Я думаю, тебе неинтересно знать его содержание...

— Нет, конечно, нет.

— Тем лучше.

И, сложив листок, Тулубьев медленно поднес его к пламени свечи. Письмо задымило, съежилось, и, мгновенно вспыхнув, превратилось в пепел.

— Да, да,—произнес Яков Владимирович,—его больше не существует. Я сделал бы это и раньше, но почел необходимым предупредить тебя... Теперь ты его видел. Поступай сам, как считаешь нужным.

Он устало опустился на стул рядом с кроватью и, положив на колени руки, закрыл глаза.

Витя подошел к нему и сказал решительно:

— Я знаю, что делать. Спасибо вам, дядя!

Тулубьев молчал, не открывая глаз; потом, когда племянник щелкнул замком, собираясь выйти, Яков Владимирович движением руки остановил его.

— Подожди,—сказал он чуть слышно.—Знай, что я ничему не верю. И потом вот... когда увидишь завтра Людмилу, поцелуй ее от меня. Поцелуй и скажи, что у нее есть два друга, два преданных друга... Я хотел бы, чтобы ты сказал ей это. Только ты... Понимаешь?

Константину Никаноровичу было смертельно скучно. Он скучал хронически, с утра до вечера, все эти дни вынужденного своего пребывания в Самолюбове, не зная, куда себя приспособить. Все: природа, люди, животные—раздражали его в одинаковой мере. Привыкший к курортам, пригородным усадьбам, петергофским пикникам, он и в Самолюбове переодевался три раза на день, полировал ногти, не снимал крахмального воротничка. Все, до чего он ни дотрагивался, пачкало ему руки. Какие-то черные жуки падали ему на голову, когда он, тщательно причесанный, гулял по дорожкам сада, содержимым недостаточно опрятно. В комнатах, куда он пробовал спасаться, мухи не давали ему спокойно читать. По ночам сверчок скрипел у самого изголовья, и Константин Никанорович две ночи не спал, сидя со свечкой, боясь лечь в постель, так как представлял себе сверчка, кричащего так громко, отвратительным гадом, чем-то вроде сколопендры. Только уверения Вити, что сверчок—безобиднейший крохотный кузнечик, скрывающийся от людей, успокоили Смолича. Но он все же отодвинул кровать от стены и, ложась спать, тщательно оглядывал комнату. От обильной жирной пищи, от разнообразной зелени и овощей, ежедневно подававшихся к столу, его тошнило. Когда приходили к Вере Владимировне крестьяне, он уходил подальше, чтобы от них случайно к нему не заползла вошь. Болезненная брезгливость, которой он отличался в детстве, приняла теперь характер мании, навязчивой идеи—всюду и везде ему чудилась грязь, зараза. Суетливая веселая жизнь миллиардов насекомых, наполняющих воздух, звенящих, жужжащих, поющих, ползающих, летаю-

щих, бегающих, появляющихся из каждой скважины, из-под каждого камня, оставляющих неисчислимое множество личинок, в свою очередь славящих жизнь,—казалась ему отвратительной. Он сталкивался с нею на каждом шагу, с этой бесцельной, бессмысленной с его точки зрения жизнью, оскорбляющей его ум, привыкший к общению с людьми, и то лишь одной категории, для которых, как и для него, ничего не существовало, кроме них и вне их интересов. Ему казалось, что он попал в какой-то нелепый, фантастический мир, полный несовершенства, отбросов, амфибий, чего-то такого, что давно вытеснено культурной городской жизнью, где все—человек и для человека. Здесь, в этой деревне, все осложнялось какими-то ненужностями: росой по вечерам, дождями, которых не замечаешь в городе, керосиновыми коптящими лампами, пиявками, нагло попадающими в умывальный кувшин. Здесь отвратительно бросался в глаза пот, с каким все добывалось для ежедневного пользования. Когда хотели полакомиться ягодами или фруктами, шли сами или посылали кого-нибудь сорвать их. Когда собирались куда-нибудь ехать, запрягали лошадей, долго обсуждая, какая из них отдохнула и застоялась, а какую следует поберечь. Если хотели развлечься, шли в лес искать грибы, царапая себе лицо об ветки. Даже хлеб—то, что в городе в миллионах одинаковых экземпляров разносится и раскидывается каждое утро по всем квартирам, как бы возникает из ничего, по волшебству, точно некий плод, созревающий из уличной пыли,—даже этот необходимый, незамечаемый вздор здесь имеет свою скучную длинную историю. Говорят о том, что нужно домолоть муки, приготовить русскую печь, размесить тесто, достать дрожжей, которых нет в Тильске, или есть, но они плохие и тесто не взойдет. Наконец подают хлеб на стол, и он оказывается или слишком горячим, или недостаточно размешанным, или с каким-то закалом. Останавливая на себе внимание, этот хлеб в конце концов застревает поперек горла. Когда же, наконец, после всего этого можно отдаться серьезным размышлениям о делах государственной важности, обсудить последнюю статью Меньшикова? Когда успеешь наметить дальнейший план действий так, чтобы, по приезде в Петербург, не забыть заглянуть к одному, сказать два слова другому? Весь этот деревенский мусор бесполезных хлопот и разговоров вместе с насекомыми вызывал у Смолича какой-то духовный зуд, похожий на крапивную лихорадку.

— Бери пример с меня,—говорил ему Яков Владимирович.—Я пропускаю все впечатления бытия, как фильтр пропускает воду. Меня ничто не задевает. Я озираю мир с высоты моего презрения к нему. Уверяю тебя, что эти мухи, которые тебя раздражают здесь, ничуть не надоедливей и бесполезней тех, что вьются вокруг тебя в Петербурге под видом очаровательных существ... Все суета сует...

Морщась, точно от зубной боли, Смолич с комическим видом отчаяния подымал руки вверх, на уровень своей прически, и поблескивал ногтями.

— Помилосердствуйте, дядя Яша: скепсис давно уже вышел из моды. Мы живем в век напряженных исканий и борьбы. Отрицая одно, мы тотчас же противополагаем ему другое,—только этим движется культура. А для вас все одинаково ненужно. Нет, деревня действует разлагающе даже на такого европейца, каким были вы. И это тогда, когда Россия, наконец, благодаря своим представительным учреждениям стала в ряд с другими культурными державами!

— Ты называешь нашу говорильню представительным учреждением?—вытягивая губы, спрашивал Яков Владимирович.

— Она такая же, как и всюду. В ней борются партии, отстаиваются мнения, выносятся пожелания. Наконец, что ни говори, среди членов Думы найдется несколько настоящих людей, к мнению которых прислушиваются.

— Но они даже не умеют держать себя прилично!—поддразнивая, возражал Тулубьев, совершенно равнодушный к теме разговора.

— Ничего,—научатся. Важен декорум. Важна картина парламентской жизни, важно возбуждение умов, то, что французы называют «chatouillement des nerfs[1]». Оно необходимо в наше время для отвлечения внимания от голоса, идущего из подполья.

— Шумим, братец, шумим...

— Вот именно—шумим, милейший дядюшка! Но только с расчетом. С тем, чтобы заглушить подземные толчки.

— Вздор! Какие там толчки? Их выдумывают Маклаковы и Курловы, чтобы погреть руки.

— До чего же вы наивны!—восклицал Смолич. Лицо его заострялось, глаза щурились, подстриженные усы ше-

[1] Щекотание нервов.

велились, точно готовые уколоть собеседника.—Инсценировки заговоров и покушений, разгром фиктивных подпольных типографий входят в общую программу. Неужели вы не можете понять, что такие фиктивные разгромы революционных организаций создают в массах впечатление силы и бдительности власти, осторожности, хитрости, решительной непреклонности и тем самым парализуют подпольную революционную пропаганду?

Где-то в глубине души Константин Никанорович не вполне был доволен собою. Он чувствовал, что помимо внешних обстоятельств, он сам себе мешал неумением взять верный тон с окружающими его здесь людьми. Ему это дала понять в первый же день Людмила. С Витей он повздорил уже в вагоне и с тех пор едва разговаривал, хотя знал прекрасно, что младший брат—любимчик матери и что добрые отношения с ним невольно могли бы расположить к нему сильнее Веру Владимировну. Даже с Наташей, на которую он был зол за то, что она заставила себя так долго ждать, Константин Никанорович усвоил иронический тон, и конечно, сестра не оставалась перед ним в долгу.

С матерью ему до сих пор не удалось поговорить серьезно. Какие уж там могли быть разговоры при ее неврастеническом состоянии! Оставался путь дипломатический: целуя руку и говоря «Доброе утро» или «Покойной ночи», чуть дольше задержать губы на сухой руке; понимающе и многозначительно молчать, глядя в глаза; изредка предлагать руку, чтобы пройтись вместе по дорожкам сада; сочувственно, но нерешительно делать предположения о том, что зимою в самолюбовском доме, очевидно, неуютно, в особенности, если не отапливать все комнаты. Но путь этот был долог, утомителен и, судя по результатам, никуда не вел. А срок месячного отпуска приближался к концу.

— Вооружимся куропаткинским терпением,—подбадривал себя Смолич:—в деревне время ползет медленней.

И вставая по-петербургски в полдень, он принуждал себя ложиться в десять, забирая в постель из библиотеки Дюма-отца, который своей неистощимой фантазией и нагромождением событий перебивал бездельное однообразие его дней.

Кто еще хоть немного возбуждал любопытство Констан-

тина Никаноровича, так это—Людмила. Главным образом потому, что она не подходила ни под какую категорию женщин, с которыми сталкивался Смолич. Она оказалась вовсе не такой простушкой, какой он себе ее представлял. Но в ней не было и той нарочитой сдержанности светских, англизированных девиц, любительниц спорта, которые чем резче и суше в обществе,—тем сентиментальнее и доступнее с глазу на глаз. Она непохожа была и на тот встречавшийся в светском обществе тип перезрелых девиц, ненавистных ему, которые, однажды почувствовав в себе прилив демократизма, начинают обо всем судить и вкривь и вкось, посещают лекции популярных профессоров, таскают какие-то книжки по эстетике и физиологии, декламируют Блока, знакомятся с писателями, актерами и известными адвокатами, бегают на футуристические выставки и в «Бродячую собаку» и нарочно в гостиных у своих сановных мамаш и теток говорят вслух о патологии брака, ошарашивая мужчин словцами, взятыми напрокат из амбулатории и редакций газет. Тем меньше Людмила похожа была на «очаровательных созданий», только что выскочивших из института, наивных, восторженных, свежих, ничего не знающих о жизни, но со средствами, достаточными для того, чтобы сделать эту жизнь для себя и для будущего мужа «прекрасной», на тех барышень, кончающих с шифром и представляемых ко двору для развлечения великих княжен, которые чаще рисуются воображению светских молодых людей, делающих карьеру, чем расцветают в действительной жизни. Людмила не подходила и к категории хамок, под которую легко попадали, по мнению Смолича, все прочие девицы из средней и мелкой буржуазии, дочери чиновников ниже пятого класса, офицерские дочки из Николаевского сиротского института, гимназистки, читающие Вербицкую, бегающие на каток и вымаливающие у знаменитостей карточки с автографами. С такими Константин Никанорович встречался редко, некоторых из них возил, еще будучи правоведом, на холостую квартирку, нанятую им на паях с приятелями для райских вечеров. Всех этих, иногда «прехорошеньких хамок» он просто-напросто считал личинками будущих проституток или жен мелких служащих, готовых в любую минуту изменить мужу за пару шелковых чулок или коробку парижской пудры. В этом своем убеждении Смолич укрепился раз и навсегда, попав однажды на Конюшенной в один такой притон, где гостям предлагали альбомы с карточками

дам из буржуазных семей, вызываемых по первому требованию за весьма сходную цену. Как острую приманку для посетителей хозяйка дома, элегантная особа, говорившая только по-английски (впоследствии оказавшаяся немкой), мисс Браун рассказывала посетителям о трагической истории, недавно происшедей здесь. Молодой Кантакузен, егерского полка офицер, нашел среди предложенных ему карточек—карточку своей жены, вызвал ее и, застрелив на месте, застрелился сам. Мисс Браун этим случаем, действительно имевшим место, хотела подчеркнуть добросовестность своей фирмы, поставляющей настоящий, не фальсифицированный товар. И на большинство потребителей это действовало неотразимо.

Смолич слишком привык думать, что все отношения между людьми основаны на купле-продаже, где один глупее, другой расчетливей, где одни, довольствуясь ближайшими благами, рады продать себя за бесценок, другие выжидают, торгуются, произносят тысячу благородных, высоких слов. И поэтому в Людмиле он тоже невольно пытался найти этот стимул расчета, руководящего ее поступками.

Сознание своей зависимости от Веры Владимировны? Неуверенность в своем положении—не то дочери, не то приживалки? Расчет на выгодную партию? на честный буржуазный брак? С кем? Уж не с этим ли бородатым анархистом? Об их свиданиях поговаривают...

Припечатывая письма к своим друзьям, Константин Никанорович производил беглый, но внимательный осмотр своим делам и дням, прикидывал, в какое русло направить свой заботливо оснащенный административный корабль, какой держаться ориентации при создавшихся обстоятельствах.

Для Смолича было очевидно, что в высших сферах не прекратилась борьба двух течений, что благодаря войне интересы германофильские и германофобские станут в еще большие противоречия и что эти противоречия будут разжигаться все более теми же давними противниками: императрицей с Распутиным и Маклаковым—с одной стороны, а с другой—великими князьями, Родзянко, Сазоновым... Кто из них осилит? Конечно, положение германофилов стало крайне затруднительным теперь, когда на сцену выволокли весь арсенал патриотических чувств: единение славян, «исконный путь великой избавительницы славянства», когда военщина забряцала оружием и началось обычное наше «шапками

закидаем». Смолич знаком был с давно уже известным мнением сенатора Дурново по поводу возможной войны с Германией. Его доклад государю ходил по рукам еще до подписания Тройственного союза. Доклад был остроумен, убедителен, логически неопровержим. Дурново, убежденный аграрий, доказывал, что война с Германией гибельна как для нас, так и для немцев, что немцы—наши естественные союзники, связанные с нами не идеалистически, а экономической необходимостью в силу того, что Россия—страна земледельческая, а Германия—индустриальная. Этот доклад муссировали те, которым были совершенно безразличны его основные положения, но необходимы были выводы, приятные помещичьему сердцу. Константин Никанорович тоже мало вникал в доводы Дурново, но так как и карьерой и личными связями всецело зависел от немецкой партии и от своего министра, Маклакова, к которому был вхож, как желанный гость, то естественно, что тоже неоднократно высказывался против «игры с болваном», как он называл братание с английскими и французскими матросами. Однако Смолич был достаточно осторожен и чуток, чтобы понять, что в настоящее время момент мало подходящий для отстаивания ранее занятых позиций. Нужно было лавировать. Тем более, что в противном лагере он легко мог найти поддержку благодаря отцовским связям. Честный, прямой, но не хватающий звезд с неба, генерал-адъютант Похвистнев, один из ярых противников Распутина, был товарищем по Пажескому корпусу и друг Никанора Ивановича и вместе с тем был также товарищем по Кавалергардскому полку и другом Родзянки. Генерал Смолич не раз просил сына заглянуть к его однополчанину и передать привет. Никанор Иванович при этом добавлял неизменно: «А особенно скажи, что целую его за благородную ненависть к мерзавцу Гришке и прошу принять решительные меры к его ликвидации». Константин Никанорович, будучи однажды в Царском селе, заехал во дворец к Похвистневу и, не высказываясь лично, передал отцовское письмо. Генерал рассмеялся, назвал Никанора Ивановича его прежним кадетским прозвищем—«оралой-мучеником» (Смолич-отец отличался резким, пронзительным голосом и, когда спорил и доказывал что-либо, неизменно кричал и размахивал руками) и просил передать ему, что лучше бы он не засиживался зря в Пинских болотах, а приезжал бы сам в Петербург.

— Ваш отец, молодой человек,—сказал Похвистнев,— подавал блестящие надежды, был камер-пажем королевы эллинов, третьим в списке при выпуске, вместе с Кузьминым-Караваевым—вышел в гвардейскую артиллерию. А однако Кузьмин-Караваев—инспектор артиллерии, толстый Пепка, Мирский, был министром, я—генерал-адъютант, а умница Никаша всего лишь командует корпусом... Слишком прямой старик и кричит без разбору, что придет в голову. Так нельзя! Это письмо—что же это такое? Хорошо, что вы его передали мне... Ну, а если бы я отличался такой же болтливостью, как он? А! Что тогда?

Поджав губы, вставая и склонив голову, Константин Никанорович ответил:

— Передавая это письмо вашему превосходительству, я был уверен, что его прочтет искренний друг моего отца, такой же, как и он, рыцарь без страха и упрека.

Генералу понравился ответ. Он проводил Смолича до передней, долго тряс ему руки и повторял:

— Передайте вашему отцу, что я люблю его еще больше за то, что у него такой сын.

Сидя в вагоне, Смолич от души посмеивался над генеральским баском и наивностью, но все же остался доволен этим посещением. Теперь оно, пожалуй, могло пригодиться. Во всяком случае настроения и чаяния противного лагеря не останутся для него скрытыми. Лишь бы только удержался Маклаков, хотя бы временно.

— Но ведь у этой балаболки, у этого фигляра не хватит терпения даже на то, чтобы подыскать новый ассортимент анекдотов без моей помощи,—громко проговорил Смолич.— И подумать только, что приходится зависеть от такого кретина!.. Однако, как бы ни было, нужно скорее кончать расчеты с мамашей, и не мешкая, ехать во-свояси. Мамаша, надеюсь, уже пристроена, status quo восстановлено. Девчонка эта тоже найдет себе должную оценку, когда узнают о ее шашнях с Крутовским... Как это вам нравится? Тихоня, труженица, глаз не подымает—и свидания в лодке, вечерние прогулки. Конечно, она давно уже живет с ним, в этом не может быть сомнения. И ведь под самым носом!.. Итак, остается лишь почтенный дядюшка. Но это уже пустое. Его можно вынести в сарай, как ненужную мебель: по свойственному ему скептицизму он даже не станет протестовать...

Резкий стук заставил Смолича вздрогнуть от неожиданности.

— Войдите!—крикнул Константин Никанорович и, мельком взглянув на входящего брата, снова занялся своей корреспонденцией.

— Садись! Я сейчас,—сказал он.—Ты хочешь поговорить со мною?

— Да, я принужден говорить с тобою,—отвечал Бунаков, не садясь, остановившись посреди комнаты,—хотя мне это крайне неприятно...

— В чем же дело?—недоумевая, проговорил Смолич, оставив недописанным адрес, отложив ручку и оборачиваясь к брату.

— Ты поступил подло, и я пришел сказать тебе это,—твердо, стараясь не повышать голоса, молвил Витя.

Константин Никанорович привскочил, болезненно сморщился, закричал пронзительно:

— Что за тон! Что за манеры! Кто дал тебе право врываться ко мне с такими разговорами?

— Не кричи,—холодно возразил Бунаков,—уже ночь, ты можешь разбудить сестру и дядю. Я пришел к тебе вовсе не для того, чтобы вступать в препирательства. Если бы ты не был мне братом, я нашел бы другой способ воздействовать на тебя и, конечно, не приходил бы к тебе в комнату. Но мы живем у мамы, ты, к сожалению, мой брат, и я не вижу другого пути для того, чтобы выразить тебе все мое презрение...

— Но это чорт знает что такое!—вставая и садясь на край стола, значительно тише возразил Смолич.—Что он от меня хочет? Я ничего не понимаю...

— Изволь, я объясню тебе,—ответил Витя.—За множеством дел ты забываешь то, что делаешь. Не далее, как третьего дня, ты послал анонимное письмо дяде...

— Это клевета!

— Нет, это не клевета. Ты просил братьев Ерандаковых написать его. Это было на другой день после твоего кутежа, на хуторе у Падалки. Ты расспрашивал их о Людмиле, ты допытывался у Ерандаковых, с кем она встречается. Эти идиоты сболтнули тебе про Крутовского. Ты придрался к случаю, сам разукрасил их сплетню и подговорил написать письмо... В тот же день они, по глупости, мне все разболтали. Они нашли эту гнусность остроумной, но ты, ты—превосходительный господин!—ты тоже нашел ее остроумной?

— Хорошенькая манера выказывать свое благородство,— криво усмехаясь, пробормотал Константин Никанорович:— перевирать чужое вранье! Но вы все-таки плохо слышали...

— Я слышал именно то, что говорилось,—медленно и не двигаясь с места, сказал Бунаков.—Дядя показал мне это письмо и, конечно, не поверил ни одному его слову. Не желая разбираться в целях твоего пасквиля, я предлагаю тебе одно: уехать отсюда как можно скорее.

— Что-о?

— Да, ты должен уехать.

Смолич принужденно расхохотался. Бледность сошла с его лица. Он держался руками за край стола, раскачивался и смеялся.

— Нет, это мне нравится,—вскрикивал он.—Нет, это великолепно!.. Он, видите ли, пришел для того, чтобы выгнать меня из моего дома.

— Этот дом принадлежит моей матери.

— Ха-ха! Но ты забываешь, что она и моя мать. Я такое же имею право жить в нем, как и ты.

— Ты должен отсюда уехать,—вспыхивая и сжимая кулаки, еще раз сказал Бунаков.—И ты уедешь...

Тогда, презрительно морщась, отходя от стола, Смолич возразил с вызовом:

— Ну, это мы еще посмотрим. Может быть, я скоро и уеду отсюда, но только тогда, когда сам захочу этого. А прежде всего, милейший, я переговорю с матерью. Она должна наконец понять, что творится вокруг нее. Не беспокойся (Константин Никанорович потряс рукой в воздухе), это так не пройдет. Если вы влюбились в эту девчонку...

— Молчи!..

Витя сделал два шага вперед, рука его поднялась было и опять опустилась, глаза налились кровью, губы побелели.

— Молчи!—хрипло повторил он.

Смолич попятился назад, но тотчас же закричал, подпрыгивая, в его голосе слышались страх и ненависть:

— Убирайся! Убирайся, убирайся отсюда! Я тебе говорю убирайся!..

И когда младший брат, сдерживаясь, боясь за самого себя, повернулся с усилием и пошел к двери, Константин Никанорович, наскакивая на него, шипел, захлебываясь:

— Мальчишка! Щенок! Наглый хам! Он смеет кричать на меня!

21-го в десять часов утра, Потанины под дождем нагрузили подводу и выехали на вокзал.

Было много ахов, много волнений, много беспокойств и споров. В самую последнюю минуту, уже садясь на извозчика, Люба вспомнила, что она забыла на подоконнике в своей комнате раковинки, собранные ею за лето. Несмотря на возмущение матери и подтрунивание сестры, она вернулась за ними, и не зная, куда их девать, засунула мешочек себе под пальто, на грудь.

На вокзале Потаниных поджидал Олег. Он должен был уехать из Сестрорецка через два дня,—квартира, которую сняла в Петербурге и отделывала на зиму Ольга Андреевна, решившая не возвращаться в Ковно, еще не была готова. В черном бушлате, с букетом георгин и астр, Олег имел совсем взрослый, значительный вид.

С цветов стекала вода, якоря на погонах блестели от дождя, побледневшие веснушки разбегались по лицу в заискивающей улыбке. Люба не успела еще соскочить с извозчика, как он уже протянул ей букет.

— Ах!—вскрикнула Люба, растерянно глянув на мать.

Но Катерина Андреевна, раскрыв зонтик, смотрела на носильщиков, подхвативших ее чемоданы, корзины, свертки, и, считая число мест, беззвучно шевелила губами.

— Да, да вижу,—сказала она, не оборачиваясь, когда Люба смущенно показала ей подарок.—Не мешай мне. Маша, ты не помнишь, куда я уложила самовар?

Прокофий Васильевич, стоя у киоска, неизвестно для чего запасался журналами. Он был бодр и доволен, несмотря на дождь и кутерьму переезда, потому что больше всего любил поездки, вокзальную сутолоку и город. Дачу он терпеть не мог и за лето измучился неустройством опустевшей квартиры, в которой приходилось жить в одиночестве.

— Ну, вот и поехали! Поехали!—говорил он, устраиваясь в вагоне так удобно, точно ему предстояло ехать несколько суток.—Как раз во-время удрали от дождей... Не хочешь ли журнальчик? Вот этот, «Лукоморье»?

Он посвистывал, отряхивался, как пудель, усы его обвисли, полный живот покачивал золотую цепочку, протянутую по жилетке от кармана к карману. Круглые глаза—такие же глаза были у Любы—смешливо и весело осматривали пассажиров, сетки, на которые носильщики громоздили вещи, окна с дождевыми грязными узорами.

— А где же Люба?—спрашивал он у жены просто так, чтобы что-нибудь сказать (дома обычно он был молчалив, а сейчас говорил без умолку).—Уверен, что строит куры с этим рыженьким морячком.

Уговорила гардемарина
И обвенчалась с ним тайком...—

запел он сдобным тенорком, фальшиво, но с видимым удовольствием.

Стоя на открытой площадке вагона, держа в обеих руках букет и поддерживая одновременно на груди мешочек с раковинками, отчего казалось, что у нее неимоверных размеров бюст, Люба через цветы, которые она нюхала поминутно, несмотря на то, что пахли они только дождем и отсыревшей землей, смотрела вниз на стоящего на платформе у вагона и державшегося за медные поручни Олега. Она не знала и не умела сказать ничего такого, что бы ей казалось подходящим к случаю, и вместе с тем боялась, что уедет, не сказав чего-то чрезвычайно нужного. От усилия мысли, от испуганной торопливости, с какой она искала слов, слова и мысли ускользали, упрямо не давались, и Любе становилось все более жарко. Ей хотелось расстегнуть пальто, но память о том, что под ним на груди лежит мешочек, и стыд, что этот мешочек может увидеть Олег, стыд необъяснимый, но убийственный, не давали ей возможности сделать это. Чтобы как-нибудь освежить пылающее лицо, не показать своего смущения и робости, что больше всего ненавидела в себе Люба, она то-и-дело, нюхая, проводила мокрыми цветами по щекам и мучительно для себя, неопределенно похохатывала. Особенно уязвляло ее самолюбие то, что она только вчера вечером, глубоко уверенная в своей искренности, написала в дневнике, что ей безразличны все сестрорецкие жители, включая сюда и Олега, а теперь, с присущей ей резкостью и прямотой, должна была сознаться, что это далеко не так. Олег сейчас, стоя, как он стоял внизу у площадки вагона в своем бушлате и накинутой поверх него черной шинели, был именно таким, каким она представляла себе моряка, стоящего на вахте под дождем, с пристальным смелым взглядом и мужественным лицом, овеваемым норд-остом. Даже веснушки придавали его лицу особую выразительность—точно это были искры, вылетев-

шие из трубы броненосца и опалившие щеки закаленного моряка.

«Ну, вот и дура!—тут же одергивала себя Люба.—Вот и есть самая настоящая дура!»

Олег, между тем, глядя снизу вверх на Потанину, на носки ее маленьких туфель, на невинно открывающие себя из-под длинной, узкой юбки худенькие щиколотки, затянутые в ажурные чулки, сквозь которые едва приметно, но тепло и розово проглядывала живая ткань тела, на край самой этой узкой юбки, под которой чувствовался трепет напряженных мускулов, легко вылепленных икр, переходящих в круглые колени, пошевеливающие полы застегнутого пальто, думал о том, что все-таки жаль расставаться с нею так глупо, ни разу не поцеловав, и что как бы она ни была наивна и дика, все же он на этот раз промахнулся шибко и будет дураком, если не наверстает своего по приезде в Питер.

«Жаль только, что тогда времени будет мало, нигде толком не встретишься, а мама к себе пригласить не позволит,—соображал Олег.—Этакая я разиня!.. Разве теперь на прощанье попробовать?..»

Он вздергивал нос, улыбался, говорил срывающимся на дискант баском:

— До чего же все-таки жаль, Люба, что вы уезжаете, честное слово! Мне еще до первого сентября гулять на свободе. Прямо не знаю, что делать!

— Ну, мало ли у вас знакомых!—возразила Люба, все не переставая искать то самое важное, что обязательно нужно будет сказать.

— Какие же знакомые?—пренебрежительно вздергивая нос, настаивал Олег.

— А Катя Чумикова?

Люба вовсе не хотела произносить это имя («А то подумает, что я ревную»,—решила она), но оно само сорвалось с губ. Чуть слышно про себя ахнув, Люба зарылась носом в цветы и глянула оттуда, из вороха белых и сиреневых лепестков, смущенными, испуганными глазами.

В ту же минуту звякнул третий звонок, поезд заскрипел и дернулся. Олег, повиснув на поручнях и прыгнув на первую ступеньку лесенки, схватил Любину руку, поспешно, вороВато тыкнулся в нее мокрыми губами и, подняв жадно и весело блеснувшие глаза, потянулся к лицу.

Люба задохнулась от ужаса, открыла рот, готовая за-

визжать и вместе испытывая непонятное блаженство и слабость, отняла от груди руки. Букет упал к ногам, а мешочек, скользнув под пальто вдоль груди и живота, покатился, весело бренча раковинками, по ступенькам на медленно уплывающую назад платформу.

— Ах!—вскрикнула Люба и закрыла глаза.

Не донеся губ до ее щеки, едва лишь мазнув по мокрому ее пылающему уху, Олег соскочил с подножки и, подняв мешочек, побежал за поездом, крича:

— Любочка! Вот держите! Вы потеряли!

Но Люба, сжав ладонями нестерпимо горевшие щеки, повторяя: «Ах, ах!», с бешено бьющимся сердцем, с глазами, полными слез от стыда, от жесткой обиды на себя, на Олега, на мешочек, на всех в мире, ничего не слыхала, ничего не видела.

Дома, швырнув досадливо злосчастный мешочек под стол, Олег, запершись на ключ, сел за прерванное на самом интересном месте, занимавшее его несколько последних дней письмо, которое он сочинял в стихах для Мезенцева, уехавшего в Саратов. В этом письме Олег описывал то, что, на его взгляд, неизбежно должно было произойти с ним, но чего не произошло в действительности. В переписке с товарищами он усвоил казавшуюся ему «адски тонной», как он выражался, ученическую манеру говорить обо всем и обо всех наиболее грубо и непристойно. В этой манере он, как большинство его приятелей, находил для себя особое удовольствие и доказательство своего молодечества и мужского, презирающего сентиментальности, удальства. И только для выражения и описания этих своих переживаний и воображаемых приключений любовного характера он признавал поэтическую форму, которую в иных случаях презирал от души. Сейчас он собирался с особенным удовольствием описать приятелю свои «вольные» отношения с Любой.

Кто-то дернул ручку—раз, другой.

— Кто там?!—досадливо крикнул Олег.

В дверь отчаянно, исступленно, не отвечая, забарабанили кулаками.

Олег встал и, чертыхаясь, пошел отворять.

— Чего еще надо? В чем дело?

На пороге он увидел Ирину.

— Чего тебе?

Она не отвечала. С прозрачным от ужаса лицом, покачивая медленно из стороны в сторону головой, как от зубной боли, с упавшим на спину мучительным узлом волос, оттягивавшим ей шею, она молча, очевидно, сама не зная, для чего рвалась сюда и чего искала, спотыкающимся шагом прошла к стулу и рухнула на него, подминая под собою листок с виршами Олега. Другой листок—скомканная телеграмма—выпал из ее рук на пол еще у порога.

Продолжая невольно бормотать:

— Ну, что?.. Ну, что тебе надо?..

Олег поднял телеграмму и, сам того не желая, прочел ее.

Это был синий листок из действующей армии:

«Корнет Болховинов пропал без вести. Труп его не разыскан. Командир полка Раздеришин».

Букет с розами еще не успел завянуть, и так же лежали на комоде, как тогда, перед отъездом, кинутые ею перчатки. Вера Владимировна присела на край кровати, прикорнула к подушке, с наслаждением чувствуя прикосновение свежего полотна к горящей щеке.

Седеющие ее волосы, которые она забыла почернить, лежали на подушке сбившимся комком...

В столовой все сидели молча и смотрели себе в тарелки. Первым поднялся ей навстречу Витя, крепко обнял ее и, не говоря ни слова, поцеловал. Константин Никанорович почтительно приложился к руке. К Якову Владимировичу она подошла сама.

— Здоров?—спросила его Вера Владимировна, стараясь, чтобы голос ее звучал ровно.—Позаботились о тебе?

— Все, все, ma chère, было в порядке, в образцовом порядке, не исключая и меня,—стараясь шутить и улыбаться, отвечал Тулубьев.

Она села на свое место, во главе стола, у дымящейся супницы. Привычным взглядом оглядела стол,—все ли на своих местах, потом медленно разлила по тарелкам суп и следила за тем, как, стараясь ступать неслышно, двигалась Катя вокруг стола. У нее начиналась обычная мигрень, но на душе было необычайно покойно. «Вот моя семья, мои дети,

мой брат...—думала она, глядя на медленно опускающиеся и подымающиеся головы.—Я нужна им, и они нужны мне, и незачем мне туда ездить». Она вспомнила номер гостиницы, и поцелуи за стеною, и романс: «Я помню все: и голос милый...», и беженцев, неизвестно зачем и куда едущих. «Нет, лучше сидеть тут, в своем доме, за своим столом, со своими близкими. Господи, дай только силы вынести, перегореть, почувствовать любовь и забыть себя».

Когда горничная ушла за жарким, Вера Владимировна подняла голову, еще раз обвела всех глазами; тонкие пальцы правой руки быстро и с напряжением теребили кусочек хлеба.

— Я должна сказать вам,—проговорила она охрипшим голосом, задохнулась и докончила совсем тихо, но спокойно,—что больше не вернусь к мужу, навсегда останусь здесь. Мы помирились, но жить вместе не будем.

Никто не ответил ей, все молчали, и молчали долго. Перед десертом Константин Никанорович наконец решился спросить:

— Вы не знаете, maman, когда вернется Наташа?

— Думаю, что сегодня вечером, как было решено... как должны мы были приехать,—поправилась Вера Владимировна.—Во всяком случае я пошлю за ней экипаж.

— Очень кстати,—возразил Смолич.—Вы, конечно, разрешите мне воспользоваться им, чтобы уехать отсюда.

— Ты уезжаешь? Куда?

— К сожалению, мне нужно ехать в Петербург. Очень неприятно оставлять вас, особенно теперь, но я вынужден.. События... острый момент на фронте...

Вера Владимировна удивленно смотрела на сына, не понимая внезапности этого решения и нервности тона.

— Тебя вызывают?—спросила она.

— Да... то есть нет...—сдерживая начинавший срываться голос, сухо отвечал он.—Я после объясню вам причины.—И склоняясь к ее руке, добавил возможно мягче:—Я болею душой, видя, как вас обманывают...

— Обманывают? меня? Да объяснись, ради бога. Я ничего не понимаю.

Яков Владимирович предупредил ответ племянника. Он стиснул ему до боли локоть и сказал шутливо:

— Не так страшно, моя дорогая. Дело в том, что вчера Людмила дала Косте проверить счета, предъявленные арен-

датором, и он возмутился наглости этого старого плута. Я давно говорил, что его нужно гнать в шею.

— Но я не понимаю, почему же уезжает Костя?—сжимая виски от нового приступа мигрени, слабо возразила Вера Владимировна.—При чем тут арендатор?

— Он уезжает потому, что я просил его об этом,—медленно ответил Витя.

— Ты? Да не мучайте меня! Говорите скорее.

Со слезами на глазах Вера Владимировна схватила Костю за руку.

— Костя, милый, успокой меня, скажи, в чем дело... Витя, иди сюда!

Но Бунаков уже вышел из столовой. Людмила подносила ей стакан воды. Вера Владимировна судорожно глотала воду, стуча зубами о край стакана. Пристально глядя в глаза племяннику, Яков Владимирович проговорил:

— Он повздорил с братом, вот и все. Два молодых человека не могут долго ужиться вместе. Оставь их, Вера: все равно ты их не поймешь и не рассудишь. А Костя давно скучал здесь, в то время, как министерство скучало по нем. Им вредно расставаться надолго...

Через час одетый по-дорожному Костя зашел к матери проститься. Он пробыл у нее довольно долго и вышел бледный, но улыбающийся. Всю дорогу до вокзала насвистывал вальс из «Люксембурга» и, приехав, дал хорошо «на чай» кучеру...

Он был в великолепном расположении духа, ходил по платформе медленно и с достоинством; на поклон начальника станции небрежно махнул у лица двумя пальцами. Когда подошел поезд, сразу же увидал сестру.

— А ты каким образом здесь?—спросила его Наталья Никаноровна.

Он вкратце передал ей происшедшее.

— Но ты глуп! Боже мой, до чего ты глуп!—с досадой перебила его рассказ сестра.—Я тебя не узнаю, Костя.

— Мудрено узнать,—отвечал он:—эта деревня хоть кого доведет до идиотизма. Но, кажется, и ты не отличаешься большим умом. Мамаша опять на старом месте. Сидеть тут в ожидании каких-то метаморфоз! Слуга покорный! Достаточно с меня деревенских прелестей. Мамаша—выжившая

из ума старуха, а детки... но лучше не говорить о них... Даже дядя, этот старый кретин, разыграл из себя Дон-Кихота. Положительно они все влюблены в девчонку. Но, в конце концов, пусть снюхиваются, как угодно. Je m'en fiche[1]. Баста! моей ноги здесь больше не будет... Желаю тебе всяческих успехов, но сильно в них сомневаюсь. Этот народец не так прост, как кажется с первого взгляда...

Он поцеловал ей руку, махнул шляпой и вскочил на подножку уже тронувшегося поезда.

— Addio, mio caro![2]

Вечером Вера Владимировна сидела в гостиной, в углу, у своего рабочего столика и, склонясь над лампой с красным абажуром, вышивала. Ей нужно было чем-нибудь занять руки, чтобы не думать.

Яков Владимирович сидел в кабинете, и через отворенную дверь Карышева видела, подымая время от времени глаза, как брат ее, то откинувшись на спинку кресла, отодвинув далеко от глаз книгу в вытянутой руке, читал, то начиная беспокойно вертеться на месте и капризно ворча, бросал книгу на колени и смотрел в потолок.

Приглядываясь к нему с той особенной внимательностью, какая появляется у человека, глубоко страдающего, но бегущего от тяжких мыслей, Вера Владимировна старалась угадать, что беспокоит ее брата. Она привыкла к нему и по-своему любила его. Капризы его порой раздражали ее, порой смешили; он казался ей избалованным, вывихнутым человеком. Но она никогда не задумывалась над тем, что сделало его таким, и, кажется, сильно сомневалась, что он может что-нибудь по-настоящему чувствовать.

— Тебе, я вижу, не по себе, Яша,—сказала Вера Владимировна мягким, настороженным голосом, каким она еще никогда не говорила с братом.—Может быть, тебе нездоровится? Теперь так легко простудиться...

— Ах, ma chère, laisse-moi[3],—досадливо перебил ее Тулубьев.—У меня нервы, ты хорошо это знаешь... Когда покойная матушка, царство ей небесное, бранила нашего

---

[1] Мне безразлично.
[2] До свиданья, мой дорогой!
[3] Дорогая моя, оставь меня в покое.

отчима, прекрасного кавалерийского полковника Дымшу, он всегда виновато говорил: «Madame a ses nerfs»[1], и этим все было сказано... Я весь пошел в мамашу с той только разницей, что мои нервы, увы, более не выражаются в действии.

Улыбаясь смущенно и знающе, Вера Владимировна подумала:

«А ведь он шутит, когда его что-нибудь мучит. Я только теперь это заметила... Он сидит у себя в кресле, читает и волнуется чего-то. Может быть, он так же, как и я сейчас, все видит, все понимает, сам не участвуя в жизни. Как странно!»

Она наклонилась над своим вышиваньем и некоторое время сидела молча, чутко прислушиваясь к каждому звуку: вот с жолоба падает в бочку вода, вот зашумели деревья, вот кто-то в дальних комнатах хлопнул дверью, и разнесся крик: «Самовар ставьте!»

— Яша,—снова обратилась Карышева к брату,—скажи мне, почему уехал Костя? Ты не знаешь?

Яков Владимирович зашевелился в кресле.

— Откуда мне знать?—брюзгливо ответил он.—Разве меня когда-нибудь предупреждают, со мной советуются? В один прекрасный день я вижу, что одним прибором за столом стало меньше—et voilà tout[2]. Мне предоставляется право обсуждать перемены, происходящие вокруг, как мне заблагорассудится. Это сделало меня философом, и я ничему не удивляюсь. Жизнь проходит мимо меня, она течет, как вода, и, по правде сказать, я не имею ни малейшего намерения утолить свою жажду. Я верблюд, который может не пить и не есть, питаясь своим жиром. Когда говорят мне: «Боже, какое несчастье! Мы его не ожидали...»—я всегда отвечаю: «Но это понятно, потому что вы заняты были своей игрой».— «Но что же нам делать?»—кричат они. И разве меня можно назвать жестоким, если я им отвечаю: «Продолжайте в том же духе»... Кто захочет сесть на мое место и превратиться в старого рамоли? Кто добровольно откажется от своей глупости?..

«Я, я откажусь, и уже отказалась!»—хотела воскликнуть Вера Владимировна, но, удержавшись, повторила свой вопрос:

---

[1] У мадам нервы.
[2] Вот и все.

— Так ты знаешь, почему уехал Костя? Ты намекал на что-то.

— Мои намеки похожи на вольный перевод в немецкой хрестоматии,—еще более ворчливо перебил ее Тулубьев.— В них столько же красоты, сколько смысла...«Что за странный шум в соседней комнате?»—«Это мой глухонемой дядя кушает сыр»... Чорт возьми, я до сих пор не знаю, как кушает сыр глухонемой дядя, но как он воспринимает окружающее—это мне доподлинно известно. Я глух и нем, потому что никому не нужны ни глаза мои, ни советы. А ты спрашиваешь меня: почему уехал Костя?..

Он замолчал на время, то раскрывая, то захлопывая книгу. Вера Владимировна пристально смотрела на него из-под красного абажура. Она отложила вышиванье и чуть согнулась, чтобы лучше видеть.

— Ты спрашиваешь меня об этом,—снова начал он,— но почему же ты не спрашиваешь меня о том, как поступить тебе с обманувшим тебя мужем? Почему ты не полюбопытствовала узнать, что представляют собою твои дети? O,là là![1] Ты собрала их всех под крылышко и не потрудилась узнать, понравится ли им такое милое уединение. Ты не порасспросила меня, как и чем жила Наташа, с кем она была знакома,— тихо добавил Тулубьев,—ты, наконец, ничего не видела в Людмиле и теперь ничего не видишь...

Бледнея и волнуясь, Вера Владимировна перебила его:

— Нет, я знаю; она очень изменилась, она, кажется, страдает.

— «Кажется, страдает»!—почти закричал Яков Владимирович, ударяя обеими руками по ручкам кресел.—Это мне нравится... Она жила с детства в одном с тобою доме, и ты ничего, н и ч е г о о ней не знаешь! Ты была занята своей любовью и не могла понять, что другие могут любить и страдать и никому не говорить об этом.

Вера Владимировна встала, руки ее дрожали. Она слушала брата и боялась проронить слово.

«Так мне и надо,—мелькало у нее в голове,—так и надо».

— Ты радовалась приезду Наташи,—говорил Тулубьев,—потому что она должна была помирить тебя с мужем, и ты ходила вокруг своих роз, как институтка, кото-

---

[1] Ну-ну!

рая мечтает о суженом. Ты бросила Людмилу и уехала с Наташей потому, что та говорила о полковнике. Твой младший сын выгоняет из дому старшего, и ты спрашиваешь у меня, глухонемого дяди,—почему уехал Костя?

— Да, да, правда,—шептала Карышева, не шевелясь, не отводя глаз, пришибленная словами брата.

— Ты делаешь поверенной свою старшую дочь,—значительно тише продолжал Яков Владимирович,—не зная ее, ее целей, ее жизни. Ты сознаешься ей в своих слабостях и позволяешь везти себя на свидание с мужем и потом бежишь оттуда, поняв, но уже поздно... Как все это глупо и смешно! Ты не видишь некрасивой, недостойной игры... Да что там! Слепой не может стать зрячим.—Тулубьев махнул рукой и, снова успокаиваясь и приняв обычный свой насмешливый тон, спросил: — Скажи, Костя у тебя не просил денег?

— Просил,—тихо отвечала Вера Владимировна.

Она смотрела на брата со страхом и надеждой, точно была маленькой его дочерью.

— И ты дала ему?—спросил он.—Ну, конечно! Он добился своего, он уехал удовлетворенным. Кому не везет в любви... Старая истина. Будь покойна, душа моя, если бы его не выгнали, он сам скоро отсюда испарился бы. Он сделал все, что мог, и вполне счастлив. Если его донос, его пасквиль остался без последствий, то все же он получил за него звонкой монетой. Вера, сядь, я тебе говорю... Вот так... Когда мы сидим, мы лучше мыслим... Ты не обижаешься на меня за то, что я тебя сравниваю с собою? Иногда выгодно назвать себя стариком: старикам все прощают. Я только боюсь одного, как бы моя прелестная племянница не оказазалась упрямее своего брата. Ее голос сильно пострадает от нашего ветра...

— Ты хотел бы, чтобы она отсюда уехала?—боязливо спросила Карышева.

— Хотел бы я?—переспросил Тулубьев, усмехаясь:— Я ничего не хочу с тех пор, как я занял эту позицию (он указал на свое кресло), но так было бы лучше для других... Теряя аппетит к жизни, поневоле становишься альтруистом. Ты спрашиваешь у меня совета. Изволь, я тебе дам один: будь доверчива к посторонним, осторожна с близкими и никогда не верь самой себе. Я не берусь судить, но мне кажется, что было бы лучше всего, если бы все разъехались, а мы остались одни доживать свой век в тишине... Когда

у птенцов вырастают крылья, мать не собирает их в гнездо, а отправляет летать по свету...

Вера Владимировна печально улыбнулась.

— Ты, как всегда, шутишь,—сказала она.—Раньше я не понимала тебя, но теперь... Сколько все-таки нужно любви и мудрости, чтобы хоть ненадолго забыть себя! И дано ли нам это? Я ведь, и вправду, прожила всю жизнь, как слепая— для себя, с собою, о себе, и вот теперь никому не нужна...

На столе рядом с букетом полевых цветов горела лампа, вокруг нее суетилась мошкара. В темные окна мезонина залетал ветер, шевелил занавески.

Людмила сидела у стола, подперев рукою подбородок. Витя напротив нее перелистывал, не читая, страницы книги.

— Я не понимаю, зачем ты только напрасно себя мучишь,— говорил он.—Мне неприятно твое настроение. Я привык видеть тебя всегда деятельной и бодрой. Я знаю твое сердце, но я также не сомневаюсь в твоем здравом смысле. Ты молчалива, как все сильные люди, но и я не слеп...

Людмила шевельнула плечами, отняла от лица руку, испытующе посмотрела на брата.

— Что ты хочешь сказать?

— Нельзя испытывать свои нервы, вот что!—побагровев, выкрикнул Витя.—Тебе нужно уехать отсюда, заняться другим делом, подышать другим воздухом. Поезжай со мной в Петербург, поступай на курсы, на службу, куда хочешь. Читай, но не только читай,—этого и тут было достаточно. Поговори с такими, как ты, молодыми девушками, побегай по театрам, по улицам, по лекциям, не поспи несколько ночей в кругу знакомых. Поволнуйся и поголодай даже. Делай все, что делают тысячи других девушек, как бы это на первый взгляд ни казалось глупым. Ничто тебя не изменит, не собьет, не развратит и не сделает пустою, потому что ты и достаточно умна, и сильна... Но ты узнаешь жизнь, людей, учтешь свои силы и найдешь свой путь. Пусть даже вернешься сюда обратно, но освеженной, с новым запасом впечатлений и опыта... Чтобы жить и работать разумно, нельзя быть одному, нужно знать, что делают рядом другие. Тебе необходимо испытание жизнью. Но бессмысленно, преступно испытывать свои чувства: они пригодятся на что-нибудь лучшее.

Витя замолк, оборвал свою речь, вскочил с места и, пройдясь по комнате, подошел к Людмиле, коснулся ее руки, лежащей беспомощно вдоль стола.

— Людмила,—проговорил он необычным для себя мягким голосом,—послушай меня. Поверь мне, я мало жил, но я достаточно распознал людей. Он мягкий, честный, неглупый человек; но он не для тебя... Подожди, постой! Пусть я ошибаюсь, пусть это мне только кажется. Тем лучше... Ему еще нужно многое убить в себе, чтобы стать действенным человеком. Дадим ему время для этого. Если он победит, он спасен; если нет—все равно никто ему не поможет... Тебе нужно подумать о себе, позволь помочь тебе в этом. Обещай мне уехать со мною.

Она не шевельнулась, не ответила, руки ее все так же лежали вытянутыми вдоль стола, глаза смотрели, не мигая, на огонь лампы.

— Я целую тебя за дядю,—смущенно касаясь губами ее лба, проговорил Витя:—он просил меня об этом.

И точно отгоняя от себя тягостные мысли, схватил Людмилу за руки, крепко сжал их и потянул слегка к себе.

— Ну, улыбнись,—сказал он,—посмотри на меня... Вот так... И скажи, что ты согласна.

Людмила подняла на названого брата глаза, минуту смотрела на него серьезно и молча и наконец промолвила тихо и решительно:

— Ты прав, Витя. Мне нужно уехать. Только дай мне подумать, дай время.

Бунаков ответил весело:

— Ну еще бы!.. У нас времени хоть отбавляй, но нужно решиться, это—самое главное...

Да, да, решиться. Решиться порвать со всем и уйти в другую жизнь, к другим людям. Может быть, порвать навсегда со своими близкими, стать с ними лицом к лицу, как враги... Решиться...

Но что ее здесь удерживает? Привычное дело? Пустое!.. Близкие? Но точно ли у нее есть близкие среди тех, кто ее окружает, кого она привыкла считать своими?.. Отец? Только не он...

Она стояла перед ним с омертвелой душой, она не знала, о чем говорить с ним, как м о л ч а т ь с ним...

Людмила, как все развитые не по летам дети, была невольным маленьким шпионом. Она все видела, все замечала, все откладывала в копилку своей памяти с тем,чтобы в один прекрасный день открыть ее и подсчитать капитал своего житейского опыта.

Людмила помнила появление в комнате у матери веселого военного в блестящих погонах. Его смех, его жест снисходительного одобрения, когда он похлопывал мягкой рукою щеку матери и точно так же щеку дочери, мимоходом касаясь губами их лба. Крохотным своим сердчишком девочка не понимала, но чуяла, что отец не любит, а позволяет любить себя. Он никогда не был зол, никогда не бранил дочь, не кричал на мать, но Людмила не чувствовала его тепла, нежности в его серых глазах, неизменно весело и беззаботно смотревших на мир.

Когда после долгой и тяжелой болезни мать умерла, а Людмила, забившись под ее кровать, как собачонка, билась в судорогах жестокого первого горя, смутно угадывая, что такое смерть, отец только спросил ее сконфуженным голосом, неловко беря ее на колени:

— Ну, чего ты плачешь?

Девочка смолкла на мгновенье, очевидно, ожидая за этим вопросом исчерпывающее объяснение, зачем не нужно плакать, быть может, уверения, что мама снова откроет глаза, снова пошевелится, снова позовет ее. Но Александр Ясонович не мог, не сумел найти в своей душе других слов, даже утешительной лжи. Чужое горе вызывало в нем только чувство неловкости. Он передал Людмилу на руки соседке и поспешил уйти.

Эта короткая сцена запечатлелась в памяти навсегда. Почему? Людмила не могла бы ответить. Ни самая смерть матери, ни ее последние бредовые вскрики, ни похороны не запомнились, стерлись, а этот нелепый вопрос отца звучит и поныне в ее ушах.

Она осталась жить у соседки, торговавшей на рынке готовыми платьями, теми платьями, которые шила, не покладая рук, мать.

Людмила продолжала играть обрезками под столом, за которым шила теперь другая. Изредка ее толкали ногой, если она озорничала, но розог она не знала, кричали на нее редко,—ее не замечали. Раз в месяц приходил Карышев, давал хозяйке деньги на воспитание дочери, похлопывал но-

вую портниху по щеке, как раньше похлопывал Людмилину мать, весело смотрел на дочь, говорил ей:

— Пойди, умойся, тогда получишь конфетку,—и, исполнив честно свои отцовские обязанности, уходил.

Когда Людмиле исполнилось одиннадцать, когда она уже голенастым подростком помогала хозяйке таскать картонки с платьями на Александровский рынок, явилась Вера Владимировна в сопровождении отца и забрала ее с собою.

Впервые Людмила за много лет почувствовала ласку, идущую от сердца. Взяв ее за обе щеки прохладными, в кольцах, пальцами, Карышева сначала отдалила от себя лицо девочки, чуть откинув назад голову, блестящими глазами вглядываясь в ее черты, потом, вздохнув, притянула к себе и горячими губами стала целовать глаза, губы, лоб, волосы, все более волнуясь, повторяя:

— Как она мила! как она мила!.. Как она похожа на тебя! Разве можно было оставить такое очаровательное существо?

От этих судорожных, шумных, несдержанных ласк у Людмилы отчаянно-сладко, испуганно забилось сердце. Колкая волна крови прилила к лицу, обожгла все тело. Ей стало нестерпимо стыдно, точно ее раздели. Но в то мгновенье в ней родилась непреодолимая, голодная жажда любви, обожания, готовность отдать себя всю, чувственный порыв проснувшегося замкнутого сердца. Она закрыла глаза, тяжело дыша. Потом, едучи рядом с Верой Владимировной в коляске, она украдкой бросала на нее восхищенные, обожающие взгляды.

Со временем страстный благородный порыв Веры Владимировны перешел в перемежающуюся лихорадку то полного безразличия, то глубокой нежности—в зависимости от отношений с мужем. Когда Александр Ясонович привыкал к дому, Вера Владимировна не замечала Людмилы; когда он сбегал из дому,—Людмила снова попадала в поле ее внимания. Но все же эти пароксизмы нежности значительно глубже задевали душу девушки, чем всегда ровное, безразличное расположение к ней отца. Никогда, ни разу не видела Людмила у отца таких глаз, какими смотрела на нее приемная мать. Никогда, ни разу он не смотрел так ни на самоё Веру Вла-

димировну, ни на m-lle Жермен. Когда однажды Людмила застала его в гостиной, за японской ширмой, держащего француженку в объятиях,—и тогда глаза его были только веселы и лишь чуть-чуть потемнели и покрылись матовой влагой.

После этой сцены Людмиле долго было почему-то тошно. Она не могла смотреть на m-lle, которую очень любила, без чувства физической тошноты, подступавшей к горлу, и надолго потеряла аппетит. Отец стал ей противен. Она боролась с этим чувством, но не могла его побороть. Ей было тогда четырнадцать лет. Она записала у себя в тетрадке: «Никогда не позволю мужчине любить себя: это отвратительно»,—и три раза подчеркнула последнее слово.

Потом, когда она стала старше, после того уже, как Вера Владимировна разошлась с ее отцом, она, перечитывая свои детские записи, старалась уяснить себе, что вызвало в ней такое отвращение, и пришла к убеждению, что это не был самый факт объятий, не то, что отец обманывал Веру Владимировну, и не то—что он смел любить чужую женщину, а то, что при этом глаза его были веселы, не горели внутренним чувством, отражали не жажду, а жадность. Жадность же всегда возбуждала в Людмиле чувство брезгливости.

Теперь отец был совсем далеко от Людмилы. Его письма она читала, как канцелярскую отписку. В своих письмах старалась держаться повествовательного тона. Своими мыслями, своими чувствами она привыкла делиться только с Крутовским. С Крутовским... Нет... о нем не надо... Если кого и больно будет оставить, так это... Веру Владимировну. Одну ли ее? А Крутовского? Ведь росла-то она на его глазах, его глазами научилась видеть мир, увлеченная его интересами, его планами, нашла свои пути в жизни, с его помощью сделала по ним первые шаги. И если теперь перестала понимать его, то виновата же она, не он... Почему виновата? В чем ее вина?..

Наутро Людмила в положенный час была в оборе, за привычным своим делом. Тонкая белая струя с певучим звоном ударяла о деревянную доенку, корова мотала хвостом, медлительно, вкусно жевала сено. Легкий пар курился в полутемной оборе, густо чмякали босые ноги доильщиц. Иногда раздавался глухой от недавнего сна и сырого воздуха женский голос: «Но-о, прими ножку!»—и опять ровное торопли-

вое-пение живоносных струй, сопение здоровых животных сдержанное покашливание и звон наполняемых ведер.

«Конечно, так надо,—думала Людмила, глядя на свои пальцы, быстро и ловко перебирающие упругие сосцы,— мне все это дорого, все это я люблю и не могу с этим навсегда порвать, но сейчас нужно дать пройти времени: оно все сгладит... Нужно уехать... Да так ли я люблю все это и не могу с этим расстаться без сожаления?—перебивая себя и возвращаясь к мыслям минувшей ночи, спрашивала Людмила.— Разве не мучилась я всем этим внешним покоем и благополучием? Разве так уж радостно быть участницей и сообщницей всех этих тетиных хозяйских забот? Ведь вот я дою коров, пусть это мне приятно, но ведь на взгляд доильщиц просто с жиру балуется барышня, и они правы... Конечно! И кабы это одно, а то ведь дою и должна следить, чтобы проворно доили другие. Чужая всем—и Варваре, и Настасье, «хозяйский глаз», без лести преданный... Это я-то?..—Она усмехнулась горько, оскорбленная впервые так оголенно и зло пришедшими мыслями.—Ну, конечно же, так и есть!— прямодушно созналась она.—И нечего прятать голову под крылышко. Я взрослый человек и отвечаю за свои поступки».

Сколько раз Людмила со стыдом и болью присутствовала при унизительных сценах, когда тот или иной служащий в усадьбе приходил просить прибавки или когда мужики приходили жаловаться на арендатора и клянчить разрешения пользоваться какой-нибудь пустошью или правом собирать валежник...

Вера Владимировна, смущаясь до слез,—незлая и нескупая женщина,—отсылала просителей к тому же арендатору или отделывалась подачками. А потом жаловалась, что ее волнуют по пустякам, что ее разоряют, что ее замучили просьбами, что она не виновата же в том, что у мужиков не хватает леса или земли. Арендатор поставил ей условием ничего не обещать никому и не давать разрешения собирать хворост, потому что тогда он не отвечает за то, что не разворуют весь лес.

Было очевидно: что-то надо было изменить; но что изменить,—Людмила не знала и ясно себе не представляла, как же это может измениться. Все тяжелее становилось участвовать в этих запутанных взаимоотношениях, сочувствовать то тому, то другому, быть доверенной и посредницей

между сторонами и знать, что помочь никому она не может. Знать тем более это твердо, что давно уже поняла: личные качества и недостатки людей здесь не играли никакой роли. Что часто доброта Веры Владимировны приносила больше зла, чем жестокость какого-нибудь кулака Ерандакова и что по сути—добрая Вера Владимировна, и жесткий Ерандаков, и хмурый, но бестолковый арендатор в отношении голодного мужика равны и ненавистны ему одинаково. Ни благотворительностью, ни добротой, ни «жалостью к ближнему» нельзя было примирить полярность их интересов. Людмила это понимала. Но как же тогда? Оставить все так, как есть? А если действовать—то как? Разрешить этот вопрос только для себя, как попытался сделать Крутовской, создав свою артель? Но решить вопрос для себя—значит ничего не решить. К тому же Людмила все чаще слыхала о недовольстве артелью. Ее соседи, беднейшие крестьяне, говорили, что лучше уж помещик,—от него можно хоть поживиться чем нина-есть, работенку получить, а с этих артельных—как с козла молока: развезло их на сотни десятин, жиреют, торгуют хлебом, шерстью, лесом—и близко не подступись.

Пусть артель не пользовалась чужим трудом (до времени, как говорил с беспокойством и сам Крутовской), но и она не выводила своего соседа-бедняка из нужды. Как же быть? У кого искать ответа?.. Безошибочное здоровое чутье подсказывало Людмиле не пытаться говорить с Леонтием Алексеевичем на эту больную для него тему. Инстинкт говорил ей,что путь Крутовского—не ее путь. Мало того, она боялась, что, ступив на его путь, она что-то нужное и ценное в себе нарушит и не простит этого Крутовскому. А Леонтий Алексеевич был ей дорог.

«После, после как-нибудь,—решила она.—Научусь сначала сама все хорошо делать, а тогда...»

Щеки ее все еще горели, когда взгляд ее встретился с другим внимательным и, как ей показалось, насмешливым взглядом. Перед ней стояла доильщица Настасья, пожилая женщина с темным от загара и постоянной устали лицом, тощей грудью, всегда видной в прореху грязной холстинковой рубахи. Настя кормила двухгодовалого мальчишку грудью и всюду таскала его за собой.

— Вам что, Настасья?— невольно спросила Людмила.

— Да вот, сверьте мой удой,—ответила женщина и сердито,—как, может быть, лишь показалось Людмиле,—отвернулась к плачущему сыну:—Да на! На уж, на!—крикнула она мальчишке, садясь на пол и вынимая пустую грудь.—Подавись, будь ты проклят!..

Людмила торопливо и, впервые ловя себя на этом, раздраженно сверила и записала удой Настасьи и вышла из коровника.

«Что же это такое?—спрашивала она себя.—Что все это значит? Чего же я будто недовольна Настасьей и в чем-то подозреваю ее, и что я ей сделала дурного?..»

Она вспомнила о том, что говорили о Настасье, о ее муже-пьянице, как смеялись над ее нечистоплотностью, над тем, что она, как корова, всегда с удоем, потому что не успеет оторвать ребенка от груди, как кормит уже другого. Мужа Настасьи забрали на фронт. Людмила слышала, как Настасья с исступленной и радостной злобой говорила, что пусть бы его там, поганца-мужа, убили. Пришло Людмиле на память и то, как Настасья перед балконом ругательски ругала Веру Владимировну. У нее не купили ягод, собранных ею в самолюбовском лесу, не купили потому, что ягоды были все подавлены и противно было бы их есть—собранных грязными, никогда не мытыми руками, а просто вынесли ей, как милостыню, двадцать копеек. Вера Владимировна, чуть не плача, пыталась сначала урезонить Настасью, а потом сама раскричалась и расплакалась. Вся эта сцена была так тяжела, так отвратительна, что даже сейчас, вспоминая ее, Людмила вздрогнула...

— Нет! Довольно.

Быстрыми, решительными шагами Людмила прошла в дом, взяла чашку чаю для Веры Владимировны, как она всегда это делала, и постучалась у двери только что проснувшейся приемной матери.

— Ах, спасибо, Людмила,—сказала Вера Владимировна, приподымаясь с кровати и оббивая вокруг ног своих одеяло.—С добрым утром! Присядь ко мне, я хочу посмотреть на тебя.

Она поцеловала девушку и, уступив ей место рядом с собой, стала медленно и любовно поглаживать ее по густым ее волосам, смотря на нее с тревожным вниманием.

— Нехорошее у тебя лицо,—сказала она,—слишком

задумчивое, слишком напряженное. Я еще не видела тебя такою.

— Я хотела поговорить с вами, тетя,—возразила Людмила.

— Я знаю, говори...

Вера Владимировна наклонила чуть набок голову, белые папильотки запрыгали над ее пожелтевшим морщинистым лицом, глаза стали еще внимательнее, еще зорче. В белой своей ночной кофточке, с наглухо застегнутым кружевным воротничком, она казалась очень маленькой, слабой и постаревшей. Выступали худые костяшки плеч и локтей, грудь впала, сухая, усталая кожа щек и шеи в это серенькое дождливое утро казалась совсем восковой. «Как же с нею,— мельком подумала Людмила,—со старенькой?»—и на мгновенье увидала вчерашнее солнечное утро, сидящую в таратайке, убитую горем и униженную Карышеву, седенького мужичонку, моргающего слезящимися глазками: оба старенькие, сгорбленные, они казались такими беспомощными среди дороги, под слепящими лучами солнца... «Нет, прочь все это, прочь слабость!»—не подумала, а точно услышала Людмила чей-то голос и, порывисто наклонясь, обняла худой стан Веры Владимировны и глухо проговорила:

— Я должна сказать вам, тетя... позвольте мне уехать.

— Уехать?

Голова Карышевой по-стариковски качнулась, но тотчас же, вобрав воздуху, чтобы не задохнуться, и отодвигаясь, Вера Владимировна взяла сухими своими ладонями лицо девушки и долго и глубоко заглянула ей в глаза.

— Ты хочешь уехать?—снова, после неподвижного молчания, переспросила она ослабевшим, но ровным голосом.—Да, я знаю, тебе нужно это... Уезжай, господь с тобою...

Она устала, голова ее склонилась на подушку, губы все еще двигались беззвучно.

Помилуйте, как было не действовать самым решительным образом, как же не бросать на убой русскую скотинку, когда по всему Парижу уже висели афиши:



АРИЖСКАЯ армия.
Жители Парижа!

Члены правительства республики покинули Париж: они придадут новую силу национальной обороне. Я получил мандат защищать Париж против вторгшегося врага. Этот мандат я выполню до конца.

Военный губернатор Парижа, командующий Парижской армией *Галиени*».

— Париж в опасности! Да здравствует Париж! Все на оборону Парижа...

— Эй вы там, русские медведи! Пошевеливайтесь! Принимайте на себя удары. Идите напролом, отвлекайте внимание немецкой свиньи: у вас толстая шкура.

— Проклятые русские, они ничего не делают. Они равнодушно смотрят на наше унижение. Гоните их палками, чорт возьми!

И русское командование ответило подобострастно:

— Есть. Гони палками!

И в самых невыгодных для русской армии условиях продолжало принимать на себя удары немцев, перекидывающих с западного фронта на русский свои войска.

24 августа бой завязался на всем фронте. 28-го 17-й корпус генерала Макензена, пройдя Летцен, отбросил к востоку части 43-й пехотной дивизии русских, 57-я дивизия разбежалась. 1-й немецкий корпус фон-Франсуа 27-го взял Арис и 28-го вышел на линию Солманен—Ней—Фрейденталь, а 1-я и 8-я кавалерийские его дивизии свернули на Гумбинен. Таким образом уже к вечеру на 27 августа левый, незащищенный фланг армии генерала Ренненкампфа был обойден противником, и под влиянием этого обстоятельства 1-я армия начала свое вынужденное отступление, превратившееся в бегство. Повторилось позорище самсоновской армии...

Гинденбург, воодушевленный блестяще выполненной задачей, дал приказ вести решительное преследование бегущих.

На этот раз горчичник подействовал: он оттянул от прекрасной Франции значительные немецкие силы. Для соблюдения приличий нашли виновника поражения—генерала Жилинского, действовавшего по директивам свыше, и отстранили от командования фронтом...

24/6 воскресенье

А в тихом мирном швейцарском городке Берне, вдали от «большой игры», собрались русские эмигранты. В день переломных для западного фронта боев в Восточной Пруссии, 24 августа, эмигранты собрались пикником в лесу, но вместо обычных для пикников водки и закуски занялись обсуждением европейских событий.

Развернутый доклад на эту тему сделал товарищам тот самый русский, который был арестован в галицийском маленьком курорте Поронине и записан под фамилией Ульянова в тюремную книгу Новотаргской тюрьмы.

Ульянова слушали товарищи—приехавший недавно из России депутат Думы Самойлов и еще кое-кто. Все это был народ внешне незаметный, ничем не выделявшийся в общей массе русских, застигнутых войной в Швейцарии или перебравшихся туда из Германии и других воюющих стран.

Все они ходили в потертых пиджачках, питались в студенческих столовых и уж, конечно, никакого веса не имели в местном магистрате. И тем не менее они горячо, убежденно и по-деловому подробно решали вопросы войны и мира. После доклада поспорили, кто-то не пожалел крепкого словца в подтверждение своей мысли, но в конце концов все согласились с правильностью точки зрения на современные события приезжего из Поронина и приняли резолюцию, в которой давалась характеристика происходящей войне как империалистической, грабительской и поведение вождей II Интернационала, голосовавших за военные кредиты, оценивалось как измена делу пролетариата.

Резолюция предлагала вести во всех странах пропаганду социалистической революции, гражданской войны, беспощадной борьбы с шовинизмом и патриотизмом всех без исключения стран, братание солдат в траншеях, четко намечала программу действий для России:

борьбу с монархией,
проповедь революции,
борьбу за республику,
за освобождение угнетенных великороссами народностей,
за конфискацию помещичьих земель,
за восьмичасовой рабочий день.

Резолюция бросала вызов всему капиталистическому миру. Резолюция обращена была ко всем трудящимся и должна была быть распространенной по всем заграничным секциям большевиков.

Депутат Самойлов повез тезисы конференции в Россию для обсуждения их русской частью ЦК и думской фракцией.

Тезисы эти были точным сколком с положений, изложенных приезжим из Поронина, русским эмигрантом Ульяновым.

Ульянов был очень весел, улыбка дергала углы его губ, один глаз он зорко, по-охотничьи, подзадоривающе прищуривал. То-и-дело он под сурдинку затягивал французскую песенку: «Mais notre coeur—vous ne l'aurez jamais»[1]—и снова победно подмигивал своим друзьям.

И еще одна маленькая подробность бросалась в глаза стороннему наблюдателю: в разговоре с приезжим из Поронина и в разговоре о нем эти люди не называли его Ульяновым, а говорили:

— Так думает Ленин.

— Так советовал Владимир Ильич.

И еще проще, с веселой улыбкой:

— Хорошо, что с нами Ильич.

[1] Но наше сердце—вы его никогда не получите!



СЕНТЯБРЬ

Катастрофа, постигшая русскую императорскую армию в Восточной Пруссии, гибель и сдача в плен нескольких корпусов, бегство чинов штаба армии, снявших погоны и тем самым как бы разжаловавших себя за неспособность, самоубийство командующего—все вместе, казалось бы, должно было не только вселить тревогу высшему командованию и царю, но и явиться предостережением в дальнейшем.

Самсоновский разгром вовсе не был случайным эпизодом, обычным в длительном ходе войны, где, как в шахматной игре, теряет фигуру то тот, то другой игрок, но где так же, как и там, каждый неверный ход неминуемо влечет за собою лишний повод к проигрышу всей партии. Валить на случай, на непредвиденное превосходство сил противника, на недоста-

точную стойкость войск не было оснований. И количество войск, и их боеспособность, и даже запас снарядов—все в эти первые недели войны было в таком состоянии, что не могло явиться причиной несчастного случая. Напротив, никогда впоследствии, ни на каком другом фронте во все продолжение войны русская армия не была так действенно боеспособна, как в этот период. И если все же, несмотря на это, ее не миновала катастрофа, то только слепой или не желающий видеть мог не понять, в чем корень зла, в чем основная причина поражения, и где ее надлежит искать, чтобы пресечь в корне. Основная причина была в несамостоятельности и легкомыслии русского командования.

Несамостоятельность выражалась в слепом и боязливом подчинении директивам, исходящим от союзников, смотревших на русское войско как на послушное рабье стадо, годное лишь на то, чтобы своей многомиллионной массой отвлекать внимание противника и получать удары, предназначенные другим. Легкомысленность же командования проявлялась в том, что каждый новый ход диктовался и выполнялся не логикой вещей, не вниманием к насущным потребностям момента и армии, не как результат тщательной подготовки и убеждения вооруженной знаниями военной мысли, не как звено единой цепи широкого и глубокого охвата всех задач войны и возможностей сопротивления страны, а как удобный случай, ведущий к легкой победе путем нагромождения боевого материала—доброго старого «пушечного мяса», как повод прославиться и выслужиться.

Поэтому первый предупреждающий звонок, донесшийся с Мазурских болот, прозвенел в ушах высшего командования как мимолетное денькание пронесшейся стороною тройки, и нисколько не изменил его умонастроения и методов. Напротив, он явился лишним поводом для интриг, перемещения командного состава, борьбы самолюбий и превознесения качеств одного генерала перед другим, потому что давал основания говорить, что разгром в Восточной Пруссии произошел по вине Самсонова, или Жилинского, или Ренненкампфа, так как вот же на юге могли другие генералы в это время не только продвигаться вперед, но и побеждать, а следовательно, все дело в бездарности или даровитости того или иного полководца.

Действительно, победы на юге, в Галиции, где главноко-

мандующим был генерал Иванов, превозносимый как герой, а впоследствии объявленный тупицей, при начальнике штаба генерале Алексееве, как бы уравновешивали несчастье на севере.

Армии генералов Рузского, Брусилова и Радко Дмитриева гнали австрийские войска и в последних числах августа заняли Львов. Австрийцы потеряли 1000 орудий и 200 000 пленных.

Ликование и преувеличенные восторги высших слоев общества, выразившиеся в ряде благотворительных вечеров и базаров, устройстве раутов и патриотических банкетов с приглашением на них представителей дипломатических корпусов дружественных держав, заразили своим оптимизмом не только кадетствующие круги интеллигенции, но даже осторожного французского посланника Палеолога. Воодушевленный все ускоряющимся удачливым развитием военных действий русских войск, он пошел на пари со своим коллегой, английским послом Бьюкененом, на пять фунтов стерлингов, что война будет окончена до рождества.

Такая уверенность в близком окончании войны, и окончании безусловно победном, не могла не проникнуть во внутренние покои Александровского дворца.

Особенно остро и ревниво ловила эти слухи и эти оптимистические надежды императрица.

Она находилась в том раздраженном, обычном для себя, усилившемся с началом войны болезненном состоянии, когда каждый нерв воспринимает все впечатления извне с несравнимой ни с чем мучительной остротой. Помимо того, ее одолевали невралгические боли глаз и челюсти, а также тревога за здоровье сына, зашибшего себе ногу и слегшего в постель.

В непрестанной тревоге за нерушимый авторитет самодержавной воли, ревниво оберегая венценосную славу мужа и внутренно сознавая, что ее давно уже нет, что она—лишь пустой звук, который только от частого повторения и напряжения всех сил души обретает в глазах других людей и даже в глазах самого царя магическое свое действие, Александра Федоровна поняла, что настал час, когда нужно проявить в полной мере свою настойчивость, чтобы не упустить случая и во-время воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

Царь, по ее глубокому убеждению, должен был, не откладывая, ехать на фронт к своим войскам. Он должен был

связать свое имя со славой русского оружия. Царица опасалась, что при скором и успешном окончании войны все лавры достанутся Николаю Николаевичу. А этого великого князя она ненавидела со времени его ссоры с Распутиным и возненавидела еще больше после назначения его верховным.

Александра Федоровна хорошо знала своего мужа. Она знала, что он не только слабый человек, подчиняющийся чужой воле, но и как всякий слабый человек—упрям. Следуя чужому внушению, он всегда хочет поставить на своем и очень часто делает наперекор себе и другим. Думая перехитрить советчика, запутывается и меняет свои решения. Она знала, что, как слабый и безвольный человек, он более всего поддается уговору, если ему сказать, что его волю не выполняют, что его авторитет подрывают, его власть узурпируют. В таких случаях царь,—обычно очень сдержанный, дисциплинированный еще с юности своим отцом, нелюбознательный и потому равнодушный и кажущийся мягким человеком,—делался не только раздражительным, подозрительным, но и жестоким. Он вырастал, казался мужественным и во многом напоминал отца. Именно в таких случаях Ника вспоминал, что он—Николай Второй, самодержец, властелин полумира, и тогда приближенные его и министры, трепеща за свою судьбу, зная, как беспощадна и неожиданна будет расправа, начинали видеть в нем волю. Этот способ воздействия на царя, возбуждающий его подозрительность, был хорошо усвоен и Распутиным.

Вот почему Александра Федоровна, укрепившись в своем намерении, решила действовать не только сама, но и устроить царю свидание с «другом».

Исподволь, не говоря прямо о своем желании, изо дня в день она заводила разговор с царем об успехах на фронте, о возможности скорого мира, об огромной популярности, какую приобрел в армии Николай Николаевич. Неизменно повторяла она, что верховный своим именем постепенно затушевывает другое царственное имя. Она шла упорно к своей цели. Она чувствовала себя, как никогда, измученной и больной, и это удесятеряло ее силы,—ее воля и настойчивость крепли, когда слабело тело. Болезнь сына, несчастье, обрушившееся на ее родину, на ее семью, на любимых и далеких от нее брата Эрни, великого герцога гессенского, и сестру Ирен, жену принца Генриха Прусского, личная ненависть «к черногоркам»—жене и свояченице Николая Нико-

лаевича, и к самому верховному — все вместе казалось ей испытанием крепости ее духа, ниспосланным свыше.

Однажды вечером, в начале сентября, после взятия Львова и получения новых еще более радужных вестей с фронта, отходя ко сну и по укоренившейся привычке, раньше чем лечь спать рядом с мужем, окрестив подушку, царя и себя, Александра Федоровна почувствовала внезапно такую острую боль в челюсти, что застонала. Не в силах побороть боль, сдержать стоны, царица упала навзничь поверх одеяла. Она распростерлась всем своим большим, все еще, несмотря на болезни и частые роды, полным и сильным телом поперек широкой кровати, в длинной, как саван, ночной рубашке, заголив тяжелые ступни и икры с набрякшими лиловатыми венами больших ног. Побагровевшее лицо дергала нестерпимая нервная судорога. Держась одной рукой за подбородок, другой цепляясь за простыни, она выгибала живот, как в предродовых схватках.

Испуганный царь с посоловевшими от сна глазами, с растрепанной, сильно поседевшей за последнее время бороденкой, испуганно бормоча, сорвался с постели и, налив неслушающимися руками стакан воды, поднес его к губам царицы.

— Ну, что ты? Что с тобой, Аликс?.. Солнышко, что случилось? Позвать Annette? Что болит?..

Он топтался над ней босой, обливал себя и ее водою, не знал, что делать, растерянный и более жалкий, чем она сама. Как все самоуверенные, но не приспособленные к жизни люди, он терялся, когда его застигала беда. Особенно он не любил и боялся, считая это жалостью и любовью, когда что-нибудь случалось с Александрой Федоровной и детьми. В таких случаях он становился похож на ребенка, которого незаслуженно обидели. И сознавая это, он еще более смущался и терял присутствие духа.

Освещенный блуждающим, рогатым сиянием лампад, в короткой рубахе, со сбившимся пробором табачных волос, не смея дотронуться до жены, царь повторял:

— Что ты? Что с тобой, Аликс?..

И снова хватался за стакан и проливал воду в то время, как Александра Федоровна, борясь со своей слабостью, как всегда, стыдясь ее и находя в ней силы, желая успокоить

царя и уверить себя, что причина ее страданий не физическая боль, а испытание свыше, кусала до крови губы, чтобы не расплакаться и укрепить волю.

«Вот сейчас он мой, он все сделает для меня, сам бог дает его мне через эту боль в мои руки»,—повторяла она себе, превозмогая и утишая этими мыслями свои страдания.

— Не могу, не могу!—вскрикнула она, потому что не могла дольше терпеть физической боли, но сейчас же неимоверным усилием придавая этому восклицанию другой смысл:—Не могу, не могу!..

Она приподнялась на локте. Держась за подбородок и глядя на мужа напухшими красными глазами, она заговорила с лихорадочной решимостью:

— Это свыше моих сил... Любить тебя, жить тобою, твоей славой, верой в благо твоей власти—и ничем, ничем не иметь возможности помочь тебе!.. Знать, что тебя на каждом шагу предают самые близкие люди... О-о!..

Она уже не чувствовала боли, сломила ее, заражалась собственными словами, заражала ими царя.

— Я знаю, я прекрасно знаю, куда клонит этот предатель! Он держит в своих руках войска, он губит тысячи жизней,—только бы скорей добиться славы великого полководца и умалить тебя. Этого нельзя допустить! Нельзя!—продолжала она.—Тебя должны видеть войска, знать, что ты один—их вождь, что только благодаря тебе, твоей доброте, твоей воле Николашка распоряжается на фронте. Что это только твоя милость!—Она добавила значительней и тише:—Наш друг согласен со мною...Он сказал мне: «Без царя нет России, нет трона, нет войска». Он знает...

Царица дышала, как запаленная лошадь, лицо ее то багровело, то покрывалось пеплом, то вспыхивало снова малиновыми пятнами. Под кружевами рубашки тяжко опадала и вздымалась грудь.

Глядя на эту грудь, успокаиваясь от того, что видит ее, чувствует ее тепло и запах и может уже ничего не предпринимать сейчас, ловя в словах жены свои мысли, свое раздражение и почерпая в них оправдание этому раздражению, Николай с обычной своей неопределенной ужимкой ответил:

— Ну, конечно. Это такая гадость!.. Он себе позволяет бог знает что. Нужно его одернуть. Я даже, знаешь, поеду в ставку. Кстати посмотрю своих молодцов, атаманцев...

Непременно. Это будет для них большим утешением... А? Как тебе кажется?

В театре Суворина 6 сентября для подогревания патриотических чувств ставилась пьеса Сарду: «Отечество», где особенно прельстителен был Глаголин, игравший Карлоса. А в аудитории имени его императорского высочества принца Александра Петровича Ольденбургского, в зрительном зале при Народном доме императора Николая II, состоялся патриотический спектакль-концерт, устроенный артистом императорских театров Николаем Николаевичем Ходотовым.

На этом концерте исполнялись гимны всех союзных государств, известные литераторы Куприн и Федор Сологуб читали свои произведения на тему о войне, а артисты А. А. Суворина и Н. Н. Ходотов разыграли пьесу по рассказу Мопассана: «M-lle Фифи». В концертном отделении выступили известные певицы: Липковская, Бенуа и Наталья Никаноровна Смолич.

Наталья Никаноровна была особенно в ударе.

Платье, принесенное ей сегодня утром портнихой, сшитое для концерта, к ней шло, и, зная это, Смолич пела, как никогда, хорошо.

Концертное отделение закончилось апофеозом, вызвавшим энтузиазм всего переполненного зала. Участники вечера в национальных костюмах всех союзных стран со своими знаменами образовали живописную группу, на фоне которой Николай Николаевич Ходотов, загримированный под Скобелева «белым генералом», сидя на белом коне, процитировал скобелевскую речь к славянской депутации, произнесенную генералом после турецкой кампании и предвещающую неизбежную войну с Германией—«с исконным душителем и врагом панславизма».

Публика повскакала с мест и потребовала исполнения гимна. Нескольким раненым офицерам устроили овацию. Гимназисты и студенты в сюртуках военного покроя кинулись к авансцене.

Ходотов соскочил с лошади, недоуменно и покорно мотавшей головой (лошадь была смирная, взятая напрокат из цирка, и, как всякая белая лошадь, почтенных лет). Подав руку Наталье Никаноровне, одетой теперь бельгийской пейзанкой с траурной перевязкой через плечо, Ходотов усердно

раскланялся, щелкая шпорами. Смолич печально, как подобает страдающей Бельгии, склонила голову...

Дымша, присутствовавший на концерте в качестве рецензента, примчался за кулисы. Он был, как всегда, весел, возбужден, безукоризненно одет и полон энергии. Целуя Ходотова в наклеенные баки, он потребовал, чтобы его немедленно представили Наталье Никаноровне, с которой—единственной из всех участников—он не был знаком.

Смолич, разгримировавшись и переодевшись, сияющая от успеха (это было ее первое публичное выступление в Петербурге), вышла к Ивану Федоровичу и, улыбаясь, как давнему поклоннику, весело проговорила:

— Ай-яй! и вам не совестно! А еще дядюшка! Хорош! Хорош—нечего сказать! Не мог ни разу навестить племянницу или хотя бы написать о ней несколько теплых строк.

Дымша сделал круглые глаза, схватился за голову, изгибаясь, семеня ногами, как провинившийся школьник, готовый принять наказание и подставляющий ухо, поймал обе ее руки и, покрывая их поцелуями, воскликнул:

— Позор! Позор на мою седеющую голову! Но если бы я только предполагал, что у меня такая обворожительная, такая умопомрачительная племянница! Видит бог, раскаяние замучит меня! Спасите, спасите, пока не поздно!.. Умоляю вас, не откажите быть вашим рабом, вашим клевретом, вашим баяном! Приказывайте!

Он сложил ладони и подогнул колени, точно собираясь упасть. Потом, схватив Ходотова за плечи, закричал:

— Николаша! Брат! Друг! Проси Наталью Никаноровну от нашего имени ехать с нами ужинать. По-семейному, по-родственному! Кланяйся и ходатайствуй, Ходотов!

— Но я не одна,—возразила Наталья Никаноровна, смеясь и сочувствующе глядя на Дымшу:—со мной Савелий Онисимович... Познакомьтесь...

Из-за ее спины появился, тяжело переступая, плотный старик с темными очками на хрящеватом крупном носу. Он был во фраке, белая манишка горбом стояла на широкой груди, руки он держал чуть оттопыря, видимо, не зная, куда их девать. Рыжая с проседью, остриженная ежом голова упрямо сидела на загорелой шее, перерезанной крахмальным узким воротником, смятым тяжелым подбородком.

— Мой друг... мой большой друг,—продолжала Смолич в то время, как Дымша пожимал старику руку.—Мамин со-

сед по имению... Первый воротила в нашей губернии... Помещик Ерандаков, Савелий Онисимович.

— Ну что ж, и великолепно!—подхватил Дымша.— Очень рад! Надеюсь, вы не откажетесь?

И накидывая на плечи Наталье Никаноровне легкое шелковое манто, шепнул ей дружески и кокетливо на ухо:

— Вы обязательно должны ехать... Конечно, я предпочел бы видеть вас одну.

— Шалун!—кося на него глазом, перебила Смолич.

— Но в первый раз мирюсь и на этом,—дурашливо болтал Дымша.—Племянница должна слушаться дядю. Племянница должна быть пай, тем более, что я познакомлю ее сегодня с интереснейшим человеком в мире... И в благодарность за это ничего не потребую, кроме послушания.

— Кто же этот человек?

— Трепещите! Этот человек—Григорий Ефимович.

— Распутин?

— Да, собственной персоной.

Наталья Никаноровна приехала в Петербург всего лишь несколько дней назад. В Самолюбове ей не удалось выполнить задуманного в полной мере. Примирение матери с мужем сорвалось. Сближение с Крутовским, казавшееся легко осуществимым, интригующим, а главное — благоразумным завершением безалаберно прожитой молодости, тихой пристанью,—при ближайшем знакомстве с условиями жизни Крутовского, с его материальными возможностями утратило всякий смысл. Крутовской был слишком занят, крайне, на взгляд Наташи, опустился, опровинциалился, загрубел. При малейшей попытке к интимности топорщился, смотрел исподлобья и норовил сбежать. А главное—из помещика, хотя бы захудалого, каким мог бы быть, превратился в какого-то нелепого артельного мужичишку. Нет, этот бородатый дядя с обветренным лицом, с ухватками степенного хуторянина, не похож был вовсе на того красивого студента, каким он остался в ее воспоминаниях. Бог с ним, пусть женится на Людмиле: они—два сапога пара.

На второй или на третий день по возвращении своем из Смоленска Наташа решительно приступила к выполнению последнего своего задания, наиболее для нее важного. Она улучила подходящий момент, когда Вера Владимировна на-

ходилась в том состоянии размягченности и стремления к добру, какое теперь все чаще пробуждалось в ней, и, начав издалека, как бы раскрыв перед сочувствующей матерью свое сердце, поплакалась на свою судьбу и незаметно перевела разговор на крайнюю необеспеченность и шаткость артистической карьеры. Обе всплакнули, обе посетовали на то, что родились слабыми, беспомощными женщинами, а кончилось тем, что Наташа выговорила себе разрешение на продажу того куска земли, который должен был перейти в ее собственность по разделу. Крутовской помог ей оформить дарственную запись и взялся познакомить с купцом Ерандаковым, хлебным торговцем, крупнейшим землевладельцем уезда, охотно скупающим земельные участки.

Встреча с Ерандаковым состоялась на пристани, в конторе.

За столом, заваленным бумагами, сидел плотный старик с темными очками на хрящеватом крупном носу. Он поднял на шум рыжеватую круглую голову, подстриженную ежом, снял очки и посмотрел на вошедших внимательным острым взглядом.

Крутовской назвал ему Наталью Никаноровну, сообщил о вводе ее во владение частью земли в Самолюбове, о том, что воспользоваться землей этой Смолич трудно, так как, будучи артисткой, она не может заняться хозяйством, и просил содействия в продаже участка.

Старик подвинул вошедшим стулья и, прямо не отвечая на просьбу, внимательно вгляделся в лицо Смолич.

— Надолго изволили приехать?.. Так. Места у нас тут приятные. «Чуден Днепр при тихой погоде»... (Он засмеялся как-то вбок, беззвучно.) Пением занимаетесь?.. Так, Голос— великое дело. Я очень даже пение уважаю. Вы бы спели что-нибудь.

Это неожиданное предложение заставило Наталью Никаноровну улыбнуться. Она чувствовала себя необычайно стесненной под упрямым взглядом старика.

— Спеть вам? сейчас? Я не пою без аккомпанемента.

Но тотчас же, озорно блестя глазами, наклонилась к Ерандакову:

— Ладно, идет! Спою вам, только не здесь, а в лодке. Едемте кататься!

Крутовской посмотрел на нее с удивлением, но она, делая ему знак, чтобы он молчал, опять обратилась к старику:

— Что же, едем?

Купец поднял на нее глаза, странная усмешка скользнула у него по сухим губам, спряталась в рыжеватой узенькой бородке.

— Отчего же не поехать? Можно! Вы, как я погляжу, огонь-баба и сговорчивы.

Он встал. Наталья Никаноровна, точно невзначай касаясь его локтем, молвила:

— Бывает, что и сговорчива.

— Прохор!—крикнул Ерандаков.—Лодку давай!

Они сели в разлатую белую плоскодонку и отчалили. Днепр сильно обмелел: до самой середины весла касались дна. Перед глазами развернулся Тильск. Издали белые домики кремлевской стены, главы церквей и густая зелень садов казали его особенно нарядным.

— Ну что же, уговор дороже денег,—сказал, улыбаясь, подмигивая, Ерандаков.

Под солнцем лицо его прояснело, глаза сузились по-стариковски.

— Петь—так петь,—ответила Смолич, тряхнув головой, закрыла зонтик, положила его у ног и сложила на коленях руки.—Вы хохлацкие песни любите?

— Люблю,—согласился Ерандаков.

Наталья Никаноровна приподняла подбородок, чуть откинулась назад и запела. «Пропала надія, забилося серце...» Голос ее высоко и звонко поднялся вверх над дремлющей рекой. Прохор на веслах ухмыльнулся, сдвинул на нос картуз, крякнул от удовольствия. Ерандаков придвинулся ближе, не сводя с певицы загоревшегося взора, Крутовской смотрел в небо, на голубей, и бог знает о чем задумался.

— Ну, будет!—крикнула нежданно Смолич и, оборвав пение, устало окунула руки в воду.

— Королева!—возбужденно бормотнул старик.

Разнеженно Наташа промолвила:

— Вот бы выкупаться. Вода теплая-претеплая...

Ерандаков потянул конец бородки в рот, тихо посмеиваясь, поддакнул:

— Кто же помехой, красавица? На левом берегу песочек бархатный. Высадим вас,—купайтесь на здоровье.

Смолич ответила:

— Я, милейший, что по уговору, то и делаю. Спасибо

скажите за пение.—И, рассмеявшись звонко, добавила:— Ай да Савелий Онисимыч! Совсем молодцом!

И оборотилась к Крутовскому:

— Милый Леонтий Алексеевич, нам, кажется, и домой пора. Поверните назад.

Первый выскочил из лодки старик Ерандаков. Он остановился у причала, протянул руку Наталье Никаноровне. Она подобрала юбки и, неловко раскачиваясь вместе с лодкой, подбежала к носу. Ерандаков подхватил ее и легко поставил рядом с собой.

— Спасибо вам,—тихо молвил старик, не выпуская ее руки,—за пение спасибо... А как же ежели по другому уговору?

Он покосился наКрутовского, разговаривавшего в стороне с Прохором. Не поняв, молодая женщина переспросила:

— По какому уговору?

— Да вы говорили насчет землицы,—еще тише и настойчивей повторил Ерандаков.

Он крепче сжал ее руку, глаза его были попрежнему остры, почти злы. Чуть испугавшись его взгляда, Наталья Никаноровна возразила с подчеркнутой насмешкой:

— На каждый уговор—свой разговор и цена.

Она не ждала, что слова ее примут всерьез. Упорство и грубость старика ее задели, ей захотелось позлить его. Ерандаков поспешил ответить явно двусмысленно:

— За ценой не постою, королева. А какой разговор?

Она вспыхнула от обиды, возмущения и, вырывая руку свою, пронзительно вскрикнула:

— Ай! Да оставьте же! Вы мне делаете больно...

И тотчас поняв, что сама виновата, что сама вызвала эту дерзость, закричала, топая ногами, стуча зонтиком по доскам:

— Вон! вон! Убирайтесь вон!

Обеспокоенный Крутовской подбежал к ней.

Тогда боясь себя выдать, она пробормотала:

— Нет, нет, ничего... Едем домой... Савелий Онисимыч такой неловкий: он наступил мне на ногу.

И все же дня через два Наталья Никаноровна снова поехала к Ерандакову.

У пристани скрипел, выпуская пары, белый пароход.

Шум голосов, крики, падение тяжестей в люк на время оглушили Смолич.

— Денежный король за своим делом,—шепнула она, внимательно всматриваясь в суровое лицо не замечавшего ее Ерандакова.—А ведь у него большая сила, мне даже немножко страшно...

Она подошла к нему вплотную, и только тогда старик поднял голову.

— Здравствуйте, Савелий Онисимович.

Он точно и не изумился ее приходу. Маленькие глаза его вонзились в нее.

— Здравствуйте,—ответил Ерандаков медленно,—рад видеть. Неловкость мою, значит, забыли?

В его голосе не было и тени смущения.

— Помнить-то нечего,—возразила Смолич, невольно переходя в тон его речи.—Пришла, как видите...

— Так...—Он потрогал рыжую свою бородку, как бы что-то взвешивая.

— Зря, я чай, не пришли бы, королева?—спросил старик. Лукавая усмешка тронула его тонкие губы.—Ну, ладно, я сейчас управлюсь, а вы в конторе присядьте.

Он уже не глядел на нее, опустив глаза в тетрадку.

Нервно посмеиваясь, стараясь и не имея сил побороть смущение, Наталья Никаноровна прошла в контору и, остановясь у стола, постучала по нем ручкой зонтика.

«Однако он не любезен,—думала она, кусая губы.—Проще всего уйти...»

Но не ушла, упрямо дождалась его прихода.

— Чего же вы не сели, голуба?—спросил он, усаживаясь перед столом и надевая темные очки.

«Это он нарочно, чтобы я не видела выражения его лица»,—решила Смолич, сев рядом.

— Я хотела спросить у вас,—начала она и тотчас же добавила раздраженно:—вы, кажется, все продаете и все покупаете?

Он шевельнул усами, постучал по гросбуху крепкими своими пальцами с короткими ногтями.

— Покупаю и продаю, как придется. Дорого—продаю, дешево—покупаю. Дело купеческое.

— Ах, да не то совсем!—чертя узоры на полу концом зонтика, глядя себе на носки туфель, перебила, все еще раздра-

женная, Наталья Никаноровна.—Я пришла затем, чтобы напомнить вам о моем деле. Купите вы мою землю?

— Земля—всегда хороший товар,—спокойно отвечал Ерандаков, поблескивая очками:—не залежится, не попортится... При случае и землю куплю.

Она подняла глаза и, встретясь опять с безразличными, поблескивающими стеклами очков, резко перебила:

— Я не могу говорить, когда не вижу, как на меня смотрят. Снимите очки!

Старик придвинулся ближе к столу, налег на него грудью, вытянул шею.

— Значит, выходит все-таки по-моему: вы продавец, я покупатель,—проговорил он, точно и не слыхал ее восклицания.—Почему же с землей спешить? Она что ни год дороже... Человек—только старится, а старикам цена—грош.

Овладев собою, Наталья Никаноровна вызывающе засмеялась.

— Глядя на вас, я бы этого не сказала,—ответила она.—Нет, этого нельзя сказать! Вы что ни день, то—говорят—дороже...

Он возразил медленно и серьезно:

— Я не человек, а дуб. В щелоке варили... Так. А вы об уговоре-то больше не думали? О другом...

— Времени не было. Дайте с делами управиться.

— Так...

Ерандаков опять помолчал, молчала и Смолич. Оба они смотрели друг на друга: она—с вызовом, он—раздумчиво. Наконец старик выпрямился и снял очки.

— Будь по-вашему,—сказал он:—и без очков видно... Вас тоже на кривой не объедешь, королева.—И пригибаясь к ней, протягивая к ее коленям руку, остро глядя в ее глаза, он добавил тихо:—Не упусти времени, королева. Бывает и продешевишь потом. По глазам читаю какова. Напрасно меня задоришь. Нам с тобою лучше в открытую...

Щуря глаза, не чувствуя в себе почти никакой обиды, выгнув спину и крепко сжимая в руках зонтик, Наталья Никаноровна ответила так же тихо:

— Как бы, старик, коса на камень не нашла...

— Знаю, что ты камень, только я не коса, а молот. Землю, коли хочешь, с тобою после обладим, а теперь сказывай уговор свой—скупиться не стану...

— Не станешь?

Она пробовала еще шутить и улыбаться. Внезапно он выхватил из рук ее зонтик и отшвырнул его в угол.

— Говори? Что время терять?

Потянулся к ней, лицо его было жестоко, упрямо. Темный тяжелый огонь затлел в его маленьких глазках.

«А ведь он может,—испуганно пронесся обрывок мысли в зашумевшей голове Натальи Никаноровны,—он прав. Я без сил перед ним... мне даже не стыдно...»

Она все шире раскрывала глаза, рот ее задергался. Ей хотелось встать, убежать, но она не могла.

— Я жду, королева. Землицу за-глаза беру, и задаток при мне,—наклонясь к самому ее лицу, жарко дохнул на нее старик.

— Не понимаю я вас,—через силу произнесла Смолич.— Говорите яснее.

— Чего же понимать? Покупаю у вас землю... на веру и за двойную цену.

— Откуда щедрость такая?

— От любви... Ты не смейся...

Он исподлобья зло смотрел на Смолич. Потом схватил ее руку и стал ее мять, тискать в своих жестких ладонях.

— Сегодня же в Смоленск еду. Там подожду. Приедешь— купчую совершим. Поняла?

Наталья Никаноровна ежилась от боли, но руки не отнимала. Было страшно, почти весело. Она смотрела на старика, щуря глаза, не отдавая себе отчета в своем настроении, в груди стало холодно и пусто, как бывает перед прыжком в воду. «Неужели соглашусь?—смутно мелькнула у нее растерянная мысль.—Но ведь это оскорбление!»

— Ну же, говори,—сказал Ерандаков.

Наталья Никаноровна подняла голову, в упор глянула на старика.

— Поняла,—с вызовом ответила она,—только так я не согласна. Обманешь. Приеду к тебе, а денег нет.

Она пьянела от бесстыдства слов своих, издевалась над самой собой, сладкий яд разлился по телу.

— Я не хочу,—повторила Смолич.

Старик ответил спокойно (чем больше она горячилась, тем он казался холоднее):

— Так... А только я тебе не верю, вперед не дам: обманешь.

— И не давай,—твердо, откровенно глядя ему в острые

глазки, ответила Наталья Никаноровна.—Слушай! Передай расписку и задаток сыновьям. Скажи, что ждешь меня в городе у старшего нотариуса и забыл передать деловые бумаги,—так чтобы они отдали мне их, только проводив на вокзал к поезду...—Она поймала подозрительный улыбающийся взгляд его и добавила почти искренно и покорно:—Не бойтесь: с поезда не прыгну. Можете встретить на вокзале.

Старик перебил ее, довольно посмеиваясь:

— Будь по-твоему. Исполню, как приказываешь, королева.

За последние годы, ездя по концертам и служа в провинциальных антрепризах, Наталья Никаноровна растеряла прежних и не успела приобрести новых знакомых. Выступление в концерте Народного дома устроила ей жена военного министра, Елена Викторовна Сухомлинова, с которой она сблизилась в свою первую артистическую поездку в Киев.

Успех, выпавший на долю Натальи Никаноровны в этот вечер, окрылил ее надеждами на возможность и дальнейших выступлений. У нее даже зародилась мысль организовать самостоятельно ряд таких же патриотических вечеров, но для этого необходим был знающий, известный в артистических кругах помощник. Дымша подвернулся как нельзя более кстати. У него были связи, нюх, бойкое перо рецензента влиятельной газеты. Не откладывая в долгий ящик осуществление задуманного, Наталья Никаноровна уже по дороге на ужин, в автомобиле поделилась с Дымшей своими планами. Иван Федорович восторженно их одобрил и тут же придумал общее название: «Патриотические концерты Натальи Смолич—доблестному воину».

— Известный процент, разумеется, придется отчислить на какое-нибудь пользительное дело, хотя бы на оборудование вагона-бани. Это вам устроит Сухомлинова,—сказал Дымша.

О том, на какие деньги можно начать дело, они не говорили. Но само собой подразумевалось, что средства предоставит Ерандаков. Наталья Никаноровна в этом была уверена, а Дымша об этом тотчас же догадался.

Савелий Онисимович, которого Смолич представила как своего друга, тотчас же был принят Иваном Федоровичем, и вполне справедливо, как богатый ее покровитель. У пона-

торевшего Дымши на этот счет имелся никогда ему не изменявший нюх. Он немедленно же воспользовался случаем и так повел себя с Ерандаковым, так толково и умно говорил об экспорте хлеба, о сельском хозяйстве, вскользь упоминая о своих связях, и так внимательно выслушивал своего собеседника, что совершенно обворожил его.

— Вам тут надо будет кой с кем познакомиться, обязательно,—говорил Иван Федорович воодушевленно.—Таких людей, как вы, в наше канальское время не хватает... ой, как не хватает! Такие люди—клад. Но зато и им клад сам идет в руки,—дружески похлопывая по коленям Ерандакова, похохатывая сочувственно, добавил он.

А кончился разговор тем, что Савелий Онисимович сообразил, что ему, человеку постороннему, ехать незваным в чужой дом, в артистическую компанию, неизвестно в качестве кого,—неудобно.

— Я уж на вас рассчитываю,—дружески пожимая руку, глядя поверх очков на Дымшу, сказал он, вылезая из автомобиля, когда машина остановилась у подъезда:—Вы на меня не сетуйте... а на вас я рассчитываю. Встретимся, потолкуем еще... Дело найдется. Желаю вам веселиться...

— Ну-с,—подхватив Наталью Никаноровну под руку и вводя ее в лифт, который должен был их доставить на седьмой этаж, совсем уже по-приятельски заговорил Иван Федорович,—первый номер нашей программы выполнен блестяще. Не так ли? Мы одни...

— Но только не начинайте второго номера в лифте,—в тон ему, смеясь, глядя на себя в зеркальный простенок, поправляя прическу и вспоминая свое приключение в лифте с Карышевым, кончившееся так неудачно,—перебила его Наталья Никаноровна.—Это банально... и выгодно только для молодящихся старичков,—мимолетно и безрезультатно...

— Вот как?

Дымша, чуть сдвинув на затылок серую фетровую шляпу, играя глазами, придвинувшись вплотную, смотрел на Смолич в зеркало.

Ее пышная красота упитанной, холеной женщины, понимающей его с полуслова, говорящей с ним одним языком, занятой, как и он, только собою и даже во флирте преследую-

щей практические цели, вызвала в Дымше подобие страсти, принимаемое им за подлинную страсть и увлечение.

Едва касаясь кончиками пальцев бедра Натальи Никаноровны, испытывая от этого прикосновения и от лёта машины вверх тончайшее наслаждение, Иван Федорович проговорил восхищенно:

— А разве вы не находите, что мы прекрасная пара? Посмотрите!

Отвечая все так же в зеркало на его заволакивающийся взгляд взглядом своих смеющихся опытных глаз актрисы, умело играя на его чувственности, чуть поводя бедрами, Наталья Никаноровна ответила своим высоким, похожим на журавлиный клекот, контральто:

— Что же в том удивительного, раз мы с вами родственники!.. Однако лифт остановился. Пора переходить к третьему номеру программы, милейший дядюшка. Он, кажется, будет самый интересный. Не так ли?..

По приезде в Петроград Витя Бунаков повез Людмилу на квартиру в один из переулков Загородного проспекта, где он жил со дня поступления своего в Институт путей сообщения и где он прижился настолько, что чувствовал себя, как дома. Он думал устроить сестру где-нибудь поблизости, попросив хозяйку рекомендовать подходящее помещение. Но оказалось, что за время его отсутствия в семье хозяйки произошли большие перемены. Оба ее сына и товарищ, все трое окончившие этой весной электротехническую школу, были мобилизованы и отправлены на фронт, а комнаты их свободны. Сама хозяйка, вдова капитана, убитого в японскую кампанию, получила место заведующей хозяйством в одном из госпиталей и была занята с утра до ночи. Вите она обрадовалась, как родному, поручила квартиру в его ведение и согласилась уступить Людмиле одну из пустовавших комнат, с тем, что в случае, если вернутся ее сыновья и их друг Павел Потанин или Паша, как его звали все в доме, то девушка устроится где-нибудь в другом месте. Из суеверного страха, простительного в ее положении матери, сыновья которой ежеминутно подвергались смертельной опасности, Марья Гавриловна (так звали хозяйку) не хотела сдавать пустующих комнат людям посторонним, чтобы сохранить иллюзию временного отсутствия их хозяев.

Людмила поселилась сначала в комнате Павла, а после, когда получено было от него известие, что он ранен и будет эвакуирован в Петроград на длительный курс лечения, перебралась в комнату сыновей хозяйки на правах близкой семье временной гостьи. Павел не сообщил о дне приезда, не желая доставлять Марье Гавриловне лишних хлопот, а может быть не вполне был уверен, что комната его осталась за ним. Так, по крайней мере, объяснила себе его молчание хозяйка и очень этим огорчалась.

У Марьи Гавриловны были две слабости: она гордилась, что ее зовут так же, как Савину, талант которой она боготворила, и тем, что ее оба сына и их товарищи относятся к ней как к другу. Эту дружбу она ревниво оберегала и любила подчеркивать перед другими.

Во всем прочем это была необычайно энергичная, мужского склада, свободная от предрассудков, умная женщина, умевшая понимать молодежь и разделять ее увлечения. О Павле она говорила Людмиле как о человеке чрезвычайных способностей, несколько резкого, крайнего в убеждениях, и называла его почему-то с ласковой иронией «чумазым».

— А чумазого я проберу,—говорила она,—пусть только покажется!

Витя обежал десяток знакомых студентов, перечитал десяток газет, поговорил с солдатами, уходящими на фронт и, к вечеру усталый, но возбужденный, вернувшись домой, раскопал среди своих книг чистую тетрадку, в которой он думал было записывать лекции в первый год своего студенчества, и стряхнув с нее жирный слой пыли, на первой странице вывел крупным и решительным шрифтом: В о й н а, подчеркнув это слово дважды.

На следующем листке он торопливо написал:

«Решил сюда заносить все, что так или иначе связано с войной, для того чтобы иметь свое к ней отношение. Буду записывать исключительно то, что сам увидел или услышал. Я не склонен приходить в умиление, как точно не собираюсь паникерствовать. Конца войны не предрешаю, так как еще не знаком с партнерами этой игры, не гадаю, когда этот конец придет. Хочу оставаться беспристрастным и не примыкать как к тем, кто кричит: «Ура, мы должны победить», так и к пораженцам. А сейчас у нас в институте тех и других достаточно, и никто ничего толком не знает: все судят теоретически, по существу ни в чем не разобравшись. Война меня интере-

сует с практической точки зрения. Как она отражается на психике человека, как изменяет общественные отношения, и в какой мере и до какой поры люди способны терпеть физические страдания и угнетение духа живого в себе, если только организованное убийство, как принято было думать,—дух угнетает. Я сам, Виктор Бунаков, решил твердо не поддаваться стадному чувству, массовому гипнозу и итти на войну только в том случае, когда меня пошлют туда на законном основании, ибо я гражданин, но не Дон-Кихот: укрываться не буду—и выпирать вперед не стану. Быть по сему.

Дано сие 7 сентября, по приезде в Санкт-Петербурх».

Дописав последнюю строку, крякнув, почесав себя пером за ухом, Витя пришел в равновесие, институтские разговоры показались ему не стоящими внимания, а своя собственная позиция—разумной и крепкой. Бунаков похлопал исписанный листок промокашкой, закрыл тетрадь, сунул ее снова под книги и пошел пить чай к хозяйке.

Людмила была в отчаянных хлопотах. Она возилась с документами, необходимыми для поступления на курсы, сдавала экзамены сразу в нескольких учебных заведениях и наконец попала на сельскохозяйственные курсы, именно туда, куда больше всего хотела. О войне, о политических событиях с ней говорить было напрасно: она ничего, кроме того, что связано было с курсами, не могла и не хотела знать. К тому же, попав в Петроград, смутно припоминаемый после стольких лет отсутствия, Людмила в свободные минуты бегала по улицам, по набережным, по музеям, жадно впитывала в себя очарование этого единственного в мире города, особенно прекрасного в осеннюю золотую пору.

Никогда не испытанное Людмилой чувство свободы, самостоятельности сочеталось необычайно с широтой и прямизной проспектов, неожиданных, всегда поражающих перспектив, с мощным разливом Невы, с зовущими бодрыми гудками пароходов, с упругими бросками ветра, пахнущего морем и просмоленным канатом, вызывающим представление о силе, смелости, настойчивости и борьбе.

В первый же день зачисления своего в число слушательниц сельскохозяйственных курсов Людмила, поймав на Знаменской Витю, идущего из института, потащила его сил-

ком к Исаакию. Она хотела взобраться наверх и оттуда оглядеть Петербург.

Солнечный день был особенно прозрачен и синь. Взобравшись на самую верхнюю площадку, Людмила схватила Витю за руку и, придерживая другой рукой на голове своей фетровый пирожок, счастливыми глазами, как в воду, нырнула в разметавшиеся дали. Озорной ветер трепал ее юбку, выхватывая пряди волос из-под шляпки, гудел в уши нарастающим прибоем. Внизу муравьями сновали люди, сплюснутый Петр Фальконета простирал руку, деревья Адмиралтейского сквера осыпали желтый убор, а дальше... дальше слепило и влекло к себе неудержимо сверкающее море.

— Ты слышишь меня?—крикнула Людмила.

— Слышу,—ответил Витя.

— Какие они крохотные и беспомощные среди каменных громад, в этом просторе! Мы все такие.

— Да.

— И все-таки это они! это мы!

— Что?

— Над простором, над морем, над камнем—наша воля, наш ум! Правда? Отсюда, глядя на Петербург, особенно это понимаешь. Вот город, созданный гением и волей человека.

Людмила, заслонясь от ветра, повернула лицо свое к Вите. Он увидел румянец щек, свеянные на лоб и нос волосы, серые глаза, потемневшие от напряжения мысли и бьющего в них света.

С этой минуты Витя решил крепко: «А и вправду, не родился же я в самом деле только для того, чтобы кончить институт и этим исчерпать назначение своей жизни! Буду читать, ходить в театры, заводить новые знакомства. Шире, шире кругозор, почтеннейший! И, не заглядывая больше в тетрадку с заголовком «Война», засел за мечниковские «Этюды о природе человека», достал Дарвина, прочел «Яму» Куприна и купил билеты на «Дубровского». В институт он до времени не заглядывал, чтобы не слышать разговоров о войне. Но, отправившись однажды в музей Александра III с Людмилой, встретил товарища из института, и началось сызнова.

— Куда вы?—спросил товарищ.

— В музей. А вы?

— На интегралы.

— Бросьте, что за мальчишество! Идемте в музей.

Товарищ замахал руками:

— Что вы! Что вы! Разве вы не знаете, что по интегралам нет учебника? Не записали—оставайтесь на бобах. Пойдемте лучше со мной.

Пришел Витя домой запаренный, шагал по комнате, говорил Людмиле:

— Нет, это чорт знает что! Представляешь себе: в механической все места оказались занятыми, в гидравлической осталось два места в самый неудобный день. Эх, проваленная! Вот тут и занимайся общественностью, тут и развивай кругозор, решай мировые вопросы!

Он помолчал, пошагал, начал снова:

— Нет. Уж если знать, то знать одно, да по-настоящему. Нишкни! А тут еще эта война!..

Он сел, забарабанил пальцами по коленям.

— Кавардак какой-то, ничего не разберу.—Покосился на Людмилу, помолчал.

Людмила сидела у окна, положив на подоконник книгу. В стекла хлестал дождь. Румянец Людмилиных щек точно слинял от этого дождя. Глаза смотрели строго. Волосы старательно и гладко зачесаны были за уши, как у сиделки из госпиталя.

Витя с удивленным вниманием разглядывал девушку. Ему давно уже не доводилось поговорить с нею, встречая ее урывками, за вечерним чаем.

— А тебя тоже мучает война?—спросила она. Людмила смотрела в сторону пристально и строго.

— Мучает? Нет!—вскинулся Витя.

Заложил руки за спину, опустил по-бычьи голову, забегал снова по комнате.

— Не мучает, а нервит. Дергает и путает мысли. Ну, посуди сама: что-нибудь одно—либо институт существует для того, чтобы готовить из нас инженеров, людей практического, созидательного труда, либо это чорт знает что. Вчера была у нас сходка. Стыд один! Ораторов не оказалось: все ораторы ушли добровольцами. Гаврилов, Новиков, Ракитин, Шкарин, семь человек, все члены кассы взаимопомощи, ушли добровольцами... Ну, как же тут не взбеситься? От них не мог я этого ожидать. Все они—парни уравновешенные, работяги, люди с башкой. По мыслям сходились со мною... Ну, что их толкнуло? Неужели стало невтерпеж работать?

Витя взъерошил волосы, покраснев, остановился перед Людмилой. Ноздри его короткого носа раздулись.

— Наука ведет к культуре, закрепляет ее завоевания, так.—Он загнул палец левой руки.—Так,—повторил Витя.— Ну, а если эту культуру да пулеметом?—Внезапно сжав кулак, помахав им перед своим носом, крикнул:—Ой, Витька, держись! Ой, держись!

—И ты уверен, что война эта необходима?—подняв на него в сумерках казавшиеся запавшими глаза, спросила Людмила.

— То есть, как—«необходима»?—не понял Витя, все еще сжимавший кулак.

— Да вот нам—тебе, мне, всем тем, кто хочет работать, строить жизнь,—может быть, она вовсе не нужна, и чем победней—тем гибельней...

Витя раздумчиво посмотрел на кулак, потом на окно, на струи дождя, потом опять на кулак и, медленно разжав его, ответил:

— Ну, знаешь, очень легко отрицать войну как дело, совершаемое всем человечеством. Много труднее отрицать ее как дело народа, которому брошен вызов. Что делать было России? Кланяться и благодарить?

Деревья стояли в пурпуре и золоте. Белая тонкая паутина бабьего лета заплела дорожки в саду, лесные лазейки и твердое побуревшее жнивье. В прозрачном осеннем небе курлыкали дикие гуси. Густой гул молотилки наполнял все дни Крутовского. Он полон был им, этим бодрым озабоченным стуком стальных колес, шипеньем пара, широкоструйным шорохом плывущего наземь ядреного жесткого хлеба. Взвевая розовые облака пыли, девки взмахивали граблями, и все выше поднималась блестящая скользкая стена желтой, как янтарь, соломы. Жалобно взвизгивая, въезжали на артельный ток все новые и новые телеги с артельной рожью; раздувая устало бока, расставляя ноги, тяжело дышали лошади.

Здоровый дух хлеба, пота, конского помета и яблонь из сада забирался в легкие, щекотал нос, сильнее заставлял биться сердце. Леонтий Алексеевич пьян был от работы.

Война грохотала где-то вдали. После первых дней мобилизации, когда из строя жнецов вырывали лучших и уводили вместе с лошадьми, оставляя хлеб догнивать на нивах, все вошло в старое русло. Оставшиеся взялись за брошенные призванными косы и стали махать ими с удвоенной энергией:

хлеба́ не ждали, лето катило своим от века положенным путем к осеннему прелому скату. Крутовскому пришлось подтянуть потуже ремень труда и потребностей. В артели сильно поубавилось рабочих рук. От зари до зари Леонтий Алексеевич не покидал поля, в работу вгрызался зубами, как голодный пес в кость. Работа не давала ему подумать над тем, что совершается, над тем, что должно совершиться, над тем личным, что все еще нудило и тоже требовало разрешения. Но и в работе время от времени Леонтий Алексеевич чувствовал что-то неладное. Точно свинчивалось колесо и крутилось на холостом ходу, точно бы уверенность в самом движении работы нарушалась. Особенно после бесед с крестьянами, частенько просивших у него газету, задававших вопросы, на которые прямо и честно ответить было нельзя.

— Зачем нам эта война? И будет ли лучше после войны? И долго ли она протянется? И не подкачают ли те, кому за войну деньги платят? (Так крестьяне называли все военные организации, комитеты, интендантство, все то, что служит войне, но не воюет.)

И на все эти вопросы у Крутовского или у самого не было ответов, или ответы были настолько неутешительные и неопределенные, что говорить их людям, у которых забрали сыновей и последнюю скотину, то есть отнимать хотя бы утешение в целесообразности их жертв, ничего не предлагая взамен, было бы, по мнению Леонтия Алексеевича, не только не нужно, но и преступно. Тем более, что к самой войне, как чудовищному для Крутовского факту, у него не было еще своего отношения. Крестьяне относились к войне точно к очередной ненужной повинности, тяготе, и только одного желали и с надеждой добивались услышать от Леонтия Алексеевича, что война протянется не дольше, как до весенних полевых работ, до первой запашки, потому что иначе будет совсем худо: хозяйству раззор, бабы одни не управятся, забунтуют.

Чуя в этом желании крестьян большую насущную правду, Крутовской поддавался уверениям газет, что при нынешних условиях война не может тянуться дольше нескольких месяцев, но где-то в глубине начинало ныть, колебаться, дергать: «А что, если?..» И тогда-то начинались сбои в работе, неуверенность и какое-то недопустимое в хозяйстве, требующем ясной целеустремленности в действиях,—«все равно». Тогда-то Леонтий Алексеевич сбегал со двора, придумывал новые дела и заботы.

Так и нынче, идя вдоль Ящура, осматривая наиболее подходящее место для плотины, Крутовской зашел далеко топким ржавеющим лугом и, чтобы не возвращаться домой, решил пройти обратно лесом. Сняв кепку, собирая в нее подвертывающиеся грибы, он шел твердым шагом по знакомой тропинке, мимо недавно выгоревшего лесного участка. Сложенные саженями обугленные дрова и торчащие кой-где погорелые сосенки напомнили ему ту тягостную минуту, когда он стоял беспомощно перед ярко бушующим пламенем.

«Налетело и сожрало»,—думал Крутовской, печально оглядываясь. Он поспешил миновать это место: слишком уж напоминало ему оно собственное его прошлое. «Вздор! вздор!— подбадривал он себя,—надобно выкорчевать пни, засеять ячменем, зола удобрила землю, весною все зазеленеет вновь».

Но тут внезапно во всей своей неотразимой жестокости предстало перед ним существо войны, которую он до сих пор не мог осмыслить, как нечто реальное, мыслимое в действительности, как нечто, ворвавшееся в повседневность, ставшее бытом для многих и многих людей на огромном пространстве когда-то «преуспевающих в порядке и законе» культурных стран. Леонтий Алексеевич посмотрел на обугленный участок помутневшим взором. Впервые задал он себе вопрос: «Ну, а как же я? Что должен я делать? Стоять и смотреть так же безучастно, как я смотрю на эти обгорелые пни? Или самому броситься в пламень, пытаясь затушить его и спасти гибнущий в нем порядок, закон, цветущее преуспеяние, чтобы в неравной борьбе задохнуться и превратиться в такой же обгорелый пень?.. Да полно! Существовали ли точно этот порядок, закон и благополучие? Не сонное ли это видение? Не лживое ли это самообольщение? Раз можно было их снести в один час, в мгновение ока, росчерком пера Вильгельма или Николая, растоптать и закон, и порядок, и уважение к человеку, и самую культуру... Какая же это культура и какая любовь к ближнему, если так легко мог человек их отбросить, как ненужное, даже мешающее? Какое же это благополучие, если миллионы людей могли отказаться от него и даже с восторгом, как пишут газеты, и залезть по пояс в болото, чтобы стрелять оттуда друг в друга, и не чувствовать омерзения к самим себе, не ныть от жалости, от тоски, от отчаяния? Ведь не ради же спасения своего благополучия, не ради спасения культуры и родины и уже во всяком случае не ради идеи и куска хлеба эти миллионы мужиков и рабочих

калечат друг друга. Почему мы спасаем культуру, а Германия топчет ее, по нашим понятиям, и почему Германия спасает культуру, а союзники ее уничтожают, по понятиям немцев? Значит, хваленая эта культура потеряла уже для человечества свою цену, оболгалась, растлилась, выродилась, коли все народы, создавшие эту культуру, так легко топчут ее и, думая, что спасают ее от посягательств на нее противника,—не ведая того, готовят почву для иной культуры, для иных трудов, иных посевов, иной жатвы. Вот так же, как и эта зола, этот пепел удобрил землю для других злаков, иных плодов... Так, что ли?—спрашивал себя Крутовской.—Но тогда, если нельзя продолжать делать по-старому привычное дело, если оно уже обесценено, если его побросали миллионы рук, отказались от него и вот живут, бродя с винтовками по разоренным, когда-то лелеянным полям,—то не лучше ли и мне бросить все это и итти стрелять убоинку, потому что ведь человек перестает быть человеком, когда он не творит, не трудится, не горит благословенным огнем созидания. Значит, и точно нужно нам сгореть или перегореть, чтобы на голом месте начать сызнова или самим превратиться в пепел, удобряющий новую, еще незнаемую ниву... Ведь вот я когда-то тоже верил, что огнем, убийством, геройством можно поправить дело, что, убив одного мерзавца, я спасу миллионы угнетенных, ну, а теперь люди просто уничтожают друг друга, потому что не разберешь, кто прав, кто виноват, а жить так, как жили,—лучше не жить! Может быть, в этом действительно великая мудрость, и война неотвратима, нужна и благостна... И не нужно жалеть ни себя, ни других, а просто перейти в другую жизнь, в другой быт, называемый войною: так точно, переезжая из страны в страну, мы меняем свои привычки в соответствии с привычками окружающих. И чем, действительно, законы войны хуже законов нашего мира? Лучше—потому что прямее, честнее, оголеннее...»

Крутовскому пришли тотчас на память слова раненого, которого он видел в Тильске. Его привезли из-под прусской границы. На вопрос о том, как он чувствовал себя на фронте, раненый ответил Леонтию Алексеевичу одним словом: «Проще».—И потом объяснил:

— Тут только и делай, что ловчись судьбу обмануть, а там ее не обманешь, нет! Смотри ей прямо в глаза—и все тут...

Крутовской повторил теперь, взвевая под сапогом своим серый пепел:

— Смотри ей прямо в глаза.

Конечно, это именно то, что нужно сейчас—смотреть судьбе прямо в глаза и не ловчиться. Не пытаться как-либо итти против событий: не утверждать мир против войны, а не мудрствуя лукаво, не оправдываясь и не оправдывая, признав войну злом, потому что тысячекратно прав Достоевский, что «каждый за все и за всех виноват»,—войти в войну, как в данную нам судьбою жизнь, и если возможно, попытаться сохранить в себе хотя бы крупицу человека, крупицу творчества, как зерно для иной, будущей жизни, если суждено будет остаться в живых.

«Значит, так?—спросил себя Леонтий Алексеевич, улыбнувшись тому, что этот вопрос сорвался с его губ громко.—А не значит ли это признать шовинистический газетный, уличный лозунг «Война до победного конца»? Признать правильность, святость этой войны? Обязательность ее для меня, как для гражданина Российской империи? Нет! Тысячу раз—нет!»

Крутовской даже шапку снял: так стало ему душно от мыслей, от навалившихся на него вопросов, от упрямого желания разрешить их все сейчас же.

«Нет, в этой войне, все отрицающей, поглощающей самоё себя, не может и не должно быть победы или поражения. После нее—только пустое место, вот как это. В бесчестьи (а эта война—сознание человечеством своего бесчестья) нет победы для кого бы то ни было. Победа—для войны честной. Такая война может быть, что бы ни говорили пацифисты,—как может быть честной жизнь, если в осуществление своей веры каждый человек, каждый воин добровольно приносит свою жизнь той идее, которая, по крайнему его разумению, составляет единственный, высший смысл его жизни. Но такая война не для убоины, которую гонят, по Витиному определению, палкой, а для человека подлинной культуры, подлинного сознания».

— Да, вот это так... Это, пожалуй, разрешение вопроса,—громко сказал Крутовской—Уф!.. как будто полегчало даже.

Широко шагая, он пробежал горелый участок и спустился в низину, где росла березовая роща. Огонь не добрался до нее: здесь было больше влаги. По скользкому, жесткому от подсохшей травы скату Леонтий Алексеевич прошел до

первой березы и присел отдохнуть. Рудой папоротник колыхал свое резное опахало. Сизоворонки, перелетая с дерева на дерево, скрипели пронзительно и задорно. Крутовской улыбался грустно. Белые стволы берез, прячась друг за друга, шуршали желтеющей листвой и казались живыми, точно белое платье Людмилы, там, на огороде, под слепящими солнечными лучами...

— Людмила...

Крутовской закрыл глаза, тряхнул головой, но уже не мог отогнать от себя виденье-сон, приснившийся ему, похожий на явь.

Повторяя его в своей памяти, он не знал, точно ли это ему приснилось, или было в действительности.

Он подремывал у себя в комнате после обеда, утешая себя тем, что сейчас встанет и пойдет в поле. «Ну, только одну минуточку,—говорил он себе, силясь поднять веки,—маленькую чуточку... Сейчас иду...» И вот слышит: дверь скрипнула; видит, что лежит он, прикрыв глаза, прикинувшись спящим, а в дверях остановилась Людмила. Она оглядывается, чуть склонив голову, коса свесилась ей на грудь. Девушка едва заметно перебирает конец ее пальцами обеих рук. Потом, осторожно ступая, хмуря брови, не сводя глаз с Крутовского, подходит к его кровати, останавливается у коврика. Не привыкнув еще к желтому полусвету комнаты, она внимательно всматривается в лежащего перед нею, вытянув вперед голову, все не отнимая рук от косы.

Мучительно сдерживая начинающие дрожать веки, Крутовской будто бы в свой черед, не отрываясь, смотрит на Людмилу. В короткие эти секунды он успевает разглядеть каждую черточку в ее лице: черную родинку под левым глазом, узкую черту между бровей и едва приметное движение полных губ; все ее милое знакомое лицо ему открыто в том выражении полной откровенности, когда человек знает, что его не видят. И Крутовскому будто бы до жуткого ясна эта игра мысли и чувства в чертах Людмилиного лица, и он боится понять ее, осмыслить, поверить ей...

«Я подглядываю,—так нельзя,—мучительно думает он.—Нужно открыть глаза, сказать ей, пошевельнуться...»

Но он не шевелится, не говорит, не дышит, смотрит на девушку, замирая, слабея, чувствуя, что вот-вот расплачется от слабости и недоверия к себе. Глаза ее все темнеют, становятся все больше, пальцы все быстрее перебирают косу, то

расплетают, то вновь заплетают ее; губы шевелятся все явственней; скрытая, глубокая боль судорожной тенью проходит по щекам и подбородку. Она коротко вздыхает, наклоняется еще ближе. Он чувствует ее дыхание, слышит шелест ее платья у самого уха. Людмила протягивает руку, пальцы ее едва касаются его волос и сейчас же опять ухватываются за косу. Крутовской не выдерживает, открывает глаза, но девушки уже нет около, он чувствует (все еще во сне), что она, стараясь не шуметь, дошла до двери, приоткрыла ее и, не оглядываясь, снова заперла ее за собою.

И тут Леонтий Алексеевич проснулся, приподнялся, хотел позвать, но, ослабев, опустил голову на подушку. «Что это со мной?—спросил он себя, проводя рукой по вспотевшему лбу и влажным глазам.—Я никак плачу?.. Боже, как я глуп!..»

А может быть, это вовсе был не сон? Может быть, это было наяву? Ведь он же вскочил тогда, кинулся опрометью из комнаты, спрашивал, не приходил ли к нему кто-нибудь...

В тот день Людмила уехала с Витей из Самолюбова. Она могла притти проститься... Почему бы ей не притти к своему старому другу?..

Крутовской закрыл глаза, стиснул затвор ружья, холодную сталь.

«Неужто... неужто мой разговор с Натальей там, в беседке, приняла Людмила за... Нет. Все с той кончено давно и бесповоротно. Ничто не связывает меня с прошлым».

— Ничто!—громко повторил Крутовской, но сердце едко заныло. Ясно и трезво, как никогда, он знал сейчас— сколько бы ни закрывать глаза, ни повторять: «Ничто не связывает меня с прошлым»—все, однажды содеянное человеком, не исчезает бесследно, имеет свое развитие, меняясь, живет, таясь, определяет путь жизни.

19/2 ПЯТНИЦА

ПОЛУЧИВ напутствие от Распутина, икону и благословение от царицы, император выехал из Царского Села в Барановичи, где в то время находилась ставка верховного,

Александра Федоровна провожала царя так, точно он покидал ее надолго. Царь, напротив, был в прекрасном настроении. С ним ехал обычный штат его придворных: министр двора Фредерикс, флаг-капитан генерал-адъютант Нилов, дворцовый комендант Воейков, флигель-адъютанты и лейб-хирург профессор Федоров. Кроме них царь прихватил с собой военного министра, Владимира Александровича Сухомлинова.

Этого последнего царь пригласил с собой нарочно, чтобы досадить Николаю Николаевичу. Великий князь терпеть не мог Сухомлинова, называл его «петанлерчиком» и совершенно не считался с ним как с военным министром. Но помимо того, что царь хотел этим приглашением в ставку неугодного великому князю человека подчеркнуть свою волю, он еще имел намерение воспользоваться Сухомлиновым для посещения на обратном пути из Барановичей крепости Осовец. Гарнизон этой крепости недавно выдержал ожесточенную бомбардировку и отбил атаку немцев. Царь знал, что великий князь был против такой поездки, ввиду ее рискованности и несвоевременности. Потому особенно желал ее осуществления и сговорился с министром скрыть от верховного свое намерение и настаивал на соблюдении строжайшей тайны.

Сухомлинов должен был действовать от своего имени по организации поездки, сохранив инкогнито царя. Николая привлекала поездка в Осовец тем, что он мог увидеть там войска, только что бывшие в деле, и этим как бы подчеркнуть свою непосредственную связь с фронтом, и еще тем, что это был вполне самостоятельный поступок, изобличающий личную его смелость. Кроме того, поездка вне маршрута, без лишних свидетелей и придворных, особенно без надоевшего, больного, вечно пристающего с домашними советами Фредерикса, должна была походить на увеселительный пикник и отвлечь от утомительных мыслей и государственных забот. Сухомлинов со своим веселым характером, кавалерийскими каламбурами, гусарскими чакчирами должен был придать этому таинственному предприятию особую прелесть.

Сидя в маленькой гостиной своего нового, недавно отделанного поезда и играя с Сухомлиновым в безик, царь несколько раз повторял, смеясь и, видимо, забавляясь этой шуткой:

— А ведь, пожалуй, у верховного снова расстроится транспорт при виде вас! А? Как вы думаете, Владимир Алек-

сандрович? Он у него и так слабоват... как от каскара-саграда.

Сухомлинов звякал под столом шпорами, поводил круглыми плечами, затянутыми в защитную венгерку, блестел глазами.

— Ваше величество, я готов быть глауберовой солью, которую дают лошадям, лишь бы она прочистила до конца засоренный желудок верховного командования,—отвечал он, с радостью подхватывая армейскую шутку императора.

За зеркальными окнами хлестал напропалую дождь. Мимо проносились обыкновенные русские деревеньки, раскисшие поля, перелески, негодные даже для того, чтобы укрыться в них от непогоды. Вагон мягко и приятно покачивался. Смеркалось. Граф Фредерикс спал за книжкой французского романа, пустым мешком уйдя в глубокое кресло.

В одиннадцать часов вечера, когда поезд остановился на станции «Минск», царю принесли телеграмму от государыни. Государь прочел ее вслух Сухомлинову и всем присутствующим.

— «Все хорошо. Ножка меньше болит. Холодно. Скучаем. Ждем раненых. Вечером писали. Крепко целуем. Храни тебя бог. Аликс».

— Хвала господу!—широко и размашисто крестясь, по-унтерски выдохнул с наигранным «истинно-русским» прямодушием Сухомлинов.—Благая весть о наследнике.

— Да,—после минутного молчания ответил царь.— Как странно! И на этот раз старец помог... Изумительно, изумительно!.. А еще смеют говорить о нем...

Губы царя сжались жестко. Он откашлялся, разгладил усы и, чтобы скрыть свое раздражение, потянулся за портсигаром.

Пустив первое аккуратное кольцо дыма, следя за его полетом и приходя в равновесие, Николай сузил византийские глаза, хитренькая улыбочка зашевелила рыжеватые усы и, отвечая на свои мысли, он неожиданно спросил министра:

— А вы не боитесь, что ваша глауберова соль может вызвать припадок желчи у пациента?

— Нет, ваше величество, я не боюсь этого, потому что в вашем лице тотчас же найду верное противоядие,—расторопно ответил Сухомлинов. Но в голосе его не было уверенности.

20
3
СУББОТА

В ПЯТЬ ЧАСОВ тридцать минут императорский поезд прибыл на станцию «Барановичи». Царя встретил Николай Николаевич с чинами штаба и свитой. Поезд отвели по подъездному временному пути в сосновый лес, где находился штаб верховного главнокомандующего, и поставили рядом с поездом великого князя.

Дождь лил не переставая. С сухим шорохом он сыпал по хвое, задувал в лицо, забирался за воротник. Но песчаный грунт всасывал влагу, итти было легко. Николай Николаевич повел царя к себе в вагон.

— Ну, как? Здоров?—спросил Николай.—Все благополучно?

Склонясь к царю, идя боком, чуть отведя правое плечо и держа с аффектированной старательностью руку у козырька мятой фуражки с большим козырьком, какую носил его отец, великий князь ответил хриповатым, едва сдерживаемым покриком:

— Разрешите, ваше величество, поздравить с победой у Сувалок и Мариамполя.

— Ах, вот как!

Царь приостановился, подняв голову, смахнул перчаткой упавшую на лоб дождевую каплю.

— Что же,—добавил он неопределенно,—от души рад... Отслужим благодарственный молебен...

В вагонах верховного было нестерпимо жарко и накурено. На столе в кабинете великого князя лежала казацкая нагайка, растерзанная карта-десятиверстка, цейс в открытом кожаном чехле. Всюду чувствовался холостяцкий беспорядок, неопрятность. Пахло табаком, кожей, нагретыми калориферами.

Царь поморщился, отвернулся к окну. В окно виден был одноэтажный деревянный домишко, хранитель военных тайн,—управление генерал-квартирмейстера,—и дождь, надоедный, унылый дождь...

— Ты принимаешь доклады в этой хибарке?—спросил царь скучливо.

— Да,—отвечал Николай Николаевич.—Это очень удобно: всего несколько шагов от меня.

Царь мельком глянул на дядюшку. Тот стоял, как был,

в фуражке, в длиннополой шинели, опоясанной потертым ремнем, в высоких грубой кожи сапогах,—огромный, костлявый, неуютный, как его обиталище, похожий на большую, тощую, вышедшую из строя кавалерийскую лошадь, устало подогнувшую колени, но готовую задрать «звездочетом» голову при первом звуке горниста. В глазах, занавешенных преданностью и щетинистыми бровями, все еще тлело упрямство и воля,—Николай Николаевич не замечал, что царь на него смотрит...

21/4 ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ДЕСЯТЬ ЧАСОВ утра, как обычно, верховный принимал доклад генералов Янушкевича и Данилова о ходе военных действий и донесениях, поступивших в течение истекших суток. Император присутствовал на этом докладе. В кабинете Данилова, на длинном столе разложена была десятиверстная карта с намеченным на ней расположением русских и неприятельских войск. За окнами, плотно прикрытыми, возились, отчаянно кричали воробьи. Дождь перестал, с застрех капали по жолобу звонкие капли, вверху сквозь темные, отяжелевшие ершистые шапки сосен видно было бледное, как только что выстиранный голубой лоскут, осеннее небо. Откуда-то, очевидно из-за угла дома, вырвался беспокойный, непрестанно перебегающий косой луч солнца. Песок на дорожке, ведущей к императорскому поезду, стеклянно, радужно поблескивал.

Хорошо выспавшийся, чувствующий себя, как никогда, бодро, царь с любопытством оглядывался. Садясь рядом с Николаем Николаевичем за стол, он хотел было попросить открыть окна, но, вспомнив, что предстоящий доклад требует строжайшей тайны, покорно, как примерный ученик, опустил глаза на карту и попросил начинать. О военном министре он забыл, несмотря на то, что тот еще вчера вечером почтительнейше просил его о разрешении присутствовать на очередном докладе. Только личная неприязнь великого князя к Сухомлинову могла допустить и даже ввести в систему, чтобы военный министр, в редких случаях своих приездов в ставку, оставался в полном неведении о расположении

армии и тем самым не имел бы возможности внести необходимые поправки в свои соображения о сроках и размерах подготовки сил и средств. В то время как решались существеннейшие вопросы, непосредственно связанные с военным министерством, в то время как ставилась на карту судьба многомиллионного войска, для которого правильно налаженная работа была так же необходима, как и маневрирование наличных сил фронта,—преступно и неуместно было министру бездельно сидеть в своем салон-вагоне. Все это высказал царю Сухомлинов, правда, утаив главное, что заставляло его просить о допущении на доклад,—свое уязвленное самолюбие и желание волей царя переупрямить верховного. Но Николай, вполне согласившийся с доводами своего друга и министра, в нужную минуту забыл о своем обещании. Может быть, даже не хотел вспомнить о нем, потому что, мечтая о поездке в Осовец, боялся преждевременно возбудить к себе недоверие Николая Николаевича.

Сейчас император положил перед собою портсигар, облокотившись на стол, приглядывался к стоящему перед ним Янушкевичу.

Начальник штаба, опрятно одетый, в меру холеный и в то же время по-военному подтянутый, держа в руках рукопись, сообщал о том, что произошло за истекшие сутки. Он читал размеренно, очень внятно, не вдаваясь в подробности, именно так, как любил царь. Ввиду того, что никаких крупных событий за 20 сентября на фронтах не произошло, доклад начальника штаба, продолжавшийся около часа, свелся к длинному ряду коротких указаний: в таком-то корпусе без перемен, в такой-то дивизии такие-то роты сделали то-то, в такой-то дивизии перестрелка, против такого-то корпуса замечен неприятельский полк, который по прежним сведениям считался на французском фронте. Покончив с европейским театром войны, Янушкевич перешел к фронту кавказской армии.

Генерал Данилов, следя за докладом по карте, поблескивал птичьими своими, красивыми выпуклыми глазами, указывая карандашом упоминаемые пункты расположения и продвижения войск.

С трудом улавливая общее положение фронта и целесообразность его построения, царь, с обычной для него острой памятью на имена и числа, при упоминании той или иной части, того или иного корпуса поднимал глаза на докладчика

и одобрительно кивал головой. Несколько раз он прерывал Янушкевича и спрашивал, не командует ли таким-то полком такой-то полковник, и, получив утвердительный ответ, торопливо и заинтересованно говорил:

— Продолжайте, продолжайте... Это очень интересно.

Доклад, старательно и аккуратно составленный оперативным отделом генерала Данилова, читаемый так же старательно и аккуратно генералом Янушкевичем, носил обычный характер выслеживания по карте с севера на юг отдельных эпизодов, без всякой попытки связать общей мыслью предшествовавшее с настоящим и тем более высказать предположения на будущее. В докладе не было речи о задачах фронтов и армий, поставленных им на разрешение главнокомандующего. В нем не было указаний на вероятные действия неприятельских групп. Создавалось впечатление, что есть длиннейшая цепь русских корпусов и дивизий, а против них такая же линия неприятельских войск, и между отдельными точками этих линий происходят столкновения так, как если бы лежащие рядом и случайно спутавшиеся нитки сплелись то там, то здесь в неожиданные узлы без всякого к тому разумного повода. В размеренной речи начальника штаба звучал хаос военных событий, управляемый случайностью.

Но ни верховный, ни генерал, зачитывающий и разъясняющий доклад, не замечали этого. Не заметил этого и царь, с любопытством ловивший знакомые названия корпусов и вспоминающий знакомые фамилии командующих ими.

Сквозь закрытые окна все ярче припекало солнце, все веселее горланили воробьи. Царь взглянул на часы; близился полдень. Николай сощурился на солнечные пылинки, танцующие над картой, на белые листки бумаги, разбросанные по столу, точно полотна на зеленом лугу, какие видел он когда-то на маневрах. Тогда ему сказали, что так белят на солнце бабы свое домотканое полотно. Это почему-то показалось царю очень забавным: он уверен был, что от такой побелки белье станет только грязнее. И теперь, вспоминая эту забавную мелочь из далекого прошлого, разморенный однообразным голосом Янушкевича и жарой, он почувствовал, как все его существо погружается в сельский мир и тишину. Он устало вытянул под столом ноги, закурил, еще плотнее прикрыл веки, чувствуя на лбу горячее прикосновение солнца, как ласку широкой ладони императрицы.

Стало тихо. Генерал Янушкевич почтительно смолк,

свертывая в трубку свой доклад. Данилов прибирал со стола карандаши. Николай Николаевич, приоткрыв рот, выставив вперед ряд крупных, желтых редких зубов, барабанил неслышно костлявыми, с ревматическими подушками на суставах, пальцами по лакированной от солнца карте, где все еще разбегались флажки и синие и красные змейки фронтов,— не кровь, не смерть, а всего лишь—бумага и следы цветных карандашей.

Все ждали, когда изволит встать его величество, самодержец всероссийский.

Вечером, отделавшись от свиты и чинов штаба, от громоздкого Николая Николаевича и обиженного Сухомлинова, царь заперся у себя в спальне, снял сапоги, брюки, гимнастерку и, оставшись в одном нижнем белье, сунул ноги в шлепанцы, с наслаждением потянулся, сел в кресло у переносной лампочки под зеленым абажуром и распечатал полученный им сегодня днем пакет от императрицы. Он сделал это не торопясь, с бережным вниманием, предвкушая отдых и молчаливую беседу с далекой женой.

Николай устал за день. После длинного доклада у верховного ему пришлось принять представлявшегося бледного, близорукого человека, терявшегося без очков, которые он снял в присутствии императора,—худощавого генерала, с двумя новенькими георгиями на груди, больше похожего на учителя арифметики, чем на полководца. Генерал этот был—Рузский. Царь назначил его генерал-адъютантом за последнюю победу на прусской границе. Чтобы расположить императора в пользу задуманной им операции на Карпатах, Николай Николаевич особенно расхваливал Рузского и превозносил его стратегические таланты. Царь заранее улыбался, представляя себе, как нелепо будет выглядеть командующий с генерал-адъютантскими аксельбантами.

После завтрака Николая фотографировали в группе с чинами штаба. Особенно порадовали царя лейб-казаки, несущие караульную службу при ставке. Царь встретил их во время прогулки в сосновой роще. Их улыбающиеся лица, вихры русых волос, торчащие из-под шапок, привели его в восторг.

— Посмотри,—сказал он Дрентельну, флигель-адъютанту, следующему за ним,—посмотри, какие красавцы! С такими

молодцами можно быть спокойным. Они не выдадут... Как жаль, что здесь нет Алексея! Он бы с радостью поиграл с ними...

Воспоминания о сыне, о доме размягчили царя. Чтобы флигель-адъютант не мог заметить неожиданно увлажнившихся глаз, он нагнулся, поднял еловую шишку и понюхал ее. Она пахла скипидаром и еще больше разволновала его,— скипидаром пахла та мазь, которой растирала себе больную ногу Александра Федоровна.

Теперь, разминая упруго шуршащие листки письма, Николай снова испытывал приятную растроганность.

«Мой возлюбленный,—писала императрица по-английски,—я отдыхаю в постели перед обедом, девочки ушли в церковь, а беби кончает свой обед. У него по временам лишь слабые боли. О, любовь моя, как тяжело было прощаться с тобой и видеть это одинокое бледное лицо с большими грустными глазами в окне вагона! Я восклицала мысленно: «Возьми меня с собою!» Хоть бы Николай Павлович Саблин или Мордвинов были с тобою: будь какая-нибудь молодая любящая душа около тебя, ты бы чувствовал себя менее одиноким и более тепло»...

Царь позевнул сладко, опустил на кальсоны хрустнувшие плотные листки письма, потянулся за папиросой. Ему запретили на ночь курить, и Александра Федоровна старательно следила за исполнением предписания врача. Сейчас Николай с особенным удовольствием потянул в себя приятный дымок, зная, что никто его не остановит.

За окном слышны были размеренные шаги часовых. В зеленом полумраке вагон напоминал стеганую коробку из-под конфет. Какая-то шальная муха гудела в пустом стакане. Царь закрыл глаза, наслаждаясь тишиной.

«Неужели все-таки война?»—после минутного забвения подумал он и, чтобы не расстраиваться, торопливо поднял письмо к свету лампы.

Письмо было длинно, полно политических новостей, почерпнутых царицей из письма сестры ее, принцессы Баттенбергской, урожденной герцогини Гессенской. Царь прочел эти строки мельком, стараясь не останавливать на них своего внимания, встал и потянулся. Он решил тотчас же написать ответ. Нежные строки жены напомнили счастливое прошлое, жениховство, старый замок, худенькую большеглазую Аликс в глубокой нише окна. Николай сел за стол. По мере того, как

он сообщал жене все события дня, круг мыслей и впечатлений его суживался, замыкался в милых сердцу семейственных мелочах. Тишина убаюкивала.

Шел первый час ночи. Вложив письмо в конверт, запечатав его, царь поднялся. Спать еще не хотелось. Воспоминания, возврат нежности к отсутствующей жене подняли его нервы. Внезапно внимание его привлекла какая-то пылинка, вильнувшая перед глазами. Николай пригляделся: это была моль. Пытаясь поймать ее, царь сделал прыжок в сторону и поднял руку. Моль выскользнула; она ухитрялась исчезать из-под пальцев и вновь появляться в другом месте.

Увлеченный погоней, царь добежал до окна. Моль села на штору. Николай ударил ее ладонью. Из-под шторы вылетело еще несколько вертких пылинок, полетело в глубь вагона. Царь вгляделся в штору: она была изъедена по краю, точно пронизана шилом.

«Когда они успели завестись?—подумал он.—Новый поезд, новый вагон—и уже эта дрянь...»

Ему показалось душно. Он дернул за кисточку—штора взвилась вверх—и с усилием спустил зеркальное стекло.

— Всюду проникает,—пробормотал Николай, гоня от себя непрошенную тревогу, боясь вникнуть в причину ее возникновения.

Он стоял в желтом квадрате окна, пощипывая ус. По волосам его от лба к затылку пробегал щекочущий сыроватый ветерок. После освещенного вагона ночь казалась непроницаемо черной. Целительно пахло хвоей. На песок под окно упал жирный квадрат света, вдоль него вытянулась колеблющаяся тень императора. Где-то в стороне невидимый часовой перехватил приклад ружья, взяв на-караул.

Досадливо вспомнив, что на нем только нижнее белье, царь торопливо потянул вверх раму и спустил штору.

В последних числах августа Игорь вместе с обученной им маршевой ротой присоединился к полку и, начиная с середины сентября, непрерывно находился на передовых позициях.

Преображенский полк в составе 1-го гвардейского корпуса кинут был в дело одним из первых, как и остальные гвардейские полки, из соображений политического характера. Гвардией, обладавшей отборнейшим людским и конским

составом, военное командование хотело козырнуть как боевой единицей. Во-первых, потому, что Николаю Николаевичу, бывшему командующему Петербургским военным округом и гвардией, приятно было бы видеть знамена своих полков украшенными первыми лаврами побед и входящими в Берлин. Во-вторых, потому, что он больше всего полагался на их дисциплинированность и стойкость. В-третьих, потому, что нужно было демонстрировать перед демократией страны готовность российского дворянства первому жертвовать своими сынами во благо и славу родины и этим как бы поднять доверие к правительству, к чистоте его замыслов.

Вот почему гвардия, которую в прежние войны приберегали на всякий случай в тылу, как наиболее политически благонадежную, на этот раз, напротив, отдали на растерзание в первую очередь, и действительно, уничтожили к концу войны кадровый ее состав целиком. И после каялись, когда в роковой для империи час не нашлось никого из так называемых «верных сынов», готовых умереть с именем Цезаря на устах.

18 сентября преображенцы брали подступы к Мариамполю, занятому в последние бои немцами.

Дело заключалось в том, чтобы пробежать несколько сот саженей, перерезать проволоку и ворваться в немецкие окопы.

Поле между двумя линиями противников было ровное, кой-где блестевшее лужами от частых в те дни дождей. И в обыкновенный охотничий денек, где-нибудь под Стружанами, Игорь перебежал бы его в четверть часа. Сейчас шли уже пятые сутки, а цель оставалась такой же близкой и недостижимой.

С рассвета начинали греметь орудия. Согласно инструкции они выясняли обстановку предстоящего авангардного боя и выщупывали молчавшего противника. Немцы упорно не откликались. Тогда поднималась пехота и, подталкиваемая сзади перемещающимся прерывистым грохотом своей артиллерии, цепью бежала по комьям грязи, по лужам, с тем, чтобы, пробежав несколько десятков саженей, залечь под огнем противника и снова вернуться, оставляя за собою убитых и раненых.

Ни разу за все эти пять дней русской артиллерии не удалось подавить огонь противника, привлечь его на себя с тем, чтобы завязать артиллерийский бой и таким образом дать

возможность преображенцам и измайловцам, идущим в одной линии, достичь проволочных заграждений.

Все так же в блеклом рассвете перед глазами медленно из-под сети дождя и тумана выплывало бурое поле, тускло белели лужи, клубились над ними тучи. Все так же трудно было высунуть голову из-за прикрытия, и все так же тупо и безразлично шлепали ноги по грязи, гудело в ушах, ломило плечи, когда приходилось бежать вперед.

На 20 сентября артиллерийская подготовка началась в глухую ночь, и еще затемно людей вывели из окопов. Противник молчал, но русские орудия рычали все яростней, все непрерывней.

Полосы света лизали кочковатое поле и погасали так, точно бы кто-то, озоруя, открывал и закрывал двери из освещенной комнаты.

Каждый раз, попадая в эти мгновенные полосы, Игорь приподымал плечи, закрывал глаза. Он бежал трусцой, как бежит опоенная лошаденка по изъезженной дороге, и так же, как она, ни о чем не думал. Он только старался не слушать, не смотреть по сторонам, зная по опыту, приобретенному за эти дни, что только так, глядя себе под ноги, можно сохранить присутствие духа, безразличие и уверенность в том, что этот бег по вязкому полю имеет цель и смысл.

Игорь бежал в ряду своих преображенцев, то обгоняя, то отставая от них, стараясь уравнять свой шаг с тем, чтобы приберечь силы и разогреться. Только в этом он видел сейчас свою задачу. О том, что задача его заключалась в командовании, руководстве атакой, он не только не помышлял, как в первые дни своего боевого крещения, но знал, что она невыполнима и вредна. Нужно было бежать, куда бежали все.

Под ногами шмякало густое месиво вспаханного, невидного сейчас поля. Приходилось поднимать высоко ногу и ставить ее как можно легче, чтобы грязь не налипала на сапоги, не мешала итти. Когда луч прожектора нежданно ударял в глаза, черное месиво принимало очертания крутого горбыля, на который, казалось, не хватит сил подняться, и Игорь обегал его, воровато хоронясь в тень.

Гул и грохот, нагоняющие сзади, жестокие вспышки разрывов впереди, тяжелое дыхание бегущих рядом, лопающийся свист снарядов в вышине, изморозь, оседающая мелкими каплями на лоб, покалывание где-то под сердцем, хлюп сапог—все сливалось в одно неясное ощущение сонной бес-

толковой одури. Игорю чудилось, что бежит он легко и быстро, но бежал он все медленней, все тяжелей, забирая почему-то вправо, удлиняя этим свой путь и подвергаясь все большей опасности.

Ему казалось, что он давно уже опередил своих, что над ним все та же густая тьма, но в действительности он значительно отстал от солдат своей роты, и если бы поднял глаза, то легко мог бы различить в предрассветной хмаре бегущие впереди тени, накренившиеся телеграфные столбы, галок над колеблющимся в сети мелкого дождя полем.

Спотыкаясь о шпалы уходящего в сторону железнодорожного пути, Игорь скатился под откос и, все не подымая глаз, сжав мокрыми руками винтовку, вскарабкался на бугор. От бугра снова тянулось поле, за ним из желтой невиди остро и дико торчали колья с колючей рваной сетью. Оттуда сыпало часто и весело щелкающим горохом.

Игорь невольно прянул в сторону. Солдаты его цепи бежали далеко влево. То пригибаясь к земле, то вскакивая, они миновали уже первую преграду. За ними с глухим, похожим на лай криком бежали новые цепи. Игорь ахнул и кинулся к ним, тоже крича и взмахивая винтовкой.

Крики становились все явственней. Цепи смыкались, люди перли друг на друга в образовавшийся прорыв, оставляя за собою повиснувших на заграждениях убитых, как волк оставляет клоки шерсти, убегая от собак.

Все шире раздирая рот, точно от того, насколько широко ему удастся его открыть, зависит его жизнь, Игорь обгонял каких-то невидных ему, так же слепо орущих людей, прыгал через спутанную проволоку, вымазанные в глину бревна, застывшие тела, скользил, падал, вновь подымался, подгоняя себя своим криком. Желтая невидь то проглатывала его целиком, то редела, сердце рвалось и глухо, гибло стенало, заглушая грохот метущих сзади пушек. Собственный крик казался криком сотен глоток, разверстых навстречу, выжигающих нутро.

Игорь напрягся в последнем усилии, захватил руками воздух, выронив винтовку, пальцы вцепились в живое тело, заслонившее свет и навалившееся на него. Не отпуская, в ожесточенном отчаянии Игорь сжал чье-то горло.

«Умираю»,—не подумал, а каждой порой своего оледеневшего от ужаса тела почувствовал Игорь. Если бы он захотел, то не мог бы теперь разжать руки. И все с открытым, но оне-

мевшим ртом, с выпученными, но слепыми глазами рухнул куда-то вниз, в пропащий мрак, не отпуская того, кого душили его закостеневшие пальцы.

Яма, поглотившая Игоря, была немецким окопом, вся передняя насыпь—эскарп—которого замаскирована ветками и травой. Немцы покинули окоп раньше, чем преображенцы добежали до заграждений. Они не приняли атаки, отступили под непрерывным, пристрелявшимся огнем русской артиллерии, и до сих пор не умолкающей.

Последний пулемет был сбит, гулкая тишина встретила ворвавшихся преображенцев и измайловцев, все еще орущих «ура» и возбужденных до предела.

Просторные четырехъярусные окопы, связанные друг с другом узкими коридорами и рвами, тянулись на многие сотни сажен длинными рядами извилистых галлерей. Сверху нависали сплошные крепкие стены досок и бревен, утрамбованных глиной, то там, то здесь развороченных снарядами, разметанных в щепы. Под ними в блеклом свете зачинающегося дня ломаные винтовки, шрапнельные снаряды, защитные каски, патронташи, клочки одежды, пропитанной кровью, громоздились точно сметенные метлой, засыпанные песком отбросы. С недоуменным шелестом капали на весь этот хаос последние капли дождя.

Игорь смотрел вокруг с тем недоумением, с каким смотрит человек, только что пробудившийся от сна. Он был в холодном поту, едва шевелил замлевшими руками, отпустившими наконец то, что они удерживали с таким напряжением.

Рядом с Игорем, прислонясь к глиняному скату, полусидел, полулежал солдат и в свою очередь смотрел на офицера.

Игорь вгляделся в него пристальней и, боясь признаться себе, что глаза его не обманывают, узнал в сидевшем преображенца своей роты. Преображенец, глядя на Игоря и, видимо, тоже только сейчас узнав его, проговорил придушенным, но счастливым голосом:

— Вот ведь как вышло!..

Он, привстав на колени и повертев головой, удостоверясь в том, что она на месте, пополз к отброшенной при падении винтовке. Взяв ее и глянув в дуло,—не забилась ли в него земля,—он оперся о приклад и встал на ноги.

— Вот, значит, и пришли,—снова начал он,—а хозяев дома нетути... Не любят немцы гостей принимать...

«Неужели же это я его душил?—все не шевелясь, не сводя глаз с солдата, подумал Игорь.—Эх, трус!.. Ах, какой же я трус!»

Он зажмурился, шевельнул ногой, пытаясь встать, но вскрикнул от боли. «Наверно подвернул неловко при падении. Чорт, еще не хватало!»—царапая ногтями землю, сдерживая стоны, утешал себя Игорь, щекой прильнув к сырому, приятно остужающему песку.

Преображенец дотронулся до него.

— Что, ранены, ваше благородие?—спросил он.

— Нет, нет,—пробормотал Игорь, съежившись, плотнее закрывая глаза, чтобы не видеть солдата, еще хоть одну крохотную минуту остаться с самим собой, отдохнуть.— Нет... пустое... Полежу—пройдет... Сам встану...

Он знал, что сейчас нужно будет превозмочь себя, подняться на ноги, итти разыскивать своих, принимать какие-то решения, говорить с начальством, но именно этого ему особенно не хотелось. Он казался себе таким жалким заморышем, таким маленьким, затравленным, задерганным существом, несмотря на то, что все ужасы были позади, что вражеские окопы очищены и он один из первых вбежал в них. Это чувство страха и загнанности не было сознательным ощущением человека, владеющего своими мыслями. Игорю страшно было только открыть глаза, заговорить, стыдно было увидеть людей, но он не знал причины этого стыда и страха. Все же, превозмогая слабость, он открыл глаза и сквозь ресницы посмотрел на преображенца.

Солдат отошел в дальний конец пустой, завалившейся, отгороженной от окопа обломками досок ниши и, став лицом к глиняному скату, отправлял свою нужду. Потом, не торопясь, видимо довольный, что он тут в полной безопасности, что он не должен уходить отсюда, раз офицер тоже лежит здесь и не отдает никаких приказаний, присел на вывороченное из эскарпа бревно и, вынув из-за пазухи свалявшийся кусок черного хлеба, стал медленно его есть. Сейчас на свету—солдат сидел под самым обвалом, посредине ниши, и над ним запрокинулось прояснившее небо,—он виден был Игорю весь до мельчайшей черточки.

То, что он был преображенцем и даже солдатом его взвода, Игорь узнал тотчас же, как пришел в себя, но только те-

перь из своего угла он разглядел и припомнил в сидящем одного из тех запасных, которых учил еще до отправки на фронт. Все же фамилия солдата никак не шла на память, и Игорь тут же поймал себя, что даже лицо этого человека, встречаемого изо дня в день, только сейчас стало ему по-человечески знакомо и даже что-то отдаленно напомнило.

Преображенец сидел на бревне сгорбившись, как сидят обыкновенно уставшие после работы полуднюющие на своей делянке порубщики. Несмотря на то, что на нем были защитного цвета полинялая фуражка с кокардой и форменная гимнастерка со всей походной амуницией, он в эту минуту совсем не был похож на солдата и, может быть, потому так показался Игорю человечески отличен. Сидя на бревне, широко расставив ноги в сапогах с налипшей на них глиной, пригнув голову к коленям, держа перед жующим бородатым ртом кусок хлеба, человек этот смотрел на хлеб внимательным взглядом светлых глаз, окруженных сетью морщинок обуглившейся от загара кожи. Усы и несколько дней не бритая борода иссохшей белесой хвоей топорщились вдоль щек и подбородка. Уши двигались при каждом глотке, праздно лежавшая на колене левая рука свисала до земли, как корневище. Он был так покоен, так всем существом отдыхал и насыщался, что Игорь, глядя на него, вышаривая в памяти его фамилию, перестал ощущать время.

«Вот кого я чуть не задушил!»—думал Игорь и в то же время ему казалось, что перед ним лесник Егор из Стружан, что нет никакой войны, а сидят они после охоты на привале, и так отчаянно хочется есть, как только может хотеться есть на охоте.

«Как же все-таки я его не помню?—опять начинал допытываться Игорь, смотрел на хлеб и мучился голодом.—Если бы он был Егором, я бы у него попросил, а у этого—ни за что! Нужно сейчас встать и итти...»

Но Игорь не вставал, не шевелился, обманывая себя тем, что не хочет тревожить уставшего, голодного солдата, тогда как сам все острее ощущал приступы голода и уже не мог оторвать глаз от хлеба.

«А что, если попросить? Нет, ни за что!.. Он солдат, совсем мне чужой, может быть, даже враждебный. С какой стати он станет делиться? Я же убить его мог... от страха...»

И чувствуя все больший стыд, похожий на голод, и голод, вызывающий все более жестокий стыд и жалость к себе,

слабея и не имея воли противиться мучительному желанию поесть, Игорь, стараясь не слушать себя самого, не глядя на солдата, давясь словами, пробормотал:

— Дай мне... кусочек... Чорт знает, до того хочется есть...

Он не слушал себя, но знал, что голос его звучит фальшиво и жалко, а рот дергается в подлой, заискивающей и в то же время пытающейся быть насмешливой улыбке.

«Ну вот, сейчас встану и убегу,—торопливо, с отвращением к себе подумал Игорь.—Вот сейчас откажет...»

Он попытался приподняться на локти, попытался встать. Но, еще не открывая глаз, почувствовал у лица своего домашний, родной запах хлеба и, не глядя, наперекор себе, повинуясь инстинкту голода, протянул руку.

Солдат молча отломил кусок, подал его и медленно вернулся на свое место. Он сел, как сидел раньше, широко расставив ноги, и в то же мгновенье огонь и грохот, песок и щепы закрыли его от глаз Игоря. Душная струя воздуха, как бич, полоснула и бросила Игоря плашмя к самой стене окопа.

Оглушенный, ослепленный, но живой и в сознании, хрустя на зубах песчинками, попавшими ему в рот вместе с первым глотком застрявшего в горле хлеба, слизывая с расцарапанной губы кровь, Игорь перевернулся на бок и снова застонал от ломящей боли в ноге. Не имея сил поднять головы, он скосил глаза на свои ноги: они были целы.

Поодаль Игорь увидел переломленное, расщепленное бревно. Прислонясь к нему спиной, так, точно он нарочно соскользнул наземь, полулежал преображенец. Ноги его все так же были широко раскинуты, голова опущена, глаза, как и раньше, сосредоточенно смотрели на живот, который он поддерживал двумя руками. Из-под пальцев торопливыми струйками бежала кровь, и все выдувались, набухали под ними живые, спутанные узлы кишек: они чуть дымились...

«Как странно!»—подумал Игорь с невольным детским непониманием и любопытством вглядываясь в них. Неподалеку мирно поблескивал разбитый шрапнельный стакан. Приторная муть прошла по глазам Игоря. Преодолевая дурноту от пробудившегося сознания действительности, он начал бестолково шарить вокруг себя, не зная, что делать, как помочь, повторяя тупо: «Сейчас... сейчас...»

Волоча за собою ноги, как собака, разбитая чумой, он подполз к раненому и стал рвать на себе гимнастерку.

— Вот сейчас,—повторил он,—вот сейчас...

Солдат поднял глаза. Игорь увидел закатившиеся, точно у спящей птицы, белки, зубы из-под разъятых страданием черных губ, дико ощеренные, смоченные бурой пеной.

— Вот сейчас,—опять начал Игорь, онемевшими руками сворачивая в бинт оторванный лоскут исподней рубахи и наклоняясь над раненым.

— Убей...—через стиснутые зубы хрипнул тот.

— Вот сейчас...—начал было Игорь.

— Убей, говорю!—громче, надсаднее, выдавливая последнее слово хлюпающим шипом, повторил преображенец.— Мочи нет... Убей...

Он захлебнулся пеной, запрокинулся навзничь, затылком стукнув о балку. Кишки и кровь, дымясь и пузырясь, полезли из-под разжавшихся ладоней на подобравшиеся к животу колени.

— Чорт!.. Дьявол!.. Убей!.. Убей!..—часто-часто всхлипывая, втягивая со свистом воздух, забормотал раненый.— Христа ради у-бей!

Не отрывая от него глаз, как никогда, остро видя, слыша и понимая, но не находя в себе мужества исполнить просьбу умирающего и не зная, чем ему еще можно помочь, Игорь поднялся, радуясь своей боли, как избавлению, припрыгивая на одной ноге, попятился в глубь окопа и тяжело рухнул на скользнувший в это мгновенье по взрыхленному песку теплый и ласковый солнечный луч.

Шрапнель, ударившая в окоп и ранившая солдата, послана была вслед отступающим немцам хорошо пристрелявшейся и не получившей приказа прекратить огонь батареей русской гвардейской артиллерии, поддерживавшей атаку преображенцев и измайловцев. Батарея эта продолжала добросовестно бить по немецким окопам в то время, как они уже были захвачены русскими и русская кавалерия, преследовавшая противника, вошла в Мариамполь.

Застигнутые врасплох, обезумевшие от непрекращающегося огня преображенцы и измайловцы, уверенные, что они окружены немцами, побросали винтовки и кинулись назад. Только спустя час удалось связаться с артиллерией и восстановить порядок...

Недоразумение это стоило многих десятков жизней. Среди убитых, как после узнал Игорь, оказался его друг и однокашник, преображенец Голубцов.

Выезжая из Ковно в Вильковыск, куда с начала мобилизации перешел штаб его корпуса, Никанор Иванович все не знал, как ему быть с его набором фотографических аппаратов и гармошек. Бросать в пустой квартире на произвол судьбы было жаль, взять с собой—слишком громоздко. Жена написала, что она решила на зиму остаться из предосторожности в Петербурге и выписала к себе прислугу—повара и камеристку, к которым привыкла и, по ее словам, обойтись не могла. Генерал мог доверить им свою коллекцию, с тем чтобы они довезли ее до Петрограда. Но, зная отношение Ольги Андреевны к его любимым вещам, остерегся сделать это. И гармошки и фотографические аппараты были бы свалены в ящиках куда-нибудь на чердак и погибли бы от сырости и мышей. А коллекция была очень ценная, тщательно хранимая; некоторые экземпляры гармоний достались Никанору Ивановичу с большим трудом. Старик Смолич играл на них виртуозно.

Помимо аппаратов и гармошек у генерала было еще много дорогих ему вещей. Все стены его кабинета, передней и коридора завешаны были фотографиями его работы. В них была вся его жизнь, вся его наглядная биография. На специальном круглом столе лежал тяжеленный, невероятной длины альбом, куда Никанор Иванович вклеивал свои портреты и портреты родичей в хронологическом порядке; это был своего рода дневник, которым генерал любил хвастать. На первой странице альбома было нарисовано им самим родословное дерево Смоличей, а на переплете красовался вышитый цветными шелками дворянский герб. Так генерал поддерживал традиции семьи.

— Вот видите,—говорил он сыновьям,—все в нашем роду военные, все, если не умирали молодыми, дослуживались до генеральских чинов, все честно служили царю и родине... И однако у многих были и другие склонности. Вот ваш дед, мой отец, великолепно писал красками; если бы не служба—был бы художником. Но долг, долг—прежде всего. Noblesse oblige[1]... Помните этот прекрасный пажеский девиз. Осо-

[1] Знатность обязывает.

бенно ты, Игорь. Мы не принадлежим себе, мы царские слуги...

Генерал разглаживал баки, грустными, но желающими казаться бодрыми, глазами смотрел на ветвистое древо Смоличей.

— Да, тут ничего не попишешь,—добавлял он, как бы отвечая на свои мысли, гоня неприличные мечты о сельской тишине и гармошке.

— Ферула,—заканчивал он ему самому непонятным словом отеческое свое наставление.—Ферула!

И сконфуженно, виновато смотрел на сыновей, потому что сам мало верил в непреложность исповедываемых истин. От верноподданнических чувств его предков, диктуемых здоровыми интересами их касты, у него осталась только любовь к верноподданническим словам, так точно, как от традиций семьи—альбом с фотографиями родичей и гербом, а от авторитета главы семьи—обожание дочери. Так иные любители вешают на стену своего жилища старый пробитый шлем и любуются на него и гордятся им, но никогда не применят его в грядущих битвах.

В ящиках письменного стола, в шкапах, конторках, нагроможденных в кабинете, Никанор Иванович хранил все, что напоминало прошлое. Судьба точно определила ему—собирать после длинного ряда поколений д е л а т е л е й реликвии, оставшиеся после них, с тем, чтобы подвести последние итоги, раньше чем они развеются по ветру. Афиши любительских спектаклей, в которых участвовал Никанор Иванович, программы благотворительных концертов, пригласительные билеты, меню парадных обедов, визитные карточки знакомых и извещения о бракосочетании, рисунки отца, вышивки матери, погоны деда, письма бабки из-за границы, послужные списки прадедов, дарственные акты—вся эта ветошь составляла архив генерала, никому не нужный, но дорогой его сердцу, отмечающий каждый его день, весь строй его семьи, всю легкомысленную пестрядь мирного быта и военных тревог.

Со всем этим было безмерно трудно расставаться. Особенно потому, что в доме только это принадлежало генералу, только этим он был волен распоряжаться по-своему. Всем остальным—и хозяйством, и детьми и строем жизни—управляла жена Ольга Андреевна.

Никанор Иванович ходил по запыленной, не прибранной, выпотрошенной квартире и огорчался.

— Терентий,—звал он своего любимого, многие годы состоявшего при нем денщика,—а ну-ка, голубчик, сними-ка мне вот эту фотографию... Да нет, дурак, не эту, а вот ту, повыше... вот что висит над шкапом... Да, да, вот эту...

Терентий, стоя на табуретке, снимал с гвоздика рамку и, стирая со стекла пыль рукавом вылинявшей гимнастерки, говорил с видимой приятностью:

— Их превосходительства́ с маленькой Ириночкой на балконе в имении «Стружаны».

— Да, это снято в 1904 году, — пояснял снизу Никанор Иванович.—Очень удачный снимок... Я его возьму с собою.

— Верно, очень удачный,—соглашался Терентий.—Их превосходительства́ прямо как молоденькая...

Ольгу Андреевну денщик иначе не называл, как «их превосходительства́», очевидно, полагая, что, ставя на конце слова ударение и вместо *о—а*, он определял женский пол генеральши.

Громоздкий, как буфет, с окладистой бородой, всегда с задумчивыми глазами, любящий поговорить витиевато и длинно, Терентий не нравился хозяйке и предоставлен был в полное распоряжение генерала. В свою очередь денщик снисходительно-пренебрежительно относился к Ольге Андреевне, ценя ее за приятную полноту и уверяя своих друзей, что только благодаря этой полноте генерал привязан к жене. Самого генерала Терентий «жалел» за заброшенность в семье и был страстным поклонником и ценителем его музыкальных способностей.

— А вот ту,—как ты думаешь, взять или оставить?— переходя к другой стене кабинета, спрашивал Никанор Иванович.

Перед ним висел снимок, сделанный при вспышке магния: столовая в тверском доме его тестя князя Вадбольского в день обручения Смолича с Ольгой Андреевной. Большой, празднично убранный цветами стол, офицерство в мундирах, дамы в бальных платьях, старый князь—толстый, лысый, улыбающийся своей улыбкой сластены и обжоры, похожий на поэта Апухтина, и рядом с ним Olgá, ангелоподобная Olgá,—теперь строгая мать семейства, всеми уважаемая генеральша Ольга Андреевна. Она ли это? У нее были тонкие, как шелковые нити, соломенные волосы, очень большие, под темными ресницами, удивленно выпуклые лазоревые глаза, нежная, мо-

лочно-белая, как вспененное мыло, кожа, при малейшем волнении или прикосновении красневшая изнутри. Она была тогда в меру полна, в меру горда и чрезмерно, на взгляд Никанора Ивановича, обворожительна.

Увлекающийся полковник,—да, тогда он был только бравым красавцем-полковником,—влюбленный полковник видел в ней лишь то, что ловил в свой объектив его аппарат, запечатлевший вожделенный миг обрученья,—видел в ней прелестное белокурое созданье, мягкое, как восковой ангелочек. Она ли это?..

Никанор Иванович, покашливая, дергая волосок за волоском из седеющих бак, что было признаком большого волнения, торопливо отходил от этого снимка. Если брать его с собой, то почему не захватить и все остальные? Все равно, не возьмешь, не сохранишь, не уложишь в чемоданы свое прошлое.

— Tout passe, tout casse, tout lasse...[1]—бормотал себе под нос генерал и шел дальше.

Терентий покорно, соболезнующе следовал за ним.

— Или эту?..

Ирина. Единственная. Радость и счастье жизни. Лучшее, что может быть в мире,—Ирина. Ее он не уступал даже Ольге Андреевне. Она снята в сарафане, танцующей, с платочком в поднятой руке, в день жестокой ссоры генерала с женой. Ольга Андреевна укоряла мужа в баловстве дочери, Никанор Иванович не стерпел.

— Вы ничего не понимаете!—бесновался он.—У вас куриные мозги и резиновое сердце! Распоряжайтесь чем угодно, но оставьте меня с Ириной в покое. Ирину испортить! Ирину нельзя испортить. Но ее можно убить вашим отношением. Я не позволяю!

На этот раз генерал выкричался всласть. Он вспомнил все: и гонение на его гармошку, и постылую жизнь в городе из-за карьеры, и благотворительную деятельность генеральши, будто бы разрушающую семью. Ольга Андреевна зажала уши. Тогда наступило торжество генерала. Ирина пришла в кабинет утешать отца. И через несколько минут раздалась плясовая: отец, притопывая ногой, играл на гармошке, а дочь в сарафане, с кружевным платочком в томно поднятой руке, белым лебедем плыла мимо него.

---

[1] Все проходит, все ломается, все исчезает...

— Подожди. Вот так!—кричал генерал и, швырнув гармошку, подкатил аппарат.—Вот так!.. Одну минутку!

И вот перед ним сейчас танцующая Ирина. Никанор Иванович смотрел, глаза его загорались былым огнем, баки пушились, ноздри раздувались, нога невольно начинала притопывать.

— Нет, ты посмотри,—говорил он Терентию,—ты посмотри! Каково! Какой поворот! Какая посадка головы, какой жест, какая ножка! Кшесинская! Лучше Кшесинской! Бесподобно!..

— Обязательно лучше Кшесинской,—подтверждал денщик.—Кшесинская с лица урод, а Ириночка—первой красоты...

— Возьмем!—бесповоротно решал Никанор Иванович и сам тянулся за фотографией.

Терентий заворачивал ее в бумагу и, потея от старательности и натуги, пытался найти для нее место в переполненном ящике. Генерал снова топтался по кабинету и снова находил реликвию, без которой не мог обойтись в походе.

— Вот эту тоже заверни...

— Да помилуйте, ваше превосходительство, некуда больше,—плакался денщик.

— Ну, как это—«некуда»? Вздор какой! Ты просто не умеешь укладывать... Дай я сам... Вот болван!

Терентий молча, с достоинством уступал место. Никанор Иванович, крича, зарывался в ящик, царапал себе руки о гвозди, чихал от пыли и наконец, выбившись из сил, согнувшись от боли, бежал в спальню выпускать мочу: у него было сужение канала.

Со дня на день Никанор Иванович откладывал переезд в Вильковыск, ожидая вызванных телеграммой жену и дочь, чтобы проститься с ними перед отъездом.

Наконец прошли все сроки, нужно было собираться и уезжать. Расстроенный, постаревший генерал бродил по ободранным комнатам, подбирал с полу веревочки, обрывки бумаги. Ящики уже были отправлены, на обоях зияли выцветшие квадраты, но как еще много оставалось здесь дорогого и памятного! Аккуратно складывая собранные бумажки, сматывая веревочки, Никанор Иванович задумался ни о чем, по-стариковски опустив голову, глядя на пузатую ножку

письменного стола, остановясь там, где застали его неясные вечерние мысли... В эту тихую печальную минуту Терентий подал ему письмо от жены. Генерал мотнул головой, заволновался, побежал за очками.

Ольга Андреевна сообщала ему, что чувствует себя неважно, что она простудилась в этом «отвратительном Сестрорецке» и боится дорожных передряг. «А Ирина так нервна последнее время,—писала она,—что лучше не волновать ее тяжелыми сценами проводов. У нее с Васей и так какие-то неприятности. Он почему-то исчез, не заехал проститься: очевидно, любовь расстроилась. Да оно к лучшему,—я очень рада, так как всегда считала их брак вздорным...» Дальше шли хозяйские соображения, выкладки приблизительных расходов по содержанию петербургской квартиры, просьбы устроить так, чтобы не задерживали с выдачей жалованья. Письмо было трезво, умно, как трезва и умна была сама Ольга Андреевна.

Никанор Иванович снял очки, поморгал влажными ресницами, оглянулся на денщика.

— Терентий,—сказал он, не зная, о чем будет говорить,—Терентий, вот ведь какая досада!..—Он выбирал слова, ему было неловко перед денщиком за жену и вместе с тем хотелось поделиться своей обидой.—Ольга Андреевна, оказывается, расхворалась в этом идиотском Сестрорецке... Сколько раз я говорил не ездить! Нет, поехала. А теперь больна, не может выехать с Ириночкой.—Генерал проговорил это деловито, торопливо и добавил небрежно:—Экая досада!..

Глаза его смотрели в сторону, пальцы нервно выщипывали волосы из бак. Терентий громыхнул сапогами, переминаясь, борода его стала ребром. Заложив руку за кушак, по-толстовски (денщик читал Толстого, был его ярым поклонником и не ел мясного), он произнес с глубоким убеждением:

— Ну, знаете, Никанор Иванович, это, я скажу, такая несправедливость... Даже поверить нельзя...

Из Вильковыска штаб корпуса, которым командовал Никанор Иванович, перешел в Кальварию, потом в Сувалки. Из Сувалок, после августовских боев и продвиженья немцев за Неман, пришлось переехать в Ораны, после чего в первых числах сентября все части корпуса Смолича были переброшены на западный фронт и штаб обосновался в Белостоке.

Во все это время, от начала кампании до последних дней, корпусу Смолича никаких серьезных заданий выполнять не приходилось. Никанор Иванович объезжал фронт, встречал маршевые роты и снова засаживался за скучную бумажную канитель, надоевшую ему еще в мирное время. Подчас он сам с трудом разбирался в общем сумбуре передвижений, перебросок, диспозиций, предписываемых ему штабом армии и в свой черед выполняемых дивизиями по его собственным приказам. От всей этой головоломки разбаливалась голова, укреплялось сознание своей беспомощности и ненужности. Смолич с радостью предоставил полную свободу действий своему начальнику штаба, Даньцевскому—щепетильному, дотошливому поляку, авторитета которого Никанор Иванович даже слегка побаивался.

Нынешняя война казалась Смоличу, как и многим другим генералам, участвовавшим еще в турецкой кампании, только грубым нарушением всех священных принципов военного дела, закапыванием духа в землю. Даже дыхание новой военной техники, долетевшее к нему впервые в виде книги полковника Ермолаева о западном фронте, не увлекло его, не заставило серьезно задуматься над своей отсталостью. Смолич считал себя—и был таким в глазах начальства—честным служакой, генералом с боевым опытом трех войн, с боевыми заслугами, увесившими грудь его орденами. Никанор Иванович знал и признавал только то, чему выучился в свое время, еще в семидесятые годы, в Пажеском корпусе. Образцом героя он считал Скобелева с его белым конем и личным бесстрашием. Но в эту последнюю войну не нужна была ни белая лошадь, ни личная храбрость,—нужно было нечто, чего не знал, что отрицал генерал Смолич: математически-холодный расчет, осмотрительность и технические знания. И потому Никанор Иванович бранил войну, считал ее гибельной для России и не ждал от нее для себя ничего хорошего.

25 ЧЕТВЕРГ

В НОЧЬ ВОИНСКИЕ эшелоны, идущие на ломжинский боевой участок, были переведены у станции «Белосток-товарный» на запасные пути и остановлены: ждали

проезда императорского поезда, который следовал из Холма в Вильну. В штаб 14-го корпуса было сообщено, что с этим поездом приедет в Белосток военный министр, в распоряжение коего штаб должен предоставить два автомобиля для поездки в Осовец.

С двух часов ночи никто в штабе не спал в ожидании прибытия министра, а в три часа приехал на вокзал командир корпуса Никанор Иванович со своим адъютантом и начальником штаба.

Смоличу вовсе не вменялось в обязанность встречать Сухомлинова. Но так как Никанор Иванович был знаком с Владимиром Александровичем, относился к нему пренебрежительно, как к выскочке, способному лишь командовать эскадроном, и потому рад был случаю высказать ему свои соображения и сетования в связи с неладами по снабжению, то он с большой для себя приятностью решил пожертвовать сном.

В зале первого класса было сизо от дыма. Прибывшее с эшелонами офицерство, соскучившееся в вагонах, высыпало на вокзал. Было слишком рано, чтобы итти в город, и все расположились у буфета. Глухой, хрипящий, как в гору подымающийся паровоз, говор и смех невыспавшихся людей, мешаясь с папиросной пряжей и двойным светом электричества и брезжащего утра, колебал высокие, засиженные мухами стены и потолок зала хмельной корабельной раскачкой.

Сельтерские бутылки подозрительно благоухали спиртом. Заспанный буфетчик с котлетками и лысиной гофмаршала собственноручно резал окорок, а его супруга, соревнуясь в размерах и блеске румяных щек с пятиведерным самоваром, клубящим пар, сложив бантиком губы и улыбаясь сгрудившимся вокруг нее офицерам, разливала по стаканам чай. Пахло угаром, дубленой кожей, дешевым табаком и карболкой.

Никанор Иванович, обойдя чопорные и сырые царские комнаты, открытые по случаю приезда министра, посидев минут пять на жестком ампирном диване, распушив баки и выгнув грудь перед безнадежно тусклым трюмо, откашлявшись и скучливо оглянувшись на следовавшего за ним адъютанта, прошел в общий зал.

При входе командира корпуса чей-то голос из табачного облака хрипло, с видимым удовольствием и старанием крикнул:

— Господа офицеры, прошу встать!

И как гром, гулко раскатившийся вдали, внезапно обрывается треском над самой головою, так хрип и лай разговоров тотчас же оборвался скрежетом отодвигаемых по каменному полу стульев.

Генерал на мгновенье приостановился, вскинув голову, и помолодевшими, детски-счастливыми глазами оглянул дымный хаос зала. Потом дернул шеей и, замахав рукой, пробежав мелкими шажками вперед, неожиданно тоненько крикнул:

— Сидите, сидите, господа! Не беспокойтесь...—и оглянулся, точно ища поддержки, к адъютанту, шепчущему ему на ухо:

— Ваше превосходительство, вам телеграмма, личная...

— Ах да...

Не слушающимися, дрожащими от волнения пальцами Никанор Иванович разорвал телеграмму и, отставив ее далеко от глаз в вытянутой правой руке, левой нервно начал ощупывать себя, ища очки,—он был дальнозорок и плохо разбирал написанное при свете электричества. Не находя очков, раздражаясь, от чего рука его, державшая листок, колебалась, еще более затрудняя чтение, он наконец с трудом все же разобрал:

«Получены сведения, что Болховинов жив. Пребывание неизвестно. Ирина волнуется. Наведи справки. К прискорбию моему настояла своем: поступила театральные курсы. Целуем. Ольга».

От усилия глаза генерала увлажнились и покраснели. Все еще держа перед собою телеграмму, он виновато оглянулся. Долгожданная весть о дочери растрогала его, ему хотелось, по усвоенной давней привычке, поделиться ею с Терентием. Но денщика не было здесь. Никанор Иванович откашлялся и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Прекрасно, очень рад. Талант всегда возьмет свое... А Васю мы разыщем обязательно...

— Ваше превосходительство! Mon cher général. Как я счастлив!.. Никанор Иванович!..

Генерал поднял глаза. Перед ним стоял Дымша.

Иван Федорович, как всегда, свежий, пахнущий, несмотря на вонищу вокруг, тонкими духами, гладко выбритый, был одет в какой-то необычайный костюм—в нечто среднее между бойскаутской и летчиковской формой. В желтых крагах, в защитной кепке, обвешанный щегольскими желтой кожи футлярами с цейсовским биноклем, с папиросами, с фо-

тоаппаратом, Дымша смотрел на генерала, как фокстерьер смотрит на сидящую на заборе кошку, — закусив губу, оттопырив ухо, озорно вращая глазами.

— Не узнаете? — продолжал он скороговоркой. — И не мудрено. Вы меня видели последний раз мальчишкой: я единоутробный брат Веры Владимировны... Но вы! Но вы! — Он развел руками. — Вы как молодая девушка. Цветете! Розовеете! Прямо поразительно, до чего молоды!

— Брат Веры? — приглядываясь, переспросил Никанор Иванович и внезапно, все еще размягченный полученной вестью, схватил Дымшу за плечи и облобызал.

— Ну, как же! Как же! Отлично помню! Ванечка Дымша? Не так ли?.. Но какими судьбами на фронт?

— Увы, генерал, по слабости здоровья всего лишь в качестве военного корреспондента. Сейчас в ставку. А там — как будет угодно верховному...

Он снова развел руками, хитро прищурился, фамильярно и вместе с подчеркнутой почтительностью подхватил генерала под локоть.

— Прошу, дорогой Никанор Иванович, если у вас найдется свободная минутка, к моему столу. Я расскажу коечто о наших делишках... Вы тут воюете, счастливцы, не имеете понятия о том, что делается в наших высоких палестинах. Уму непостижимо! Вы знаете, что у нас говорят о верховном? — Дымша понизил голос: — Qu'il se frotte à la[1] православное, чтобы позолотить себе королевскую порфиру... И пример его оказался заразительным: теперь все едут расстраивать транспорт. — Дымша расхохотался сдержанным, ищущим сочувствия, хохотком. — Но об этом после... Я счастлив, что могу передать вам привет от Натальи Никаноровны и Константина Никаноровича... Ах, Никанор Иванович, ваша дочь обворожительна, прелестна, я не нахожу слов. И между нами, если бы не наши родственные узы, я не устоял бы, видит бог...

Раззадоренный этим непринужденным потоком слов, таких далеких от обычных фронтовых разговоров, счастливый, что нашелся человек, с которым можно поговорить о близких и поспорить, генерал весело воскликнул:

— Ну, знаешь, если бы ты видел мою младшую дочь, Ирину! Вот это божество!

---

[1] Что он трется о...

Перед ними расступались, давая дорогу. Никанор Иванович кивал головой направо и налево. Через несколько минут он уже целовался с каким-то толстым подполковником, оказавшимся его сослуживцем по артиллерийской бригаде, и отечески трепал по плечу безусого юнца-корнета со значком Пажеского корпуса.

— Как же! Как же!—говорил ему Никанор Иванович.— Ты однокашник Игоря?.. Молодец! А он, брат,—герой: участвовал в Мариампольском деле, ранен... Как же! Как же!

Дымша, наливая генералу в стакан чая ром из граненого, с серебряной крышкой, графинчика, припасенного им на дорогу, рассказывал громким голосом привычного балагура:

— Немцы! Немцы! Немецкое засилье! Ищут в Прибалтике шпионов, выселяют из Петрограда баронессу Остен-Сакен, ни слова не говорящую по-немецки, а вот—не угодно ли?—генерал Ренненкампф, так блистательно раскланявшийся перед немцами в Восточной Пруссии и приехавший замаливать грешки в Питер, говорил Воейкову: «Человек против злых бывает мечом, а против врагов—гибелем». А? Как вам нравится этот истинно-русский язык?

Никанор Иванович и офицеры, окружившие генерала, смеялись.

— Или еще пример,—продолжал Дымша:—у нас есть академик нашей отечественной Академии наук—Василий Васильевич Радлов. Так он в своем «Опыте словаря тюркских наречий» умудрился перевести какую-то тюркскую поговорку буквально так: «Ребенка заставляют сосать посредством материнского молока», что весьма грамотно звучит только по-немецки: «Man bringt das Kind mit Muttermilch zum Saugen». Но по-русски!.. Это классически: «посредством материнского молока»!..

Слушатели загрохотали. Поговорка пошла гулять по всему залу. Иван Федорович самодовольно подмигивал. Никанор Иванович обвел всех юношески-заигравшими глазами и крикнул:

— Да, господа! всюду и везде нас подстерегает предательство. Весьма нередко нами руководят люди, чуждые нашему национальному духу, но у нас зато остается утешение, что мы-то сами—истинно-русские люди и никогда не предадим родины.

На запасных путях с рассветом началось движение и гомон. Открывались с грохотом створки теплушек, оттуда, как из кузова семечки, высыпали, подталкивая один другого, солдаты. Гремя манерками, одни бежали к водокачке и там, стоя по пояс голые, нагибались под кран или, озоруя, поливали друг друга из ведра, другие прямехонько, на ходу утирая заспанное лицо рукавом, иноходью торопились к походной кухне, к котлу за кипятком и рационом. Пошлепывая один другого по спине, они становились в очередь, вытягиваясь серой извивающейся гусеницей.

— Кипяточку, кипяточку! Ай, кому горяченького?— весело подпрыгивая и перехватывая погнутую проволочную ручку манерки то одной, то другой обжигаемой паром рукой, кричал один, отбегая от котла в сторону и подзуживая товарищей.—Ай, крутой водички всего для одной птички, да и та хлебнула—только горло всполоснула!

— А ты не мельтеши, не мельтеши под ногами: неровен час—ноги ошпаришь,—откликался другой, бережно прикручивая кран, чтобы кипяток не брызгал в стороны.

— Ладно, ладно, поторапливай!—понукали его из дальних рядов.

— Торопиться на тот свет—успеем,—степенно замечал густой бас.

— Дяденька, слышь, а мы чего стали?

— Где?

— Да в Белостоке этом.

— Везли-везли, а голову забыли,—снова откликался густой бас.—Теперь жди, покеда смотаются за ей да тебе привинтят.

— Это мы снарядов ждем. Снаряды отливают!

— Ну, тогды подождалки долгие.

— А тебе кишки свои повидать охота?

— Эй, двигайтесь там, черти!—опять кричали в конце очереди.

— Начальство провозят, затем и стоим,—начинал толковый, отчетливый голос.—Начальству завсегда дорогу полагается уступить.

— А оно куда катит-то?—перебивал его веселый тенорок.—На хронт, аль с хронта?

Его покрывал скачущий, как звяк бутылок в промывальной, заливистый смех.

Стоявшие в очереди солдаты шли с эшелонами на попол-

нение, из тыловых, недавно обученных частей. Они ещё не нюхали пороха, и у большинства было то общее для каждого человека чувство раздраженного любопытства и подъема, какое помогает ему преодолевать в себе страх перед неизвестностью и призраком смерти.

Рассыпавшись по путям, кто в одиночку, кто кучей, солдаты расселись вдоль путей на шпалы, на промасленный, черный от копоти песок. Из манерок клубился синий парок. Серое тусклое рядныщко вверху медленно и неохотно сворачивалось к западному краю неба. Неуверенный отблеск солнца, выпутавшегося из ночных дождливых залежей, изливал на красные эшелоны, на рельсы, на крыши домов, на дымы фабрик, на копошащихся людей влажный улыбчивый свет.

В черных зевах теплушек, под колесами вагонов, у водокачки, у бака, на путях—сотни людей начинали день так, как если бы они проснулись дома: шли за нуждой, умывались, пили чай, смешком подстегивали себя и других. Не было только женщин, и потому каждый чувствовал себя подбористей, зная, что некому будет за него подумать, не на кого свалить половину забот. Было крепко, беспечно и по-веселому печально, как бывает только в холостых компаниях и в тюрьме.

Из вагонов с конским составом шел пар. Положив морды на изгрызанные перекладины, кони светло, по-утреннему смотрели на шаркающих внизу метлами солдат и, навострив уши, вопросительно под сурдинку ржали.

Дежурные выгребали навоз, тащили сено. Из вагона в вагон перебегал, как по клавишам, нетерпеливый топот. То с того, то с другого конца эшелонов с резким, как полынь, щиплющим глаза и нёбо запахом конской мочи приносило низовым осенним поддувалом хлюпающие звуки гармошки. Кое-кто натощак, от безделья, перебирал отекшими за ночь ногами плясовую.

Терентий, денщик корпусного командира, прохаживался вдоль эшелонов, мимо праздно щелкающих семечки, разговаривающих солдат. Приостанавливаясь то у одной кучки, то у другой, он деловито присматривался к каждому и спрашивал:

— А вы, разрешите узнать, какой будете губернии?

Терентий выискивал земляка—смоленского, но результат поисков ему был безразличен. Из Смоленской губернии

Терентий выехал мальчонкой, родни и знакомых у него там не осталось; приятно было бы послушать родной говор и спросить, течет ли попрежнему Днепр, в котором он когда-то плюхался; а можно было и не спрашивать,—не суть важно. Необходим был только предлог, чтобы заговорить и покрасоваться.

Никанор Иванович, собираясь на вокзал, сообщил Терентию о приезде министра. Дома делать было нечего. Терентий решил воспользоваться случаем поглазеть на генерал-адъютанта, которого Смолич частенько называл дураком и рогатым пуделем.

Заложив, по своему обыкновению, руку за офицерский серебряный кушак, подаренный за ненадобностью генералом, подставляя утренней прохладе русую, тщательно расчесанную бороду, глубоко надвинув на уши фуражку, Терентий блестел на зависть вычищенными голенищами сапог и топорщил по-генеральски плечи.

На пригреве, у стыка рельс, кружком сидели солдаты, слушая гармониста. Подобрав по-турецки босые ноги, гармонист в растерзанной, не подпоясанной гимнастерке, ухарски подмигивая и разевая рот, скаля желтые, как кукурузные зерна, зубы, пел, подтягивая себе на двух ладах зашарпанной гармошки:

Не садись, фартовый, рядом:
У тебя рыло с подрядом.
Раз поцеловалася—
Вся переблевалася...

— Ну и чорт!—взвизгивал от восторга один из слушателей. И откуда слова берет?

Гармонист горел от желания найти в памяти и выкрикнуть самые забористые выражения, подгоняя под них рифму. Для него, очевидно, это было вопросом самолюбия. Он оглядывался на товарищей и точно подхлестывал их песней:

— Вовсе это дрянная песня,—проговорил Терентий, когда смех несколько приумолк, и потянул себя за бороду.

— Это—здрасте вам!—почему?—вскинулся на него гармонист.

Остальные, поерзав, оглянули подозрительно и любопытно вновь пришедшего.

— А потому,—еще внушительней ответил денщик,—что абсолютно безнравственная...

— Что ж с того?—с меньшей уверенностью, наливаясь от шеи к ушам краской, но в то же время подмигивая соседям и растягивая гармонь, задористо спросил гармонист.

— Каким выучены, такие и поем,—поддержал его белобрысый.

— А то самое, что ты к чему готовишься? воевать?—набирая в грудь воздуху, торжественно спросил Терентий.—Воевать готовишься?

Он, видимо, только и ждал, чтобы задать этот вопрос, и теперь стоял, подтянув живот, наклоняя голову, как на исповеди.

— Ну, воевать,—сбитый с толку, согласился гармонист.

Подталкивая друг друга, приоткрыв рты от жадного ожидания, солдаты приготовились слушать.

— А воевать—это что значит?—Терентий выдержал паузу, поставил бороду ребром.—Это значит—к смерти готовиться. Предаваться господу,—отчеканил он.

— Ну, это—как кому...—подбадриваясь, но уже без подмига, колупая большим пальцем босой ноги землю, сказал гармонист.

Белобрысый неожиданно хмыкнул, утер намокший нос ладонью.

— Это—как кому,—повторил гармонист, выщупывая, с ним ли сочувствие остальных.—Кому помирать, а кто и сам поубивает.

— Верно,—заговорили солдаты.—Это—какая судьба...

— Убивать—грех,—все не шевелясь, не вынимая рук из-за кушака, уверенный в успехе, отчеканил денщик.

— Гре-ех?

Гармонист внезапно вскочил на ноги, гармонь взвизгнула, брошенная наземь. Он стал—как бурак, пунцовым.

— Это ты мне говоришь—грех?—подступая к Терентию, закричал он.—А нас на кой шут спосылают? на грех? На грех спосылают?

Солдаты загудели, явно перемётываясь на сторону гармониста. Одни повскакали с мест, другие еще шире открыли рты от старательности, из боязни проронить слово.

— Обязательно грех,—нравоучительно, чуть отступая, настаивал Терентий.—Ни в каком разе убивать нельзя. Даже животного, а не только человека.

— А вы кто будете?—наседал на него обрадованно белобрысый.—Вы сами кто будете?

— Убивать—грех, а спосылать на убой—не грех?—кричал гармонист.

Растерзанная гимнастерка его полезла на грудь, обнажая пуп на круглом белом животе.

— Верно. Пусть скажет!—задорили другие.

— Вы сами-то кто будете?—все веселее спрашивал белобрысый.—Солдат али поп?

— Я обязательно солдат,—стараясь не горячиться и потому все рьяней дергая бороду, как делал это в минуты волнения генерал Смолич, ответил Терентий,—и служу, по понятию моему, как обязан... А убивать не стану,—прибавил он громче, боясь, что не дадут договорить.—И кто на убийство спосылает, тому тоже грех.

— Обрадовал!

Солдаты дружно и весело загоготали. Жесткие морщины, собравшиеся у губ, разгладились. Гармонист, скаля зубы, стал—руки фертом, состроил рожу:

— Им грех да малина, а нам пуля да могила! Так выходит?

— Потешил!

Сражение было явно проиграно. Терентий натянул козырек фуражки на нос, повернул спину.

— Необразованный вы народ. Что с вас возьмешь?.. Землегрызы...

Он зашагал прочь по шпалам.

— А ты начальству о грехах напой! Айда, мол, эшелоны обратно в деревню!—кричал белобрысый.

— В гости к нашим бабам на блины.

Гармонист выстукивал ногами плясовую.

По спине ходила гиря,
По зубам ходил кулак,
По затылку—кирпичина,
А по брюху толстый стяг...
Ох, грехи, наши грехи,
Задавил я три блохи!..

Все быстрее, все четче бежал из-за поворота в такт песне перестук приближающегося поезда. Какие-то солдаты с винтовками кинулись вдоль полотна, разгоняя сидевших на шпалах и путях. На перрон вокзала высыпало офицерство.

Запыхавшись от бега, Терентий увидел, подскакивая к ближайшему от вокзала пакгаузу, как вперед выстроив-

шегося караула вышел Никанор Иванович и, расправляя баки, мелкими шажками подошел к мягко скользнувшим мимо платформы длинным, блестящим темно-синим лаком вагонам с императорскими орлами.

С тамбура одного из вагонов на ходу соскочили два атаманца и откинули ковровые сходни. По сходням, весело поблескивая на солнце шпорами и голенищами гусарских с медными нашлепками сапог, спустился широкозадый, с остренькой бородкой генерал и закивал головой козырнувшему генералу Смоличу. Атаманцы взяли на-караул. Толпа, подавшаяся вперед и влево, загородила от Терентия генералов. Терентий кинулся к вокзальному подъезду. Он знал, что там ждут министра автомобили.

Городовые задерживали наседавших зевак. Вспугнутые голуби взмывали над площадью. Терентий подошел к одному из городовых и остановился рядом.

— Их высокопревосходительство, господин министр приехали,—сказал он с достоинством.—Они моему генералу товарищ по образованию...

Городовой втянул щеки, понимающе поддакнул.

Со ступеней подъезда, ведущих в царские комнаты, бочком скатился полицмейстер. Замахав руками, крикнул свистящим шопотом:

— Подавай!

Машины загудели. На крылечке появились смеющийся широкозадый генерал-адъютант, за ним Никанор Иванович и еще несколько генералов и адъютантов.

Терентий вытянул шею, огладил бороду, стал во фронт. Луч солнца лизнул по генеральским погонам и скрылся. Министр поднял лицо к небу, помотал головой, озабоченно хмыкнул. В ту же минуту из царских комнат вышел еще один полковник в сопровождении генерала и флигель-адъютанта. Полковник был в шинели и при амуниции. Опустив голову, потеребливая ус, он торопливо спустился к автомобилю. Терентий заметил, как Никанор Иванович, увидя полковника, шатнулся в сторону и стал во фронт.

«Что за чудеса!—подумал денщик, приглядываясь и не веря самому себе.—Неужто он?»

Полковник отвел от козырька руку Смолича и, пожимая ее, что-то сказал, улыбаясь. В кучке стоявших у автомобиля пробежал смешок, тотчас же заглушенный шипом машины.

«Неужто?»—снова спросил себя Терентий, вспотев.

— Царь!..—пошел шепоток по рядам, и толпа, качнув цепь городовых, нестройно и жидко закричала «ура».

С неба, как с кропила, брызнуло на обнажившиеся головы теплой водицей.

В тот же день поздно вечером Никанор Иванович говорил Терентию:

— Я никак не ожидал! Представляешь себе: стою с Владимиром Александровичем, шпыняю его за не доставленные во-время сапоги и вдруг вижу—его величество! Оказывается, приехал инкогнито осмотреть Осовец.

— Это кем же таким—инко?—спросил Терентий, перемывая в лохани генеральские катетеры.

— Инкогнито!—хитро посмеиваясь, отвечал Смолич.— Тайным образом, значит...

— А народ его сразу узнал...

— Ну, это не важно. Соль в том, что он поехал туда без ведома верховного, и теперь Николай Николаевич рвет и мечет. Воображаю! Боже мой, боже мой, до чего все-таки у нас все не по-людски!

Генерал подергал баки и, подняв глаза, посмотрел на висевший над ним портрет Ольги Андреевны.

— Ну, проехались,—продолжал он, помолчав,—осмотрели. Крепость потрепана изрядно... На обратном пути заблудились...

— Это как же так?

— Да очень просто. Шофер на перекрестке замялся, а государь говорит. «Налево возьми, у меня, говорит, чудесная память на места...» Ну, и заехали в сторону, пришлось возвращаться. Если бы ты видел в это время Сухомлинова: «Позвольте, ваше величество, быть мне теперь Сусаниным». Дурак! Форменный дурак!

Никанор Иванович кашлянул, потянулся за гармошкой. Глаза его стали по-собачьи добрыми и грустными. Он сидел на складной своей походной койке, подобрав ноги в сапогах со срезанными, узкими, по моде прошлого царствования, носками, и под сурдинку перебирал лады.

— Обещал передать привет от меня Игорю в Вильне,— заговорил он, минуту погодя,—был очень внимателен. Все спрашивал, хорош ли у меня состав. Я говорю: «Состав, ваше величество, хорош, вот только сапоги плохи»,—генерал

добродушно рассмеялся.—А Сухомлинова так всего и передернуло.

— Не любит правды,—глубокомысленно поддакнул Терентий.—Сапоги прикажете снять?

— Ну что же, снимай,—покорно ответил Никанор Иванович.

Терентий стал на колено, кряхтя, потянул сапог. Генерал заиграл из «Сильвы» и запел слабым, грустным, дребезжащим голосом:

— «Сильва, ты меня не любишь...»

Терентий стащил сапоги, поставил их у дверей, вытер полотенцем катетеры и, кладя их на стол у койки, сказал, ободряюще глядя в печальные, прислушивающиеся к мотиву глаза Никанора Ивановича:

— Вы, ваше превосходительство, не жалкуйте. Ничего... Мы Васю обязательно сыщем. И еще свадьбу плясать будем...

Зазряшная смерть Голубцова, похожая на убийство из-за угла, того самого Голубцова, который еще так недавно вместе с Игорем стоял в Зимнем дворце и радовался тому, что вот им обоим предстоит вершить историю; падение в окоп, преображенец, поделившийся куском хлеба, а после просивший, чтобы его убили,—все это так потрясло Игоря, что он долго после не мог притти в себя. В тишине лазарета, среди чужих людей, предоставленный своим мыслям, Игорь тормошил свою память с еще большим упорством.

Совсем больным его привезли с позиций в виленский лазарет, в его родной город, так памятный с детства. При падении в окоп Игорь не зашиб, а вывихнул ногу. Ему пришлось ее вправить, забинтовать и вспухшую, как бревно, держать без движения много дней. К довершению неприятности Игорь от нервного потрясения заболел дизентерией.

Худой, зеленый, издерганный своими мыслями, он лежал, чувствуя себя глубоко уязвленным. Ему казалось, что все относятся к нему с пренебрежением, как к мальчишке. Он сам презирал себя за то, что умудрился на войне так глупо выбыть из строя.

— Ну, почему вывих? Почему дизентерия?—жаловался он навещавшим его товарищам, которые в эти дни стояли на отдыхе в Вильне.—Неужели нельзя было придумать что-нибудь остроумнее?

— Чудак-человек, у тебя прекрасный повод отдохнуть в свое удовольствие, а ты скулишь,—вразумлял его Гедройц. Досадно только, что это совпало с нашим общим бездельем. Тут, я доложу, такие паненочки — объяденье!

Гедройц, однокашник Игоря по Пажескому корпусу, офицер Павловского полка, относился к войне как к занятному пикнику, охотничьему приключению, где на каждом шагу можно было при уменьи найти подходящую дичь. Он с упоением рассказывал, как и когда ему удалось захватить врасплох «хорошенькую крестьяночку», выпить в разграбленном майонтке шампанского, запороть «прохвоста жидюгу», завести интрижку с «шикарной пани». Слушая его, Игорь бледнел, краснел и наконец, едва сдерживая себя, говорил сдавленным голосом:—Князь, прошу тебя... уйди! Слышишь? Все что ты рассказываешь, очень интересно, но прошу— уйди... Чорт тебя дери совсем!

Гедройц вставал, снисходительно оттопыривал губу, пожимал классическими плечами и говорил благодушно:

— А тебе, действительно, не мешает серьезно подлечиться.

Ночами, просыпаясь от приступов боли в желудке и долго после не засыпая, Игорь снова и снова мучительно перебирал в памяти все то, что в другое время он старался забыть.

В палате было тихо, изредка кто-нибудь из лежавших с Игорем офицеров вскрикивал или щелкал зубами. Иногда приходила дежурная сестра—худая, высокая девица с белесыми кудерьками, выпущенными из-под косынки. Она останавливалась на пороге, прислушивалась к дыханию спящих и неслышно уходила. Матовые шары под потолком лили молочный, облачный свет. За окнами проезжали телеги, проносился автомобиль. Тогда на тумбочке начинали звенеть, брякать склянки с лекарствами.

Игорь вспоминал, что он в Вильне, в том самом городе, где бегал гимназистиком, куда приезжал кадетом. Закрывая глаза, представлял себе Георгиевский проспект—широкую, длинную улицу, обсаженную тополями и акациями, где жил у родителей, Замковую гору, куда удирал из класса в полдень, развалины Гедиминова замка и мороженщика, продававшего там за три копейки замечательнейшее земляни-

чное мороженое. Зверинец—густой сосновый бор, где он с товарищами играл в Робин-Гуда. Узкие, грязные и кривые, как ревматические пальцы, переулки. Склянная улица, где с утра до ночи галдела еврейская беднота, где старые еврейки в шелковых париках сидели на жаровнях и продавали каштаны. Остробрама, проходя под которой нужно было снимать фуражку. Крестьяне и крестьянки— литвины и жмудяки в серых свитках, ползущие на коленях к иконе Остробрамской матки боски.

«Разве все это я видел?»—спрашивал себя Игорь, и снова мучительно и безответно развертывалась лента—от окопа, где он лежал с преображенцем, от смерти Голубцова к Сонечке, Болховинову и Леции. От Игоря, лежащего здесь, до Игоря-гимназистика, воображающего себя Робин-Гудом.

«Почему я возненавидел Васю?—в сотый раз спрашивал себя Игорь, кидаясь от одного воспоминания к другому.— Он не мог, не должен был пить из туфли, смотреть на нее влюбленными глазами. Не имел права, раз он действительно любит Ирину.—Подлец он, вот что! И я, конечно, прав. Но почему же я сам еду к Сонечке? Кричу о подлости, а пьяный—схожусь с Лецией... И с солдатом этим... как, как я поступил? Как нужно поступать? Все наоборот, все навыворот!..»

Игорь схватывал нагревшуюся подушку, остервенело перевертывал ее.

«Я знаю, что есть в мире и в людях светлое, чистое, прекрасное, чего нельзя пакостить. Есть также правила поведения... А ну-ка, скажи—что? Скажи—какие?— злорадствуя спрашивал он себя и торопился ответить:—Нет, есть! Есть любовь, во-первых, потом порядочность, честь, долг, наконец!..

А война?.. Война разве не святое дело? Мы же вот все идем умирать и умираем не зазря. Так нужно родине, в наших руках ее судьба... Разве это можно запакостить? Как бы ни хотели разные Гедройцы... Да и они только болтают вздор, а так же умрут, как и я... А Голубцов? А Голубцов, убитый своими?..»

«Ну, что, ну, что—Голубцов?—обливаясь потом, начинал снова Игорь.—С Голубцовым трагическая случайность, ужасная ошибка, нераспорядительность.—Но при чем же война?.. А солдат? Ведь его тоже... И я не мог...»

Рядом с Игорем, отделенный от него тумбочкой, лежал армейский пехотный капитан лет тридцати пяти, призванный из запаса. Капитан был контужен и, страдая головными болями, по ночам тоже не спал. Обычно он лежал неподвижно, с открытыми глазами, не мигая, смотрел в потолок. Руки он складывал на груди, как складывают покойнику. Все лицо его поросло густой черной бородой, даже из ушей лез курчавый жесткий волос. Только мучительно белый лоб и твердый хрящеватый нос были чисты.

Игорь, занятый своими мыслями, раздираемый жаждой проявить себя с лучшей стороны, невозможностью примирить свои поступки с убеждениями, истощенный болезнью, воспоминаниями и недавно пережитым, старался не смотреть в сторону капитана, не замечать его. Капитан и сам был не общителен. Он то лежал молча, то вынимал из-под подушки какую-то затрепанную книжку, читал ее и усмехался в бороду.

Лежа рядом, и Игорь и капитан были бесконечно далеки и безразличны друг другу. Но однажды ночью, на четвертые сутки своего пребывания в лазарете, все так же мучаясь бессонницей и споря с мамим собой, Игорь невольно вскрикнул:

— Нет, есть!

— Что есть?—неожиданно спокойно, точно он ждал этого возгласа, спросил капитан.

Игорь даже сразу и не сообразил, что вопрос этот задал ему не он сам, а кто-то посторонний. Игорь затаился, прислушиваясь к затрудненной дыханиями тишине палаты, потом оглянулся на соседнюю койку. Его глаза поймали остановившийся блестящий взгляд капитана, устремленный в потолок.

— Это вы спросили?—неуверенно обратился он к соседу.

— Да... Вы, кажется, изволили настаивать на чем-то,— ответил все так же спокойно пониженным голосом капитан.—Если я вас потревожил, простите...

— Нет! Нет!—воскликнул Игорь, приподнимаясь на локте и впервые внимательно вглядываясь в своего нежданного собеседника.

До этой минуты Игорь не только не хотел общаться с капитаном, но по скверной, выработанной в корпусе и усвоенной от матери привычке не замечать людей иного

круга, без всякого злого или предвзятого умысла, просто его не видел. И только сейчас с радостным изумлением узнал, что рядом с ним лежит человек, и мало того—понял, что человек этот ближе ему сейчас и интереснее любого из близких товарищей.

— Нет, нет,—повторил Игорь, жадно и пристально отмечая в своей памяти каждую черту неподвижно лежащего бородатого лица.—Напротив, мне это очень важно... И если вы тоже не хотите спать...

— Спать я очень хочу,—добродушно в бороду буркнул капитан,—да вот не могу: бессонница проклятая!

— Это от мыслей,—внезапно переходя от равнодушия к крайнему сочувствию, подхватил Игорь.—Мне мысли всегда мешают спать. Прямо несчастие!

— Ну, у меня скорее от отсутствия мыслей, от головной боли,—все с тою же усмешечкой про себя и над собою возразил сосед.—Но понимать другого я еще могу.

— Вот видите,—устраиваясь поудобней, уминая под локти подушку, уткнув подбородок в ладони, начал Игорь:—меня мучает один вопрос... Даже не один, а много, но об одном: есть что-то непреложное, обязательное для человека, такое, ради чего можно жертвовать всем.

— Что, например?—помедлив секунду, очевидно, пережидая, не скажет ли еще чего Игорь, спросил капитан

— Ну, долг, честь...

Игорь едва не добавил еще: любовь, но почему-то постеснялся.

— Долг?—переспросил капитан, все так же невыразительно и не шевелясь.—А что это такое?

— То есть, как же?—Игорь отнял ладони, вскинул голову.—Ну, воинский долг.—Благожелательность его сменилась подозрительным раздражением.—Воинский долг, надеюсь, вам известен?

— Вы хотите сказать—воинская дисциплина?

— Нет, долг! Долг, капитан!.. Какая там к чорту дисциплина! Война, по-вашему, тоже дисциплина, а не священный наш долг перед родиной?

— Война?—Капитан примолк, дунул себе в бороду, пошевелил коленками одеяло и продолжал невозмутимо:—Очевидно, кому-то нужно, чтобы мы выпускали друг другу кишки, не без этого. Лично для себя, да и для большинства из нас пользы от этого не нахожу. Но какой же долг? И чей

долг? Наш с вами? Долг болеть головой или бегать в уборную?

Вопрос был так неожидан, что Игорь взорвался лишь после того, как капитан давно умолк.

— Я не позволю, господин капитан!—зазвеневшим от обиды голосом вскрикнул Игорь.—Я не расположен шутить... И вообще не собирался беседовать с вами... Это... это...

Ему стало душно. Он дернул ворот ночной рубахи, затянул тесемку еще туже, обозлившись, оборвал ее.

— Да какие же шутки?—все не сводя глаз с потолка, буднично, миролюбиво возразил капитан.—Какие там шутки? Мне вот из-за этих шуток в сумасшедший дом, пожалуй, придется отправиться... Вы напрасно, молодой человек, горячитесь: сейчас ночь, разбудить можете больного, а главное, себя замучаете на совсем бесполезном деле... Впрочем извините, если помешал вашим мыслям.

— Да нет...—Игорь снова утих; он исцарапал себе шею, дернув тесемку, и тотчас же утихомирился.—Ничуть не мешаете. Но ваши слова... я не мог понять иначе, как шутку...

— Напрасно так поняли. Если я и обладаю юмором, то только юмором висельника... А вы уже которую ночь не спите и, вероятно, мучаетесь. Вот это совсем ни к чему.

Игорь снова подобрал локти, опустил подбородок на ладони, внимательно поглядел на волосатое неподвижное лицо.

— Вы почему так всё лежите, не шевелясь? Болит?

— Да, болит, — просто ответил тот. — Но слушать и отвечать могу. Главное, чтобы шеей не двигать...

— Ну, хорошо, а вот как вы скажете...—начал Игорь и, чтобы не повышать голоса, вытянулся из-за тумбочки, грудью навалился на край кровати.

Волнуясь, сбиваясь, он начал рассказ о том, как попал в окоп и что случилось после.

— Понимаете, он не отказал мне, когда я просил хлеба, а я отказал ему, хотя мог избавить его от напрасных страданий: все равно ему не выжить... Что же, по-вашему, это не было моим долгом?—снова волнуясь, спросил Игорь.

Капитан помолчал. Глаза его попрежнему горели красным огнем, как горят глаза ночью у кошек.

«Наверно, у него страшно болит голова»,—подумал Игорь.

— При чем здесь долг?—наконец заговорил капитан.— Разве солдат должен был дать вам хлеб?

— Нет, не должен,—сосредоточиваясь, чтобы понять как следует своего собеседника, ответил Игорь.

— А дал же, однако,—продолжал капитан.—Он дал, не думая, конечно, о долге и даже не зная о том, что такое долг. Это был естественный для него, вполне разумный поступок... А вы не могли его прикончить, хотя начинены идеей долга, только потому, что естественность и разумность его просьбы вами еще не усвоены как естественное и разумное. Только всего... А пристрелить его, конечно, было бы лучше.

— И вы могли бы?

— Не знаю,—просто сказал капитан.—Во всяком случае для меня это было бы разумнее, чем то, что мы с вами делали.

— То есть, что мы воевали?

Игорь даже присел от смущения и беспокойства. Он все искал, но так и не мог поймать выражения неподвижных, горящих глаз своего собеседника:

— Вы толстовец?—наконец шопотом спросил он.

Какая-то едва заметная волна прошла по лбу и носу капитана.

— Как раз наоборот,—с бо́льшим, чем раньше, нажимом, но все так же спокойно ответил он.—Не то, что мы воевали, а из-за чего воевали... Впрочем, это уже философия, а нам с вами поспать не мешало бы. Покойной ночи!

Капитан опустил веки, взгляд его потух, скрылся. Игорю показалось, что кто-то вошел в палату и, повернув выключатель, загасил свет.

25 сентября ждали приезда в Вильну государя и посещения им лазарета. С вечера 24-го и все следующее утро в лазарете царили обычные в таких случаях суетня и волнение. Чистили, прибирали, скребли, выдавали свежее белье, переодевали раненых в свежие халаты. В нижних палатах, где помещались солдаты, заведующий и вызванный сверху офицер натаскивали нижних чинов для соответствующей встречи.

В палате, где лежал Игорь, открыты были окна, и солнце, особенно веселое в этот день, зайчиком тормошилось по белым стенам. Игорь сидел, облокотившись на подушку, в чистой, хрусткой, пахнущей мылом и иодоформом рубашке, при-

слушивался к разговорам и пытался вдохнуть глубоко заносимый в окно родной, совсем особенный виленский воздух. Порою, когда это ему удавалось, он забывал о том, что лежит в лазарете, и сызнова находил в себе прежнего озорного мальчишку.

«Чем только была голова набита!—улыбаясь не то с сожалением, не то удивленно, думал он в такие минуты.—Главное, как много было веры в других и в себя! Всему была вера...»

Но тотчас же запах иодоформа и громкие разговоры соседей возвращали его к действительности. Вспоминая свою ночную беседу с капитаном, Игорь беспокойно оглядывался.

Высокий гусарский ротмистр, лысый, с длинными гайдамацкими усами, с забинтованным правым глазом, сидя верхом на подоконнике и побалтывая на голых пальцах ноги войлочной туфлей, кричал раскатистым баритоном:

— Дудки! Теперь меня не проведешь! Я теперь эту механику изучил до тонкости. Свой эскадрон в атаку нипочем не поведу. Это вам не Отечественная война! В десять минут—можете себе представить—на этих проклятых проволоках весь эскадрон повис, как вишни. А сверху жужжалки проклятые—так и сыплют, так и сыплют! Вот вам и атака! Благодарю покорно!

Его собеседник, раненый в руку, пытавшийся здоровой рукой зажечь спичку и прикурить, отвечал с философским беспристрастием:

— Пустяки! Прикажут—и поведете... А что приказывают и делают у нас на каждом шагу вздор, так что же удивительного? Нам вот господа инженеры такие окопы построили, в которых не дай бог драться. Ни применения к местности, ни маскировки. Ловушки какие-то, а не окопы. Если придется их занимать,—сейчас же новые выстроим.

Он помолчал, разжег наконец огонь и поднес его к папироске.

— Как вишни,—весело повторил гусар, видимо, довольный своим сравнением.—Пусть повесят—не поведу!

— А относительно жужжалок,—продолжал его собеседник, обкуриваясь дымом,—так вы знаете, что у нас совсем нет зенитных батарей для обстрела воздушного флота.—В Минске стоит одна—Терновского, так и она стреляет под углом шестьдесят пять градусов, не выше.

— Это вы правильно,—откликнулся еще один голос с противоположного конца палаты.

Игорь оглянулся. На постели сидел молодой, совершенно безволосый и беззубый человек. Дергая шеей, заикаясь, моргая выеденными веками, он говорил, точно схватывал слова в воздухе и проглатывал их:

— Бес-сс-проволочный те-телеграф-ф... у нас то-тоже еще не дело... Только инженеров ко-кормит...

— А вы скажите лучше, что у нас есть?—снова заговорил офицер с подвязанной рукой.—Ничего у нас нет!

Его перебил раскатистый хохот гусара. Подрыгивая ногой, он внезапно разразился таким заразительным хохотом, что все невольно с улыбкой посмотрели на него.

— Ничего нет! Ничего нет,—закричал он, захлебываясь,—а «С-нами-бог» есть!

— Какой «Сс-нами-бог»?

— Это мы дивизионного своего прозвали,—хохоча, тряся усами и шлепая себя по ляжкам, закричал гусар.—Доносит ему наш командир, что фураж весь вышел, у местных жителей тоже потравили дочиста. Ждем распоряжений. А он, этакая каналья, отвечает: «Уменьшите рацион, сбавьте нагрузку, с нами бог—выдержат». Благодарю покорно!

Гусар отхохотался и плюнул в окно.

— Однако не идут что-то,—проговорил он, перевесясь наружу.

— У нас как ведь с дорогами дело всегда обстояло?—снова начал куривший, ни к кому не обращаясь.—Лишь бы самому проехать и колес не поломать, а чинить дорогу—охота была! Я починю, проеду, а другие будут ехать на мой счет? Слуга покорный! Вот как у нас рассуждают мужички. Так точно рассуждает и всякая воинская часть. Плевать нам на общий интерес... Да что дороги! На станции «Лунков» зал первого класса отвели под конюшню для лошадей 12-го саперного батальона; стены пакгауза разобрала на отопление 33-я артиллерийская бригада, пол прожгли кострами. А рядом и конюшни имелись пустые, и дрова были... Станцию «Новый Лунков» сравняли с землей. По полотну дороги ездят обозы, даже стенки вагонов для чего-то понадобились... Испакостить, разрушить—первейшее наше русское удовольствие.

— Да, но ведь и немцы тоже...—почему-то испытывая жестокую неприязнь к говорившему, ввязался в разговор

Игорь.— В любой газете изо дня в день вы прочтете об их вандализме. Почему именно русские? Почему только они?

Куривший оборотился к Игорю, сквозь пенсне оглядел его.

— Газеты я тоже читаю,— проговорил он с подчеркнутой вежливостью и отвернулся.

— А вы бы его величеству все это доложили сегодня!— крикнул гусар весело.

Чувствуя себя чужим среди армейских офицеров, думая про курившего: «Наверно, запасный какой-нибудь зубодер», Игорь исподлобья посмотрел на соседа, как на единственного близкого человека.

Капитан, лежа на спине, читал свою трепанную книжку и чему-то подхмыкивал.

— Господин капитан,— осторожно позвал его Игорь,— вы что читаете?

Капитан опустил на живот книгу, повел глаза на Игоря. На этот раз в них не было прежнего блеска, они сузились, посветлели, зато борода казалась еще чернее и лоснилась.

— А это книжечка одна,— ответил он охотно.— Утешительная и назидательная книга. Я ее всюду с собой вожу.

— Какая именно?

— Хотите послушать?— не отвечая, в свой черед оживленно спросил капитан.— У меня сейчас голова почти не болит. Я вам кое-что могу прочесть... Интересно будет в связи с вашими мыслями.

Игорь обрадованно пододвинулся поближе. Безделье, чужие разговоры, ожидание царя напрягли его нервы. Он рад был отвлечься.

— Я слушаю.

— Заглавие книжки вам ничего не скажет, а вот я вам из этой главы... «Симпатическое средство» называется... Нуте-с, например, следующее: «Если у пациента падают волосы,— начал капитан читать вполголоса и со всей серьезностью,— то магнетизер, обладающий здоровой растительностью, может передать пациенту все свойства своих волос, если обрежет несколько прядей (нечетное число) и положит их в воду, которой пациент будет каждый день примачивать свою голову»... Или вот: «Чтобы вылечить болезни желудка,— это к вам относится,— поднял капитан глаза на Игоря,— по-

чек и пузыря, надо варить кусок свинины в урине больного, дав три раза выкипеть и прибавляя свежей, а затем отдать ее съесть собаке или свинье»...

— Как, как вы прочли?—смеясь, радуясь, что есть над чем посмеяться, перебил чтение Игорь.—Варить в урине? Это что же такое? Юмористика?

— Ошибаетесь, молодой человек,—без улыбки ответил капитан совершенно серьезно.—Эта книжица—ученый труд, а не юмористика. Да вы слушайте дальше. «Чтобы избавиться от зубной боли, надо потереть десну косточкой из правой ноги жабы»... «Чтобы вылечить подагру, надо прикладывать правую ногу черепахи к своей правой ноге, а левую—к левой»... Жаль только, тут не написано, что̀ приложить к голове, когда она болит...

Капитан снова опустил на живот книгу и счастливо, успокоенно посмотрел в потолок, на солнечные зайчики.

Игорь, смеясь, хлопнул себя по здоровой коленке.

— Это же прелесть! Прелесть! Но все-таки что же это такое?

Не отвечая, капитан зачитал снова:

— «От обыкновенной лихорадки—положить в скорлупу ореха живого паука, заклеить щелочку воском и, зашив в тряпочку, носить под ложечкой. Когда паук подохнет, лихорадка пройдет».

Игорь взвыл от хохота:

— Вот так книжка! Чудо!—вскрикнул он и тут же любовно подумал: «Ну, что за милый чудак этот капитан».—Ну, еще, еще!

— А вот вам от ячменя. Надо сунуть в глаз кукиш и сказать: «Ячмень, ячмень, на́ тебе кукиш, что хочешь, то купишь; купи себе топорок, руби себя поперек»...

Глаза капитана на неподвижном волосатом лице играли искрами смеха. Игорь, торопясь, захлебываясь, дергая плечом, смеялся, как смеются дети—носом и открытым ртом.

— А ведь про ячмень я знаю,—заговорил он.—Это мне еще в детстве бабушка делала: поднесет кукиш, поплюет, поплюет...

— И помогало?—спросил капитан серьезно.

— Ну, проходил, конечно, в свое время. Да вы что, правда, верите в эти рецепты?—недоуменно, перестав смеяться, уставился Игорь на соседа.

Капитан снова взял книгу, закрыл ее и показал на обложку.

— Книга эта называется «Магические растения», написал ее некий француз Павел Садир, перевел Трояновский, издана она в Петербурге в 1909 году и с самыми серьезными намерениями. Ссылаются в ней на авторитет Парацельса, Демокрита, Анаксагора и Эмпедокла,—как видите, все на мужей высокого разума,—без тени юмора возразил капитан.—Многие поколения верили в эти рецепты так называемой герметической медицины, и лечили и лечились, и даже вылечивались... А по-вашему, это вздор?

— Ну, конечно же, курам на смех!

Капитан помолчал, повертел книжку, потом запрятал ее под подушку.

— Нет, отчего же,—наконец сказал он.—Книжечка эта весьма и весьма назидательна,—особенно в нашем положении. Агитационная книжечка... Я без нее, как без головы: от сумасшествия спасает... Вы же в воинский свой долг и в честь мундира верите? Во врачевание родины посредством немецкого кровопускания...

Капитан оборвал на полуслове. Только догадка, тень догадки, смутный намек на что-то невысказанное прошел в сознании Игоря. Он оторвался от подушки и, пригнувшись, испуганно и зло уставился на неподвижно лежавшего соседа.

— Вы опять...—начал было Игорь.

В ту же минуту гусар, все еще сидевший на подоконнике, кубарем прыгнул на пол и, подняв руки, топорща гайдамацкие усы, тараща поглупевшие глаза, крикнул придушенным, но загудевшим на всю палату голосом:

— Едут! Едут!

Куривший пехотинец с подвязанной рукой оторопело затыкал окурком в стенку тумбочки и, не зная, куда его девать, спрятал под матрац. Беззубый, дергаясь, встал, запахнул халат. Ротмистр прошлепал к своей койке, достал из-под подушки одеколон и старательно, отворотившись от других, стал вспрыскивать усы. Капитан устало закрыл глаза.

Все еще смущенный мелькнувшей догадкой, сбитый с толку и в то же время оскорбленный в чем-то самом для себя святом, Игорь пытался завязать ворот рубахи и, не находя тесемки, без толку тормошил его.

Мимо открытой в коридор двери промчалась одна сиделка, за ней другая.

Прошаркали шлепанцами раненые из соседних палат. Один из них, заглянув в дверь, мигнул глазом ротмистру, открыл рот, но, ничего не сказав, побежал дальше.

Вошла дежурная сестра и, подойдя к койке, на которой вытянулся капитан, ненужно подоткнула ему под тюфяк одеяло.

За окном мягко, как струя воды по мостовой, со скользящим шипеньем прокатились и замерли автомобильные шины. Солнечный зайчик, перехваченный кузовом машины внизу, юркнул с потолка палаты в угол и затрепыхал. Загудели приглушенным ревом голоса из-под пола.

Внезапная спазма в желудке дернула руку Игоря к животу. «Этого еще не хватало,—собирая всю силу мужества и терпения, скрипнув зубами, бледнея, подумал он.— Чорт принес...»

Желтоватая муть прошла по глазам.

— Сестра,—сквозь зубы пробормотал Игорь,—сестра, я не могу...

Сестра испуганно подалась в его сторону, замахав рукой, зашипела:

— Что, что вы? Как можно!..

Игорь, свирепея от напряжения, выкатывая глаза, крикнул:

— Да не могу же я, чорт возьми!..

Царь исполнил обещание, данное Никанору Ивановичу. Все еще находясь под приятным впечатлением поездки в Осовец, он изъявил желание видеть подпоручика Преображенского полка Смолича и, когда узнал от смущенной сестры, что по нездоровью подпоручик в данное время отсутствует, попросил ротмистра—старшего по палате—передать Игорю привет от отца и поздравление его величества с награждением за доблестный подвиг при взятии Мариамполя орденом Станислава четвертой степени. «С клюквой»,—как выразился гусар.

Ночью, засыпая, Игорь внезапно рассмеялся. Он открыл глаза и покосился на капитана.

— Что с вами?—спросил тот.

— Чорт знает,—развеселясь, ответил Игорь,—это же

великолепно!.. «Ячмень, ячмень, на тебе кукиш, что хочешь, то купишь»...

Он продолжал смеяться, представляя себе эту сцену. Капитан по своему обыкновению помолчал, потом сказал:

— Вот видите, я же говорил вам...

— Что?—вскинулся Игорь.

— Ничего. Спите!—оборвал капитан неожиданно резко.

В этот поздний ночной час, в Петрограде, на Пантелеймоновской улице в доме Мурузи, в просторной темноватой квартире писателя Мережковского, поэтессы Зинаиды Гиппиус и журналиста Дмитрия Философова собрался обычный круг литературных друзей хозяев квартиры. Только что вышел из своего кабинета с примятой бородкой и холодной, притворно-любезной, «христианской» улыбкой Мережковский и, потирая руки, сгорбившись, остановился у оливковой тяжелой портьеры, скрывающей двери. Зинаида Николаевна, подобрав ноги, глубоко ушла в угол дивана. Все со вниманием, одни—с наигранным, другие—восторженным, третьи—настороженным, приготовились слушать новые стихи всеми признанного поэта.

Поэт был сумрачен и молчалив в продолжение всего вечера. Он окружил себя той завесой холодности и отчужденности, которой он имел обыкновение ограждать себя в незнакомом и неприятном ему обществе. На этот раз он не сделал исключения и для друзей. Да полно, ощущал ли он сегодня дружественную теплоту в отношении людей, окружавших его нынче? Пожалуй, они были более далеки от него, чем кто бы то ни было. Но все же он согласился читать и прочел им то, что написалось вчера, но о чем он мучительно думал, чем болел уже много дней. Голос поэта был глух, монотонен и тих, когда он начал:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы, дети страшных лет России,
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы,
Безумья ль в вас, надежды ль весть,
От дней войны, от дней свободы
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота: то гул набата
Заставил заградить уста.

В сердцах восторженных когда-то
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье—
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твое!..

28/11 ВОСКРЕСЕНЬЕ

Плеханов должен был читать реферат в Лозанне. Об этом узнал все еще живший в Берне Владимир Ильич Ульянов-Ленин и решил во что бы то ни стало поехать послушать этот реферат.

Владимир Ильич оставил в Берне хворавшую жену, работу и с несколькими своими товарищами поехал в Лозанну. Мысль, что какая-либо случайность может помешать ему послушать реферат, его очень беспокоила. Он придавал предстоящей встрече большое значение. Вот почему, когда в Лозанне, выйдя на перрон, он увидел встречавших его Бухарина, Ривлина и Ильина, он насупился, втянул голову в плечи, торопливой походкой подошел к встречавшим и, не успев поздороваться, недовольным тоном прошептал:

— Ну, чего все приперли?

И на недоуменные взгляды товарищей добавил, озабоченно прищурив по своему обыкновению глаз:

— Нас могут заметить меньшевики. Если Плеханов узнает о нашем приезде, он еще, пожалуй, откажется от реферата.

«Но меньшевиков на платформе не оказалось, и компания без помех двинулась в город»,—записал в своих воспоминаниях об этом дне русский эмигрант-большевик Ильин[1].

«Дорога с вокзала в центр города вела в гору. Сначала все шли вместе, потом Владимир Ильич предложил пойти врассыпную, и так поодиночке добрались до квартиры товарища Мовшовича.

[1] Событие, сообщаемое здесь, настолько нам близко и так для нас сейчас многозначительно, что я не решаюсь воспользоваться своим правом художника в передаче его и уступаю место добросовестному очевидцу—Ильину, поделившемуся своими воспоминаниями.

«Хозяйка быстро состряпала обед для нежданных гостей. Во все время обеда Владимир Ильич был молчалив, сосредоточен и почти не ел.

«Обернувшись к сидевшему рядом с ним Мовшовичу, он несколько раз спросил его:

«— А пустят ли меня меньшевики?

«За десять минут до шести часов, когда назначена была лекция, вся компания была уже у «Maison du Peuple». У входа сидел один из организаторов, принимая плату. Досчатая дверь зала вела непосредственно, без ступеней, в досчатый узкий, длинный зал, напоминающий барак.

«Ильин прошел первым, заслоняя собой Ленина, который бочком успел проскользнуть в зал, пока Ильин расплачивался у входа.

«Владимир Ильич сел у самой стены, на предпоследней скамье по левой стороне, так, чтобы быть менее заметным. Он не снял шляпы, согнулся, опираясь локтями в колени, держа в руках какую-то бумажку, которую, казалось, внимательно изучал.

«Ильин подсел к нему и, выпрямившись, закрывал его от любопытных взглядов.

«Публика собиралась медленно. Пришли меньшевики, бундовцы и несколько беспартийных студентов.

«Ждали Плеханова: он запаздывал.

«Обеспокоенный этим запозданием и тем, что кое-кто заметил его и уже пошел по залу шепоток: «Ленин здесь, Ленин здесь...»—Владимир Ильич, прикрыв рот рукой, как щитом, спросил Ильина:

«— Что это значит? Его нет. Не узнал ли он, что мы здесь, и не сбежал ли? Узнайте.

«Ильин встал, но не успел он подойти к дверям, у которых стояли некоторые из организаторов собрания, как тотчас же показался Плеханов.

«Поздоровавшись со своими, Плеханов направился упругой своей военной походкой к трибуне. Встреча с Ильиным его обеспокоила. Он сдвинул густые брови, окинул пронзительным взглядом зал, почуяв, что ему готовится какой-то сюрприз, и взошел на трибуну...

«Доклад свой он начал с извинения за опоздание, заявив, что столь многолюдное собрание является для него неожиданным, так как его пригласили приехать только на собеседование в узком кругу единомышленников, что к рефе-

рату он не готовился и заранее просит не судить его строго, если реферат будет страдать неполнотой.

«Владимир Ильич хитро улыбнулся и, приставив ладонь к вытянутым губам,—шепнул Ильину:

«— Жулябия. Стратегический прием.

«Первую часть своего реферата Плеханов посвятил характеристике измены немецких социал-демократов. Владимир Ильич удовлетворенно кивнул головой, мрачное выражение его лица постепенно прояснилось. Он даже смеялся анекдотам, которыми Плеханов пересыпал по обыкновению свою речь. Держа у самых глаз блокнот и глядя на Плеханова своим прищуренным взглядом в просвет между головами сидящих впереди, Владимир Ильич как бы гипнотизировал говорившего. Плеханов, в свой черед, заметив Ленина, нет-нет бросал на него взгляд из-под сдвинутых на кончик носа пенсне. Они оба точно проверяли дистанцию, разделявшую их друг от друга, раньше чем сразиться...

«Многие из публики заметили этот поединок глаз, зашептались и оглядывались то на Плеханова, то на Ленина.

«После первой части доклада был объявлен перерыв. Раздались долгие шумные аплодисменты. Владимир Ильич приподнял голову и, вытянув руки над головой, долго и сильно аплодировал, как бы подчеркивая, что с этой частью речи он вполне согласен.

«— Да, с немцами он разделался хорошо,—говорил Владимир Ильич своим друзьям.—А вот что он скажет о французах?—И снова тень прошла по его лицу.

«Во второй части доклада Плеханов дал оценку французских социалистов. Он решительно взял их под свою защиту, подкрепляя свои доводы цитатами из Маркса...

«Хмурясь, нервно заносил Ленин отдельные места речи в блокнот, волнуясь, поглаживал лысину...

«Плеханов кончил. Все, кроме большевиков, вскочили с мест, аплодировали.

«Оппонировать записался только Ленин. Ему предоставили десять минут под тем предлогом, что Плеханов спешит на поезд.

«Владимир Ильич волновался все больше. Болезненная складка легла у губ, когда вместо привычного «товарищ» ему пришлось назвать Плеханова «докладчик»...

«Когда Ленин кончил, ему аплодировали большевики;

меньшевики молчали, но заключительное слово Плеханова снова покрыли аплодисментами. Вызов был принят.

«— Ставьте завтра мой реферат,—решительно заявил своим товарищам Владимир Ильич».

Через два дня, 1 октября старого стиля, Владимир Ильич взял реванш. Весь переполненный зал слушал его с напряженным вниманием, бурно и долго аплодировал ему. Среди аплодирующих было много тех, что аплодировали давеча Плеханову.



ОКТЯБРЬ

КРУТОВСКОЙ проснулся от ослепительного белого блеска, наполнявшего комнату. Он вскочил с кровати и подбежал к окну. Обнаженные деревья, перила балкона, крыши рабочих строений, рудая трава, песок дорожек — все было покрыто инеем. Все сверкало, все белело, самый воздух сквозь стекла казался белым.

Леонтий Алексеевич проворно оделся и вышел на двор. Щиплющая свежесть раннего утра охватила его со всех сторон, разогрела кровь, оживила мускулы. Он пошел на молотилку, потом к берегу Ящура, где вколачивали сваи. Каждый шаг Крутовского оставлял за собой темный след, иней хрустел под ногами, точно рассыпанная по земле соль. С резким криком неслись ему навстречу вороны, гулко тatакала на реке баба. Работа подвигалась вперед. «Скоро

поперек Ящура протянется стена, и когда откроют шлюзы, вода бурливым потоком понесется вниз... А через год отсюда повезут белую мягкую муку... Через год... Полно, можно ли знать, что будет через год. Можно ли загадывать так далеко, когда все еще свирепствует война?.. Война!.. Слово-то какое безобидное на слух: вой-на!.. Вой...Воют люди от ужаса... Нá тебе вместо хлеба—вой. Чепуха какая, какой бред!..»

Крутовской даже головой мотнул и торопливо зашагал по шляху в усадьбу в Самолюбово. Что-то неодолимо потянуло его туда. Он и сам не знал—что...

Вера Владимировна и Яков Владимирович сидели у себя в маленькой гостиной за круглым столом. Они пили чай. Карышева сбивала масло, Тулубьев читал Анатоля Франса. Попрежнему в комнатах пахло розами, сухими розовыми лепестками, рассыпанными по подоконникам и зашитыми в кружевные подушечки.

— А вот и мы!—закричал Яков Владимирович, увидя Крутовского.—И кажется, в великолепном здоровьи. Ну, рассказывайте, что нового предприняли вы в покинутом мною царстве. Мне доставляет неизъяснимое удовольствие слушать, как люди рассказывают о своих заботах. Так точно, должно быть, добродушно улыбались все короли в изгнании, когда им доносили о новых революциях. Спокойнее разбираться в событиях, чем создавать их. Я одного мнения с поэтом Вордсвортом, что «одно только есть в жизни счастье и нет иного: счастье —в разуме и добродетели». А эти качества вполне присущи летописцу и отнюдь не служат украшением героев... Кстати— о героях. Что скажете вы мне о войне? Каков размашец? Можно подумать, что все объелись белены и полезли на рожон, как говаривал частенько мой управляющий Гловатский; был у меня такой в мое недолгое царствование в Раю. Но что всего изумительнее, так это то, что кого ни послушай, все стали ярыми патриотами и ненавистниками немцев. Все газеты выливают на них ушаты помоев, не стесняясь тем, что еще недавно ставили их нам в пример. Но это—куда ни шло! А вот сюсюканье «с солдатиком», спасителем культуры и цивилизации, бесподобно! Об этих «солдатиках» пишут даже наши эстетствующие поэты. Чем не всенародное объединение? Нет, положительно, я солидаризируюсь вполне с m-me Сталь: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я уважаю собак». Пишут о великих событиях,

о мировой войне; а я вам говорю: все это вздор, ничему этому я не верю. Я не вижу разницы между великими событиями и малыми. Люди всегда сумеют сделать их пошлыми. Наташа — благодетельница воинов, устроительница «патриотических концертов». Это ли не профанация великого?

Крутовской слушал Тулубьева с рассеянной улыбкой. Ему хотелось бы остаться наедине с Верой Владимировной. Он ловил на себе ее внимательный взгляд. Время от времени она подымала голову, переставала крутить маслобойку и, закусив губу, снизу вверх, из-под полуопущенных век, смотрела на Крутовского. Наконец он улучил свободную минуту и спросил нерешительно, получает ли она письма из Петербурга.

— Да, конечно, очень часто. И Людмила и Витя здоровы. Все хорошо, все в порядке. Это самое важное... В последнем письме Витя просит кланяться Леонтию Алексеевичу.

— Спасибо. Я так рад, что они благополучно устроились. Это самое важное, больше ничего не нужно...

Крутовской стал мешать ложечкой чай, несколько капель брызнуло на стол. Ну, разве можно так быстро вертеть ложкой?

Вера Владимировна проводила его до передней.

— Так, значит, у вас все тоже благополучно?—спросила она многозначительно.

—Да, да. Всё, слава богу, идет помаленьку, — смутившись и стараясь не выдать своего смущения, ответил Крутовской.

— Тем лучше,—сказала Карышева.—Я очень рада за вас. Я собственно хотела сказать, что Людмила вам кланяется... и вот прислала письмо для вас через нашего арендатора. Он вчера вернулся из Петербурга... Я сразу не вспомнила, простите мне...—Вера Владимировна достала из ридикюля вчетверо сложенный конверт и протянула его Крутовскому, долгим любящим взглядом заглядывая ему в глаза.

Леонтий Алексеевич принял письмо, вспыхнул и торопливо спрятал его в карман, так, точно бумага обжигала ему руки. Он забормотал было благодарности, но Вера Владимировна прервала его с приглушенной, доверительной ласковостью, как близкого.

— Она мне пишет, что охотно поспорила бы с вами, как раньше, что на многое она стала смотреть другими глазами.

И на войну у нее какой-то свой взгляд... Я не совсем поняла, но что-то такое, что как-то плохо укладывается в моей голове...

Карышева конфузливо, девически улыбнулась. Эта улыбка на минуту озарила все ее повядшее лицо тихим, милым светом. Крутовской чувствовал, глядя на нее, неизъяснимый прилив любви к ней и благодарности.

— Она пишет, что точно так же, как страдания, боль очищают человеческую душу, так точно и война эта, если она будет несчастлива, очистит Россию от скверны, откроет ей на многое глаза... Что-то в этом роде,—говорила Вера Владимировна, морща лоб и доверчиво глядя на Крутовского.—Может быть, вам это понятно...

— Значит, она за поражение?—неуверенно спросил Леонтий Алексеевич, волнуясь, как бы испугавшись своего вопроса, и, боясь услышать ответ, невольно нащупал письмо в кармане.

— Нет, что вы!—вскрикнула Вера Владимировна, тоже пугаясь чего-то.—Конечно, не это... Я просто напутала, должно быть... Разве может кто-нибудь думать о поражении, желать его, когда столько приносится жертв, столько мук? Нет, конечно, Людмила, очевидно, хотела сказать, что вообще во всякой боли, во всяком страдании есть доля блага... Так мне кажется...

Карышева все еще не отнимала своей руки, она даже положила на рукав Крутовского другую свою руку, сухими пальцами перебирая машинально обшлаг, и точно забыла, что нужно отпустить гостя, что они стоят посреди передней, что брат ждет ее. Ей нужно было еще что-то сказать, в чем-то открыться, дать почувствовать, что она иными глазами видит и понимает вещи. И Крутовской терпеливо стоял перед нею. Ему стало просто и хорошо с этой женщиной, точно он всегда по душам беседовал с нею.

— Да, я тоже думаю, что это так,—подтвердил он.— Пораженчество, как лозунг, мне знакомо, и теоретически его можно признать в иных случаях целесообразным... как в Японскую войну—чем хуже, тем лучше. Но только теоретически, в качестве стороннего наблюдателя. А вот так, во время боя, лицом к лицу с неприятелем, даже если он лично тебе не ненавистен... нет, я не представляю себе это возможным. Для этого нужно быть каким-то бронированным...

Желать себе поражения ради самых благих целей... Нет, какие же для этого должны быть стальные нервы и какой... какой математический, жестокий, нечеловеческий ум!..

Волнение снова овладело Крутовским. Все, казалось бы, уже решенное, все выясненное еще так недавно теперь снова смешалось, спуталось, вышло из берегов, забылось даже. Вопрос о войне снова стоял перед ним, обнаженный, циничный в своей ничем не оправдываемой реальности.

— Людмила Александровна, конечно, не может так думать,—внезапно закончил он, точно этими словами ставя точку своим сомнениям.

— Она так не думает,—успокаивающе подтвердила Вера Владимировна, заглядывая ему в глаза.—Я знаю, в ней так много настоящей любви к людям. Пусть, как говорит Яша, люди глупы, пошлы, но они в то же время прекрасны. Нужно только суметь подойти к ним и на время забыть о себе... А может быть, и не так. Я не знаю—как, но теперь я молю бога, чтобы он дал мне только пережить то, что дано мне пережить, и не отнял бы от меня моей любви. С нею я не одинока. Брат смеется над тем, что Наташа...

Карышева приостановилась, приняла свои руки с руки Крутовского и стала вертеть кольца на пальцах, то снимая, то снова надевая их, точно бы в них почерпая недостающую ей силу во что-то вникнуть, что-то понять, в чем-то себя убедить.

— Брат смеется над Наташей,—повторила она, уже более твердо.—Может быть, это и смешно. И конечно, не для себя, а ради моды она устраивает эти свои концерты. Но и это тоже не важно, совсем не важно,—качнув головой, подтвердила свои слова Вера Владимировна:—время все учтет и возьмет свое даже от глупости, даже от пошлости... И я понимаю, что нет разницы, как говорит Яша, в малых и великих событиях, а разница в том, как глубоко человек постигает их, и тогда малое может быть и прекрасно, и нужно, а великое только смешно...

Она выпрямилась, глаза ее прояснились, легкий румянец окрасил щеки.

— Не забывайте нас, стариков,—сказала она, протянув Крутовскому руку,—навещайте почаще. Нам нужно с вами почаще видеться теперь, в такие дни.

В третий раз целуя худые ее пальцы, Леонтий Алексеевич

почувствовал на лбу своем прикосновение сухих, съежившихся горячих губ.

— А вам не нужно итти туда?—спросила Карышева у самого его лица.

Он ответил, как ответил бы матери, без стесненности или рисовки, впервые вспомнив о формальном положении, в каком он находится в отношении к войне.

— Я должен был отбывать воинскую повинность вольноопределяющимся по окончании университета, но, вы знаете, я эмигрировал, так и не успел... Потом, после амнистии, я не позаботился восстановить свои права и теперь, пожалуй, числюсь в дезертирах...Это, конечно, нужно будет сейчас же уладить,—хорошо, что вы мне напомнили.—Он потоптался на месте, потер лоб и добавил, как бы отвечая самому себе:—Вероятнее всего, мне придется итти, когда призовут мои годы, простым рядовым... Ничего не поделаешь, сам виноват.

— А может быть, это можно еще как-нибудь исправить?

— Нет, чего уж... Даже лучше, без привилегий всяких.

Крутовской открыл дверь на балкон. Ветер ударил ему в лицо. Малиновые виноградные листья шуршали по мокрому полу. Перед ступеньками разлилась лужа, в ней кивали ветвями голые деревья и плыли свинцовые облака. Перепрыгнув через лужу, Леонтий Алексеевич оглянулся и махнул Вере Владимировне фуражкой. Рот ее с ссохшимися губами чуть открылся, точно она собиралась сказать что-то и забыла; прядь седеющих волос выбилась на опавшую щеку. Стояла и смотрела в мутную ветреную синь неба, а поблекшие глаза ее наполнялись слезами.

Крутовской поспешно отвернулся и быстро пошел прочь. Глубокая нежная грусть схватила его за сердце.

«Да, это ясно,—думал он:—теперь я опять владею своим днем и знаю, что от него взять. Я снова богат, мне ничего больше не нужно, как только не упустить своего часа, в нем жить и работать. Я заносился когда-то в будущее и в мечтаниях о нем забывал настоящее, пренебрегал им и почитал себя несчастным, потом жалел о прошлом и, возвращаясь к нему, утрачивал вкус к жизни. А ведь счастье тут, оно со мною. Да, да,—бормотал Крутовской, улыбаясь, и невольно потянулся

к карману, где лежало письмо, но сейчас же отдернул руку.— Да, да,—стараясь отвлечь свои мысли и успокоиться, думал он,—тот сильный человек, кто может глядеть на минувшее прямо, без смущения, не поддаваясь обольщению, кто видит в прожитых днях все, как было, кто знает и помнит, что пройденный путь—только начало настоящего; кого ни любовь, ни смерть, ни политика, ни стяжание, ни страсть, ни удовольствие не в силах отвлечь от предпринятого дела. Богат лишь тот, кто отдает себя целиком своему дню. Для нас дни—те же сосуды божества, как и для прародителей наших, арийцев. Из всего сущего они менее всего обещают, а вмещают всего более; нынешний день притаился и спрятался, его надобно отыскивать: в нем удача и победа, в нем действительность, радость и сила. Всякий льстит себе, никто не думает, что настоящий час—критический, решительный час для всякого; а всякому должно знать, что каждый день, какой приходит, лучший день в году. Чем больше труда и мысли вкладываем мы в настоящее, тем длиннее, глубже и полнее становится наша жизнь, а главное... главное—будущее уже не может страшить, даже если война... Э, да что там! Я хочу оправдать себя, а мне не нужно никаких оправданий. Почему не сознаться, что я сейчас счастлив и счастлив без всякой причины?..»

Крутовской прошел торопливо коридором к себе в спальню и там, не снимая поддевки, разорвал онемевшими пальцами конверт и стал читать:

«Милый Леонтий Алексеевич, я не отвечала вам так долго, не скрою, потому, что считала это излишним. Но я не старалась забыть вас, как вы пишете, потому что это бесполезно и ненужно. Я не хотела и не могу забыть вас. Я такая же, какая была раньше, но теперь я старше, я разумнее, я узнала, что я не одинока, что вокруг меня много таких же молодых и здоровых девушек, у которых есть руки, чтобы работать, и воля, чтобы жить по-человечески. Нужно только всегда быть вместе, нужно знать, что, какое бы дело ты ни делал, оно—общее дело, общественно-нужное дело, и тогда, как бы жизнь ни была трудна,—все можно осилить. Я много передумала за эти дни и во многом успела. Вы найдете, пожалуй, во мне большую перемену, но для любимого дела, для вас я осталась той же, что и была. Такие, как я, если что-нибудь делают, что-нибудь чувствуют, то уже раз и навсегда. У че-

ловека слишком мало сил, чтобы успеть по-настоящему, от всего сердца отдаваться многому. Одно дело, одна любовь — да для них хватит ли времени? Ведь они никогда не оканчиваются, всегда впереди. Но в деле, как и в любви, нужно полагаться только на самого себя. Никакое дело, никакая любовь не даст плодов, если мы построим их на другом, на других. Не знаю, понятно ли это вам. Я не подберу иных слов, но для меня очевидно, что как нельзя строить дом чужими руками и считать себя в праве жить в нем одному, а главное, живя там, быть покойным, уверенным в своем праве, — так и нельзя, полагаясь на любовь к тебе человека, основывать на ней свою жизнь. Так я верю, и вот почему ненавистна мне настоящая война, которая всю жестокость свою, все свое дело взвалила, не спросясь, на плечи одних с тем, чтобы насытить грабительские аппетиты других, тех, кто не воюет, не делает кровавого дела, а науськивает своих рабов. Не сочувствую и труду, хотя бы тяжелому, хотя бы полезному, как ваш труд, смысл которого (простите мне правду!) все же — строить дом вместе с другими, а жить в нем одному. Артель-то ваша живет для себя, преуспевает на чужом бездольи. Не понимаю и любви, в самой себе видящей цель, а не средство творить жизнь. И такая война, и такой труд, и такая любовь преступны, бесплодны, гибельны для человека и человечества, им нужно, должно противопоставить всю силу другой организованной воли, убеждения, веры и... ненависти. Пусть не пугает вас это слово — оно тут к месту.

Не примите сказанного как доктринерство старательного ученика: мной руководит искреннее чувство, верьте мне, и большое желание, чтобы вы меня поняли.

Мое убеждение пришло ко мне не только с чужих слов и из книжек, а из самой жизни, из примеров, которые она мне дала. Разве, любя Веру Владимировну и Якова Владимировича, я была слепа и не видела, куда они пришли на склоне своих дней? А ведь они, по существу, добрые, культурные люди, пожалуй, лучшие из тех, что принимают безделие своих дней как заслуженное право.

Я очень молода, знаю. Мне не учить вас, — тоже знаю. Но правды, которой я теперь владею, мне бы не хотелось скрыть от вас.

Вот пока все, что я сейчас могу сказать вам, милый мой друг.

Ваша Людмила».

Дойдя до подписи, Крутовской точно споткнулся. Глаза его все еще искали чего-то на листке бумаги, колеблющемся перед ним в застывших пальцах. Что-то как будто казалось Леонтию Алексеевичу недоговоренным в этих ровных строчках, нельзя было поверить, что на пространстве всего лишь одного листка почтовой бумаги он прочел всю свою жизнь и приговор своим чаяниям, своим ошибкам, своим трудам.

Крутовской стоял все на том же месте, посреди комнаты, не раздеваясь. Он не видел рук своих, и только письмо смутно белело, точно плавало перед ним.

«Как же все-таки? Значит, конец? Значит, впустую и это? И это все не настоящее? И это не крепко? Не спасет, не укроет, не оправдает... Кончено! Артель разваливается,—это очевидно. Членов артели взяли по мобилизации, оставшиеся хлопочут только о своем... Верно. Что будешь ты делать один? В чем будет твое дело? твое спасение? твоя укрепа? Значит—крах, черта, пустое место. Вы это хотите мне сказать, Людмила Александровна? Не жить в доме, строенном чужими руками... Но ведь и мои руки...»

Крутовской машинально поднес руки свои к лицу. Листок выскользнул у него из пальцев. Он пошевелил ими и внезапно почувствовал тугое железное кольцо на своей груди. Ему недостало воздуха, рот судорожно открылся. Но осилив волнение, чуть качнувшись, стараясь найти психологическую точку опоры, Леонтий Алексеевич ответил невидимому судье громко и отчетливо:

— Нет, веры своей не отрекусь...

Вера Владимировна все не отходила от двери. Она смотрела в сторону удалявшегося Леонтия Алексеевича, но не видела его, даже не помнила, о чем говорила с ним. Она только ощущала на щеках своих жар, который, как бы схватив кожу маленькими щупальцами, теребил ее, все более возбуждая кровь, мурашками пробиравшуюся ниже к шее и затылку и внезапно залившую грудь и плечи варом, точно хлынувшим вместе с ветром осеннего неба.

Тогда, не отдавая себе отчета, что она делает, Карышева, оставив за собою дверь открытой настежь, сбежала со ступенек в сад и по лужам, не разбирая дороги, сделала несколько торопливых, колеблющихся шагов, растерянно озираясь по сторонам, что-то пытаясь найти. Незапертая

дверь скрипела и хлопала за нею от ветра, из гостиной Тулубьев кричал визгливо:

— Верун, что же ты там? Будь добра, закрой дверь — дует!

Но Вера Владимировна не оглядывалась, не отвечала. Крепчавший ветер все пронзительней, все рьяней пел ей в уши, забирался под череп обжигающим пьяным угаром, трепал на голове волосы, хлестал по коленям юбкой, точно пытаясь обнять ее ноги.

Весь сад шушукался, подвывал, потрескивал опавшими листьями, давно неприбранным сушняком, побуревшими ветвями. Он предстал ободранным, развороченным, чужим, диким и неприютным испуганным глазам Веры Владимировны, искавшей в нем защиты и успокоения от охватившего ее внезапно панического страха перед собою, перед одиночеством. На короткий миг, с той особой остротой восприятия, которая, всегда неожиданно появляясь, застает человека врасплох, Карышева осознала себя беззащитной, брошенной на произвол судьбы и совершенно бессильной бороться против нее, потому что та броня, которую она с таким трудом надела на себя, — броня смирения, прощения и любви к людям, распалась мгновенно, превратилась в прах. Это ощущение беззащитности, оголенности залило ее стыдом, наполнило страхом и погнало из дому, лишив рассудка.

— Господи, господи, — бормотала Карышева, пытаясь в звуках этого слова найти опору разбредшимся, развеянным мыслям, — что случилось, что произошло? Как же это так!

Она попыталась вспомнить, откуда пришел к ней этот страх. Остановившись посреди аллеи, в глубине сада, она прижала руки к сердцу, разъяренно кусавшему ей грудь, мешавшему дышать. Что такое сказал ей Крутовской? Что говорила она ему? О Людмиле, о Наташе... Нет, не то, не то, не то... О великом и малом. Малое может быть прекрасно и нужно...

— Нужно... Ну да, нужно! Это сказала я ему, потому что так верю, — молвила Вера Владимировна и тут же мгновенно увидела одновременно и Крутовского, склонившегося к ее руке, себя, целующую его в лоб, письмо Людмилы к ней и в нем: «Папа получил назначение в Брест-Литовскую крепость», лысину Александра Ясоновича, покрасневшую на солнце — там, при свидании в Блонье, вспомнила мысль свою: «Я напишу ему, чтобы приехал проститься перед

отправкой на фронт» вместе со словами, сказанными Крутовскому: «А может быть, это еще можно как-нибудь исправить?»—и вскрикнула от боли, от непереносимой жалости к себе, от сознания все углубляющегося одиночества и пустоты, от невозможности, немыслимости что-нибудь исправить, как-нибудь изменить жизнь.

Значит, нет ничего—ни детей, ни брата, ни дома этого, ни старости, успокоения, нет ничего, кроме любви к нему, лысому человеку, Сашеньке, голубчику, родному, единственному, рядом с которым—тепло, счастье, смысл и цель жизни—и ревность, лютая, голодная ревность, вот сейчас кусающая грудь, спирающая дыхание, ко всем, всем, всем... И к дочери... Да, к дочери, к Наташе.

— У, проклятая, проклятая! Как она смела!.. Это она все сделала. Она привезла с собою сюда несчастье, разрушила последнюю надежду на примирение, отняла у матери единственное прибежище, единственное спасение... Проклятая, проклятая!.. С улыбочкой своей, ужимочками, со своей темной, чужой жизнью, с актерским своим сердцем, со словечками, как булавки, как булавки... А я не боролась, я шла у нее на поводу, я делала все, как она хотела... Но ведь и я этого хотела! Перегореть, перебороть, осилить, выкинуть из сердца, из головы... Старуха. Ведь старуха же я! Это он сам сказал и моя дочь... Значит, что же—смерть? умирать?

Опустившись на колени,—так сильно дрожали ноги,—Вера Владимировна стала шарить вокруг себя по мокрому песку горячими пальцами, собирая и ломая набухшие от дождя сухие ветки. Обобрав их вокруг себя и собрав в небольшую кучку, она потянулась дальше за другими, поползла на коленях по аллее—растрепанная, ослепшая от слез, с пылающими кирпичным румянцем щеками, старательно продолжая начатое дело, потому что руки привыкли всегда что-нибудь делать в то время, как мысли прыгали, носились, перебивали друг друга в разгоряченном мозгу. Ветер выбил последние шпильки из ее прически, седые и побуревшие от давней краски волосы относило на лоб и в стороны, подол юбки намок, набух, прилипал к чулкам, мешал двигаться.

— Но я же не хочу умирать. Я не могу умереть так, брошенная, как собака, как собака...

Она выпрямилась, продолжая стоять на коленях,

держа в руках перед собою ветки, повторяя прогоркшими губами:

— Как собака... как собака...

В пальто с поднятым воротником, в калошах и порыжевшем котелке Тулубьев, сгорбившись, шлепал по лужам. Он долго звал сестру, сидя на сквозняке в гостиной, раньше чем решиться самому пойти закрыть дверь. Наконец, обозленный, он поднялся и увидел сестру, бегущую по аллее. Тогда, встревоженный, возмущенный тем, что ему помешали, заранее поздравляя себя с насморком, Яков Владимирович оделся и вышел в сад.

Когда он подошел к сестре, она стояла все так же на коленях, ломала ветки и повторяла с упрямством отчаяния:

— Не хочу... как собака... не хочу...

Он попытался ее поднять. Она отмахнулась от него, не узнавая, задев по лицу веткой. Выведенный из себя, Тулубьев крикнул:

— Да что с тобой, наконец, сумасшедшая?—и дернул ее за плечо.

Она упала на руку, смолкла, кровь отхлынула от посиневших щек, губы задрожали, и, только теперь узнав брата, Карышева зарыдала тяжело и глухо, головой уткнувшись ему в ноги.

— Ты дура, сумасшедшая дура!—кричал над нею Тулубьев, не зная, чем помочь, что делать, бесясь на себя, на сестру, на Людмилу, которая уехала и оставила его тут одного справляться с сумасшедшей старухой.

— Я тебе говорю, встань!—кричал он.—Слышишь, встань сейчас же! Я не могу тебя поднять, не воображай, что ты такая легонькая.

Но все же он наклонился и потянул к себе сестру, схватив ее за рукава, обрывая кружево, царапая ее своими острыми отполированными ногтями.

Она поднялась, только сейчас чувствуя, что холод пробирает ее до костей, леденит душу. Дрожа мелкой постыдной дрожью, как прибитая, Вера Владимировна пошла к дому, поддерживаемая под локоть братом, продолжавшим ворчать. Но у ступенек балкона, взглянув сквозь распахнутую дверь в неясную глубину комнат, она внезапно отпрянула в сторону, едва не свалив Тулубьева, и закричала:

— Я не хочу здесь оставаться, не хочу! Увезите меня отсюда! Слышите, увезите, я боюсь! Тут можно с ума сойти, умереть... умереть.—И грохнулась навзничь, тяжело ударившись затылком о перила.

Ее отнесли в спальню прибежавшие на вопли Тулубьева рабочие. Это были кучер, старик Филат, когда-то игравший мальчонкой с Яковом Владимировичем в лапту, и пастух, уже совсем дряхлый. Они наследили по комнатам, оставили по себе тяжелый дух овчины, стариковского грязного пота и махорки, внесли беспорядок и бестолочь в чинную тишину барского дома, повторяя: «Ох, уж и постарела барыня, ох, уж и плоха!» И Яков Владимирович почувствовал себя еще более несчастным и заброшенным.

Привезенный из города доктор в рубашке защитного цвета и сапогах, скверно пахнущих касторкой, предписал больной оставаться в постели несколько дней. Беря от растерянного Якова Владимировича скомканную трешку, он сказал:

— Это чепуха, пустяки... Обычное явление у темпераментных женщин. Что поделаешь—старость штучка не веселая... Но если бы вы видели наших раненых! У меня у одного полтораста штук. А кроватей всего восемьдесят, а хинина не шлют, а ваты нет, а санитары мерзавцы, а сестры—шлюхи...

Он безнадежно махнул рукой, торопливо пожал Тулубьеву руку и сел в бричку, крикнув:

— Воюй тут в такую погоду. Подождите, вот когда тифозных поднавалят, тогда запоем...

Яков Владимирович долго на мог отделаться от докторского ржавого голоса, от его «шлюх», «поднавалят», смотрел на свои пальцы, потирал их друг о друга и дул на них.

— Хам какой-то,—брезгливо бормотал он:—Нет, скажу я вам, Россия... страна... народец... Я никогда не чувствовал к ним особенной симпатии. Ну, положим, война, ну, положим, раненые—все это очень неприятно, но зачем же хамить?

Он позвал горничную и приказал подмести пол. Потом уселся в свое любимое кресло и принялся за Анатоля Франса. Но ему не читалось, он захлопнул книгу, откинул голову на спинку и закрыл глаза. Тишина в доме угнетала его.

— Чорт возьми, разве, действительно, уехать? Но куда?

Он встал и шаркающей неуверенной походкой прошел к сестре в спальню. Там горела под голубым абажуром лампаночник, стоявшая на тумбочке, освещая блеклым водянистым светом простыни, стакан с морсом, пузырек с валерианкой, коврик у кровати. На полу от двери до кровати остались все еще не прибранные, подсохшие следы лаптей. В закрытые снаружи ставни стучались маленькие быстрые капли дождя. Больная дышала хрипло, лежа на спине с закрытыми глазами, но не спала. Большая черная тень от ночного чепчика двигалась по рисунку обоев.

Яков Владимирович сел на стул, на который брошено было скомканное белье. Вера Владимировна, не открывая глаз, повела рукой по одеялу, нащупала руку брата и пожала ее с немой благодарностью.

— Ну вот...—начал было Тулубьев и замолк.

Молчала и Карышева. Кружева на ночной ее кофточке колебались все быстрее.

От сестриной руки, все еще сжимавшей его кисть, Якову Владимировичу стало жарко, какой-то неприятный царапающий комок застрял в горле. Голубоватое освещение расслабляло его, создавало впечатление заброшенности глубокого озерного дна, безжизненности стоячих вод.

— Ты слышишь?—неожиданно спросила Вера Владимировна.

Тулубьев, съежившись, отозвался:

— Что?

— Выживают,—медленно и как бы продолжая прислушиваться, ответила Карышева.

— Что—«выживают»? Кого выживают? Что?

— Мыши.

— Какие мыши?—все более раздражаясь, вскрикнул Тулубьев.

Но, сильнее сжав ему руку, сестра остановила его:

— Мыши под полом. Слышишь—скребутся?.. Мамаша всегда говорила, что это перед тем, как хозяева покинут дом, выживают... Ее так выживали из Рая.

Раздосадованный Яков Владимирович перебил сестру:

— Дура! Вздор говоришь!..—И вскочив на ноги, сам удивляясь своей прыти, докончил:—Хорошо, я согласен, едем... Но на что? и куда? Я готов ехать хоть сейчас из этого логова, но на какие деньги, спрашиваю вас?

Карышева продолжала лежать неподвижно. Казалось она уже успела заснуть: так глубоко было ее дыхание. Но через мгновенье она сказала умоляющим, зазвеневшим слезами, голосом:

— Яша, милый, прошу тебя—протелеграфируй Александру Ясоновичу. Проси, умоляй его приехать... про-ститься...

Она приподнялась на локте, худая желтая шея ее вытянулась, она смотрела на брата умоляющими страдальческими глазами.

Яков Владимирович затопал ногами, заткнул пальцами уши.

Она повторяла, задыхаясь от слез:

— Яша, протелеграфируй!..

Тогда, выведенный из себя, всклокоченный Тулубьев выбежал из спальни, громко хлопнув дверью, с криками:

— Я еще не сошел с ума, как ты, чтобы делать такую глупость!

Но через полчаса вернулся обратно с листком бумаги и молча положил его сестре на колени.

Дрожащими пальцами она схватила этот листок и прочла громко, как молитву, вбирая воздух после каждого слова:

«Киев, Нагорная, 5, Карышеву. Сестра больна. Просит приехать проститься. Тулубьев».

— Да, да... Так, так... Спасибо тебе, спасибо...—Крупные блестящие девические слезы остановились в ее глазах, устремленных на брата, полных смертной тоски, веры, любви.

Яков Владимирович поспешно отвернулся, плечи его неестественно поднялись и дрогнули.

Телеграмма была послана в тот же вечер, через сутки получился ответ. Тулубьев встретил почтальона у ворот. Вместе с газетами тот подал ему неприятную на ощупь бумажку с наклеенными на нее полосками. Яков Владимирович торопливо,—как-то воровато оглядываясь, вскрыл телеграмму, прочел ее и, скомкав, спрятал в карман. Потом, уйдя в глубь сада, зашел за дерево, достал снова из кармана бумажку, перечел ее и тут же разорвал на мелкие куски. В телеграмме извещали Веру Владимировну, что полковник Карышев выехал из Киева на место своего назначения в район военных действий. Под текстом стояла подпись: Жермен Абейль.

Яков Владимирович хорошо помнил это имя и эту фамилию. Но ее не должна была вспоминать Вера Владимировна, потому что это были имя и фамилия любовницы Карышева, матери двух его детей, прижитых им еще в то время, когда Вера Владимировна думала,—что счастлива и любима,—имя и фамилия ее разлучницы, своей подписью как бы говорившей о том, что победительницей и на этот раз осталась она.

Дымша побывал в ставке, получил аудиенцию у Николая Николаевича, высказал верховному удивление и восторг петроградской общественности перед его военным гением и, получив разрешение выехать в расположение 2-й, 4-й и 5-й армий, отправился в Варшаву. В «Новое время» и «Вечернее» он слал многоречивые, восторженные и патриотические фельетоны. 7 октября утром он уже был у себя дома, на улице Жуковского, и звонил по телефону Наталье Никаноровне.

После вечера с Распутиным Иван Федорович не оставлял мысли закрепить свое знакомство с племянницей более крепкими узами. Он изыскивал способы как можно чаще встречаться с ней и, все более разжигая свое любопытство, принимаемое им за страсть, действительно уверил себя, что влюблен, и имел вид влюбленного. Ежедневно, до своей поездки на фронт, он посылал Наталье Никаноровне букеты и корзины цветов, звонил ей по телефону, суетился по организации патриотических концертов ее имени, познакомил Ерандакова с кое-какими нужными людьми, исхлопотав ему поставку муки в интендантство, привозил билеты на премьеры и стал ревностным посетителем сборищ у Сухомлиновой на Мойке, где среди целого муравейника светских дам, девиц и бесчисленного количества окопавшихся в тылу великосветских прапоров Наталья Никаноровна шила какие-то бинты и рубахи для раненых. Дымша не только вел себя как влюбленный петиметр, но и ревновал и даже пытался укорять Смолич за излишнее кокетство с нефтяным королем Манташевым и его друзьями—князем Накашидзе и Габаевым, неизменно посещавшими мастерскую Екатерины Викторовны. В те дни, когда Ивану Федоровичу почему-либо нельзя было заехать за Наташей на Мойку, он посылал за ней Савелия Онисимовича только для того, чтобы никто другой не провожал ее.

Дни проходили в деловых хлопотах, особенно увлека-

тельных потому, что дела устраивались удачно и как-то между прочим, а в хлопотах было больше шуточек, смеха, недомолвок, летания по городу на автомобилях, неожиданных ресторанных встреч, чем официальных приемов и хождений по учреждениям. Иван Федорович умел с особенной грацией вести с нужными людьми деловую беседу в самых, казалось бы, неподходящих для этого местах и со всегдашней своей хитренькой и кокетливой усмешечкой уверял Смолич:

— Никогда, ни при каких обстоятельствах не обивайте порогов даже у того начальства, которое неравнодушно к вам. В служебном кабинете, раз попав туда, говорите только о любви, премьерах, общих знакомых, о чем хотите... и только в ресторане, у себя в будуаре, между двумя поцелуями, двумя глотками вина излагайте свое дело. И вы будете всегда в выигрыше.

Наталья Никаноровна давно уже чутьем угадала этот способ достигать своего, но никогда еще не слыхала, чтобы о нем так легко, непринужденно говорили.

— А ведь мы с вами действительно прекрасная пара,— сказала она ему однажды, после того как дело с концертами было налажено и первая афиша, ошарашивая прохожих диковинной синью и алостью шрифта, расшлепана была по всем стенам петроградских домов.

— Я никогда не ошибаюсь,—без удивления, просто и коротко ответил Иван Федорович, целуя Наташе руки в сгибе локтей.

Уезжать из Петрограда в такие молодые, очаровательные дни Дымше не хотелось. Жаль было прерывать игру, похожую на головоломку, чуть-чуть покалывала ревность к манташевской компании, с завидной непринужденностью швырявшей деньгами; но, к сожалению, своих денег не хватало, и нужно было подумать о «горностае для своей мантии», как образно выражался он. Увы, средства таяли, «яко воск перед лицом господа», неимоверно быстро, а возможность добывать их сузилась чрезвычайно.

Уже больше года Дымша пробавлялся одним лишь заработком журналиста. До этого, после парижского скандала, когда Ивану Федоровичу не удалось передернуть и пришлось покинуть службу в департаменте полиции, Дымша все же сумел устроиться недурно. Официально числясь сотрудником «Нового времени», он под сурдинку продолжал выдавать себя за служащего департамента и в изысканно

обставленной приемной у себя в квартире, на улице Жуковского, принимал просителей, ищущих обходными путями милостей от великих мира «сего». Это был прекрасный, гениально простой способ без особого труда добывать деньги. «В конечном счете, для чего же и существуют дураки?»—рассуждал Иван Федорович. Он подходил при них к телефону, нажимал рычаг и, тотчас же незаметно отпуская его, называл сакраментальный короткий номер и начинал импровизировать разговор с тем или иным влиятельным лицом, смотря по надобности. Потом весело и непринужденно объявлял посетителю, что ему уже обещано устроить дело, но «предварительные расходы,—вы понимаете...»

К нему обращались евреи с ходатайствами о праве жительства, призывники—об освобождении от воинской повинности, чудаки с грандиозными проектами и жулики с запутанными комбинациями. Дело шло блестяще, деньги сыпались, как из рога изобилия. Иван Федорович, увлеченный не меньше других своей мистификацией, пожалуй, в равной мере рад был и деньгам и игре. Человек азарта, циник, он был лишен этических понятий, и «шантаж» звучал в его ушах так же, как и «ва-банк», что по справедливости почти одно и то же.

Приятно сорвать и обидно, когда сорвется,—вот те единственные «моральные» принципы, которые руководили Дымшей. К сожалению, в конце концов сорвалось, как и во всякой другой игре. Какой-то смельчак, прижатый Дымшей, поймал его с поличным и передал дело в суд. Ивана Федоровича обвинили в мошенничестве, но и тут его вывезла судьба игрока. Дымша слишком много знал для того, чтобы сидеть с рядовыми жуликами на скамье подсудимых.

Тайны департамента полиции не подлежали огласке, и дело Дымши, который не постеснялся бы для обеления себя разоблачить эти тайны, решено было не ставить на судебном разбирательстве и дать ему направление в порядке 277-й статьи Устава уголовного судопроизводства, то есть, иными словами, прекратить. Иван Федорович остался на свободе и в ожидании лучших дней ограничил свою деятельность журналистикой.

Жизнь пошла по-обычному—колесом. Попрежнему вечерами ждал одного из своих постоянных банкометов Суворинский клуб, что на Невском, в доме 16. По-давнему пестрели страницы газет объявлениями об аукционах, где

за бесценок можно было заполучить редкостную театральную реликвию, или севрскую чашку, или обольстительный ремонтуар с гривуазной миниатюрой на крышке. По-неизменному поверх очков смотрели на знатока и любителя антиквары в пыльных лавках Александровского и Апраксина рынков, соблазняя его сохранившимся от сожжения экземпляром мемуаров маркиза де-Сада с эротическими гравюрами или дразня японскими акварелями, демонстрирующими все тридцать девять содомских грехов. По-привычному нашаривали пальцы в жилетном кармане золотую пятерку на чай шоферу или парикмахеру, мосье Жоржу, что на Морской, у Главного штаба, где брилась и стриглась вся петербургская золотая молодежь, где часами, скрыв кавалергардские вицмундиры и безукоризненные смокинги ослепительно белыми пудремантелями, посетители мосье Жоржа говорили о балете, о конкур-иппик, об очаровательной Шуваловой из оперетты. И уж никак не заканчивался день, вернее—не протекала ночь без ужина, без шампанского, без цыган, без поцелуев, оплаченных золотом под тем или иным предлогом.

А «Новое время» в среднем давало четыре-пять тысяч в год,—сумму, до ужаса ничтожную для «дипломатического и высокоадминистративного» хроникера. Не выручали и заметки, писавшиеся специально по заказу того или иного банка или театра, оплачиваемые, как реклама, помимо гонорара еще и заинтересованной стороной. И если бы не Борис Суворин с его «Вечерним временем», Ивану Федоровичу пришлось бы затянуть петлю на шее. Лихой бильярдист, запойный банкомет, с утра до ночи лакающий коньяк, Борис Суворин тотчас же оценил в Дымше своего человека—театрала, балетомана, великолепного понта и недурного банкомета и предоставил ему страницы своей газеты с одним лишь условием, чтобы то, что он вздумает писать, прежде всего было горячо и сенсационно подано. За горячее Иван Федорович выколачивал еще тысяч двадцать-тридцать в год. И все же этого было недостаточно банкомету и коллекционеру, успевшему к тому же вторично жениться. Месяц за месяцем Иван Федорович хирел, как «умирающая теща», ища и не находя выхода. Растаяли наследственные сто тысяч, появились десятки векселей, пошли описи, исчезли текущие счета, и в конце концов этим летом возникло дело о несостоятельности. А тут еще Дымша увлекся Натальей Никаноровной, перед которой он не мог, не должен был уда-

рить лицом в грязь. Петля затягивалась. Но снова выручила судьба игрока. Через Распутина подвернулось дело с подрядом сапог на армию. Нужно было для этого съездить в Варшаву. Иван Федорович взял аванс и командировочные от «Нового времени» и от «Вечернего времени» и укатил корреспондентом на фронт.

Телефон стоял в кабинете, маленькой комнате, похожей на музей от обилия театральных фотографий и балетных реликвий. Веселыми глазами оглядывая по стенам ряды фотографий и гравюр, Дымша ворковал в трубку.

— Наташа, вы?..

. . . .

— Приехал... Все прекрасно... Умираю...

— . . . .

— Почему? Жажду видеть. Ваш идол дома?..

. . . .

— Гоните его вон... На пять минут...

. . . .

— Ну, хорошо, хорошо! Во всяком случае сегодня вместе на премьере в Суворинском... Мамонта Дальского «Позор Германии». Пьеса дрянь, но, вы понимаете, надо, надо!..

. . . .

— Побьет, если не приду? Может и побить. Он такой... Так решено? А потом обещанное... Да? Да-а-а?..

Иван Федорович смолк, повесил трубку, несколько секунд смотрел на аппарат липким блаженным взглядом, Потом встал, хрустнул суставами, размял поясницу, мелкими шажками прошелся по ковру в гостиную.

На полках, на шкапах, на стеклянных этажерках громоздился редкостный фарфор—саксонский, севрский, Елизаветы английской, старинный русский—поповский, гарднеровский, кустарные фарфоровые человечки продавали сбитень, подметали метлой улицу, играли на гармошке, плясали. Многолюдный крохотный мирок, любовно собранный за долгие годы, предмет единственной бескорыстной страсти Ивана Федоровича, заполнил гостиную.

Иван Федорович счастливо улыбнулся. Здесь, в одиночестве, в этой молчаливой компании, прислушиваясь к тиктаку десятка старинных часов, он размякал, чувствовал себя еще более влюбленным. Жены не было дома: она репе-

тировала в Александринке или занималась у себя, в театральной школе. Пахло ее любимыми духами—«rameau fleuri» и музейной пылью. В зеркальные окна наискосок, в Эртелевом переулке, видно было красное прочное здание редакции «Нового времени».

Серый петербургский денек не то собирался нахмуриться и расплакаться, не то проясниться. Все было, как две недели назад, по-обычному, по-давнему, по-деловому—незыблемо.

«Неужели все, что я видел там,—не сон?—подумал Дымша.—Какая гадость все-таки война! И как хорошо, что мне не нужно служить...»

Мимовольно он поднял руки в уровень глаз и понюхал кончики отполированных ногтей. На короткий миг увидел перед собою Венский вокзал в Варшаве и на полу, во всю ширину огромного зала, копошащихся, стонущих, бормочущих раненых. Сотни раненых с гнойными перевязками, грязных, вшивых, брошенных здесь, как мусор на свалку.

«Чорт знает, что такое! Какая мерзость война!—повторил он. И без паузы, не задумываясь, хитро щуря косящий глаз, докончил:—А Беляев все-таки обсчитал меня на две копейки за пару, каналья... Отличнейшая идея пришла Родзянко—сдать подряды на сапоги кустарям. Гениальная идея, неисчерпаемые возможности...»

Под окнами проехал грузовик. Фарфоровые человечки на полках тоненько забормотали. Иван Федорович успокоенно вздохнул и снова прошел к телефону.

— Константин Никанорович?.. Да, это я, Дымша... Можете поздравить... Блестяще. Блестяще... Есть интересные новости... Прекрасно. Значит, в четыре часа у баронессы...

Она стояла на пороге гостиной в осеннем пальто цвета увядших листьев, в шляпке с эспри в виде пропеллера, с большой шелковой сумкой в руках, затянутых в палевые перчатки. Русые локончики из-под шляпки блестели от маленьких дождинок, на открытой из-под кружевного жабо очень белой, девически нежной шее чернела бархатка, придававшая лицу невинное и вместе лукавое, как у котенка, выражение. На густо напудренном, но ребячливом лице зеленые круглые глаза и широкий тонкогубый, ярко накрашенный рот казались чужими, порочными. Зло и упрямо

глядя перед собою куда-то вверх, вошедшая сказала неприятно резнувшим, слишком громким жестяным голосом:

— Здравствуй, папа!

Иван Федорович, не отнимая руки от аппарата, суетливо и неожиданно виновато улыбаясь, ответил:

— Ах, это ты, Сонечка!

— Да, я,—все так же коротко, не сходя с места, возразила дочь.—Я узнала, что ты должен приехать, и пришла к тебе так рано, чтобы застать дома.

Глаза ее стали еще упрямее и злее, рот растянулся в судорожной гримасе, пальцы крепко вцепились в сумочку.

— Мне нужны деньги.

— Деньги?

Иван Федорович встал и совсем некстати стал отряхивать полы пиджака.

— Мне нужны деньги,—повторила дочь.

— Ах, как это неприятно, право!—не глядя на нее, заговорил Дымша.—Ты пришла в самое неподходящее время: у меня нет денег... Ужасно неприятно. А ты не просила у Антонины Васильевны? У нее, может быть, от хозяйства что-нибудь осталось.

— Ты знаешь отлично, что у Антонины Васильевны я не возьму. Она и так по твоей милости всегда сидит без денег.

— Ну, что же делать...—Иван Федорович беспомощно развел руками.

— Папа, не ври!—крикнула Сонечка, но не пошевелилась, не отняла рук от сумочки.—У тебя деньги есть.. Ты знаешь прекрасно, что я умею устраиваться и без тебя Но сейчас мне нужно. Мне негде взять. Я больна... Если угодно, я могу тебе сказать, чем я больна...

— Нет, нет, пожалуйста, уволь.

Тонкие губы Сонечки растянулись в уничтожающую улыбку.

Иван Федорович покорно полез за бумажником.

— Десять довольно?

— Нет, пятьдесят, не меньше,—пристально глядя на пухлый отцовский бумажник, щуря усмешливо по-кошачьи зеленые глаза, коротко ответила дочь.

В четыре часа Дымша был у баронессы фон-Флешше. Он застал баронессу, как и в первое свое посещение,

в маленькой гостиной, сидящей на диване, спиною к свету.

«Ну и хитрая баба!—подумал Иван Федорович, с порога стараясь разглядеть лицо хозяйки.—У нее все рассчитано: она скрывает свои морщины и наблюдает за своими собеседниками».

Дымша чувствовал себя весело и непринужденно, как форель, пущенная в проточную воду. Мысли о дочери оставили его, едва он вышел из подъезда своего дома.

У баронессы сидел Константин Никанорович. Смолич был крайне озабочен сведениями, поступившими из охранного отделения. После ареста 5 августа группы лиц, преимущественно учащихся, печатавших воззвания от имени Петербургского комитета большевиков, в министерстве внутренних дел создалось впечатление, что комитет если не ликвидировал свою работу, то хоть приостановил ее на неопределенное время, из солидарности с другими революционными организациями.

— Но, не угодно ли вам,—поджимая губы, говорил Смолич,—неделю назад вернулся из Швейцарии член Государственной думы Самойлов и привез с собою так называемые у них тезисы о войне своего вожака, Ленина.

— Ленина?—переспросила баронесса.—Я что-то не слыхала этого имени. Он террорист?

— Да нет же,—нетерпеливо оглядываясь на дверь, так как в эту минуту лакей доложил о приходе Дымши, уже появившегося на пороге, ответил Константин Никанорович,—это не террорист, а их теоретик, что-то вроде лидера крайнего левого крыла эсдеков. В сущности безобидный человечек с навязчивыми идеями фантастического характера, пишущий скучнейшие статьи, но имеющий, тем не менее, некоторое влияние.

— Ну, если он не террорист, значит, не страшно,— смеясь улыбающемуся Дымше, возразила хозяйка.—Ведь то, что они пишут, читают только они... Не правда ли, Иван Федорович?

— Они тоже не читают,—весело подхватил Дымша:— им некогда читать! Они или пишут, или таскают друг друга за волосы из-за запятой, поставленной не в надлежащем месте. Я их знаю!

— Не скажите,—перебил его Константин Никанорович, завистливо оглядываясь на цветущего Дымшу.—Они пишут

не только для себя. Сегодня ночью мне доставили новый перл их творчества.

Смолич вынул из внутреннего кармана визитки вчетверо сложенный тоненький листок и развернул его.

— Это прокламация?—спросила баронесса.—Дайте посмотреть!—Она коснулась бумажки кончиками пальцев с любопытством и страхом, точно боясь заразиться.—Тут что-то очень много написано. И это подбрасывают?

— Да, на заводах и в казармах.

— Даже в казармах!

Баронесса оглянулась на Дымшу, усевшегося против нее. Заражаясь его бодростью, смеясь, она добавила:

— Бедные солдатики! Сколько дней им придется потратить на это бессмысленное чтение! Я им не завидую. Нет, положительно, террористы мне больше импонируют. Они хоть стреляют.

— А эти приказывают стрелять другим,—не меняя тона, ответил Константин Никанорович.—Вот, не угодно ли вам. Я пропущу вводную часть с обычными сентенциями о свободе, о том, что враг не немец, а помещик, и прочая. Перехожу к выводам: «Неужели мы забудем, что в интересах русского народа мы должны прежде всего низвергнуть это преступное правительство и завоевать для России полную политическую свободу, а для всех трудящихся—свободу экономическую. Нет, если уж нужно умирать, то умрем за народное дело, а не за дело Романовых и черносотенных дворян. Они дают нам в руки ружья: будем же людьми и воспользуемся этим оружием для того, чтобы завоевать русскому рабочему классу новые условия жизни, жизни прекрасной, свободной...» Ну, и так далее. А заканчивается эта прокламация призывом к солдатам занять свое место, когда вспыхнет революция,—не против рабочих, а рядом с ними. Как вам нравится?

Константин Никанорович сложил листовку и спрятал ее в карман. Он пошевеливал над тонкой губой подстриженными усиками, глаза его, щурясь, остро уставились на Дымшу, округлившего пухлые губы так, точно он собирался свистнуть.

— Вам страшно?—спросила баронесса, поддразнивающе оглядываясь на Ивана Федоровича.

— О, баронесса,—ответил он живо,—мне было бы страшно, если бы эта компания пошла громить нас в сапогах,

которые я им доставил! Но, поразмыслив, я пришел к убеждению, что они успеют их износить к этому времени.

— Надеюсь, ваши сапоги прочны и хватят надолго?

— Напротив! У них отвалятся подметки раньше, чем интендантство соберется их отправить по назначению. Тогда мы займемся их починкой, и солдаты наденут сапоги, когда война кончится.

— Вы неисправимы,—смеясь, остановила его фон-Флешше.—Вы готовы ради красного словца дискредитировать не только себя, но и...

— ...сапоги,—подхватил Дымша.

Он распустил вожжи. Он понесся, как ямщик, счастливый лётом своей тройки, беспечный относительно дороги и ухабов.

— Нет, вы лучше спросите меня, что говорит Николай Николаевич о своих помощниках. Вот кто неподражаем! На вопрос французского военного атташе, видит ли он в Янушкевиче и Данилове достойных своих сподручных, верховный ответил: «Они хороши тем, что заносчивость одного подчеркивается глупостью другого; это дает мне возможность не считаться с ними».

— Кто же после этого сам верховный?—с усмешкой ввернул Константин Никанорович.

Дымша многозначительно поднял брови.

— Верховный—человек, не считающийся не только с людьми, но и с обстоятельствами. Это обжора: его прельщают большие куски, несмотря на то, что они становятся у него частенько поперек горла. Мы шагаем очертя голову. Верховный мечет гром и молнию, он подтягивает, смещает, натаскивает генералов, как гончих, и проглатывает новый кусок, который приходится вытаскивать щипцами. Я был у Шейдемана во 2-й армии. Оказалось, что штаб его уже снялся из Лазенок и находится в поезде, готовом к отходу. На брест-литовском вокзале паника. Население ломится в поезда. У вагонов командующего красная парадная лестница и два парных часовых. Шейдеман в расстройстве чувств, жалуется на Плеве, командующего 5-й армией. Говорит, что если Варшава будет взята, то по вине Плеве, с которым связь утеряна. Во всем недостаток—в подвозе снарядов, провианта... Поехал к Плеве. У него спокойнее, но не успел я раскрыть рта, как Плеве уже орет: «Не говорите мне про Шейдемана, про этого кретина!» Как видите, все мы

для красного словца не пожалеем родного отца...—Дымша сложил губы трубочкой.

— А вот вам последний анекдот,—продолжал он.— В настоящее время в ставке находится Анастасия Николаевна. Григорий Ефимович прислал ей телеграмму в восемьдесят слов. Содержание ее мне точно не известно. Передавали, что старец укоряет великую княгиню за гордость, рекомендует ей смирение. Супруга верховного приходит в аппаратную, спрашивает, с какого аппарата принята эта депеша, и, смеясь, предлагает хорошенько его продезинфицировать.

— Какая наглость!—Баронесса качнула пышной прической, делая негодующий жест, но глаза ее смеялись. Она прикрыла их ресницами, смиренно вздыхая.

— Нет, почему же?—возразил Дымша, вставая и раскланиваясь:—Это ведь тоже только красное словцо, стоящее собственной карьеры...

— Я была бы счастлива, если бы вы оказались пророком,—с подчеркнутой многозначительностью отозвалась баронесса, протягивая для поцелуя руку, и, лукаво глядя на Ивана Федоровича из-под ресниц, добавила:—Будем надеяться, что ваше красное словцо о сапогах для будущих революционеров окажется не столь опрометчиво...

— О, не сомневайтесь, баронесса!—веселым шепотком ответил Дымша.—Об этом позаботится наш транспорт и интендантство.

В гостиную входили новые визитеры. Под ахи, возгласы, приветствия Дымша отвел Константина Никаноровича в сторонку.

— Я еду сейчас к Григорию,—сказал он.—Если хотите, я могу устроить вам с ним свидание завтра где-нибудь в нейтральном месте. Он хотел еще до моего отъезда поговорить с вами...—И внезапно, ударив себя по лбу, не ожидая ответа, воскликнул:—Ах, да! Этакая память! Чуть не забыл передать вам привет от Никанора Ивановича. Красив, здоров, полон энергии. Вот кому можно позавидовать!

После «Позора Германии»—премьеры, собравшей в Суворинский театр блестящее общество патриотически настроенных литераторов, краснокрестных деятелей, дам-патронесс и светских сестер милосердия, неравнодушных к Мамонту Дальскому; после ужина в «кружке», где Дымша поставил

«на счастье» и проиграл полторы тысячи, после «интимного» кэйфа у папаши Дмитро, где Шура при свечах в полутьме пела под гитару душещипательные цыганские романсы,—Наталья Никаноровна с Иваном Федоровичем возвращались в крытом казенном, из краснокрестного гаража, автомобиле домой.

В зеркальные стекла автомобиля из колеблющейся тьмы выплывало мутное утро. Из-за дымящейся сети мельчайших капель бог весть чего—тумана, дождя или грязи—вставал октябрьский Петербург, то плотнея, то растекаясь в зыбкие тени. Камни улиц, домов, набережных казались набухшими от сырости, насквозь проницаемыми, студенистыми телами, плывущими в массиве тяжких вод. Над Невой гудела сирена. Поднятые фермы Троицкого моста гигантскими клешнями повисли над невидными, окликающими друг друга караванами судов. Глухо пульсировало под ногами сердце застопоренной машины, ожидающей пропуска на мост.

Наталья Никаноровна, ежась от бессонного озноба, досадуя на вынужденную остановку, смотрела в зашлепанное грязью стекло. Иван Федорович теснился к ней, бормотал что-то, как угревшийся кот.

«Конечно, я уступлю ему,—думала Смолич.—Он умен, хитер, умеет «делать деньги», кажется, не на шутку влюблен— из него теперь веревки вить можно... Этот из тех, у которых чувственность—самое уязвимое. Он мне положительно нравится. Да, без колебаний—со стариком нужно покончить. Старик неприличен своим видом, притязаниями, хамством. Довольно!..»

Наталья Никаноровна дернула подбородком, пристальней вгляделась в светлевшую рябь проспекта.

— Да скоро ли они, наконец?

Дымша беспокойно завозился.

— Вам холодно, дорогая?

— Мне скучно ждать. Зачем разводят мосты?

— Затем же, зачем разводят людей: чтобы третий мог пройти свободно.

— Дядюшка, вы говорите пошлости!

Иван Федорович, сладко зажмурясь, захихикал. Он был бледен от бессонной ночи, неудовлетворенного возбуждения, нос вытянулся, глаза фосфоресцировали, как у кошки.

— Ах, Наташа, вы правы! Я болтаю вздор. Это от тоски, от одиночества, от того, что никто никогда не принимал меня всерьез, не ждал от меня других слов.

Смолич пригляделась к нему внимательней. В голосе его звучала искренняя печаль, какая приходит с раскаянием после пьяной цыганской ночи. Он откинул голову на стеганый сафьян подушки, полузакрыл веки.

«Какой великолепный актер, какой престидижитатор!— подумала Наталья Никаноровна.—Даже я начинаю ему верить».

— А ваша жена? А ваша дочь?—спросила она, кладя на его руку свою ладонь, придавая вопросу оттенок дружеского сочувствия.

Внезапно сорвавшись с места и снова бессильно упав на подушки сиденья, захватив ее руки в свои, судорожно сжимая их, он заговорил страдающим голосом:

— Бога ради, бога ради, не говорите мне о них! Это мой крест, мое проклятие, возмездие мне за мои вины. Жена, моя вторая жена, Антонина Васильевна,—изумительный, необычайный человек. Она красива, умна, сердечна, талантлива, но мы не понимаем друг друга, мы говорим на разных языках. Она вся в своем искусстве, в театре, в занятиях с учениками. Она не умеет прощать, у нее железная воля, твердокаменные убеждения. Если она что-нибудь решила, то это—бесповоротно...

— Она не мирится с вашими увлечениями? Не так ли?— улыбаясь, перебила его Смолич.

— О нет! Этого мало! Она не хочет слышать обо мне, о моих делах, она ничему не верит, она давно уже не жена мне.

— Бедненький! Как мне вас жаль! Но я понимаю ее: разве вам можно верить?

— О, не будьте жестоки!—вскрикнул Дымша.—Пощады, пощады! Прошу вас.

Он опустился на ковер, к ногам Натальи Никаноровны, прижался головой к ее коленям.

— А ваша дочь?—проводя лакированными ярко-розовыми ногтями по седеющим его вискам, все в том же тоне сочувствия, но внутренно улыбаясь его патетическим, нарочитым словам и пытаясь в них угадать ту правду, которая была ей нужна, спросила Смолич.

— Моя дочь?..—Дымша поднял голову.

На короткий миг лицо его приняло жесткое, настороженное выражение хищника. Он поднял упавший котелок, надел его и, садясь на место, сдержанно ответил:

— Что может отец сказать о своей дочери?

— Такой, как вы?—не сдержалась, чтобы не уколоть Наталья Никаноровна.

— Нет, всякий отец,—серьезно возразил Иван Федорович.—Он может сказать только то, что он ее не знает. Она жила с матерью, после того как мы расстались. Потом переселилась на отдельную квартиру. Учится на театральных курсах, где Антонина Васильевна—директриса, и солидарна со своей мачехой во всем, что касается меня. Антонина Васильевна считает падчерицу способной девушкой, мною загубленной. Эта загубленная девушка живет на широкую ногу, жуирует и вспоминает отца, когда ей нужны деньги.

Дымша сделал неопределенный жест, как бы отгоняя от себя нечто, лицо его по-обычному заиграло. Он снова потянулся к Наталье Никаноровне, с нежданным проворством перехватил ее талию и с еще более неожиданной силой привлек ее к себе

— Но вы... но вы... вы—мой девятый вал,—забормотал он.

— Не ошибитесь в счете,—смеясь, отталкивая его и вместе уступая ему, ответила Смолич.

Сердце машины под ногами перестало биться, автомобиль загудел, дернулся вперед и резко затормозился.

— Что случилось?

Иван Федорович открыл дверцы. С брызгами изморози в кабинку ворвался скрежет трамвайных колес, разноголосый говор, звонки.

— Почему мы не едем?—капризно спросила Наталья Никаноровна.

Дымша соскочил наземь. Через несколько минут он вернулся и крикнул через стекло:

— Везут пленных. Проехать нельзя... Хотите посмотреть?

Наталья Никаноровна опустила раму.

Из редеющего тумана выплывали медленно двигавшиеся группы серых шинелей и кепи. Ряд трамваев гуськом полз к мосту. В стороне на тротуаре стояла толпа, оттесняемая конвоирами. Солдаты неохотно и вяло отгоняли любопытных, заговаривавших с пленными. Выныривающие из-под ног мальчишки кричали «Аф видер зен!» и цеплялись за открытые трамвайные окна. Бабы в платках, с лукошками совали

раненым медяки и яблоки. Те отвечали им что-то на непонятном языке, приподнимали кепи. Наталье Никаноровне показалось, что у всех, и у пленных, и у людей, глазевших на них, были одни и те же размягченные, виноватые лица. Она почувствовала, что сама заражается общим настроением, и, удивляясь ему, не понимая причины, вызвавшей его, подозвала к себе Дымшу, что-то расспрашивавшего высокого с подвязанной рукой офицера в светло-голубой шинели.

— Кто они такие? Куда их везут?

— Это австрийцы... Везут их из пересыльного госпиталя на Николаевский вокзал, оттуда—в Омск.

— У них симпатичные лица,—полувопросом протянула Смолич.

Дымша захохотал и, потянувшись к ней, щуря глаза, сводя к носу брови, поседевшие от дождевой пыли, ответил:

— О, кому, как не вам, знать, что сдаются в плен только такие, как я,—кроткие и смиренные души!..

— Замолчите!

Наталья Никаноровна загасила улыбку, пристально вгляделась в толпу на тротуаре. Из толпы бочком выбирался молодой коренастый человек в форменном пальто с поперечными погонами и в фуражке студента путей сообщения. За ним шла плотная, статная девушка в черной осенней кацавеечке, какие носят провинциальные учительницы и курсистки. Студент оглядывался на девушку, что-то кричал ей. У обоих были загорелые, не по-питерскому румяные лица. Выбравшись на мостовую, молодой человек размашисто подбежал к трамваю, в который в это время подсаживали раненых и пленных. Девушка в нерешительности остановилась на краю тротуара, глядя на проходящего мимо солдата с винтовкой. Лицо ее сквозь липкую сеть дождя было все на виду. Из-под простенькой шляпки пирожком выбивалась каштановая прядь потемневших от влаги волос, глаза смотрели внимательно и зорко. Студент, еще раз оглянувшись, махнул ей призывно рукой. Девушка ступила на мостовую. Наталья Никаноровна высунулась по пояс из рамы автомобильной дверцы, крикнула:

— Витя! Витя!

Студент недоуменно обернулся, скользнул глазами по кузову автомобиля и, взяв подошедшую к нему девушку под локоть, пошел вдоль трамваев назад к Каменноостровскому.

Смолич откинулась в глубь каретки, раздраженно сказала:

— Что же, мы поедем когда-нибудь?

Дымша сел рядом с ней, поднял раму. Автомобиль загудел и медленно тронулся по мосту.

После паузы, закурив, Иван Федорович спросил:

— Кого вы окликнули, дорогая?

Наталья Никаноровна открыла сумочку, достала зеркальце и, глядя в него, легко проводя по лицу душистой пуховкой, стирая последние следы ночи, ответила со скучливым безразличием:

— Это Витя Бунаков, еще один экземпляр тулубьевской породы. Мамин сынок от ее второго брака. А с ним — вы заметили? — девушка, похожая на прислугу, bonne à tout faire[1]. Это Людмила, мамин приемыш... Я когда-нибудь расскажу вам о них. Курьезные типы... — И после паузы с внезапно вспыхнувшим злым огоньком в посветлевших глазах: — Да, кстати. Это может вам пригодиться для ваших комбинаций... Людмила очень и очень подозрительна. Она явная революционерка, как все эти... batardes[2]. Вы могли бы навести о ней справки, припугнуть и воспользоваться ею, чтобы разоблачить всю шайку.

Быстрым косым взглядом Дымша глянул на Наташу. Он не возразил ей и тотчас сладко улыбнулся, поймав в муфте ее руку, но про себя удовлетворенно отметил:

«О, да она у меня умница... Настоящий клад!»

Курсы открыли перед Любой прекрасный, неизведанный доселе мир новых интересов, новых, совсем непохожих на прежних, друзей, понятий, вкусов, а главное — свободы, свободы и самостоятельности, не зубрежки, а труда, окрашенного в яркие цвета влюбленности, восторга, благоговения.

Подумать только, кто теперь окружал Любу, кто преподавал ей тайны ее исскуства, кто являлся примером в уменьи говорить, одеваться, воспринимать красоту жизни! Не какая-нибудь директриса гимназии, грымза, старая дева Шлякина, с кукишем на голове вместо прически и вставной челюстью во рту, похожем на выгребную яму; не Ксения Крутикова, гимназистка, считавшаяся самой «модной», душившаяся ду-

---

[1] На все руки.

[2] Незаконнорожденные.

хами Ралле из пробного крохотного пузырька, запрятанного под форменный лиф; не Дуся Сторская, от которой Люба полгода была без ума потому, что Дуся прочла «Санина» и тайком курила; даже не соседка по квартире Потаниных, возлюбленная Тартакова, мадам Назимова, чьи выходные костюмы, боа и сумочки вызывали зависть всего дома, и даже не мама, всегда и обо всем имевшая твердое суждение, безукоризненная во всех своих поступках, строгая, умная мама, советчица всех взрослых родственников, мама, чьи эстетические потребности были столь высоки, что она не пропускала ни одной премьеры в Александринке и ни одного вернисажа в Союзе и у передвижников. Нет, теперь Любу окружали те, кем она восхищалась только издали. Заведующей курсами была александринская премьерша, красавица Лачинова, жена известного журналиста Дымши, преподаватели—Ходотов, Юрьев, молодой и веселый Лешков, писатели Гнедич и Карпов, режиссер Ратов, артистки Александринки и Суворинского театра.

На старших курсах занимался целый цветник таких нарядных, таких благоухающих всякими «коти», «пиверами», «убиганами», очаровательных, стильных, тангирующих девиц, что бедная Ксения Крутикова при виде их должна была бы кусать локти от зависти и унижения. Молодые люди в ослепительных галстуках и пиджаках насвистывали модные танцы и арии из опереток, презрительно отзывались о Кшесинской и Люком, но восторгались Карсавиной в балетах Фокина и Смирновой в вакхическом танце с Бабишем Романовым, Савину называли снисходительно «молодящейся бабушкой», спорили о превосходстве художника Судейкина перед Бенуа, вкривь и вкось судили о «Парсифале», поставленном впервые в «Музыкальной драме», ругательски ругали «Лабиринт» Полякова и томно мурлыкали песенки поэта Кузмина, намекая на какие-то интимные истории, происходящие в «Бродячей собаке»—артистическом кабачке, угнездившемся в подвале на Итальянской. Наконец, была «львица» курсов—злая, обаятельная Сонечка Дымша, падчерица Лачиновой, кончавшая курсы и державшая себя в стороне от всех, окруженная военной молодежью, приезжающая на курсы в автомобиле, на замечания преподавателей вскидывавшая подбородок и отвечавшая небрежно: «Ах, так!», точно снисходившая до того, чтобы исполнять их требования. Люба издали следила за ней, чуть-чуть ее побаивалась и

удивлялась ей. Сонечка вела себя так и говорила такие вещи, какие повторить Люба никогда не решилась бы. Но самостоятельность и непринужденность ее действовали на Любу неотразимо.

С Ириной Смолич Люба на курсах была неразлучна. Каждую свободную минуту они забивались куда-нибудь в темный угол и откровенничали. На их языке это называлось «ехать в карете». «Ехать в карете» значит не замечать никого и ничего вокруг, уноситься далеко в мечтах, представлять себе несуществующее.

— А что, если бы я была...—начинала Люба, давая волю своему воображению.

— А вот когда я буду,—перебивала ее Ирина, всегда уверенная в том, что то, что для других только недостижимая фантазия, для нее—вполне осуществимая действительность.

Но зато дома все казалось теперь не таким, как раньше. Комнаты стали меньше, плюшевая мебель в гостиной пахла пылью, папа неприятно хлюпал, когда ел суп. Маша возмущала своим спокойствием и рассудительностью.

— Ты останешься старой девой,—в запальчивости говорила Люба сестре.—Ты не умеешь причесываться, ты ни с кем не знакомишься, ты даже не знаешь, что такое флирт.

— А ты знаешь?—спрашивала иронически Маша.

— Да, знаю, — с непонятной для себя горячностью и досадой на всех отвечала Люба.—И буду флиртовать, и буду знакомиться с молодыми людьми! И буду одна ходить в театры! Мне все равно, что вы скажете. Я не маленькая. Хочу сама себе устроить жизнь, а иначе пропадешь. Вот ты бы посмотрела на Сонечку Дымшу. Перед нею все заискивают, стараются угодить. Стоит ей только показать палец—все мужчины смеются, как дураки. Она не станет прятаться от всех, бояться сказать лишнее слово. Если бы только я рассказала ей, как мы живем, она бы пришла в ужас, презирала бы нас. И пожалуйста, не говори мне, что тебе нет дела до какой-то там ученицы драматической школы! Я знаю тебя! Ты и мама сейчас же начнете говорить, что она неприличная девица, что порядочные девушки так вести себя не должны... И всякие страшные слова. А мне надоело, надоело, надоело!..

Люба стучала по столу кулаками, скупые горькие слезы обиды щекотали ей щеки, комната плыла перед глазами, все делалось зыбким, непрочным, коварным.

Назначен был просмотр отрывков. Люба должна была сдавать роль Франчески в «Извозчике Геншеле». Роль этой вертлявой девчонки никак ей не давалась. На-смерть перепуганная, возбужденная до предела, Люба, придя на курсы и надев свой костюм для пластики—короткую, широкую юбку и свободный лиф без рукавов и воротника,—как это всегда бывало с ней в минуты возбуждения и страха, преувеличенно распалилась. Она смеялась, дурачилась, дразнила подруг и наконец, не зная, что бы еще придумать, чтобы заглушить сосущий под сердцем страх, прыгнула с колена на плечи одному из учеников и проехалась по залу, как цирковая наездница, посылая воздушные поцелуи.

В эту минуту всех позвали на сцену.

Разгоряченная, не успев опомниться от своей смелости и позабыв переодеться,—Люба, как была, выскочила на сцену, подала первую свою реплику и тотчас же почувствовала: вот оно то, что не давалось так долго, вот оно, настоящее. Нашлись и верный тон, и жест, и мимика, и связанности—как не бывало.

Это была настоящая победа. Любу встретили за кулисами товарищи аплодисментами.

Ирина сказала возбужденно:

— Вот роль по тебе. Ты должна играть только инженю-комик. Это твой стиль.

Пришла Сонечка, вскинула на Любу лорнетку, лорнетка была особенная—старинная, но с простыми стеклами.

— А у вас огонек,—заметила она своим равнодушным, медленным голосом, позванивая старинными серьгами.—Если хотите, я могу рекомендовать вас для спектакля в Художественном кружке. Там нужна будет молодежь. Мы ставим «Девичий переполох» для Сухомлиновой. Сбор пойдет на устройство поезда-бани...—И после паузы еще медленней добавила:—Вами стоит заняться...

Краснея до слез, восхищенно глядя на Сонечку, на ее лорнетку, серьги, стилизованную под сороковые годы прическу и платье, Люба пробормотала:

— Ах, пожалуйста...

И чувствуя, что сказала глупость, не зная, что с собою делать, куда деваться от смущения, схватила рядом стоявшую Ирину за руку и торопливо заговорила:

— А вот Ирина! Она действительно талант, она замеча-

тельная. Вы ее не видели? Познакомьтесь—моя подруга Ирина Смолич...

Сонечка лениво повернула голову, оглядела Ирину с головы до ног. Ирина сдержанно протянула руку.

— Ваша фамилия Смолич?—переспросила Сонечка; большой рот ее растянулся в улыбке.—Я знакома с одним Смоличем,—Игорем. Он теперь, кажется, на фронте.

— Да, это мой брат.

— Ваш брат?

Сонечка чуть откинула назад голову. Что-то неприятное появилось в ее лице. Люба никак не могла уловить, что именно, и с тревогой оглянулась на Ирину. Ирина оставалась все такой же высокомерной, какой бывала, когда разговаривала с незнакомыми, почему-либо казавшимися ей ниже ее стоящими людьми.

— Это занятно,—после паузы продолжала Сонечка.— Никак не предполагала, что встречусь на курсах с его сестрой. У вас есть что-то общее.

— Где же вы могли с ним познакомиться?—усиливая тон иронического недоумения, звучащего в словах Сонечки, подчеркивая своим вопросом непереходимую общественную грань между собой и этой неизвестной девицей, спросила Ирина.

— Ну, мало ли для этого подходящих мест,—принимая вызов, еще пренебрежительней возразила Сонечка.—Конечно, не в великосветской гостиной, где трудно рассчитывать на интересное знакомство... Не правда ли?

Люба испуганно ахнула, крепче прижала к себе Иринин локоть. Ноздри тонкого Ирининого носа вздрагивали, на лбу забилась голубая жилка.

— Очевидно, вам так же мало известны великосветские гостиные, как мне ваши иные места...

— Ирина,—шепнула Люба,—не надо!..

— Не волнуйтесь, Потанина,—перебила ее Сонечка.— Я не собираюсь пикироваться с вашей подругой, спорить с нею о преимуществах иных мест перед гостиными. Об этом пусть поведает ей ее брат. Он очень мил, но несколько истеричен... В данном случае меня интересует не он, а его приятель. Игорь повздорил с ним из-за ревности ко мне... Эти мальчишки так глупы!.. Фамилия его Болховинов. Вася Болховинов... Слыхали о таком?

— Болховинов!—вскрикнула, не удержавшись, Люба.— Ах, господи...

Она спохватилась, прикусила язык, поглядывая на Ирину. Ирина вскинула голову, под тонкой кожей щек румянец поблек, рыжие глаза презрительно сузились.

— Вы тоже его знаете?—с играющей, как у отца, улыбкой оборотилась Сонечка к Любе.

— Ах, нет. Я...—начала было Потанина.

Но Ирина перебила ее напряженным, давшимся ей с большим трудом, чеканным голосом:

— Болховинов Василий Петрович—мой жених.

— Вот как!

Сонечка даже позевнула: настолько ей наскучил разговор. Она поправила локончики, порылась в сумочке, достала круглое в золотой оправе зеркальце. И только тогда, разглядывая себя в зеркало, кончиком языка слизывая с подкрашенной верхней губы лишнюю краску, точно вспомнив случайно, что от нее ждут еще каких-то слов, добавила:

— Ну, что же, поздравляю вас с небольшим, но весьма ценным приобретением. Передайте Васе от меня привет и пожелание здоровья...

Домой Люба вернулась подавленной. Она не стала ни обедать, ни рассказывать, как обычно, события дня, ни возиться с Вилькой—собачонкой, подобранной недавно ею на улице и названной Вилькой из презрения к Вильгельму. Сославшись на головную боль, Люба заперлась у себя в комнате, до поздней ночи сидела на кровати, отворотившись лицом к стене, с книгой на коленях. Строчки сливались, бежали перед глазами, как рельсы, исчезающие в тумане. Люба вытащила из прически все шпильки: ей казалось, что они своею тяжестью давят голову, мешают сосредоточиться на романе. Она расшвыряла шпильки по кровати, по полу, потом собрала их, начала раскладывать узор на подушке. Но и это занятие не успокоило ее. Тогда она достала из чемодана, спрятанного под кроватью и запертого на ключ, свой дневник. Попробовала было перечитать написанное, зажмурилась, протяжно и горько вздохнула, дернула за распустившиеся волосы, чтобы притти в себя и собраться с мыслями, послюнявила карандаш, торопливо зачиркала по бумаге:

«До сих пор не могу притти в себя. Наверное, под впечатлением своего разговора с Сонечкой, Ирина мне открылась, что ее жених Болховинов, которого наконец разыскали,—

не только жених ее, но возлюбленный. Это произошло перед его отъездом на фронт, поздно вечером, у моря, в поэтической обстановке. Она была зла на него, он просил прощения, они поцеловались, и она ему отдалась. (Последние три слова Люба тут же тщательно замазала.)

«Мне стало почему-то очень страшно за Ирину. Она созналась, что теперь ни капли не любит Васю. Этого мне не понять. Она дала мне прочесть его последнее письмо. Он пишет, что едва выбрался из болота, был тяжело болен. А Ирине совсем его не жалко. Я спросила ее: что если будет ребенок? Она ответила: «Нет, до этого я никогда не допущу».

«Мне кажется, если бы я была на ее месте, я бы сходила с ума от любви и страха. А она делает большие глаза и говорит, что любовь ее умерла. Я дрожала так неприятно, как мокрая собачонка. Должно быть от холода в пустых эрмитажных залах.

«Мы сидели в зале голландских мастеров; там всегда пусто. Я все смотрела на темную картину, где собаки гонят вепря. Мне начинало казаться, что это гонятся за мной. И еще были картины, где очень много рыб. Они лежат целыми горами—такие скользкие, жирные, холодные... Их потом будут есть толстые веселые люди с жадными улыбками на вывороченных губах. Отвращенье!

«Вообще со мной что-то творится. Нервы взвинчены, тоска—сейчас плакала, сама не знаю почему. Ирину уже не могу так ласкать, как раньше. Непременно вспомню рыбу. Как она могла без любви... (Зачеркнуто.) Как противно!

«Боюсь, что сама влюблена. Не нахожу себе места. Из дома тянет на курсы и к подругам, оттуда—домой или просто на улицу. А на улицах заглядывают в глаза; пристают, один бежал за мной до самого подъезда, чуть не плюнула ему в лицо. И раненые на каждом шагу.

«После разговора с Ириной бродила два часа по набережной. Дул ветер. Смотрела на Неву, на корабли. Было страшно смотреть на тонкие черные мачты, на кровавый закат.

«Вспомнила, что сейчас война, люди убивают друг друга. Что же такое делается?

«Оказывается, Ирина писала обо мне своему старшему брату Игорю на фронт. Я сказала, что ему, такому важному гвардейцу, наверно, смешна наша дружба, но Ирина успокоила меня: он поэт, непохож на других гвардейцев—шпютов

и фатов. Недавно он прислал ей стихи, написанные им в лазарете, где он теперь лежит раненый.

«Я переписала их себе на память, взяв с Ирины слово, что она об этом никому не скажет. Вот они:

Мы все уйдем с несбывшейся мечтой,
Замкнемся все в холодное молчанье —
И будет свод над нами золотой,
И свежий блеск, и прелесть увяданья,
И наслажденье вечной красотой —
Усталых душ последнее призванье.
Мы все уйдем — и ни единый звук
Не выдаст миру тайны наших мук...

«А вчера неожиданно звонил Олег. После такого долгого молчания. С чего бы это? Он сетовал, что мы забыли его, не пересылали через сестру поклона. Сам он несколько раз передавал приветы, но Ирина, хитрющая, скрыла от меня. Наверно, чтобы помучить. Только совсем напрасно: нисколько я не мучилась.

«Пригласил меня и Машу в Морской корпус на 6 декабря. Вместо традиционного бала будет вечер, но Олег говорит, что тайком можно будет потанцовать. Вспоминал сестрорецкий вечер на вилле.

«Боже мой, как я рада! Все мои мысли теперь в Морском корпусе. Еще бы! У них всегда самые шикарные балы в Петербурге, и попасть очень трудно.

«А Олег все-таки меня помнит... Это единственное мое утешение. Буду думать только об этом. Тогда, может быть, засну спокойно».

О том, что поезд с эвакуированными ранеными, среди которых находился Павел Потанин, прибывает 18 октября, были извещены только Потанины, так как Павел был именно тот дядя Паша, о ранении которого Люба узнала в Сестрорецке.

Час прибытия поезда не был известен точно, и уже с утра Люба волновалась отчаянно. Она все тормошила мать и сестру ехать на вокзал, поминутно смотрела на часы, чему-то непрестанно улыбалась и в то же время пыталась настроить себя на строгий лад. Было уже половина первого, когда наконец Екатерина Матвеевна, Маша и Люба сели в трамвай и поехали на Варшавский вокзал. Трамвай был битком на-

бит, Любе пришлось стоять. Она смотрела в окна, стараясь не пропустить ни одного встречного извозчика из опасения, что дядя Паша прибыл и, не дождавшись их, уехал. Особенно тревожило ее то обстоятельство, что пропуск на перрон для встречи раненых был выдан, и то с большим трудом, одной лишь Екатерине Матвеевне, и ей с Машей придется или ждать в зале, или пробраться тайком к поезду. Сидеть в зале Люба ни за что не согласилась бы, а проскользнуть мимо контроля, она знала, будет трудно, особенно с Машей, всего боящейся: тотчас же себя выдаст своей растерянной физиономией.

Соображая, как все это устроится, Люба одновременно представляла себе самую встречу с дядей Пашей и то, как она себя должна держать с ним, если он тяжело ранен.

«Главное—не подавать виду,—решила она,—что я поражена. Взять себя в руки, говорить, как ни в чем не бывало, не бегать глазами. А то у меня сейчас же от испуга забегают глаза, и я не смогу выдержать его взгляда, все буду бояться попасть впросак...»

Она знала, что дядя Паша не любит сентиментальностей и выражений сочувствия, а Екатерина Матвеевна может разахаться,—и выйдет все очень фальшиво и нехорошо.

У них в доме о дяде Паше обычно говорили сдержанно, особенно мать, всегда поджимавшая губы при его имени. Сдержанность эта была вызвана тем, что дядя Паша не считался ни с какими родственными обязательствами, не поздравлял, как было принято, с днем ангела, не являлся на первый день пасхи и на Новый год с визитом и в свои редкие посещения Потаниных все больше посмеивался над заведенными в доме порядками, балагурил с Любой, которую называл «плюгавенькой» за ее маленький рост, и подзадоривал на споры.

Со старшим своим братом Прокофием Васильевичем Павел и вовсе не говорил, хотя нельзя было сказать, что между ними существовала рознь. Встречаясь и пожимая руку, они взглядывали друг на друга с одинаковой шутливой усмешкой (у обоих были одни и те же глаза и манера улыбаться). Прокофий Васильевич спрашивал:

— Ну, как, все бегаешь?

Брат отвечал ему в тон:

— А ты все пощелкиваешь?—намекая на то, что Прокофий Васильевич служит бухгалтером.

И оба замолкали, нисколько не тяготясь молчанием, тогда как Екатерина Матвеевна считала своим долгом занимать деверя.

И все же Люба давно уже чутьем угадала, что братья, несмотря на молчание и полное несходство в образе жизни и взглядах, любят друг друга, связаны какой-то давней, от детских лет нитью дружбы и потому не разговаривают, что не хотят высказанными вслух мыслями своими воздвигнуть между собой непроходимую преграду. Напротив того, мать, выказывавшая родственное расположение к дяде Паше, обеспокоившаяся значительно больше мужа ранением деверя и едущая теперь его встречать, по наблюдениям Любы, не любит его, оскорбляется его шуточками, как бы что-то ревниво оберегая от его вторжений. Причины этому Люба не могла доискаться. Вера в авторитет матери была в ней еще не поколеблена, суждениям ее она привыкла подчиняться, а дядю Пашу, несмотря на восхищение его веселостью и остроумием, совсем не знала как человека. Она лишь смутно чуяла в нем что-то отличное от отца, от матери, от всех других родственников, бывавших у них в доме, что-то невысказываемое, но твердое и явно враждебное, несмотря на приветливость, в отношениях не только к близким ей людям, но и ко всему, что их окружало. Этой враждебности Люба не понимала, и теперь, когда дядю Пашу, по настоянию Екатерины Матвеевны, решили устроить Потанины у себя, особенно боялась.

Люба по врожденной склонности всегда стремилась найти в окружающих ее людях человека, которому можно было бы подражать во всем. Таким человеком очень долгое время была для нее мать. Но в последние годы Люба почувствовала, что во многом она удалилась от матери, что ее тянет к другим. Со стремительностью и искренностью, не знающей предела, она стала искать такого водителя среди подруг. Сегодня она хотела видеть в герое, пострадавшем за родину, в дяде Паше этого достойного подражания человека.

—

На вокзале, куда Люба кинулась стремглав первая, публики было так много, что не только сидеть, но стоять оказалось негде. Большинство ожидало так же, как и Потанины, своих близких, прибывающих с санитарным поездом. Более нетерпеливые вышли уже на перрон и метались вдоль

путей, стараясь движениями утишить волнение и умерить озноб от пронизывающей едкой сырости.

Преобладали женщины. В первую минуту толпа эта показалась Любе обычной вокзальной, суетливой, раздражающей толпой, но, вглядевшись со свойственным ей любопытством и живостью, она заметила какое-то одно лежащее на всех выражение растерянного, стыдливого и вместе улыбающегося страха. Казалось, что все эти женщины, как-то по-особенному, тщательно одетые, многие с букетами в руках и в сопровождении детей, собрались сюда с тем, чтобы вновь, как в день своей свадьбы или в час предродовых мук, испытать свою судьбу.

На всех лицах лежала печать неведения и пытливого ожидания. Казалось, в этот прокуренный, заплеванный зал, мимо которого обычно проходит жизнь, унося людской поток во все концы страны, сегодня чья-то издевная воля вымела из домов и согнала вместе людей, с тем чтобы они тут, на скрещеньи дорог, в серый будничный день стали лицом к лицу с ожидающим их неизвестным, темным будущим. Люба не могла так осмыслить то, что увидела, но чутьем восприняла и угадала это общее чувство, роднившее всех, здесь собравшихся. Забившись в угол, к стенке, она мышонком выглядывала оттуда, и ей казалось, что вот-вот сейчас кто-то должен крикнуть: «Да что же это такое? Зачем все это?»

Она так ждала этого вскрика, так казался он ей неминуем, —хотя она бы не могла ответить, чем он вызван и о чем спрашивает, —что она невольно стискивала начинавшие дрожать губы, торопливо искала платок в сумочке, сморкалась и испуганно оглядывалась на сестру Машу, стоявшую рядом.

— Слушай, —почему-то шопотом обращалась она к ней, — пойдем на платформу.

— Как же мы пройдем? —так же шопотом спрашивала Маша.

И по тому, как растерянно блуждали ее глаза, Люба догадывалась, что ей тоже не по себе, она тоже заражена общим волнением.

То-и-дело хлопали с грохотом и звяком тяжелые двери, входили и выходили люди, и каждый раз Люба вздрагивала и где-то в глубине молила, чтобы это не был ожидаемый так нетерпеливо поезд.

«Ну, что со мной делается? —думала она виновато, от самой себя скрывая свои чувства. —Ну, что особенное может

случиться? Самое главное — дядя Паша жив, и я сейчас его увижу. Он поправится. Главное — жив».

Но, перебивая эти мысли, страшно и зло, как никогда зло и оголенно, кто-то в ней кричал без голоса, и она испуганно оглядывалась, боясь услышать: «Зачем все это?»

«Что зачем? — беря себя в руки, спрашивала Люба. — Это же было необходимо, чтобы они туда шли. Как же иначе? За родину...»

Стрелки часов нехотя ползли по круглому циферблату. Счастливцы, занявшие места за столами, пили чай, пытались читать газеты. Гул разговора закипал все реже, хныкали уставшие дети.

Сидевшая неподалеку от Любы молодая женщина с бледным, замученным лицом, какое только бывает у покинутых мужьями жен, впервые столкнувшихся с тяготой одинокой трудовой жизни, то-и-дело повторяла стоявшей около простенькой девушке с теплым платком на голове, державшей за руку мальчика лет семи:

— Ну, почему нельзя было написать, как ранен? Господи! А если он без ног?..

Рот ее застывал на полуслове, от углов его к подбородку шли две острые глубокие морщины, глаза сухо, выплакав последние слезы, тупо и страшно улыбались.

Девушка в платке отвечала неизменно тоже давно уже застрявшими на языке словами:

— Господь помилует...

Люба против воли оглядывалась на них каждый раз при звуке их голосов и тотчас же отворачивалась. Но, повернув лицо в другую сторону, неизменно останавливалась на фигуре старика, прислонившегося к колонне. На старике был порыжевший старомодный котелок и осеннее драповое черное пальто с выцветшим бархатным воротником, с обвисшими затертыми карманами, верхняя пуговица висела на нитке. Он стоял, опершись на палку двумя руками, скрестив ладони на набалдашнике. Ладони были жестки, натруженные пальцы неустанно двигались, напрягая вспухшие вены. Лицо с небольшой седенькой бородкой и редкими усами, падающими вниз, закинуто было назад, обнажив из-под бумажного воротничка жилистую, ввалившуюся шею, с желтыми ямами у кадыка. Глаза были закрыты, губы так же, как и пальцы, едва приметно шевелились под выцветшей щетиной. Люба

знала твердо, что старик нарочно закрыл глаза, чтобы никого не видеть и открыть их только тогда, когда придет поезд.

«Пусть увидит хорошее,—невольно шептала про себя Люба, чувствуя, как от волнения и усталости у нее начинают пощипывать веки и щекотать в носу.—А я совсем глупая баба».

И подбадривая себя, вспоминая о драматических курсах, о том, что сегодня Ирина должна показать свой отрывок, что в ближайшие дни предстоит работа по подготовке благотворительного спектакля, Люба встряхивала локончиками, втягивала в нос со свистом воздух и, стараясь ни на ком не останавливать своего внимания, из-за плеч и голов стоявших перед нею людей посмотрела на часы.

«Батюшки мои, уже четвертый час!»

Внезапно, так внезапно, что на всех лицах появился испуг, толпа ринулась в стремительном, паническом натиске к дверям, ведущим на перрон. Кто-то кому-то сказал, что подходит поезд, и хотя и не слышно было предупреждающего звонка и далеко еще впереди не видно было паровоза, люди, давя друг друга, ненавидяще и упрямо смотря поверх голов, стали высыпать на крытую гулкую платформу, уже полную ожидающих.

Держа Машу за руку, Люба нырнула вслед за матерью в толпу и с таким решительным видом, взмахивая над головой сумочкой, пронеслась мимо контроля, что никто не пытался ее остановить. С пылающими от усилий, от напряжения воли щеками она остановилась у самого края перрона и вслед за другими нагнула голову, вглядываясь из-под шляпок и фуражек на уходящие в дождливую муть, тускло поблескивающие рельсы.

Толпа, колеблясь, то задерживаясь в одном конце, то перекатываясь в другой, кричала все громче, точно стремясь в крике разрядить свое напряженное ожидание. Ненужно и резко взмахивали руками, глаза горели жадно и пристально, смех, похожий на всхлипы, передавался от одного к другому, как завывание ветра в лесу, и как ветер перешел в истерический вопль «ура!»

Медленно, скрипя буферами, точно разворачивая серый свиток, санитарный поезд вползал под стеклянный, зажегшийся тусклыми электрическими глазками, навес и потянулся мимо густой, черной стонущей толпы рядом осве-

щенных окон, за которыми виднелись два яруса белых коек и чьи-то чужие, родные, неузнаваемо-знакомые забинтованные тени.

Оттесняя ружьями толпу от вагонов, выстроились вдоль платформы солдаты, за ними в образовавшийся пустой коридор вошли подтянутые, в новеньком щеголеватом снаряжении без шинелей, офицеры комендантского управления, за ними следом потянулись белые халаты санитаров с пустыми носилками, с поднятыми воротниками, и сестры с деловито озабоченными лицами, кажущимися особенно румяными и спокойными в своих белых косынках.

Кто-то в притаившейся толпе вскрикнул и забился в истерике, какой-то мальчишеский озорной голос позвал:

— Папа!

Душная волна качнула вперед-назад, густо запахло цветами, как в теплице. Перед глазами Любы проплыло влажное облако. Она крепче, ногтями вцепилась в Машину руку, ссохшиеся губы вобрали воздух и, выдохнув его, невольно шепнули: —«ах!»— глубоко и трудно.

И тотчас же Люба почувствовала, что дядя Паша здесь, близко, смотрит на нее. Она рванулась вперед, ударилась коленкой о приклад ружья и, еще не видя, а только угадывая, что это дядя Паша, крикнула:

— Мама! Вот он, вот!

На площадке следующего от того вагона, против которого стояла Люба, появился высокий, с накинутой на плечи шинелью офицер и внимательно, усмешливо—так, как он один только умел усмехаться,—с добродушной иронией и потому знакомо, вглядывался в толпу, снова кричавшую «ура».

Памятливо схватив эту усмешку, Люба узнала в офицере того, кого ждала, и разом увидела и закрепила навсегда—помятую фуражку, распущенные у голенищ сапог полы шинели, левую руку, державшую шашку, правую—согнутую под черной перевязью, и на груди серебряный тусклый крестик на георгиевской ленточке.

— Дядя Паша!—не своим от радости, от слез сдавленным голосом еще пронзительней вскрикнула Люба и замахала сумочкой.

Офицер поймал ее взгляд, кивнул приветливо головой. Люба снова рванулась вперед, что-то объясняя, доказывая солдатам и стоявшим около людям. Людским потоком ее отнесло в сторону. Ловя глазами мать и сестру, как пловец,

борющийся с течением, она пересекла его и вынеслась в пустое пространство, навстречу беспрерывной веренице носилок с укутанными в серые одеяла ранеными, блестящими глазами смотревшими на теснящуюся толпу. За носилками шли легко раненые, они улыбались, кивали на приветствия головой, подхватывали брошенные им цветы, перекликались с узнавшими их родными.

Благоговея, придерживая рукой шибко бьющееся сердце, Люба посторонилась, равно восторженно отвечая на каждый брошенный ей взгляд.

— Ну, здравствуй, плюгавочка!—раздался над нею посмеивающийся голос, и кто-то, заслонив от нее всех других, поцеловал ее в лоб.

Этот голос и этот поцелуй настолько поразили и озадачили Любу, что она замерла и удивленно уставилась в загорелое, осунувшееся лицо. На мгновенье показалось, что все пережитое за этот день—приснилось, что никакого раненого нет и войны нет, а перед ней обычный дядя Паша, и от этого ощущения обычности ей стало так неловко, что она потеряла голос.

— Прыгаешь?—спрашивал дядя Паша.—Растешь, плюгавочка?

Она не ответила и снова, не подымая глаз, чтобы не видеть выражения его лица, посмотрела ему на грудь, на крестик, на черную перевязь.

«Вот видишь,—сказала она себе,—вот он какой!»

И тотчас же такая гордость, такая радость сжали ей сердце, что она снова вздохнула: «ах!», но по-счастливому, стремительно. Схватив протянутую ей, может быть, только случайно, шашку, не слыша возгласов матери и сестры, не оглядываясь больше на раненого, она пошла вперед, неся шашку перед собою—плашмя в обеих напрягшихся, благоговейно окаменевших руках, точно несла перед собою символ своей любви и веры.

Дядя Паша обманул ожидания как Любины, так и ее родителей. Выбравшись из толпы, он пошел созваниваться со своей квартирной хозяйкой по ее служебному телефону и, выйдя из телефонной будки, заявил, что едет к себе на прежнюю квартиру. Едва удалось уговорить его заехать хотя бы передохнуть и пообедать.

Всю дорогу, сидя в такси, нанятом по настоянию Екатерины Матвеевны, считавшей неприличным ехать на извозчике при таком торжественном случае, Павел Васильевич на все вопросы невестки отвечал односложно. Относительно своего ранения сказал только, что была раздроблена кость в локте, пришлось вынимать осколки, но теперь рука срослась, все дело во времени—пожалуй, даже можно будет ею двигать. На вопрос о том, за какое дело и при каких обстоятельствах он получил георгиевский крест, Павел глянул сначала с обычной своей усмешечкой себе на грудь, а потом весело ответил:

— Называют эту штучку не георгиевским крестом, а знаком военного отличия и дают на роту несколько, в зависимости от общего успешного хода дела в полку или даже целой дивизии. Так что, по чистой совести, сам не знаю, за что получил. А раздают их обычно старшим в роте и прапорам... Вам она нравится?

Екатерина Матвеевна поджала губы, промолчала, оскорбленная неуместной шуткой.

Дядя Паша перевел смеющиеся глаза на Любу. Люба подняла ресницы, вспыхнула, хотела ответить, но, прижав подбородок к груди, смущенно затеребила сумочку.

«Это он нарочно, из скромности»,—подумала она, все еще не успев остыть от пережитых волнений.

Отец был дома. Он вышел встречать брата в переднюю. На нем был праздничный пиджак, ослепительно хрусткая манишка и атласный малиновый галстук. От подкрученных усов пахло вереском.

Он обнял брата, и Люба увидела впервые, как они поцеловались.

— Ну что, пощелкиваешь?—несколько смущенно, видимо, желая скрыть это смущение, спросил по-обычному дядя Паша.

— Щелкаем, щелкаем,—на этот раз изменив традиции, ответил Прокофий Васильевич:—денежки вам подсчитываем на снаряженье...—И повел брата пить водку.

Обед был накрыт по-парадному.

Люба, успевшая сбегать к себе в комнату, взбить волосы перед зеркалом и поделиться с Машей впечатлениями, одним глазком оглядев стол, заметила, что он застелен подкрахмаленной «пасхальной», как у них в доме называли, скатертью, что вместо обычных, с костяными черенками, ножей и вилок

лежат аккуратно скрещенные «фраже» и серебряные ложки из маминого приданого. Сервиз тоже не будничный, разномастный (у Любы была своя любимая глубокая тарелка с голубыми цветочками и чуть отбитым краем), а тот — «на двадцать четыре персоны», из которого ели, только когда обедало папино начальство. Салфетки каким-то замысловатым «кукишем»—тотчас же окрестила их Люба—стоймя торчали на тарелках. Посреди стола возвышались ваза с фруктами и обернутый в папиросную бумагу горшок с лиловыми фуксиями.

Люба покосилась на Машу и фыркнула, спрятав лицо в свою рогатую салфетку. Маша села рядом с дядей Пашей, во всем стараясь подражать матери. Так же, как и мать, она сидела ровно, прижав локти к лифу шерстяного своего коричневого платья, так же пыталась смотреть прямо и строго, так же, отвечая, поджимала губы. От старательности лицо ее было напряженно, шло пятнами и до того показалось Любе забавным, что она, пряча ежеминутно свою улыбку в салфетку, измяла ее всю.

— Ну, как там, на войне?—спрашивал Прокофий Васильевич, разливая водку и пунцовея.

— Да неважно,—отвечал Павел Васильевич, чокаясь с братом, кругля на Любу черный глаз, точно подавая ей одной понятный знак:—Полеживаем, постреливаем, насекомых кормим...

Екатерина Матвеевна подбирала губы, говорила:

— В газетах пишут, что немцы подвезли такие огромные пушки, каких еще не было,—все разрушают моментально. До чего только люди не додумаются, чтобы уничтожать друг друга!

Разговор не клеился. Было смертельно скучно и глупо, как казалось Любе, все еще чего-то ждущей. Ее «смехун»— так она называла беспричинные взрывы одолевавшего ее смеха — прошел. Люба сидела, съежившись над своей тарелкой, и быстрыми, из-под густых бровей казавшимися сердитыми, глазами смотрела то на дядю, то на отца, то на мать. Она представляла себе, что сидит где-то в стороне, никому не видная, и наблюдает незнакомых ей людей.

«Возвращение героя домой,—объясняла она самой себе то, что видела.—Глава семейства наливает любимому, искалеченному жестоким врагом брату рюмку водки, желает

ему здоровья. Раненый берет рюмку левой рукой и опрокидывает ее в рот. Хозяйка дома заботливо режет своему деверю ростбиф, зажаренный наславу. Племянницы любуются на то, как их дядюшка-герой после боевых лишений утоляет волчий голод... Фу, чушь какая!»

Люба незаметно встряхнула кудряшками и, преодолевая непонятные ей стыд и боль, сороконожкой подбирающиеся к горлу, щекочущие нёбо, стараясь так же, как мать, поджать губы, вздернув подбородок, неожиданно зло, с прорвавшейся обидой в голосе крикнула через стол:

— А у вас там, наверно, скука отчаянная на фронте. Рассказать даже не о чем...

Екатерина Матвеевна застыла с поднятыми вилкой и ножом, недоуменно глядя на дочь. Маша испуганно открыла рот. Прокофий Васильевич, занятый водкой, ничего не услышал.

По носу дяди Паши побежали морщинки, глаза—такие же, как у Любы, сидящие глубоко под мохнатыми бровями, внимательно и остро вошли в Любины глаза и, вынырнув, посветлели от смеха.

— Вот это верно!—сказал он.—Смертельная скука! Оттого и врут про войну ваши писатели, что без вранья писать не о чем было бы. Одно удовольствие читать, что про нас врут. Животики надрываем!..

Лицо дяди Паши стало простым, милым,—таким, каким оно бывало, когда он рассказывал о детском своем озорстве. Темное какое-то, не от загара, а от чего-то другого, трудного, скуластое лицо его прояснилось, по крепко вылепленному лбу пошла волна света и тени, точно до этой минуты мысль таилась глубоко и только сейчас открыла себя, оживив нескладные черты, показав другим их человеческую красоту и выразительность.

Люба, смутившись, из-под ресниц глянув на Павла, точно увидела себя в зеркало: так он показался ей похож на нее в ее счастливые минуты.

«И зачем выскочила?—дивясь на себя, подумала Люба.— Всегда глупость скажу со зла... А он умный, добрый какой, чудный... Он много знает, только его не поймут, оттого молчит...»

И пряча глаза, бормотнула нескладно:

— Конечно... Я не то хотела сказать. О войне нужно или много, или ничего. Ты не обижайся...

Только сидя на извозчике рядом с дядей Пашей, предложившим ей проводить его на Загородный, к Марье Гавриловне, Люба попыталась снова завести разговор о войне.

Было темно под кожаным верхом, в лицо ветер задувал дождевые холодные капли, пролетка тряслась, поскрипывала расхлябанными рессорами. Огни магазинов и фонарей рябящими полосами скользили по лицу, по груди Павла. Люба успевала в эти короткие мгновенья разглядеть опять по-новому открытые его черты. Он сидел бочком, так, чтобы не тревожить раненой руки, колени его ног касались колен племянницы, больно давили на них, но Люба терпела, не отодвигалась. Суровое раздумье угнездилось в запавших его висках, в провалах щек. Голова его в защитной фуражке с косо посаженной, облупленной офицерской кокардой слегка покачивалась, как у человека, забывшего о себе, не сопротивляющегося толчкам. Левая рука без перчатки твердо упиралась в колено.

После нескольких вопросов о драматических курсах, о характере ее занятий, Павел замолчал. Молчала и Люба, попрежнему держа в руках его шашку. Она все порывалась сказать что-то, но не могла решиться. Только сейчас до конца, так что даже защемило под сердцем, слушая, как барабанит дождь по кузову и верху пролетки, шмякают копыта и бренчит какая-то отвинтившаяся гайка, видя перед собою ушедшее в себя лицо дяди, Люба физически ощутила гнет войны, не той, газетной, вызывающей восторг, а иной—не выразимой словами, частицу которой привез с собою этот молчащий, такой будничный человек.

Чтобы приободриться, Люба озябшими пальцами перехватила ножны шашки, потянула за ефес, клинок неожиданно легко подался наружу. Люба чуть слышно ахнула, оцепенев: «Вот она, смерть!»

— Что ты?—спросил Павел.

— Это очень страшно?—полувопросом вырвалось у ней.

— Что? Война?—тотчас же поняв ее, откликнулся он.—Не страшнее, мой друг, нашей российской действительности и даже менее жестока, чем она... А в общем полезная штука: учит!—Он помолчал и уже совсем другим, шутливым тоном произнес:—Ну-ка, помоги своему дядьке-калеке, пошарь в кармане папиросы и дай прикурить. О войне не думай. Живи! Жизнь, брат, славная штука, если за нее умеючи взяться...

Но ты не воображай,—я тоже дрейфил. И как еще—ой-ёй! Имя свое забывал.

Витя вернулся из института домой в сумерки. Чувствовал он себя, как никогда, уставшим, нервно взвинченным. Самое досадное было то, что работать становилось все труднее. Во все, в каждое дело просачивался сегодняшний день. Раньше его легко было не замечать, теперь он кричал о себе изо всех щелей, с каждого перекрестка: «Война, война, война...»

Суть была не в том даже, что все очевидней становилась неумолимость закона центростремительной силы, по которому рано или поздно каждый будет вовлечен в ее движение, и следовательно, каждый должен был ждать своего часа, отчего многие не выдерживали и предпочитали добровольно отдавать себя ей, вместо того чтобы мучиться ожиданием. Суть была в том, что постепенно, час за часом расползались, рассыпались под руками, на глазах клеточки ткани, прикрывающей тело и дух человека, являвшейся не чем иным, как его культурными навыками, понятиями и представлениями, его верованиями, трудом, его движением вперед,—тем, что зовут в общежитии—перспективой. Эта перспектива, то есть углубление, укрепление духовной позиции человека, устремленность его,—будь то пошлая надежда на улучшение в будущем материального благосостояния, или высокое напряжение сил в преодолении в себе или в человеческом обществе косности, в завоевании новых путей творчества жизни,—неизменно, час от часу все безнадежнее спотыкалась о непреложный железный фактор войны.

За что бы Витя ни брался,—а он привык работать и усваивать, добросовестно овладевать предметом и верить в то, что знания можно будет практически применить,—он упирался в сомнение: «А нужно ли это сейчас? А успею ли я овладеть этим? А стоит ли знать то, что завтра окажется вздором?» Многое, казавшееся ему незыблемым, принятым на веру, становилось неустойчивым, зыбким. Самой непреложной для него была ценность труда. Он никогда не сомневался, что труд, особенно труд над созданием материальных ценностей, никогда ничем не может быть умален. Он говорил: «Американцы строят... Мы построим... Я буду строить...» И этим для него было все сказано. Это было неоспоримо, безусловно, крепко, как материал, из которого строят.

Сейчас руки, привыкшие трудиться, созидать, должны были разрушать. Фетиш труда, созидания низвергался. Этого Витя ни понять, ни допустить не мог. Во имя чего бы то ни было. Ни во имя величия родины, как об этом кричала официальная общественность, ни во имя торжества справедливости, откуда бы ее ни ждали и кто бы ее ни провозгласил.

Эту мысль Бунаков высказал сегодня в институте, в кругу товарищей, несмотря на то, что он избегал общественных выступлений. И на него взъелись все — и правые и левые, и примиренцы и пораженцы.

— Что-нибудь одно: или нужно признать,—кричали одни,—право прусского юнкерства раздавить европейскую демократию, и тогда стать на его сторону, о чем мечтают монархисты,—или, напротив, все усилия направить к тому, чтобы раз навсегда парализовать его притязания и вызволить пролетариат из-под его пяты, хотя бы ценою перемирия с буржуазией своей страны.

— Вздор и гнусность!—кричали другие.—Явное предательство! Если нельзя обратить штыки внутрь страны, против буржуазии, то пусть прусский сапог давит сильнее эту вашу хваленую демократию: чем хуже, тем лучше для пролетариата...

— Не знаю, не знаю,—твердил Витя,—меня все это не трогает. Человек должен работать, строить, а не разрушать. На чорта мне институт, если вы мне дадите в руки винтовку? Я хочу дело делать, а не бегать дураком за немцами или вашими буржуями, как за зайцами.

— Вот затем, чтобы ты и все мы могли работать, нам и нужна победа.

— Не победа, а поражение. Поражение, а после уже— наша победа и стройка новой жизни.

От этих криков разболелась голова, а жить и работать стало не легче. Убийственно было сознание своей беспомощности. Все равно — все пойдет своим чередом и своя жизнь, свой труд день ото дня будут терять смысл и цель. Не угодно ли с таким сознанием штудировать гидравлику?

Витя заглянул в комнату Людмилы. Она была пуста. Очевидно, Людмила после курсов пошла на урок; она достала один за десять рублей в месяц и очень радовалась этому.

Деньги, присылаемые Верой Владимировной из Самолюбова, ее стесняли.

Не зажигая света, Бунаков прошелся по комнате, от двери к столу, стоящему у окна (комната была узка), и заметил брошенные на стол письма. Они еще не были распечатаны. Витя узнал почерк матери на одном из конвертов, на другом—Крутовского. Он вскрыл письмо матери, хотя оно было адресовано Людмиле: Вера Владимировна обычно писала им обоим одновременно. Письмо ее было печально. Она сетовала на то, что ей редко пишут, что ее мучают мигрени, что почти всех рабочих мобилизовали, что дядя Яша хандрит и что только Крутовской изредка навещает их.

«Он полон энергии и бодрости,—писала Вера Владимировна,—в нем есть какая-то удивительная теплота, которая привлекает к нему людей. Ему тоже очень трудно с отсутствием рабочих рук, но он не унывает и энергично продолжает работы на Ящуре, думает к зиме закончить постройку плотины. О войне у нас говорят мало. В Тильске устроили лазарет, но раненых еще не присылали, их ждут со дня на день.

«Хорошо бы организовать в Самолюбове ясли для сирот, оставшихся после убитых, или что-нибудь в этом роде. Если бы ты была здесь, мы бы это осуществили. Но у меня, увы, сил все меньше и меньше. Пришла старость, сознание своей ненужности. Это самое страшное. Хотела бы жить для вас, с вами, но вы далеко и, что скрывать, идете по дороге, мне незнакомой. Остается одно прибежище, одно спасение—вера в бога, его милосердие. Но и в этом я не тверда. Мои мысли, мое сердце были отданы другому, горели другим, искали личного счастья и на склоне дней оставили меня нищей. Когда я высказала эту мысль Яше, он ответил: «Ты бы стала на паперть, авось подадут». Он всегда шутит. Но в его шутке есть доля истины. Не обречены ли мы все, в гордыне своей думающие подчинить себе свою судьбу, только стоять в преддверии храма и молить о милости? Над этим я все чаще и чаще задумываюсь...

«Ну, господь с вами. Не забывайте нас, стариков. Мои розы уже обертывают соломой: по утрам бывают заморозки, что-то очень рано в этом году.

«Леонтий Алексеевич сказал мне, что напишет вам о наших делах подробно. Он был у нас вчера. Говорил, что, пожалуй, придется итти на фронт простым солдатом. Мне его жаль. И что станется с Раем без его хозяйского глаза?

Вот кто действительно работает и любит свое дело! Вы его мало знаете и мало цените. Ни о Наташе, ни о Косте ничего не знаю,—забыли они меня совсем, или думают, что я в обиде. Мне не в чем их упрекать. Александр Ясонович тоже не пишет,—не убит ли он? Может быть, ты, Людмила, что-нибудь знаешь об отце? Скажу тебе по секрету от Вити...»

Бунаков опустил письмо, не желая быть нескромным. Он догадывался, что мать пишет Людмиле о Крутовском.

«Зачем она это делает?—подумал он.—Уехала—и ладно, зачем бередить? Им вместе не по пути. А парень он славный, что говорить. И тоже сметет война... Чушь какая!»

Положив письмо на стол, Витя прошел к себе. Внезапно его точно кто-то одернул. Он остановился.

— Чорт возьми, да ведь это была Наташа!—пробормотал Витя.—Как же я ее не узнал? Да нет же! Когда она меня окликнула,—оглянулся, твердо зная, кто меня зовет; а посмотрел—и не узнал. Чудеса! Уж очень показалось мне, должно быть, невероятным—в пять часов утра, пленные—и вдруг она».

Бунаков зажег рабочую лампочку под зеленым стеклянным колпаком у себя на рабочем столе. Тишина квартиры уравновесила мысли и нервы. Он взялся за одну книгу, перелистал, потом за другую, лицо его приняло спокойное, внимательное выражение человека, взявшегося за обычный труд. Глаза легко нашли нужное место.

«Проекция скорости на какую-нибудь ось равна скорости проекции точки в прямолинейном движении по этой...»—схватил он начало фразы и, не отрывая глаз от книги, подумал: «Да, что такое мама пишет о паперти? о подаянии?.. Не хватало еще, чтоб она ударилась в мистику. Ох, уж эта война!»

Глаза его не видели текста. По странице пошли светло-серые шинели, кепи, худые, изголодавшиеся лица, гуськом ползущие трамваи, изморозь, разъятые фермы Троицкого моста.

Рука его нашарила тетрадь. Он бросил книгу и положил тетрадь перед собою. В яркий круг света из-под абажура упало и замерло четкое слово:—«В о й н а»...

Людмила подошла к столу из-за спины Бунакова и проговорила так, точно бы продолжала начатый разговор:

— Для меня теперь совершенно ясно...

От неожиданности Витя откинулся на спинку стула, слепо посмотрел на названую сестру. От белизны бумаги, отсвечивающей огонь электрической лампы, Бунаков смутно увидел очертания знакомой фигуры, стоявшей над ним.

— Этак можно родимчик получить,—придя в себя, смеясь, сказал он.—Что такое тебе ясно?

Людмила положила руку на стол, освещена была только кисть руки, и только эту кисть Витя видел отчетливо. Невольно он остановил на ней свой взгляд. По тому, как широко и напряженно расставлены были пальцы, всею силой налегающие на стол, чувствовалось, насколько значительно было для Людмилы то, что она говорила, как много глубокого смысла и убеждения вкладывала она в свои слова.

— Каждый честный человек должен быть за поражение,—выговорила она отчетливо.—Если мы победим,—мы погибли. Это очень трудно сказать, но я говорю. Как знаешь, можешь со мною не разговаривать после, но я не отступлюсь.

Витя все смотрел на ее пальцы. Они чуть дрожали от напряжения. «Она бы сжала их теперь в кулак, если бы была мужчиной»,—неожиданно подумал Бунаков и поднял глаза.

Лицо ее все так же оставалось в тени. Витя почувствовал, что на него смотрят, ожидая ответа, и что ответить нужно прямо.

— Это—твое дело,—снова опуская глаза на Людмилину руку, сказал он.—Самое важное—иметь свое убеждение, свою точку зрения. Так легче.

Он замолк. Теперь было ясно видно, как пульсируют вены на кисти, вычертив под тонкой смуглой кожей голубую букву «М».

«Мысль»,—прочел все так же мимовольно и где-то отметил у себя Бунаков, говоря:

— Должен сказать, что у меня нет еще своего твердого взгляда на войну. Знаю лишь одно: война была неизбежна, и неизбежно придет тот или иной конец. Для меня важно одно—чтобы как можно дольше удержать равновесие, не сбиться с панталыку, делать свое дело.

Кисть руки исчезла, в свете лампы остались—раскрытые книги, тетрадь с недописанной последней строкой:

«... другой нации».

Когда Витя поднялся из-за стола, Людмила уже открыла дверь в свою комнату.

— Там тебе письма!—крикнул Бунаков.—Мамино прочел, но не до конца: секреты!..

Ему не ответили. Дверь бесшумно закрылась. Витя все еще стоял и смотрел на белые створки, на шевельнувшуюся медную ручку.

«Теперь ее не свернешь,—думал он,—больше не станет повторять: «А война»? Теперь будет молчать и действовать, как сказала. Ничто не остановит. И откуда у нее эта сила?»

Бунаков поежился, потер ухо, неожиданно тепло улыбнулся.

«Эх, расходимся мы с ней идейно, чем дальше, тем больше,—решил он наконец,—а люблю я ее крепко. И нисколько это не помешает нам чайку выпить вместе».

И, подойдя к двери, он весело крикнул:

— Людмила, идем чай пить: хозяйка уже дома, ждет!

В окне свет фонаря тусклой полосой елозил по стене комнаты, в свету неясно выступал темный квадрат фотографии в багетной простенькой раме. На фотографии была снята Вера Владимировна в первые годы своего брака с Александром Ясоновичем: Вера Владимировна сидела в кресле, на ручке кресла примостилась Людмила в коротеньком белом платьице. Полковник Карышев, улыбаясь, стоял за креслом. Группу эту Вера Владимировна дала Людмиле перед ее отъездом из Самолюбова, с просьбой повесить у себя.

Людмила знала фотографию наизусть и только потому, сидя в потемках на кровати, стоящей у противоположной стены, угадывала на снимке себя, приемную мать и отца. Но, несмотря на то, что глаза ее пристально устремлены были на карточку и где-то в памяти ее отражали отпечаток, они видели другое—колеблющееся в свету между ними и фотографией. Они видели мокрые после дождя густо-зеленые поникшие купы деревьев, резной лист хмеля, цепляющегося за деревянную косую решотку беседки, тускнеющий закат в небе, отражение его внизу, под обрывом, в Ящуре, себя на скамье в беседке, с тем же, что и сейчас, платком в розанах на плечах, капли, медленно и тяжело падающие с зеленого навеса, с листа на лист, к ногам, в сырой песок. Тусклое, с морщинками на лбу и около губ лицо Крутовского выплыло и остановилось так близко, что виден каждый волосок его бороды и усов.

— Есть старое поверье,—говорит он, морщась от усилий мысли, и трет висок, точно что-то хочет отодрать от себя:— конские волосы, пролежав долгое время в воде, превращаются в червей-волосатиков... Стоит мыслью вернуться к прошлому, на пройденные пути—и змеи эти жалят и убивают, убивают радость жизни, любовь к сегодняшнему часу, который творит будущее. Опускаются руки, не работают мысли, становишься конченным... Тому, кто вернулся к прошлому, лучше не жить, потому что он умер для творящей жизни...

И вот уже нет деревьев, беседки, заката, опять фотография на стене, и между нею и глазами в свете фонаря—постель, полумрак комнаты, жужжание мухи под потолком, на подушке осунувшееся, милое бородатое лицо с закрытыми глазами. Боясь потревожить, на цыпочках она подходит к изголовью кровати. Бешено стучит сердце, ей кажется, что Крутовской слышит его удары; но он не шевелится, ресницы на сомкнутых веках чуть дрожат, дыхание едва уловимо. Она прислушивается к нему, наклоняется ниже, еще ниже, рука ее тянется к его волосам, упавшим на лоб...

И снова—фотография в багетной рамке: отец, приемная мать и она сама...

«Прошлое—волосатики... А все-таки люблю!»

Кровать скрипнула. Людмила поднялась, поправила на плечах сползший платок в розанах.

«Все-таки люблю,—повторила она, мысленно споря с кем-то,— и знаю цену настоящего часа, и знаю, в чем теперь мой долг... Как она мне сказала сегодня? «Вы не из робких, товарищ? Самое главное—не терять присутствия духа, а остальное от навыка»... Привыкну!»

Она еще раз взглянула на фотографию и улыбнулась.

«Одно дело, одна любовь,—подумала Людмила.—Им не может быть конца, они всегда впереди. Но нельзя на любви строить свою жизнь, как делала тетя. Нельзя! Нет, нельзя. Преступно и страшно... Жизнь тети Веры, ее судьба, обреченность женщины, всю жизнь свою отдавшей любви к мужчине... А ведь она еще боролась, искала, отвоевывала свое счастье и право выбора. Другие и вовсе не знали иного, как только служить одному: так учили их общество, религия, закон. И в один день, один час, когда уходил любимый, они оставались нищими, выкинутыми за борт, никому не нужными... Нет. Все это должно рухнуть, все это уже подточено

червем, как ветхое здание, и ждет удара топором. Придет, придет в мир, в обновленный мир такая женщина, для которой жизнь, как и для мужчины, не замкнется в тесном круге любви. Любовь станет радостью и украшением жизни, окрылит ее, прибавит силы для жизни. А жизнью станет—труд, достижение намеченной цели, творчество, в котором будут заинтересованы все люди. Жизнь такой женщины будет нужна всем, дорога всем, любима всеми. Никто не посмеет взять ее жизнь себе одному, скомкать и выжать только для себя. Женщина не будет чьей-то женой, но она будет чьей-то подругой, товарищем, радостью. Не страшна будет измена, не страшна будет смерть, потому что с потерей любимого не будет потеряна жизнь. А смерть всегда застигнет человека в борьбе, в стремленьи к цели, с оружием в руках, она сразит его, а не подберет мимоходом. Умирая, человек будет только жалеть, что еще не все успел сделать, досада прогонит страх... Человек! Да, да, человек, независимо от пола! И вместе радостно ощущающий в себе свой пол... Увижу ли я такое время? Людмила крепко сцепила пальцы и зажмурилась.—Так и напишу ему. Он должен понять...»

В дверь постучали, Витя кричал за дверью:

— Иди чай пить!

И тотчас же в передней раздался звонок, послышались чьи-то незнакомые голоса, восклицания, топот Витиных ног, его радостный выкрик:

— Пашка! Друг! Ну, как же я рад!

Все в квартире Марьи Гавриловны поразило и смутило Любу. Прежде всего—сама хозяйка. Выбежав на звонок, она обрушилась всей своей башенной высотой и тяжестью на Павла, поцеловала его куда-то в нос, сорвав с него фуражку, схватила за вихор, выволокла на середину передней, повернула во все стороны, закричала:

— Витя! Витюшка! Иди скорей чумазого смотреть!

Была она так сильна, громка, быстра в движениях, что на глаз Любы, почувствовавшей себя крохотной и слабой, походила на уничтожающий смерч.

Только несколько позже Любе удалось разглядеть на отдаленьи лицо Марьи Гавриловны. Было оно монументально, как и вся ее фигура, но ласково и красиво той ласковостью и красотой ума, какая не съеживается, не замыкается в себе

с годами, а напротив, готова отдать себя другим и непрестанно изливается на других, как теплый, крупный весенний дождь, не скрывающий солнце, еще более радующий светом и теплом, чем само солнце. На подбородке Марьи Гавриловны, начинающем слоиться желтоватой полнотой, сидела крупная бородавка с завитком темных волос, но и эта бородавка, обычно уродующая лицо, вызывающая брезгливость, показалась Любе—в эту минуту, когда ей удалось вглядеться,—вполне к месту, как бы подчеркивающей добродушие и ум своей обладательницы.

— Витя! Людмилушка! Вот он, наш чумазый!—кричала она.—Похудел, почернел. А так—хоть куда!.. Батюшки!..—Она отступила, всплеснула руками, выпуклыми, живыми глазами уставилась на грудь Павла.— Это же откуда ты достал? Кавалер четвертой степени? Да ты что—и впрямь воевал?

На удивление Марьи Гавриловны и ответный смех Паши—такого смеха, детского и звонкого, Люба у него еще ни разу не слыхала,—выбежал в расстегнутой путейской тужурке студент и тоже закричал:

Пашка! Друг! Ну, как же я рад!

Он хотел пожать приятелю руку, увидел перевязку, ничуть не смутясь, хлопнул его по плечу.

— Как с рукой? Владеть ею будешь?

— Думаю, что буду со временем,—отвечал Павел и тут только вспомнил о Любе.

— Это моя племянница,—сказал он шутливо, но нисколько не обидно:—будущая театральная дива, а сейчас на курсах и славный человеченка...

Витя схватился за тужурку, застегнуть, но не застегнулся. Любе он понравился. «С ним не страшно вовсе,—подумала она:—без аха». (Людьми с «ахом» Люба называла таких, перед которыми она ахала, ужасаясь или восхищаясь ими.)

Марья Гавриловна кивнула гостье, улыбнулась ей, как давней знакомой, шумно, как все, что делала, побежала за самоваром, крикнув:

— Раздевайтесь!..—И уже в коридоре, забарабанив в чью-то дверь, докончила:—Чай пить будем!

Все продолжая недоумевать и оттого все более стесняясь и вместе испытывая освобожденье от обычных, сковывавших ее в родительском доме пут, Люба отошла в сто-

ронку, тихонько сняла пальто, как всегда, подпрыгивая, вскидывая головой, точно стряхивая со своих плеч шкуру. Отколов шляпку, она поискала подзеркальник и, не найдя его, положила шляпку на чемоданы, пыльной горой нагроможденные в углу.

В столовой никто не говорил, улыбаясь: «Ах, очень приятно», «Садитесь пожалуйста», «Вам какой—крепкий или слабый?», «Прошу вас, попробуйте вот этого вареньица»...

Дядя Паша и Витя сели за стол раньше хозяйки, куря, горячо и громко о чем-то заспорили. Марья Гавриловна, отдуваясь, внесла грохочущий кипящим медным нутром самовар, с лязгом поставила его на поднос, зазвенела стаканами в буфете.

— А ну-ка, барышня, помогите,—крикнула она через плечо Любе.—Возьмите-ка вот это... Людмила что-то запропастилась сегодня—не идет.

И передавая гостье посуду, продолжала:

— У нас трудовая община: у каждого дежурный день. Сегодня, положим, моя очередь, но я самый неисправный член. Беда с этим госпиталем. Едва поспеваю. Целый день в котле кипишь. Прихожу домой без ног...

Люба, едва заняв работой руки, забыла стесняться. С веселой, любопытствующей улыбкой оглянула хозяйку.

«Ну, разве такая может устать?—подумала она с невольной завистливой приязнью.—Как тут у нее все смешно и славно!»

Расставляя тарелки и стаканы, она одним ухом прислушивалась к тому, что говорил дядя Паша.

Павел, сидя верхом на стуле, приклеив папиросу к углу рта, постукивая левой здоровой рукой по спинке, говорил отчетливо:

— В Галицию, брат, хлынула такая мутная, вонючая волна подлого чиновничества, жандармского сыска, подхалимского поповства и полицейских взяточников, что дышать нечем стало. Целый ассортимент гоголевских персонажей.

— Ну, хорошо,—возражал ему Витя, то вскакивая, то опять садясь,—это в тылах—администрация, а в войсках? Ведь есть же честные, любящие свое дело, талантливые люди?

Лицо Павла заострилось, потемнело еще больше: видно было, что он бодрится, но порядком устал.

— Как же не быть и дельным, и порядочным людям в такой уймище народа!—досадливо сказал он.—Да вовсе дело не в людях, а в системе, в отсутствии общественного начала, а главное во все большем неверии в то, что там, наверху, действительно ведут войну из-за хотя бы куцой, хотя бы сомнительной идейки, а не ради своих личных деляческих интересов...

— Ну-ка, ну-ка,—крикнула Марья Гавриловна, подсаживаясь к самовару и разливая по стаканам чай,— дай-ка и мне послушать. О чем вы тут?..

В ту же минуту открылась дверь, и в столовую вошла Людмила. Люба, взглянув на вошедшую, даже подобрала ноги под стул от усиленного интереса. На Людмиле был все тот же старенький шерстяной платок с розанами, волосы, разделенные на две косы, свернуты были в тугой узел. Павел поднялся ей навстречу, она протянула ему руку с приветливой, внимательной улыбкой.

— Я вас хорошо знаю,—сказала она, стоя перед ним прямо, не опуская глаз:—Марья Гавриловна и Витя подробно описали мне вашу наружность и повадки—точь-в-точь!

— Она только и ждала, чтоб с тобой поспорить,—смеясь, вмешалась хозяйка.—Ей бы к чему-нибудь прицепиться—не отстанет. Теперь у нее на зубах орешек—война! Все раскусить старается.

— И что же, не поддается?—усмешливо спросил Павел.

— Поддается,—серьезно ответила Людмила.

Запахнувшись в свой платок, чуть сгорбившись над столом, сдвинув брови, Людмила смотрела в одну точку, в сторону Павла, но не на него, а на его недопитый стакан.

Любе почему-то стало холодно. Она еще дальше подобрала ноги под стул, скрестив их и почесывая друг о дружку. Холод шел как-то необычно—от головы к ногам, точно ко лбу приложили ледяной компресс. Ей все хотелось потрогать лоб, согреть его, но она не решалась.

— И у всех этих твоих порядочных и дельных людей опускаются руки,—из холодной дали звучали слова Павла (то, что он говорил раньше, не дошло до Любиного сознания),— если только они еще верят в свою идею спасения родины...

Слова эти упали, как гвозди на стекло,—раздражительно резнули слух. Что-то трудное, давно передуманное и осевшее чувствовалось за ними, за сдержанным выражением обтянутого темной кожей лица. Совсем-совсем другое лицо, неузнаваемое лицо было у дяди Паши.

«Как же так?—спрашивала себя Люба.—Он же за родину жизнью жертвовал, георгия получил, а говорит о ней точно мы—о нашей гимназии...»

— Все мы, сидящие в окопах,—обреченные,—снова донесся до Любы обрывок разговора.—Как же можно людям, глядевшим в лицо смерти, теряющим веру в разумность того, что делают, действующим вслепую, мечтающим об отдыхе, о доме как о единственном благе, внушить бодрость духа, веру в победу, сознание ее необходимости? Нельзя этого сделать при всем желании... да и не нужно!—неожиданно оборвал Павел.

Он рывком придвинул стул к столу, выпил остатки чая и так же, как Людмила, навалившись грудью на стол, продолжал, точно убеждая ее одну:

— Все глубже, все шире растет недовольство, накапливается ненависть—сначала против дурака командира, потом против безграмотных генералов, против всей системы. Дисциплина падает, рамки закона и беззакония стираются. Из-под солдатской шинели глядит ожесточившийся человек... В некоторых полках три четверти состава штыков уже теперь, на четвертом месяце войны, состоит из парней, только что взятых от сохи, прошедших шестинедельный курс обучения в запасных батальонах, еще не в конец замордованных. Ясно, что это за боевой материал!..—Павел хмуро улыбнулся:—И какой материал для нас!

— Чорт знает что!—из-за самовара со вкусом, так что трудно было понять, негодует ли она или сочувствует, вскрикнула Марья Гавриловна.

— Для кого—для вас?—подняв от стакана глаза на Павла, медленно и тихо спросила Людмила.

Павел выпрямился, левой рукой ухватился за край стола. Сейчас лицо его—Люба, следившая за ним, заметила—стало таким, каким оно было, когда Люба у себя дома крикнула ему со зла, что на фронте, должно быть, отчаянная скука. По носу его пошли морщинки, глаза пристально вошли в Людмилины глаза и, вынырнув, посветлели.

— Для тех, кому это на руку,—бегло ответил он, затаен-

но оглянув сидящих за столом, и тотчас же заговорил с усмешкой, как бы желая отвлечь внимание:—И вот тут-то, на почве взаимного недоверия, растерянности, отупения, я бы сказал—оголения войны, когда все сводится к тому, что нужно словчиться пожрать, поспать, удрать в отпуск, а в конце концов все равно убьют тебя ни за что,—махровым цветком распускается воровство. В былое время воровали одни интенданты, нынче все воруют. С неимоверной смелостью, безудержным нахальством, с уверенностью в безнаказанность. Воруют и строевые чины, и штабные, и медицинский персонал, и представители общественных организаций. Заведующие хозяйством у солдат воруют рацион, солдаты мародерствуют по карманам раненых товарищей, а санитары, так те так прославились, что самое даже слово «санитар» стало бранным. Дошли до того, что за присланные на позиции подарки раздающие их взводные и писаря взимают от двадцати копеек до рубля за каждую вещь...

— Чорт знает!—снова, но с еще большей энергией вскрикнула Марья Гавриловна.

Витя вскочил с места, молча зашагал по комнате. Людмила сидела все так же, только лицо ее заострилось, стало сурово.

Люба засучила ногами, нежданно для себя, вздохнула «ах!» протяжно и трудно,—даже кольнуло в груди. Глаза ее стали растерянными, жалкими. Она все чаще оглядывалась на Марью Гавриловну, на ее бородавку, ища в ней поддержки. Ей хотелось по выражению лица этой крупной, сильной, доброй женщины угадать, верит ли она тому, что слышит, и почему не возражает, не возмущается, не выскажет того, что знает сама,—то настоящее, крепкое и доброе, что есть в ней. На дядю Пашу Люба смотреть боялась.

«Он нарочно,—успокаивала себя она,—чтобы не думали, какой он храбрый, из самолюбия, как я, наговаривает на себя и на всех. Только почему же никто не спорит? Я бы ему сказала... я бы...» Мелкая, противная дрожь пошла по телу. Люба зажала ладошки между колен, подняла глаза на лампу, к огню. Лампа была обыкновенная, мирная, такая, как всюду. Стеклярусные висюльки засижены были мухами, несколько высохших мух застряли между ними. «Совсем-совсем обыкновенная лампа,—сказала себе Люба,—и за столом обыкновенные люди, и дождь за окном, и где-то там—курсы... Сейчас вечерние занятия. Может быть, пришел смотреть отрывок

Николай Николаевич Ходотов. Ученицы кокетничают с ним, «тангируют», как говорит Ириша, кто-нибудь играет на рояле «Дитя, не тянися весною за розой»... Ну, вечер, как вечер... Что же такое случилось? Как он смеет?.. Господи!..»

— Не верю! Не верю!

Витя стоял в свете лампы, посреди комнаты. Коренастый, крепкоголовый, румяный, засунув кулаки в карманы тужурки, распахнутой на синей косоворотке, расставив для упора короткие мускулистые ноги, он говорил уверенно, как говорит здоровый человек, в словах выражающий только самого себя.

— Не верю, — повторил он, — что современный человек, для которого труд является основным в жизни, мог бы дойти в своей массе до такой степени одичания. Потому что воровство, грабеж, о которых ты рассказывал, — не что иное, как полное отсутствие уважения к труду, его ценности. Вором может быть только дикарь и лодырь...

«Я же знала, — счастливо прошло где-то в сознании Любы, — я сразу решила, что он славный...» Люба быстро-быстро завертела ложечкой в остывшем чае, поймала чаинку, положив ее на зубы, стала раскусывать.

— ...Значит сила не в том, что воруют, пакостничают потому, что не верят в цели войны, — опять поймала она Витины слова, — а в том, что большинство у нас дикари и лодыри. Война — только удобный предлог для них проявить себя в полной мере. Дикарь и лодырь живут разрушением: это их стихия. Они все хороши, в какой бы шкуре ни были — мужика, администратора, полководца. Каждый рвет свой кусок...

— Ну, а откуда такое количество дикарей и лодырей? — резко перебил Витю голос Павла. Веселая работа мысли, когда предвидишь заранее каждый ход противника и нетерпеливо ждешь сразить его, как в ясной глубине источника, отразилась в посветлевших глазах Павла. — Почему ты не прибавишь к своей аттестации третье коротенькое слово — рабы? Только рабство плодит лодырей и дикарей!

— Нет, постой! — не сходя с места, точно врастая в пол, упрямо нагнув голову, продолжал свое Витя. — В России человек потерял себя и не уважает своего и чужого труда...

«Он переспорит, он обязательно переспорит, — глядя во все глаза на Витю, подумала Люба и тотчас же потеряла нить

его речи, хотя очень хотела бы понять все, что говорит этот румяный, крепкий студент.—Он хороший,—следя с благодарностью за движением его губ, решила Люба,—простой, не такой, как дядя Паша. У него веснушки, как у Олега, и волосы совсем светлые, мягкие, должно быть... Он всех переспорит. Вот он лодырями кого-то называет... Конечно, самое главное—работать, всем работать честно. Вот я буду работать и добьюсь своего... Не всем так легко, как Ирише...»

Витины губы перестали шевелиться, голос его замолк.

«Неужели все?»—подумала огорченно Люба и оглянулась.

Марья Гавриловна часто, с энергией кивала головой, полные щеки ее пылали, глаза по-молодому, с вызовом оглядывали всех. Людмила склонилась над столом еще ниже, лица ее не было видно.

Люба решила: «Она все знает, у нее все свое,—даже говорить не хочет».

— Э, брат...—неожиданно раздался в наступившем молчании голос дяди Паши; он взял коробок спичек, прижав его грудью к краю стола, стал чиркать спичкой, зажег, прикурил и посмотрел на струю дыма, уходящего под абажур лампы.— Эка, брат, у тебя все гладенько! Любовь к родине, чувство долга... То были они, то, видите ли, нет их! Как иголка в щель запропастилась...

Он поднял глаза и улыбнулся. Улыбка была ясная, без задора, усталая улыбка человека, крепко знающего свое.

Марья Гавриловна, смущенно засопев, двинула локтем стакан и посмотрела в угол. Что-то было в Пашиной улыбке такое, что убеждало лучше всяких слов. Сидел за столом Павел Потанин, электротехник, а—не тот. Что созрело в этом человеке, пролежавшем несколько месяцев в сырых окопах?

— Слова твои о всеобщем эгоизме, об отсутствии общих интересов, даже о лодырничестве—справедливы, а вот объяснение этого явления не выдерживает критики,—все не оставляя своей улыбки, заговорил Павел.—При чем тут утрата каких-то высоких чувств и любви к родине, да еще почему-то только в одной России? Просто-напросто всеобщий этот эгоизм, дикарство и лодырничество—естественная реакция на отсутствие того, что ты называешь «родиной». Любить то, что потеряло смысл, класть свой труд на то, что явно тебе на вред,—высшая бессмыслица. Твой работяга, строитель вырождается в делягу, жулика. И правильно делает! Всякая общественность питается разумными, весьма прозаическими

причинами. Устрани их —и общественность перерождается в жесточайшую отъединенность. В эту войну, будто бы долженствующую питать все эти твои «высокие чувства»—любовь к родине, самоотвержение и прочее, особенно очевидным стало, что все то, что раньше объединяло людей на прочных экономических основаниях, а потом приняло эстетическую, моральную окраску «духовного императива»,—все это в наш век—и заметь себе: всюду в Европе, не только у нас—превратилось в шелуху, в «кимвал бряцающий», ради которого глупо рисковать своей головой. Когда содержание выветрилось, сгнило, форма, эстетика, моральные постулаты превращаются в зловещую маску, под которой танцует смерть. И не может быть лучшего и точнейшего определения войны этой, как то, которое дал ей один башковитый человек. Он сказал: «Борьба за рынки и грабежи стран, стремление одурачить, разъединить, перебить пролетариат всех стран, натравив наемных рабов одной нации против наемных рабов другой, на пользу буржуазии,—таково единственно реальное содержание и значение войны»... И имя сказавшего это—Ленин.

Павел провел кулаком с зажатой между пальцев папиросой по скатерти, точно провел черту. Людмила резко подняла голову.

— Уф!—вздохнула Марья Гавриловна. Стул скрипнул под нею. Она приложила обе ладони к пылающим щекам.— Такого наговорил—хоть бери лучину и поджигай свой дом...

Витя упорно молчал, отворотившись к окну. За окном была только тьма да грязь.

— Значит, вы тоже?—попрежнему тихо, но внятно спросила Людмила.

Павел резко обернулся к ней. Папироса его потухла, он скомкал ее, бросил на пол.

— Что—«тоже»?

— Считаете, что поражение—единственный путь...— Она еще что-то хотела добавить, но оборвала.

Глаза Павла жестко и остро остановились на Любе. Он не видел ее и не знал, что на нее смотрит, когда бросил свое режущее слово, в упор вбил его, как гвоздь:

— Безусловно!

Все шире раскрывая глаза, наливающиеся слезами, пытаясь сомкнуть дергающиеся губы, борясь с жестоким ознобом, не отдавая себе отчета в том, что делает, Люба сорвалась

с места. Руки ее жалко, беспомощно хватались за грудь, одергивали юбку.

— Мне нужно... Я домой... Очень поздно...—забормотала она и, ничего и никого не видя, ничего и никого не желая слушать, опрометью бросилась в переднюю.

Только на лестнице она пришла в себя. Чей-то неузнаваемый голос кричал ей сверху какие-то непонятные слова. Ступени валились в липкую тьму, черная рогатая тень горбилась на стенке, внизу подвывал ветер.

«Мышоночек мой»,—сказала себе самой Люба и, привалившись к перилам, скупо и едко заплакала.

В ту же ночь в Любином дневнике появилась новая лаконическая запись:

«Приехал раненый дядя Паша. Он страшный. Лучше не думать».

Но ей очень трудно было выполнить это решение. Как только она видела в чьих-нибудь руках газету, ей тотчас же вспоминался дядя Паша, его усмешка, выражение его лица, когда он говорил: «Безусловно!»,—и ей становилось страшно. Начинало казаться, что она в чем-то виновата, что все, кого она любила, кому привыкла верить, тоже виноваты, а в газетах пишут какие-то ехидные, отвратительные люди с целью посмеяться над нею, одурачить ее, как она частенько одурачивала первого апреля своих подруг, рассказывая неправдоподобные истории.

Не верить, сомневаться, подозревать—Люба не умела, и людей, обманувших ее доверие, она стыдилась, боялась, чувствовала себя в их глазах потерянной, несчастной. В Любе жила неисчерпаемая жажда безграничной, восторженной веры—в людей, в их слова, их поступки, в прекрасное обличье внешнего мира, созданного для любви и счастья. Каждый день, просыпаясь, Люба широко открывала глаза навстречу жизни, которая должна показать ей свои чудеса и не может обмануть ее ожидания...

Когда ей сказали, что бога нет,—это было в третьем классе гимназии,—она поверила этому до конца и больше уж никогда не сомневалась. Человеческое слово казалось ей непреложным. С давних детских лет ей крепко запало в памяти сказанное матерью, что ложь—самый тяжкий порок. Екатерина Матвеевна умела, со свойственной ей суховатостью

никогда не разочаровывать детей в тех догмах, какие им внушала, и строго проводить в жизнь то, что было однажды сказано. Война, представшая перед Любой как некое трагическое, но вместе прекрасное действо, во имя которого люди готовы жертвовать всем, во славу чью опоясываются мечом благороднейшие человеческие чувства—отвага, доблесть, милосердие, мужество, братство во страданиях,—слишком прекрасное действо, чтобы Люба смела разбираться в нем,—теперь, после слов дяди Паши, заволоклась туманом, раздвоилась, приблизилась настолько, что ничего уже понять было нельзя, ничего нельзя было принять на веру. И Люба, ограничившись краткой записью в своем дневнике о приезде дяди Паши, страшась новых испытаний своей веры, решила закрыть глаза на эту сторону жизни, не судить и не думать.

«Я все равно ничего не пойму»,—призналась она себе, утешаясь тем, что сейчас давали ей курсы, ее работа, подруги, улыбающаяся, все побеждающая молодость.



НОЯБРЬ

Так наступил ноябрь месяц 1914 года. Так с разных сторон из противоположных углов разные люди по-разному, представляя собою те или иные общественные слои, направления, мысли и устремления, восприняли, осветили и откликнулись на мимо бегущую жизнь. Так самая эта жизнь человеческая, текущая вперед подобно многоводной реке, где трудно отличить мутные струи от светлых, теплые от холодных, но где все эти струи образуют один живой поток,—так эта жизнь слагалась из множества дел, интересов, чувств, столкновений мыслей и идей и, слагаясь из этих различных струй, противоречащих друг другу, принимала новые формы. И это новое все более и более проглядывало в течении русской жизни.

Медленно, но верно в толщу ее просачивалось ощущение

войны, порождая все в большем и большем количестве людей сознание необходимости претворить это ощущение в действие, направленное на борьбу с самой войной. Пролетариат, недавно переживший состояние острой борьбы с самодержавием, выразившейся в длительных, все более политически зрелых забастовках и демонстрациях, встретил объявление войны в подавленном состоянии. Кое-где делались попытки устройства противовоенных демонстраций, вступавших в столкновение с патриотическими манифестациями, но в основном войну встретили рабочие молча. Социал-демократы-меньшевики и социалисты-революционеры тотчас же безоговорочно приняли войну и повели агитацию за необходимость решительной победы, будто бы обеспечивающей пролетариату выход в открытое политическое море, и за перемирие на внутреннем фронте в период войны.

В те дни стал в решительную оппозицию к примиренчеству Петербургский комитет большевиков. Первая противовоенная прокламация от его имени была выпущена в июле. Лозунгом ее было: «Долой войну! Долой царское правительство! Да здравствует революция!» Во второй листовке, выпущенной в августе, определялось значение войны для мирового рабочего движения:

«Неисчислимые бедствия несет война русскому народу, и прежде всего рабочему классу и крестьянству,—говорилось в ней.—Но поражение или победу принесет война официальной России и ее союзникам—все равно рабочий класс проникнется еще глубже сознанием, что современный строй держится только на крови, насилии и обмане, что выход из такого положения один—революция...»

Выпустившие эту листовку в ночь на 5 августа были арестованы, но Петербургскому комитету удалось спасти «технику», и она заработала снова.

Нужно было подготовиться к решительному отпору растущим течениям, под видом защиты интересов трудящихся становившимся на сторону национальной борьбы. Таким уточнением мысли всех, идущих против националистического движения, были привезенные в Петербург Самойловым тезисы о войне Ленина.

Эти тезисы должны были быть заслушаны конференцией социал-демократов-большевиков. 4 ноября в частной квартире Гавриловой, в Озерках, розыскные чины застигли заседание этой конференции, в которой участвовали члены Государ-

ственной думы четвертого созыва социал-демократической фракции—Петровский, Бадаев, Муранов, Шагов и Самойлов, а с ними шесть представителей партии, прибывших из провинции.

«Произведенным у собравшихся обыском,—докладывал царю Маклаков 5 ноября,—найдены были отдельные номера заграничной революционной газеты «Социал-демократ», перечень подлежащих обсуждению собрания вопросов по поводу войны, 32 брошюры революционного и тенденциозного содержания, партийные заметки и переписка... Все акты расследования переданы судебной власти, которой возбуждено предварительное следствие с привлечением к ответственности всех участников преступного собрания, в том числе и членов Государственной думы»...

Через немного дней в газетах появилось краткое сообщение об аресте депутатов, и черносотенный листок «Русское знамя» комментировал это сообщение цинически откровенно:

«С врагами церемониться нечего: виселица—единственное средство внести в страну успокоение».

Война шагала в тыл.

Арест пяти членов Государственной думы, чья неприкосновенность была обеспечена законом, с очевидной непреложностью убедил передовую рабочую среду в неосуществимости и гибельности какого бы то ни было классового сотрудничества. Словесная, уличная спайка, умилявшая простаков, была лишь общим подкрашенным фасадом, за которым, отделенные друг от друга попрежнему глухими стенами, враждовали этажи...

Война шагала в тыл. Она видоизменяла экономические отношения страны. Больше тысячи фабрик сократило производство, частью закрылось. И несмотря на то, что до двадцати процентов взрослого мужского рабочего населения было взято на фронт,—промышленный кризис выбросил десятки тысяч безработных. Рабочего ждала или нищета, или немецкая пуля. Враг подстерегал его у порога его дома. Железное кольцо политического гнета и экономической разрухи хватало его за горло. Противоречия становились все глубже. Война шагала в тыл...

Со дня ареста думской фракции большевиков работа в районах значительно усилилась, и уже к середине ноября охранное отделение сообщало Константину Никаноровичу

для доклада Маклакову, что в Выборгском районе «существует наиболее оформленная группа». Наряду с этим постепенно и неуклонно развивалась деятельность студенческой большевистской организации, носившей название Объединенного комитета социал-демократических фракций высших учебных заведений Петрограда. В Объединенный комитет вошли представители большевистских групп из институтов: Горного, Политехнического, Технологического, Женского Медицинского и Сельскохозяйственного, в котором слушала первый курс лекций Людмила.

Молодые рабочие и студенты работали по агитации и пропаганде на заводах и в казармах. Усилиями учащихся в отдельных частях города сформировались отдельные подпольные группы и пропагандистские кружки. Когда после ареста думской фракции партийный комитет, лишившийся «техники», не мог выпустить прокламации от своего имени, Объединенный комитет напечатал свою листовку, передававшую призыв партийного комитета к петроградским рабочим к однодневной забастовке.

В эти дни расцвета деятельности студенческих кружков, в ноябре, Людмила, не умевшая сворачивать с раз избранного пути и еще более укрепившаяся в своем решении противиться общему течению, ревнивая к делу, раз оно подсказано убеждением, вошла в один из таких кружков, организовавшихся на ее курсах, и легко, без колебаний, с ясной простотой, как все то, что делала, приняла на себя возложенную на нее работу.

Дома Витя встречал ее все реже, говорить с нею ему не удавалось, но по тому, как спокойно и уверенно стало ее лицо, по тому, как веселы и живы были ее глаза, он догадался, что она наконец нашла себя и свое место в жизни.

Все же многие вопросы не были еще решены, не все мосты, соединявшие Людмилу с прошлым, удалось ей сжечь. Путь был долог и труден. Но про то знала только она одна.

События вскипали все выше и рьяней. Положение на фронте делалось все напряженней. Никогда еще в мировой истории не выступали такие колоссальные армии, как в эту войну. Наполеоновская «великая армия» насчитывала всего лишь 600 000 человек. Самая большая по числу участников битва XIX столетия была под Кениггрецем, где сражались 200 000 австрийцев против немного большего числа прусса-

ков. По окончании войны 1870—1871 годов на французской земле находилось 569 000 человек немецкого войска. Теперь же небольшая армия болгар состояла из 300 000, генерал Френч имел под своей командой армию в 1 000 000. Русская армия за истекшие месяцы только одними пленными потеряла около миллиона.

Современная война дала новое в практике войн—позиционную войну, войну окопов. Если представить себе, что на европейском фронте от Северного моря до швейцарской границы, а на русском от Балтийского моря до Румынии тянулись две беспрерывные параллельные друг другу линии окопов, то можно смело сказать, что мир никогда еще не видал подобного. Следствием такой позиционной войны явилась беспрерывная борьба на коротких дистанциях, дающих возможность каждой из сторон разить снарядами пехоту в ее окопах и артиллерию за ее прикрытиями. Редко смолкающий ружейный огонь по всей линии, ручные гранаты и взрывы неприятельских окопов минными галлереями—вот обычная картина этой борьбы. В такой обстановке ежеминутного ожидания смерти вот уже четыре месяца находились миллионы людей, не только не предвидя конца этому, так как внешне положение их оставалось неизменно, но не зная, во имя чего они умирают.

На русском фронте, где скопление боевого материала было значительно больше, чем на Западе, где подавляющее большинство участников войны менее, чем любой сенегалец, чувствовало себя гражданами страны, за которую умирают, было менее ценимо, чем обозная кляча; где боевые перегруппировки вызывались не потребностью предстоящей операции, продиктованной интересами обороны страны, а необходимостью отвлечь внимание противника от союзников, столь же известных русскому солдату, сколько знал он об австралийцах,—это ощущение безнадежности, гибельности, обреченности было особенно остро. Поддерживалось оно, постепенно переходя в апатию или озлобление, еще и тем, что сама система командования была такова, что, не говоря о солдатах, даже полковые командиры не были осведомлены об общей цели действий тех частей, к каким они принадлежали, не только о действиях противника. Все шли в бой, как играют в жмурки—с завязанными глазами. Очень часто пехотный полк, состоявший в авангарде, и кавалерийская дивизия, ввязавшаяся в бой в нескольких верстах от этого авангарда,

не только не имели сведений о взаимном расположении, но даже не пытались узнать о своей близости друг к другу, забывали сообщить о своем расположении и обменяться сведениями о противнике. Люди шли, сражались и гибли на авось.

Между тем в октябре немецкие войска были почти у ворот Варшавы. Прибытие сибирского запаса армии несколько ослабило это движение и дало русским войскам возможность снова перейти в наступление. Немцы были отогнаны и едва не потерпели поражения у Лодзи. В петроградских высоких кругах заговорили о полном поражении немцев—одном из тех, какие пророчат врагу неизбежную катастрофу. Снова вспомнили о великом предназначении славянства. 21 октября обнародован был манифест о разрыве с Турцией, с «этим старым утеснителем христианской веры и всех славянских народов». Меньшиков в «Новом времени» «кстати» напомнил, что славяне пошли от трех братьев—сыновей солнца Леха, Чеха и Русса—и им, солнечным, надлежит победить тьму.

Распутин в ознаменование побед послал царице телеграмму, пересланную ею в ставку, где в то время находился царь:

«С принятием святых тайн у св. чаши, умоляя Христа, вкушая тело и кровь, духовное созерцание, небесную красоту радости. Пусть небесная сила в пути с вами, ангелы в ряды воинов наших, спасение непоколебимых героев с отрадой и победой».

Однако уже 8 ноября армия генерала фон-Макензена, которому германский император вверил командование корпусами, переброшенными в пространство между Вартой и Вислой из Ченстоховского района и из Восточной Пруссии, укрепленная кавалерией и некоторыми смешанными частями, снятыми с западного фронта, стремительно наступая, вихрем преодолев полосу местности от границы до линии Плоцк—Ленчица—Унеиов, прочно стала на этой линии, оттеснив русские передовые части. Последние отошли на нижнюю Бзуру и на продолжение этой реки к западу. К этому времени бои приняли встречный характер и запылали огромным пожаром, главным образом в окрестностях Лодзи. Имевшиеся сведения о прочном занятии противником фронта Ленчица—Орлов с выдвинутым авангардом к Пионтеку намечали будущее стремление немцев врезаться клином и осуществить свой традиционный тевтонский боевой порядок, построенный на идее разламывания надвое расположения противной стороны,

что на языке современного военного искусства называется прорывом центра.

Таким образом на путях к Лодзи группировались значительные неприятельские силы. Однако этот район и участок, лежащий к западу от Лодзи, представлялся одинаково важным и для русской армии. Помимо существовавших оперативных соображений, кратчайшие расстояния говорили за себя и даже подсказывали русским счастливую группировку сил не только для отбития удара, занесенного немцами, но для развития самостоятельного наступления в направлении правого неприятельского крыла. Несмотря на отчаянные атаки неприятеля в центре расположения русского фронта, русским корпусам удалось удержаться в районе Лодзи. Это обстоятельство повлекло отступление германцев с фронта Стрыков—Згерж—Шаден—Здужна Воля—Возники, где правый фланг неприятеля упирался в Варту. Общее протяжение линии отхода равнялось почти семидесяти верстам, а численность массы отступающих исчислялась приблизительно в 4—5 корпусов. Благоприятная обстановка, сложившаяся для русских войск к вечеру 10 ноября, продолжала развиваться. Отбив атаки противника, гренадерский корпус перешел в наступление и в течение 8—9 и 10 ноября взял свыше 5000 пленных

Но, начиная с 12 ноября, общее положение резко изменилось в пользу немцев. Совершенное непонимание боевой обстановки, все то же отсутствие связи между частями движение втемную отдельных полков и даже дивизий привело к тому, что армия Макензена, окруженная превосходными силами русских и, по собственному признанию германцев, находившаяся в критическом положении, не только смогла дважды выйти из окружившего ее русского «железного кольца», уводя всех своих раненых и артиллерию, но и забрала свыше 75 000 пленных, сотни орудий и пулеметов. О громадности потерь в русских корпусах можно судить по тому, что в одной 14-й сибирской дивизии, в составе 14 000 человек ввязавшейся в бой 2 ноября,—16-го осталось всего вместо 64 рот—3 роты, по 15—20 человек в каждой.

Неприятельский огонь был так губителен, растерянность в русских частях была так велика, что целые батальоны, насадив на штыки белые портянки, сдавались в плен.

Руководителями этой злосчастной операции были недавно награжденный георгием главнокомандующий северо-за-

падным фронтом генерал-адъютант Рузский и командующий 1-й армией генерал Ренненкампф, а плацдармом боев, как бы открывших занавес перед вводным актом великой русской трагедии, служила та самая «губка», которая в свое время всосала армию Самсонова.

В один из этих трагических дней, переживаемых русской армией,—сумрачных, с утра снежных, а к вечеру грязных, безрадостных петербургских дней,—выбежавшая на звонок, только что вернувшаяся из госпиталя Марья Гавриловна открыла дверь незнакомому человеку, смущенно остановившемуся на пороге.

— Я бы хотел видеть Людмилу Александровну Карышеву,—сказал он, несколько робея перед монументальной фигурой хозяйки.—Она дома?

— Ее дома нет,—ответила Марья Гавриловна, быстрым взглядом окинув с ног до головы посетителя и как бы взвешивая, стоит ли с ним говорить еще, или хлопнуть перед его носом дверью.

На незнакомце была фуражка, какие носят волжские артельщики и захудалые помещики,—суконная, с широкими полями и крутым козырьком, бараний полушубок, крытый кофейным сукном, и охотничьи сапоги, измазанные уличной грязью. Хороший рост, широкие плечи, спокойное, ясное лицо, оттененное темно-русой бородкой, крепкие, обветренные щеки и темные глаза, смотревшие из-под густых ресниц с застенчивой и в то же время добродушной улыбкой, произвели на Марью Гавриловну благоприятное впечатление.

После паузы она посторонилась и сказала поощрительно:

— Да вы проходите: Людмила скоро должна вернуться. Она на уроке.

— А Бунаков?—спросил незнакомец, все еще не решаясь войти.

— Витя? Его тоже нет. Они теперь все в разгоне до ночи. Еще хорошо, что меня застали.

Марья Гавриловна отошла от двери в переднюю. Посетитель ступил следом за ней. Успокоенная на его счет, хозяйка заговорила по-дружески. Она привыкла в лазарете встречаться ежедневно с новыми людьми и тотчас же, на-глаз примерившись к ним, находить сближающую тему для разговора.

— Иной раз к нам стучат часами—не достучатся. Почтальон, тот знает,—письма и газету под дверь подсовывает. Прислуги нет, у каждого из нас ключ, гостей не принимаем. Зато вечерний чай всегда вместе. Наш клуб—до хрипоты спорим... Вы спорить любите?

— Я?

Посетитель добродушно поднял брови. Озабоченно и неуверенно оглядывающиеся глаза остановились на Марье Гавриловне с успокоенным доверием.

— Когда-то любил, в дни молодости. Теперь не с кем, да и незачем... С Людмилой Александровной беседовали частенько...

Он расстегнул полушубок, потоптался на месте, с сокрушением глянув на сапоги.

— О половичок оботрите,—угадав его желание, сказала Марья Гавриловна:—он там у порога. Вы что, из провинции?

— Да, из Смоленской губернии.

— Это сразу заметно,—одобрительно кивнув головой, подхватила Марья Гавриловна и подумала: «Милый человек, нужно будет его о деревенских настроениях порасспросить,—очень любопытно...»

— Вы в столовую пройдите,—сказала она.—Я самовар поставлю, в порядок себя приведу, а там наши явятся—будем пить чай, поспорим...

Она махнула рукой по направлению двери, а сама, шумя юбками, размашисто пошла куда-то в глубь квартиры по темному коридору.

Посетитель вынул платок, громко высморкался, вытер мокрую от снега бороду и прошел в столовую.

Лицо его приняло серьезное, озабоченное выражение. Внутреннее беспокойство, затаившееся глубоко, сказалось только в напряжении больших, с широкими ладонями, мозолистых рук, которые он заложил за спину, сцепив пальцы, и в напружившемся крепком, дочерна загорелом затылке, перехваченном мягким воротом косоворотки. Надетый поверх рубахи пиджак нелепо облегал его крутую спину.

Минуту постояв перед столом, посетитель начал, размеренно и тяжко постукивая добрыми каблуками, прохаживаться по комнате. Сумерки вылизали последний отблеск света в окнах. Но посетитель не догадался повернуть выклю-

чатель. Он остался в потемках, ощупью меряя комнату, не только не видя, но и не слыша ничего вокруг.

Нежданный свет залил столовую, чьи-то быстрые шаги направились к незнакомцу. Он круто обернулся, руки, обмякнув, растерянно упали вдоль бедер, до странности побледневшее лицо испуганно застыло, слепые от страха и счастья глаза заволоклись.

— Леонтий Алексеевич, вы?!

Людмила остановилась перед ним, как была—в осеннем своем пальтишке, шляпе пирожком, блестевшей под светом лампы таявшими на ней синими огоньками снежинок. В руках девушка держала связку книг, не знала, что с ними делать, куда положить. Губы ее дергала милая детская улыбка смущенья и радости. Несколько осунувшееся лицо все явственнее, все роднее выступало из влажной сети, накинутой на глаза так долго ожидаемой и все же нечаянной радостью встречи.

— Людмила Александровна...—неуверенным голосом заговорил Крутовской.

— Ну, как же вы так приехали, не предупредив?—сказала Людмила.—Прямо не верится!

Они стояли поодаль друг от друга, не догадываясь подойти ближе, поздороваться.

— Значит, прямо из Рая?—спрашивала Людмила.

— Прямо из Рая,—улыбаясь, не веря самому себе, своему счастью, отвечал Крутовской.—Только что с поезда. Там у нас настоящая зима, снег.

Последнее слово он произнес по-особенному глубоко и значительно, точно им одним хотел передать все белое, сверкающее, что наполняло его дни в Раю и привело сюда,—свою любовь.

— Снег?—повторила Людмила так же замедленно, будто вглядываясь во что-то давно знакомое.

— Ящур замерз поверху, все бело... Фу ты! Я и забыл...—Крутовской засуетился, полез в карман пиджака.—Вам письмо от Веры Владимировны.

— Я тоже хороша!—перебила его Людмила.—Что же мы стоим? Идемте ко мне...

Она кивнула ему, побежала из столовой по коридору, Крутовской догнал ее, почему-то взял из рук книги. Бумага

намокла от снега, Леонтий Алексеевич прижал пакет к груди.

Засветив лампу на столе, Людмила быстро скинула пальто и шляпу, протянула руку:

— Теперь здравствуйте!

В свой черед не зная, что делать с книгами, Крутовской переложил пакет под левую руку, пожал хрустнувшие в его ладони еще холодные пальцы.

Они сели у стола на венские стулья, их только и было два в комнате. Не находя слов, Крутовской оглянул стены, остановился на группе в багетной рамке.

— У вас тут совсем, как в Самолюбове,—наконец сказал он и только сейчас, вспомнив, что все еще держит книги, положил их на стол:—такая же маленькая светелка... А Вера Владимировна все хворает,—добавил он, снова полез в пиджак за письмом.—Ее настроение очень меня тревожит. Всегда была такая бодрая, а сейчас все только молится...

— Молится?—переспросила Людмила, внимательно разглядывая конверт, но не вскрывая его.

— Да,—ответил Крутовской, внезапно оживляясь, точно радуясь, что нашлась удобная тема для разговора.—В ней, очевидно, произошел какой-то внутренний перелом. Война на нее действует удручающе. Она рисует себе всякие ужасы, чуть не полную гибель. Говорит, что только бог может спасти Россию...

— Спасти Россию?

Тень прошла по лицу Людмилы. Она отложила письмо в сторону, опустила глаза. Леонтий Алексеевич впервые пристально вгляделся в нее. Он не нашел в ней былого здоровья и веселости, но обычная ее сдержанность теперь перешла в уверенность, в устойчивость.

— Конечно, события не веселые,—продолжал он, непонятно для себя начиная волноваться.—Деревня вымерла... Тильск переполнен ранеными, кое-где появился тиф... Говорят о потрясающих потерях под Лодзью... не хватает снарядов, обуви...—Он оборвал, не закончив фразы, потер коленки, испуганно глянул на Людмилу.—Впрочем, все это вы сами знаете...

— Да, знаю,—просто ответила Людмила.—Вы лучше скажите о себе... Как вы? Как вы живете теперь?

Глаза ее потемнели, она потянулась вдоль стола к Крутовскому, заслонив от него свет лампы.

Леонтий Алексеевич чувствовал, что на него смотрят пристально, все большее волнение сдавливало ему горло.

— Я получил ваше письмо,—прямо не отвечая ей, заговорил он.—Не мог дождаться вашего приезда—сам явился.. перед отправкой на фронт.

Людмила медленно отодвинулась назад, рука ее осталась лежать на столе.

— Почему—«на фронт»? Разве вас призвали?

— Нет. Но видите ли...

Крутовской нажал руками колени, посмотрел в окно. Он увидел там свое отражение, отвернулся.

— Я объясню вам,—сказал он, мучительно подбирая слова.—Вы должны понять... мне все равно нужно итти туда...

Он опять полез к себе в карман, вынул оттуда сложенный листок, положил его себе на колено.

— Я думал очень много над этим... над вашим письмом... Вы пишете...—Крутовской поднес бумажку к свету лампы, глядя на нее издали, продолжал:—Вот это место,—он смотрел на письмо, но читал наизусть навсегда памятные строки:—«...и вот почему ненавистна мне настоящая война, которая всю жестокость свою, все свое дело взвалила, не спросясь, на плечи одних, с тем, чтобы насытить грабительские аппетиты других, тех, кто не воюет, не делает кровавого дела...» Вы так и написали,—отводя глаза, сказал Крутовской.

Ему не ответили. Он продолжал читать:

— «...Не сочувствую и труду, хотя бы тяжелому, хотя бы полезному, как ваш труд, смысл которого (простите мне правду) все же—строить дом вместе с другими, а жить в нем одному... (Артель-то ваша живет для себя, преуспевает на чужом бездольи.)»

Листок в руке Крутовского дрогнул, но Леонтий Алексеевич не оторвал от него глаз:

— «...Не понимаю и любви, в самой себе видящей цель, а не средство творить жизнь... И такая война, и такой труд, и такая любовь—преступны...»

Людмила слушала так, точно не она писала эти строки, слушала, не перебивая, не чувствуя нелепости этой сцены, ненужности ее. Только сейчас, когда голос Крутовского на слове «преступны» пресекся, она протянула к нему руку и,

положив ее на его все еще державшую письмо руку, сказала:

— Не нужно, Леонтий Алексеевич. Я ведь знаю все, что там написано. Бестолково написано... Но вы меня не поняли.

— Нет, я понял,—пряча письмо в карман, ответил Крутовской.

Широкий, большой, он сидел на шатком стуле, как добрый, умный ребенок,—ему очень-очень больно, но он не хочет, чтобы это знали другие. Сейчас Леонтий Алексеевич смотрел на Людмилу, не таясь, не думая о впечатлении, какое он произведет, уйдя целиком в то, что хотел сказать.

— Нет, я хорошо понял,—повторил он.—И не для того я перечел ваше письмо, чтобы в чем-нибудь упрекнуть вас или спорить с вами.

Он вспомнил нежданно вопрос Марьи Гавриловны при встрече, любит ли он спорить, и слабо улыбнулся.

— Я понял до конца. Вы правы: нельзя всю жестокость войны взваливать на одних, и самому преуспевать, нельзя делать никому не нужное теперь дело... Мне лично не надобны никакие победы и выгоды. Если же они нужны стране, то пусть я буду тем, кем пользуются... Так же точно сейчас мое хозяйство, мой дом потеряли смысл для меня, как они потеряли для большинства людей... Я это понял до конца, хотя, может быть, говорю глупо... Мне так легче... Вот только одного я не пойму никак...—Крутовской встал, схватил со стола положенный им пакет с книгами, прижал его к груди.—Я не пойму одного, Людмила Александровна,—повторил он:—как же любовь может быть преступна? Как может она,—сказал он пресекшимся голосом,—творить жизнь, не будучи целью жизни, оправданием ее?.. Как?

Он все стоял, прижимая к себе книги, точно боялся выронить их, расстаться с ними.

Людмила тоже встала. Тень от абажура легла на ее лице. Она сделала движение к Крутовскому, но, переломив себя, опустила руки.

— Как?—повторил Леонтий Алексеевич.—Как можно любить иначе?

Людмила ответила тихо, но внятно:

— Вы совсем-совсем меня не поняли... ни в чем...

Она смотрела на него (он это почувствовал), точно впервые его видела, пристально, горько вглядываясь в его черты.

Только сейчас Крутовской заметил в своих руках книги. Растерявшись, он осторожно положил их на стул, где сидел до этого.

— Вы мне простите,—сказал он, виновато горбясь.

Из столовой слышен был голос Марьи Гавриловны, звавшей пить чай.

— Пойдемте,—стараясь овладеть собою, сказала Людмила.—Наверно, Витя пришел. Он вам обрадуется... Потом я объясню вам все.

Крутовской, не подымая глаз, боком подвинулся к ней, взял ее руки, стремительно припал к ним губами и замер. Людмила не противилась: горячее солнце облило ее с ног до головы. Она увидела себя среди клубничных грядок, дрожащий раскаленный воздух, повядшую гвоздику, дышащую горечью и зноем, голос Крутовского сказал над самым ее ухом: «Вы совсем, как невеста»... Ах, если бы можно было итти рядом, как раньше!..

Губы ее невольно разомкнулись, она нагнулась к склоненной голове, к пахнущим родным запахом волосам, но не коснулась их, пересилила себя.

Леонтий Алексеевич выпрямился. Улыбаясь виноватой улыбкой, бормотнул:

— Нет, я уж лучше без чаю...

И оглянувшись на книги, лежащие на стуле, точно колеблясь, нужно ли оставить их здесь, или унести с собой, пошел из комнаты.

Людмила не удерживала его, не спросила, когда он придет еще, когда уедет. Ей казалось, что все было спрошено, на все получен ответ. Только когда хлопнула дверь, она неслышно пробежала в переднюю и выглянула на лестницу. Шаги Крутовского глухо доносились с нижней площадки.

Людмила стояла молча, опустив руки, прислушиваясь. Бабахнула дверь на блоке, шаги стихли. Ждать больше было нечего и незачем. Но как все-таки трудно было оторвать ноги от этого холодного каменного пола, как трудно было итти к людям,—зарабатывать свое право на жизнь.

Крутовской знал давнюю поговорку, гласившую, что война родит героев. Он не сомневался в истине этой поговорки, но сам в себе не ощущал ничего героического. Добровольцем он пошел не из мальчишеского озорства или жажды сильных

переживаний, даже не из сознания гражданского долга. Леонтию Алексеевичу было за тридцать, он испытал когда-то, в студенческую пору, полосу настоящей веры, подлинного горения. Много после поверил он в то, что, сидя на земле, руководя артелью, делает единственно возможное в России честное дело. Он крепко держался за эту веру: она была последняя.

Война наглядно, жестоко убедила Крутовского в том, что цена этой вере—грош. Культуртрегерствовать, подымать сельское хозяйство в то время, когда рядом, отрывая мужика от земли, война разоряла это хозяйство, отнимала последний кусок, становилось бессмысленно. Хозяйство или гибло, или превращалось в спекуляцию... Крутовской снова стал перед вопросом, как и чем жить дальше. Оставаться в Раю и поддерживать развалившуюся артель он больше не мог, заниматься благотворительностью—претило, стать рвачом—не сумел бы. Война требовала точного ответа, и не только в узком, личном смысле.

Леонтий Алексеевич не понял Людмилы. Он истолковал ее письмо по-своему и приехал к ней только для того, чтобы сказать ей о своей любви. Этого он тоже не сумел, не посмел сделать. Ему казалось, что своим ответом: «Вы меня совсем не поняли» она говорит: «Я не писала вам, что люблю вас».

На другой день после первой встречи Крутовской подложил под дверь пустующей квартиры короткое письмо, адресованное Людмиле. Он сообщал, что уезжает на фронт в этот же день вечером. Что делает это из простого расчета: все равно его призовут как рядового; так лучше уж итти добровольцем. Что ему удалось устроиться в артиллерийской части, где офицерский состав более интеллигентный, и потому надеется, что будет чувствовать себя неплохо. Давешнего разговора не поминал вовсе.

«Только очень прошу, не думайте, что это бравада,— заканчивал он письмо,—или отчаянность. Я уверен, что сейчас на фронте легче и проще, чем в тылу. А я устал думать и, надо сознаться, мало доверяю своим мыслям. Народ сейчас на войне, и он решит, как ему поступать дальше. Я хочу быть с ним заодно, жить его умом. И только».

Сверху падал ленивый, редкий снег. Глаза с трудом различали высокий глинистый берег. Батарея втягивалась в деревню, стоящую над самой рекой. Вода бурлила, ворчала,

сжимала тело тупой, медленно въедающейся в кровь петлей. Закаленный охотой, физическим трудом, Крутовской едва боролся с оцепенением. Чтобы сдержать дрожь, он выкрикивал ругательства, напрягаясь каждым мускулом. С берега им кричали, размахивая фонарем:

— Пошевеливайтесь, черти! Ночевать вздумали?

Красный огонь фонаря метался из стороны в сторону. На берегу, в темноте, десяток коней, сопя, налегая в упряжку, скользя в жирной грязи, выволакивал по крутому подъему орудия.

Когда наконец зарядный ящик, плюхая по воде, выбрался на берег и Крутовской тяжелой трусцой побежал наверх, снег посыпал гуще. Леонтий Алексеевич догнал свой взвод, пошел рядом с Ломкиным. Ломкин, кадровый солдат, первый номер при орудии, относился к Крутовскому покровительственно. Он учил его, как лучше подвертывать портянки, как отгонять сон, когда хочется спать, а спать нельзя, как палить над костром вшей. В свой черед Ломкин любил советоваться с Крутовским о семейной своей жизни. Был он женат вторично на горбатой сестре умершей первой жены, женился, чтобы дети «остались при родной»,—как он объяснял,—но жил «по любви» с одной девушкой, городской, из того города, где стояла его батарея. Расставаясь с ней, мучался, что в случае его ранения или смерти любимая им девушка не получит выдаваемого законной жене пособия. На вопросы Леонтия Алексеевича о том, что думает он о войне, Ломкин просто не отвечал, или отделывался незначащими словами и неизменно возвращался к беспокоившей его теме. Сейчас Ломкин, шлепая рядом с Крутовским, спрашивал с отеческим сочувствием:

— Окостенел, парень?

— Еще бы—весь вымок!

— А ты натужься. Кулаки сожми и натужься от силы. Сподряд раз десять. Пар пойдет.

Крутовской следовал его совету, и точно—начинал согреваться.

Наверху, в деревне горели костры, в некоторых домах мигал свет. В темноте трудно было разобрать, но по тому, что не лаяли собаки, не слышно было бабьего визга, Крутовской догадался, что жители все ушли. Из-под застрех повизгивал ветер. Какие-то счастливцы, стоя перед костром у настежь распахнутой клуни, сняв рубахи, грели спины. Снежинки таяли на лоснящихся под огнем голых телах.

Крутовской и Ломкин подошли к ним.

— Живем!—крикнул один, приплясывая и подмигивая Ломкину.

Но едва Леонтий Алексеевич снял шинель и рубашку, стянул сапоги и, ощущая благостный жар на ладонях и груди, пододвинулся к костру, как тотчас же услышал чьи-то крики, ругань, увидел над костром бородатую физиономию взводного.

— Живей, живей, сворачивайся!—кричал он, пыняя сапогом в костер.—Приказано назад итти.

— Куда—«назад»?—переспросил солдат, стоявший рядом.

— Назад, за Сан гонят.

— Заливай еще!—откликнулся другой, хлопая себя по голым бокам.—Чего мы там не видали?

— Говорят, сворачивайся,—свирепо ответил взводный.—Сволочи! Языка не понимают! Приказано—и все тут.

Он еще раз пхнул сапогом дымящуюся головешку, высморкался в огонь и, крепко ругаясь, подбадривая себя этой руганью, пошел прочь.

— Эх, вша, пожалела тебя судьба!—с отчаянностью выкрикнул тот, что, приплясывая, встретил Крутовского возгласом: «Живем!» Остальные стали хмуро натягивать дымящиеся рубахи.

— Что же это за безобразие!—заговорил Крутовской, оглядываясь на Ломкина.—Зачем же мы сюда перебирались? Где у них голова была?

Его никто не поддержал. Солдаты молча, не глядя друг другу в глаза, разбирали шинели, уходили во мрак.

Леонтий Алексеевич, стуча зубами, стараясь сдержать эту дрожь, возмущаясь, размахивал над головой мокрой рубахой, пытался натянуть ее на покрывшееся гусиной кожей тело.

Через четверть часа вся батарея вышла из деревни. В злом колючем ветре не слышно было ни команды, ни слов соседа. Ручные фонари и факелы на короткие мгновенья вырывали из мрака то береговой обрыв, то лошадиную морду, то покрытую снегом папаху артиллериста, то лоснящееся жерло орудия. Лошади завязали по брюхо, приставали. Тогда прислуга соскакивала с зарядных ящиков, с передков и, хватаясь за зашлепанные колеса, помогала обессиленным животным. Двигались вдоль Сана, то-и-дело съезжая с крутого берега.

Может быть, началось отступление, может быть, батарею перебрасывали в другую часть,—Крутовскому, как и всем

едущим рядом с ним людям, было безразлично, куда и зачем он едет. Нахлобучив папаху на глаза, сосредоточив свое внимание на одной какой-то крохотной теплой точке в своем теле и этим спасая себя от холода и отчаяния, он ни о чем не мог и не хотел думать.

Огромная непостижимая бессмыслица, пронзительно гудя в уши, засыпая колким снегом, овладевала его существом.

20
3
ЧЕТВЕРГ

НАД УТРЕННИМ Берлином висел туман, он оседал инеем на ветви деревьев, на чугунные ограды, на стальные щиты магазинных окон. Темные силуэты редких прохожих внезапно появлялись, чтобы тотчас же исчезнуть. Приглушенно грохотали нагруженные амуницией и обмундированием грузовики. Пахло жженой пробкой от падающей на тротуар копоти.

Подняв воротник пальто, глубоко засунув руки в карманы, Либкнехт несся своей стремительной, упругой походкой сквозь туман. Ресницы запорошило инеем, он с трудом различал дорогу. В нем бродило еще не остывшее возбуждение. Дискуссия, начатая с вечера, продолжавшаяся всю ночь, длилась еще здесь, на Потсдамской улице. Она закончится его выступлением сегодня на заседании рейхстага. Пущенную стрелу не остановишь, пока она сама не достигнет цели.

«И Роза, и Франц[1], и Мархлевский—прекрасные, верные, убежденные товарищи, но на этот раз в своей осторожности они неправы. Они уверены, что происходящее сейчас разложение партии напоминает первые годы закона против социалистов. Вожди тогда, как и теперь, потеряли голову. Но массы сказали свое решительное слово: «С вождями, если они хотят; без вождей, если они упираются; против вождей, если они препятствуют». Да! Так было. Но ничего не повторяется. Ситуация изменилась. Массы скручены войной, пушки заглушают их голос. Ошибка влечет за собою другую. 4 августа я подчинился, я не выступил открыто против фракции. Я по-

[1] Роза Люксембург и Франц Меринг.

верил, что Интернационал должен и может искупить свои ошибки и возродится. Что пролетариат воюющих стран поможет ему в этом... Миллионы жертв кричат партии о ее отступничестве. Партия не слышит, не видит, она помогает правительству расстреливать рабочих руками рабочих.

«Нет. Довольно! Все должны знать, что в этом преступном деле не вся партия повинна. И я буду голосовать против кредитов. Пусть Роза и Франц считают, что мое выступление возможно только в том случае, если меня поддержат еще несколько левых...»

Карл все более ускорял свой бег. Ему нужна была трибуна не в рейхстаге, а здесь—над этим туманом, над городом, над страной, чтобы прокричать свою правду.

На перекрестке туман задержал движение. Рядом стоящий бюргер спросил:

— Который час?

— Ну, а если в рейхстаге мертвецы?—пробормотал Либкнехт.

Бюргер испуганно шарахнулся в сторону; приподняв трость, он засеменил через улицу.

Путь был свободен.

Карл оглянулся и только сейчас догадался, о чем его спрашивали. Он вынул часы.—Четверть девятого,—ответил он, но туман поглотил его ошарашенного спутника.

— Нет! Ни за что!—перейдя улицу, проговорил Либкнехт.—Утверждать так—значит не верить в пролетариат, в его классовый разум. Пролетариат поймет меня, потому что я буду говорить его голосом.

Карл вспомнил свою недавнюю поездку по Бельгии и Голландии. Он вспомнил лица молодых рабочих, когда он говорил с ними. Разве они не крикнули бы вместе с ним с трибуны рейхстага: «Долой войну! Долой кредиты на убийство пролетариев!..»

«Нет... 4 августа я подчинился дисциплине, дисциплине предателей. Я ограничился борьбой внутри фракции. Я не закричал на весь мир о позоре. Я еще верил, что они одумаются, что линия партии выпрямится... я был олухом. И этого больше не повторится. К чорту! К чертям такая дисциплина! Дисциплина, разрушающая программу партии. Я буду голосовать против кредитов. Один!»

Он невольно оглянулся. Он—и точно—плыл в тумане один.

— Да, один, как член рейхстага, но—миллионами глоток, как представитель класса.

Карл дернул воротник, опустил его, ему стало жарко, и несколько шагов прошел спокойным, ровным шагом. Под заиндевевшими усами губы тронула легкая усмешка.

Он вспомнил снова свою поездку.

Чорт возьми, его «смазывали» как только могли. За ним ухаживали, заискивали перед ним. Его решили обезвредить, совратить, как невинную Гретхен, подкупить... Высшее командование в роли омоложенного Фауста с полной готовностью предоставляло ему возможность объехать занятые немецкими войсками территории Бельгии и северной Франции. С ним беседовали, чтобы «рассеять его предубеждение». С ним даже пытались сфотографироваться дружественной группой. Генералитет—и Карл Либкнехт, депутат рейхстага! Великолепно! Колоссаль! Это ли не прекрасный агитационный трюк во славу имперского оружия? Эберт и Шейдеман с готовностью пошли... на удочку...

Он рассмеялся, вспоминая, к каким уловкам приходилось прибегать, чтобы избегнуть этой «чести».

Генералитет военный все еще надеялся. Но зато генералитет партийный... О! они давно уже махнули на него рукой!

По лицу Карла снова пошли зябкие тени.

С каким искусством они помогали полиции ликвидировать работу противника! Они срывали митинги протеста, они вопили о развале партии.

«Это они загнали нас в подполье!»

Он увидел их разъяренные лица на последнем заседании фракции рейхстага. Они с пеной у рта орали о дисциплине... Они!

Большинством против семнадцати они приняли решение голосовать за новые кредиты. Против семнадцати... шестнадцати трусов, которые тоже пошли на попятный...

«Ну что же, один—так один! А если мне зажмут рот и не дадут говорить, я передам председателю рейхстага свою письменную мотивировку и постараюсь, чтобы она дошла до масс. Мир. Немедленный мир, ни для кого не оскорбительный, без захватов и контрибуций,—вот наше требование...»

Либкнехт снова поднял воротник и, сжав плечи, ринулся дальше в туман. Многое ему самому не было достаточно ясно. Многого он еще не додумал до конца в стремительном своем

беге. Он не произнес последнего слова, не сделал еще вывода, единственного вывода из правильных своих посылок. Пальцы его сжимались в кулак, но еще не были занесены для удара. Мужество его еще не видело конечной цели...

Туман оседал на плечи белым саваном. Утренний свет и огни фонарей, еще не погашенных, глохли в рассеянной сырой мгле. Карл исчез в ней.

Но голос его, насмешливый и хриповатый, был слышен мимо идущим прохожим. Он по-мальчишески задорливо пел пародию, сочиненную им на официальный гимн социал-демократов:

Социалисты, вперед рядами!
Зовут барабаны под сень знамен.
Новые цели встают перед нами:
Спасем монархию! Поддержим трон!
Русскому—пуля! Француза—в пузо!
Бритта—в ланиту. В лепешку—япошку!
Пусть сделает это немецкий народ.
Вот цель, которая нас влечет...

Нежданно кто-то наплыл на него в тумане, больно зашиб плечом. Оба остановились, вглядываясь друг в друга. Карл попытался разлепить смерзшиеся ресницы. Чья-то широкая, тяжелая ладонь сжала локоть Карла, приятельски потрясла его. Охрипший басок весело крикнул:

— Эге! никак это товарищ Либкнехт! Я узнал его по голосу. Эта песенка нам знакома. Она бьет метко! С добрым утром!

— С добрым утром!—ответил Карл, стараясь разглядеть незнакомца, уже исчезнувшего в тумане.

Несколько мгновений он стоял на месте. Благостное тепло пошло по груди, коснулось сердца.

Это был дружеский привет, доброе предзнаменование и поддержка, идущие от товарищей по классу.

— Кой чорт я один! — звонко крикнул Карл: — нас много!



ДЕКАБРЬ

В 6 19 СУББОТА

В ДЕНЬ «НИКОЛЫ зимнего» праздновалось «тезоименитство» государя императора, и день этот обычно был днем всяческих торжеств, наград, парадов и балов. К этому дню в мирное время приурочивали какие-либо милостивые распоряжения или манифесты, освобождалсоь несколько уголовных преступников и ссылалось на вечное поселение изрядное количество государственных, политических «врагов отечества», а во время войны военоначальники старались этот день ознаменовать какой-либо победой, хотя бы продвижением вперед, независимо от того, целесообразно было это продвижение в общих целях, или нет.

Так и нынче. Уже с наступлением темноты русские войска 5 декабря после сильной артиллерийской подготовки ата-

ковали фронт 20-го корпуса, 3-й гвардейской дивизии и 25-го резервного корпуса немцев, несмотря на то, что в этом маневре не было никакой боевой необходимости. Большими пехотными массами были произведены русскими атаки, особенно энергично у Несулкова против 3-й гвардейской немецкой дивизии и против 25-го резервного корпуса у Гловно, но атаки были отбиты с тяжелыми для русских потерями. Отбиты главным образом потому, что наступление это, не связанное с общим построением фронта, явилось единичным выпадом, не подкрепленным с флангов, и, как выяснилось впоследствии, было начато будто бы лишь для маскировки общего отступления русских из-под Лодзи. Гипноз числа войск противника был так велик, что ставка не учла изношенности боевого состава немцев от предшествующих боев и не попыталась даже поддержать и развить начатое было наступление, а при первой же неудаче изменила боевую задачу и постаралась объяснить это изменение тактическими соображениями.

Немцы заметили маневр русских около шести часов утра 6 декабря перед фронтом своего 11-го корпуса и корпуса Герока и тотчас же начали преследование своим методом захода через Гуду на Вискитно, а 36-й дивизией преграждали путь русским на северо-запад. Русские очистили позиции под покровом ночи и тумана...

В 4 часа 45 минут немецкий корпус вошел в полуторамиллионный город. Лодзь пала.

Подарок государю императору был готов...

На рассвете после интимного ужина у цыгана папаши Дмитро Дымша передал на телеграф телеграмму пьяного Распутина на имя «ее величества»:

«Увенчайтесь земным благом, небесными венцами
Во пути с вами».

Внизу у подъезда телеграфа в автомобиле, ожидая Ивана Федоровича, сонная Наталья Никаноровна прикорнула на груди старца.

В самолюбовском господском доме еще все спали. Шел девятый час снежного, бескрасочного утра. За окнами в мо-

розных узорах, сверху подтаявших, мережил ленивый пушок, ложился на клумбы белой шапкой, деревья парка слились в одно мутное, серое пятно, за которым точно бы в тишине обрывалась жизнь.

В столовой догорала, потрескивая лампадка перед Черниговской божьей матерью. Маятник круглых часов, висящих над дверью, сухо отстукивал время.

Половина дома была заколочена на зиму, но в гостиной, столовой, кабинете и спальнях брата и сестры все убрано было по-городскому, как в былые времена. Пахло по-обычному застоявшимся запахом сухих розовых лепестков, подточенного трухлявого дерева, воском от натертых полов и жженым кофе; вчера вечером Вера Владимировна перед отходом ко сну молола его, и так и осталась стоять на обеденном столе кофейная мельница. Печи в жилых комнатах еще отдавали последнее тепло, но в передней, коридорах, кладовых и людских уже погуливал утренний морозец, с пола дышал грибным, неприютным сквознячком.

Яков Владимирович спал, лежа навзничь, носом кверху, выводил тоненькие фиоритуры, рот прикрыт был малинового атласа стеганым одеялом. Из-за тяжелых портьер и ставней свет не проникал вовсе, и только по неподвижному кислому запаху выкуренных ночью сигар, мочи и пыли можно было судить о холостяцком беспорядке тулубьевского приюта. У Веры Владимировны перед большим, резного дуба, киотом, заставленным образами, пылал светильник—большая, синего граненого хрусталя чаша; она блистала гранями своими, как большой чистой воды сапфир, бросая в потолок и стены кружащий голубой отсвет. Низкие будуарные кресла казались раковинами на морском дне. Карышева лежала на правом боку, подложив ладонь под щеку и подобрав колени, как спят дети. Ночной чепец сполз ей на глаза. У локтя ее, на широкой двуспальной кровати, лежал раскрытый молитвенник; в нем вместо закладки топорщился помятый любительский снимок Александра Ясоновича, первых дней его брака. В комнате этой было теплее, чем в других; синий свет сглаживал контуры предметов, дыхание спящей было беззвучно. Казалось, что за плотно прикрытыми ставнями, за запертой на ключ дверью—безлюдье и тьма. И внезапно в это безлюдье и тьму ворвался глухой, отдаленный, но настойчивый стук. Вера Владимировна пошевелилась, вздохнула, почмокала губами и тотчас же открыла глаза. Сон мгновенно, как это

бывает у очень нервных людей, оставил ее. Она лежала неподвижно, прислушиваясь к грохочущим ударам извне и к учащенным ударам своего сердца, к нарастающему чувству тревоги, тоски и предчувствия беды.

«Телеграмма... Нет, нет, не дай бог...»—подумала она, и тотчас же грохот прекратился, послышались приглушенные, спорящие о чем-то голоса, деревянный какой-то топот ног, замерший в столовой, снова кого-то уговаривающий знакомый голос горничной, бег и хлопанье дверьми по коридору и, наконец, легонький стук в дверь спальни.

— Кто? Кто там?—пронзительно вскрикнула Вера Владимировна и села на кровать, опершись дрожащими руками о перину.

— Это я, барыня. Можно к вам?—ответили из-за двери.

— Маша, ты?—чувствуя, как сердце клубком подкатывает к горлу, мешая дышать, едва пробормотала Карышева и, судорожно путаясь ногами в ночной рубахе, нашарила туфли, семеня и шаркая пробежала к двери, повернула в замке ключ.—Телеграмма?

Маша, пожилая девушка, взятая недавно в горничные вместо Кати, выгнанной из усадьбы со скандалом, стояла перед Верой Владимировной с накинутым на голову теплым платком, в ночной кофточке, в валенках и шопотом объясняла что-то, чего Карышева понять никак не могла, ожидая и страшась увидеть белый листок телеграммы.

— Ну, где же? Где? Что такое?—повторяла она.

— Да вы не беспокойтесь, барыня; я его сюда не пущу. Я уже за Филиппом послала... Он в столовой ждет, сюда не посмеет. Едва уговорила... Этакий ведь, подлый какой, шуму наделал в такую рань? Ему говоришь: «Господа спят», а он...

— Да что такое? О ком ты?—держась за сердце, приходя в себя, перебила ее Вера Владимировна.

— А кто его разберет. Я его допреж не видала... Говорит—вам хорошо знакомый... Обязательно, чтобы вышли к нему, желает с долгом каким-то рассчитаться... Не разберу: пьяный!

— Пьяный?

— Костылем стучит,—без ноги, а сам пьяный. В этакую рань успел!.. Филипп придет—выведет... Вы не выходите. Что с пьяным, господи...—Маша мотнула головой, перекрестилась.

Она была постницей, смиренницей, старой девой, приютская — пришлась как раз кстати религиозной настроенности, последнее время овладевшей Верою Владимировной.

Она бережно, под локоток ввела госпожу в спальню, прикрыла за нею дверь на ключ, подошла к синей чаше, поправила фитиль, еще трижды перекрестилась. Вера Владимировна постепенно успокаивалась, глядя на Машу. Телеграммы никакой нет. Значит, бог миловал — жив.

— А на дворе как? — спросила она, этим вопросом показывая, что появление какого-то неизвестного не может нарушить привычный утренний ритуал.

Карышева каждое утро встречала Машу тем же вопросом. И Маша отвечала на него каждый раз тогда, когда железный болт от нажима ее ладони с треском ударялся за окном о стену и в приоткрывшиеся створки ставней проскальзывал дневной свет.

— Снежок сыплет, — ответила горничная. — Уж так все занесло, белым-бело...

— Ну, давай одеваться.

— Не рано ли?

— Нет. Все равно, не засну больше... Надо все-таки выйти к этому... Без ноги, говоришь?

— Без ноги, по колено.

— Ну вот раненый, должно быть. Наша обязанность... мы все должны помогать, чем можем... Это наше общее горе, общий долг... война...

Маша вздохнула. Вера Владимировна благодарно глядела на потускневший от дневного света киот. Где-то там, в далеких снегах, — он, единственный, забывший, но не забытый, взрослое дитя, еще не ведающее путей господних, но охраняемое ее заботой, ее молитвами, — Шура, Шуренок, воин Александр...

Она вышла в столовую в черном глухом платье, гладко причесанная, строгая и благостная, как игуменья; такой себя теперь любила и такой хотела быть всегда — взыскательной к себе и снисходительной к другим, отъединенной от мирского и человеческих страстей. Она уже приготовила слова, какие скажет незнакомцу, нарушившему ее покой. В руках держала платок и черную шелковую сумочку, в которой хранила ментол от мигрени, крохотное евангелие и деньги.

«Такой бы меня увидел Александр,—думала она,—как изумился бы, и как стыдно стало бы ему своей суетности...»

Незнакомец сидел перед столом в кресле, на котором обычно сидел Яков Владимирович, костыли прислонил к спинке кресла, единственную ногу в валенке протянул под стол, с валенка натекла вода от стаявшего снега. Нагнув голову, незнакомец держал обеими руками кофейную мельницу, вертел ручку, хмуро смотрел, как двигается зубчатый валик.

— Кто вы?—начала Вера Владимировна, остановясь у дверей и вглядываясь в стриженную клочьями круглую голову.

Из-за спины хозяйки выглядывала любопытная Маша. В дверях напротив остановился Филлип, кучер, чесал пегую бороду, косился на сидящего.

Незнакомец поднял голову, не спеша поставил мельницу на стол, не глядя, поймал рукой костыль и с трудом, стукая деревяшкой, встал.

Теперь он виден был весь—широкоплечий, с темным, заросшим русой щетиной лицом, в солдатской свалявшейся шинеленке, туго перетянутой ремнем. Из-под напухших, покрасневших век глядели чьи-то едва припоминаемые, когда-то знакомые соловые глаза.

— Что, барыня, ай трудно признать?—спросил он глухим, сорванным баском и заковылял навстречу Карышевой.

— Чего тут?.. Не узнать тебя,—вступился Филипп:— Шел бы ты лучше в людскую чай пить. А то перебудил всех, озоруешь... Откушает барыня кофею—позовут... Никита это,—обратился он к хозяйке.—Конюхом был, забрили его на войну... Ну, вот вернулся поврежденный... за отечество,— добавил старик и строго, по-казенному посмотрел в угол на лампадку.

— Ушел человеком, вернулся обрезком,—подхватил Никита.

Злой огонек мелькнул вместе с улыбкой в его глазах.

— Так ты Никита?—спросила Вера Владимировна неуверенно.

Смутно, как из другой жизни, выплыл образ озорного парня, письмо Наташи, восторженность и боль. Сдержала себя, сжала пальцами молитвенник в сумочке, сказала строго:

— Ну что же, я рада, что вижу тебя живым, честно выполнившим долг свой перед родиной...

— Это насчет ноги?—перебил ее Никита.—А я вот и не знал, что родине ноги моей не хватало. Выходит—квиты теперь? И никому я не должен, и мне никто не виноват.

Он с явной издевкой, закипая все более, смотрел на Карышеву; стоять было ему трудно, он покачивался, постукивал деревяшкой.

— Да уж идем, идем!—бочком подходя к нему, усовещевая, говорил Филипп:—Будет!..

— Что—«будет»?—нежданно заорал Никита, подняв костыль и припрыгивая.—Ничего не будет. Ничего вам не будет!—повторил он тише, но увереннней.

Маша ахнула, часто-часто закрестилась. Вера Владимировна выпрямилась, как в былое время, румянец прилил к щекам. Тулубьевская кровь ударила в виски. Глаза сощурились, она сказала ледяным тоном, как бывало, когда муж оскорблял ее:

— Если ты не можешь говорить прилично,—уходи.

И уже повернулась было оставить комнату, но Никита суетливо застучал к ней, преградил дорогу, зачастил быстро, задыхаясь свистящим шопотом:

— Я к тебе, госпожа. Прямо с поезда к тебе. Пять суток ехал и в деревню не заходил. К тебе, госпожа; должен от тебя взять отчет, должна ты мне, не квиты еще, нет.

Он почему-то то-и-дело повторял г о с п о ж а, хотя никогда так не называл Карышеву, видимо, старательно избегал говорить привычное б а р ы н я.

— Пока не поквитаемся, не уйду,—повторил он упрямо и, рванувшись к Филиппу, отрезал:—Ступай! У нас с госпожой свои счеты: свидетелей нам не нужно... Тихо буду говорить,—обратился он снова к Карышевой.—Вели рабу своему выйти вон. И ей тоже!—мотнул он в сторону Маши.

Робея и возмущаясь своей робости, Вера Владимировна сказала, стараясь придать своему голосу обычные, будничные интонации:

— Можешь итти, Филипп. Позову, если понадобишься... А ты, Маша, подавай кофе: Яков Владимирович сейчас выйдет,—и не глядя на Никиту, сдержанно:—Я тебя слушаю.

Вера Владимировна села на свое обычное место, в голове стола, сложив руки на коленях, прижала локти к талии, поинститутски выпрямилась, преодолев смущение и обиду,

прямо посмотрела на бывшего своего конюха. Да, это он. У него тогда волосы были стрижены в кружок, канареечная рубашка плотно обхватывала широкую грудь и плечи, и пахло от него конюшней. Теперь он был худ, скуласт, землисто-черен и дик. Не такими представляла она себе героев, солдатиков.

— Ты устал, садись,—произнесла она, стараясь найти верный тон и никак его не находя: все приготовленные ранее слова потеряли смысл в отношении этого н е с ч а с т н о г о, как тут же она назвала Никиту.

— Садись.

Он потопал деревяшкой и сел рядом.

— Где тебя ранили?—желая вызвать в себе сочувствие к калеке, помолчав, спросила Вера Владимировна.

Никита не ответил, смотрел упрямо в пол.

— Катерина Степановна где?—наконец вымолвил он.

— Какая Катерина Степановна?

— Ну, Катя, Катька! Вы, небось, и не знали, как ее по отчеству. Два года у вас жила, не интересовались...

— Я ее рассчитала,—удивленно ответила Карышева.

— Вчистую? К чорту в два счета? Как и не было человека... А почему, позвольте узнать, госпожа милостивая?

Он говорил так решительно, так властно, как человек, имеющий право требовать отчета. Вера Владимировна невольно ответила:

— Последнее время она вела себя из рук вон: грубила, нервничала, неряшливой стала и потом... вообще не могла больше работать...—не докончила и снова вспыхнула оскорблением и гневом: как он смеет так разговаривать!

— Беременной была?—не сводя зажегшихся глаз с Карышевой, в упор бросил Никита.—От меня беременной была,—пояснил он с каким-то злорадством, как показалось Карышевой, отчеканивая слова.—Я сбил девку с пути за так, со скуки, через меня места лишилась... Н а ш е это дело. Е й меня судить!—выкрикнул он, наливаясь кровью; нижняя губа его судорожно задергалась, обнажая зубы и синие десны.—А вы ей какая судья? За что вы ее в яму кинули? Довели до тюрьмы. Чем она перед вами виновата?

Он вскочил неловко, поскользнулся, едва не упал, взмахнул свободной рукой, точно хотел ударить.

Вера Владимировна откинулась к спинке кресла, матово побледнела. Сдавленным голосом выдыхнула:

— Вон! Убирайтесь вон!

Но Никита уже стоял перед ней твердо, повис на костылях, согнувшись, дышал на нее жаром и ненавистью, тошным запахом самогона.

— Выгнали за то, что забрюхатила девка без венца. Как же! Срам какой в господском доме! Охота блудить—иди под венец, разлюбила—попу хабара: венчайся сызнова, до трех раз. Вот это закон. От всех почет. А нет—дави приплод, подлая. Так, что ли?

Он облизнул запекшуюся губу и, склоняясь еще ниже, зашептал хрипло:

— Катька-то ваша, как выгнали ее, в город пошла наниматься, родила пащенка, да в помойку его, чтобы не узнали хозяева. Однако не схоронилась от суда правого: закатали рабу божью в тюрьму. Закон!—выкрикнул он неистово.—Закон! Кто вам права дал решать девку? Кто?

Ледяные мурашки побежали от спины к затылку, зашевелили волосы. Вера Владимировна цеплялась пальцами за подлокотники кресла, хотела встать, позвать на помощь, выгнать этого хама—и не могла, хотела не отвечать и не могла не ответить:

— Я не виновата...

— А кто виноватый? Чей закон? Ваш он закон! За него я ноги решился, или не за него? Отвечайте. За него меня немца послали бить? А ты знаешь, какой у немца закон? Может, он еще лучше нашего. А? Может, по немецкому закону Катьку повесить надо. А? Ты знаешь? Отвечай!

Он взмахнул костылем и ударил им плашмя по столу. В буфете задребезжала посуда. Испуганное, любопытное Машино личико, закутанное в платок, выглянуло в двери и тотчас же скрылось.

Вера Владимировна поднялась во весь свой рост, точно подстегнутая кнутом. Грудь ее тяжело поднималась, по щекам разлился дурнотный, ледяной холод, глаза истерически расширились. Это была уже не игуменья, а гневная барыня Тулубьева, представительница рода, оскорбляемая в лучших своих чувствах, в святых своих верованиях.

— Молчать!—вскрикнула она пронзительно.—Наглый хам! Вон отсюда! Он смеет...

— Кто виноватый?—не слушая ее, вопил уже не своим, хмельным голосом Никита.—Кто виноватый? Не ты? Нет, ты! Ты! Ты! Госпожа наша дорогая! Ты меня ноги решила! Ты

Катьку в тюрьму послала! Ты ребенка моего на помойке захлебнула! Ты! От тебя я сейчас—бродяга, пес бездомный—побираться пойду. Или ты меня опять в конюха возьмешь?

Они стояли оба друг против друга, кричали, не слыша чужих слов, налитые ненавистью.

— Тебя расстрелять надо, пьяный бандит. Убирайся вон! Маша! Филипп! Яша!

Они уже были здесь: и Маша, и Филипп, и Яков Владимирович в халате, придерживая голубые лацканы у шеи, небритый, взъерошенный с высоко поднятыми недоуменно бровями, с бритвенным прибором в руке.

— Кто виноватый?—неистовствовал Никита.—Не ты? Законами огородилась. Иконами обвешалась. Отмаливаешься? Воевать услала подалей. А я—вот он, тут! Пришел. Долгом рассчитаться пришел. И рассчитаюсь! До копейки! Подавай мне ногу! Подавай мне Катьку! Подавай сына! Ну?

Филипп уже схватил его за руку, на другой повисла Маша. Он беспомощно запрыгал, лишенный костылей, обезоруженный. Захрипел, тяжело, со свистом дыша, бурая пена пузырилась в углах дергавшихся губ.

— Что за скандал, мать моя?—презрительно спрашивал Тулубьев.—Можно ли доводить себя до такой степени?

— Он позволил себе... он себе позволил...

Вера Владимировна больше не могла. У нее подкосились ноги, рыдания сотрясали ее всю, она упала в конвульсиях на пол.

Еще двое мужиков вошли в столовую и, не снимая шапок, деловым шагом подошли к Никите и, сжав под локотки, поволокли вон из господского дома.

Но все еще сквозь предупредительно запертые Машей двери неслись исступленные крики:

— Спалю! С иконами спалю! С законами угроблю! Нанет сотру!.. Кто виноватый?

А вечером Олег в парадном мундире, с галунами на отложном воротнике, с гардемаринскими якорями на белых погонах, с белыми перчатками, с тщательно прилизанными на пробор огненными волосами встретил Любу и сестру ее Машу в вестибюле корпуса. С ним вместе толпилось несколько десятков таких же, как и он, принаряженных гардемаринов, с волнением вытягивающих шеи при каждом стуке распахи-

ваемых входных дверей, откуда с морозным голубоватым дымком появлялись все новые и новые разрумяненные, запорошенные снегом, тоже взволнованные и счастливые девичьи лица. Длинные ряды вешалок, у которых стояли коренастые матросы-дневальные, все плотнее забивались шубенками, ротондами, пальто, капорами, и Олег с трудом протолкался к свободному номеру, чтобы повесить верхнюю одежду своих дам.

— Наконец-то удалось свидеться! — говорил он, идя бочком, расчищая путь среди густой толпы кадет, пропуская вперед Любу и Машу.—Прямо места не находил от тоски, честное слово! Ни одного отпуска не имел за это время: гонят предметы—страсть! Торопятся к ускоренному выпуску. А вы еще похорошели, честное слово!

Обе сестры были одеты одинаково—в легкие шелковые, светло-кофейные платья, чем-то напоминающие гимназические, но более нарядные и уже овеянные той женственной, неуловимой прелестью, какую приобретает все, что касается, что окружает, скрывает девичье тело, недавно лишь утратившее голенастость подростка. Особенно разительно бросалась в глаза эта перемена в Любе. Олег все еще представлял ее себе сестрорецкой угловатой, с мальчишескими движениями, девчонкой, прыгающей по-мужски на лошади, бегающей по пляжу в купальном костюме, размахивающей загорелыми худенькими прутьями-руками, поводящей косточками узких плеч и лопаток, ежеминутно беспричинно хохочущей и встряхивающей кудряшками. Теперь на Олега смотрело все то же счастливое, сияющее темными глазами из-под густых бровей скуластенькое, смугловатое лицо с носиком туфелькой, смешливо приподнятым, с серьезно подобранными губами и любопытствующим, неизменно двигающимся, как у белки, подбородком, на котором две крохотные родинки точно играли в чехарду. Но лицо это под тщательно сделанной прической все же поражало иным каким-то, женственным выражением, и самая его улыбка, попрежнему веселая, уже не казалась такой вызывающе-задорной, а напротив, точно скрывала, затушевывала вот-вот готовые обнаружиться чувства. В движениях попрежнему тоненькой, маленькой фигурки, маленьких ног, обутых в парчевые на высоких каблуках туфли, обнаженных рук тоже появилась необычная, поражающая чем-то, но неуловимая сдержанность, мягкость и вместе—опасливость, точно каждый шаг, каждый жест Любы имел

свое тайное, магическое значение, как бы предохранял ее от чего-то, что ежесекундно угрожало ей. Эта более ощутимая, чем видимая, перемена вместе с некоторой закругленностью во всем облике девушки заставила Олега подтянуться и переменить несколько тон речи, придав ей почтительную внимательность кавалера к вполне взрослой барышне.

— Ирина передавала мне по телефону,—говорил он, заискивающе глядя в глаза,—что вы замечательно играете. Она находит вас талантливой, честное слово!

— Какие глупости!—возражала Люба, опуская ресницы и смотря на носки своих туфель, мелькающие из-под узкой юбки.—Ириша пристрастна ко мне. Вовсе я не талантливая. Но мне очень хочется быть хорошей актрисой. Только это трудно, и много-много нужно работать.

Она подняла ресницы, быстрым взглядом прошлась по движущейся вверх по лестнице толпе, по блестящим белым стенам, по высокому потолку, отсвечивающему блеск бесчисленных лампочек в люстрах, убранных гирляндами из зелени и бело-голубых лент, и остановилась на рыжей голове своего кавалера. Он тоже показался ей непохожим на сестрорецкого Олега, стоящего на берегу моря, расставив ноги в широких клешах, с подвернувшимся у шеи голубым воротником белой голанки, поющего во весь голос навстречу встающему солнцу песенку: «Барышни, барышни взорами печальными...» Этого «шикарного моряка» в белых перчатках Люба ни за что не решилась бы дернуть за ворот, не стала бы при нем говорить глупости.

«Хорошо, что бала не будет,—мельком подумала она:—мне было бы неловко танцовать теперь с ним...»

Они прошли в огромный зал, один из самых больших в Петербурге,—столовую Морского корпуса, превращенную теперь в концертный зал. У входа, направо стояла большая модель корвета с поднятыми парусами, готовыми умчать его по волнующемуся морю голов усаживающейся на свои места публики.

— Какая прелесть!—воскликнула Люба, забыв свою сдержанность при виде этого легкого судна—размера небольшого катера и представив себе его плывущим по настоящему морю, под голубым небом, мимо сестрорецкого пляжа, и себя стоящею на горячем песке, облитую с головы до ног чудесным солнцем... И в ту же минуту вместе с радостью что-то больно

кольнуло сердце: вернется ли когда-нибудь это небо, это солнце, эта необычайная, как парус в море, легкость?..

«Ну, вот еще!—одернула себя Люба.—Что, я старуха разве?»

Музыканты настраивали инструменты. По рядам проходила нарядная публика, блеетели эполеты. Олег протягивал Любе пышно разрисованную программу концерта с дредноутом в лавровом венке, перевитом георгиевскими и андреевскими лентами. Маши не было рядом: ее увел какой-то гардемарин осматривать остальные залы. Люба, глядя на программу, на дредноут, проговорила с участием, обращенным к Олегу, но вызванным неожиданной печалью воспоминаний:

— А вам было очень грустно, когда погибла ваша «Палладушка»?

После концерта с участием солиста его величества, бывшего гардемарина флота, тенора Николая Фигнера, брата томившейся в Шлиссельбурге Веры Фигнер, после выступлений Липковской и Мамонта Дальского, после традиционного исполнения союзных гимнов Олег повел Любу и сестру свою Ирину, приехавшую к концу концерта, в буфет и там, познакомив их еще с несколькими товарищами, предложил пробраться в дальние классы, куда гардемарины перетащили пианино и где можно было, не привлекая особого внимания начальственных лиц, потанцовать на свободе.

Люба, по свойству своего характера всегда всем интересоваться, до всего допытываться и радоваться новому с детской жадностью, забыв о том, что она взрослая девица, будущая актриса, проходя по ряду разукрашенных комнат и коридоров, тормошила поминутно своего кавалера, спрашивая у него, что обычно помещается в этой комнате, а что в той, что хранится в том огромном шкапу, и для чего служат вот эти приборы или вот та непонятная карта. Она то-и-дело ахала, внимательно подбирала губы, доверчиво и восхищенно взглядывала на объясняющего Олега. Ей снова по-летнему стало легко и прочно, будто смыло весенним дождем все неясное, путаное, неверное, что принесла с собою эта зима,—и снова под ногами крепкая, ласковая земля, над головой ясное небо и веселое солнце. Стоя у какого-то шкапа, за стеклом которого размещены были модели корабельных орудий,

она прижалась плечом и локтем к руке Олега и, схватив его за обшлаг мундира, близко заглянула ему в глаза с открытой до дна, полной доверия улыбкой.

Олег опасливо повел глазами в сторону, побагровел и, больно сжав Любу за локоть, воровато ткнулся губами и носом ей в затылок, в щекочущие завитки ее волос. Он сделал это так быстро, так мимолетно и вместе так нежданно груб был его поцелуй, что Люба, инстинктивно отпрянувшая в сторону, несколько мгновений не понимала, что с ней, чего она испугалась, что такое произошло. С бешено заметавшимся сердцем она смотрела на Олега расширенными, недоумевающими, слепнущими глазами, точно ища защиты от него самого. Но Олег, испуганный своей дерзостью и тем, что могли заметить другие, а больше потому, что он не знал, как вести себя дальше и как примут его поцелуй, стоял перед Любой с глупой, заискивающей улыбкой, вот-вот готовый уверять ее, что все это была шутка.

Люба приоткрыла рот, готовая вздохнуть или крикнуть, рука ее мимовольно поднялась к груди. Она беспомощно оглянулась и тотчас же увидела в толпе пажей и гардемаринов идущую мимо Ирину.

— Ириша!—вскрикнула Люба, кидаясь навстречу подруге,—Ириша, подожди минутку!

Так умоляюще звучал ее голос, что Ирина с удивлением и некоторой опаской приподняла брови.

— Что-нибудь случилось?—И критически оглядев Любу, шепнула:—Поправь прическу!

Люба вскинула руки к волосам, и внезапно сладкая, мучительная дрожь пробежала от затылка вдоль по спине.

«Он поцеловал!—жмурясь, негодуя, напрягаясь от переполнившего ее нетерпенья что-то узнать до конца, чего она знать не хотела, подумала Люба.—Как он смел?.. Наглость какая!..»

Она пошла рядом с Ириной, не оглядываясь на Олега, но чувствуя за собою его присутствие, каким-то новым для себя зрением и слухом видя спиною его смущенное лицо, слыша невысказанные им извинения и тотчас же отвечая на них:

«Нет, нет, это неслыханная дерзость, я не могу простить и танцовать с ним не буду. Это неуважение ко мне, мы больше с вами не знакомы».

Но к стыду своему не находила в себе обычного возмущения...

В классной комнате, вдоль белых стен расставлены были простые деревянные скамейки, на которых разместились барышни. Высоко под потолком тускло горели матовые лампочки, ничем не занавешенные окна смотрели темными широкими пятнами в снежную ночь.

Сгрудившись в углу, как тараканы, гардемарины, правовед и какой-то артиллерийский юнкер торопливо пили из горлышка коньяк, контрабандно принесенный Мезенцевым под мундиром.

Сильно накрашенная дама или девица,—трудно было определить ее возраст и положение,—томно закатив глаза, жеманясь, нелепо перебирая ногами, стреноженными узким, с разрезом, вишневым платьем, из-под которого мелькали яркозеленые шелковые чулки, вытянув вперед руку вдоль руки своего партнера—худосочного правоведа, щекой к его щеке, пошла мимо сидевших на скамейках под поющие, изнемогающие звуки, как цирковая лошадь. Вслед за нею поднялась Ирина. Люба все еще плохо видящими, но блестящими глазами влюбленно глядела на свою подругу.

Бледное, точеное Иринино лицо, тяжелый узел ее волос, прекрасная, точно струя прозрачной воды, линия от подбородка к груди, печальная, строгая медленность движений ее тонкого тела—все в ней представилось Любе необычайно слитым с мотивом танца, с бессильными, обреченными, до отчаяния страстными всхлипами пианино.

Не отрывая глаз от Ирины, любуясь ею, в то же время прислушиваясь к своему разбухающему печалью и счастьем сердцу, Люба не заметила, как подошел к ней Олег и вкрадчиво, заискивающим шепотком заговорил с ней:

— Прошу вас, не сердитесь... Позвольте пригласить вас...

Она поднялась ему навстречу молча, не колеблясь, с робкой, покорной готовностью, с легким, едва слышным «ах!», точно перед нею открыли дверь в благоухающий после дождя сад. Старательно выделывая па, Олег повел ее по блестящим ромбам паркета.

«Что же это? Я танцую?—спрашивала себя Люба разнеженно.—Ну и пусть... Мне теперь все равно.—Пусть он ведет меня, куда хочет. Как сладко не иметь воли, мучиться этой музыкой и плыть!.. Я совсем стала бесстыжей...»

— У вас кружится голова, Люба?

— У меня? Нет.

Люба подняла глаза. Олег держал ее за руку. Они стояли у двери в коридор, музыка смолкла.

— Вы прелесть,—бормотал Олег.

Он был очень красен, для большей убедительности таращил глаза. Люба увидела веснушки на его лбу, улыбнулась.

— Честное слово, я прямо схожу с ума!—настаивал он.

«Совсем не страшный»,—подумала Люба и неожиданно для себя сказала:

— Вы глупый.

Олег шутовски вздернул плечи, щелкнул каблуками и, схватив Любину руку, как галантный кавалер, с подчеркнутой почтительностью поцеловал ее.

— Тут не только поглупеешь, а не знаю что сделаешь, честное слово!

Люба не отняла руки, впервые приняла поцелуй без пугливого жеманства, как должное, неизбежное. Мгновенно в ней самой и вокруг стало так тихо, так настороженно,— тихо, как бывает только на заре, в короткую, неизъяснимую пору между рассветом и пробуждением птиц, когда глаза уже видят ясно, но все окрест блаженно-призрачно.

Она не заметила, как подошел к ним Мезенцев и, подмигивая Олегу, ухмыляясь пьяно и озорно, протянул ей полную рюмку какой-то рубиновой жидкости.

— Любовь Прокофьевна, прошу вас—выпейте.

Она с недоумением подняла глаза и улыбнулась удивленно и доверчиво.

— Это сладенькое,—заискивающе поддержал Олег:— абрикотин. Специально для дам, честное слово!

— Но мне не хочется.

— Пустое, пустое! Должны выпить!—закричал Мезенцев.—Все дамы выпили.

— Пейте! Пейте!—подхватило несколько женских и мальчишеских голосов.—Ура-а! За героев! Ура-а!

Оглянув комнату, Люба заметила, что ни сестры, ни Ирины уже здесь нет и что ни с одной из сидящих на скамейке барышень она не знакома. «Как же так?»—подумала Люба и хотела было обратиться к Олегу, чтобы он помог ей разыскать Машу, но в ту же минуту кто-то бешено заиграл кэк-уок, гардемарины захлопали в ладоши, один из них пронзительно свистнул в висевший у него на груди свисток, какая-

то встрепанная девица с плывущими пьяненькими глазами, обняв Любу сзади за плечи, шепнула:

— Пейте, душенька. Что вам стоит?.. Теперь это редкость,—и вскрикнув:—Эх, раз в жизни бываешь молода!—пошла в кэк-уоке выкидывать вверх ноги.

— Любочка, ну, пожалуйста! Это же не крепкое,—упрашивал Олег.

Улыбаясь смущенно, развеселившись от музыки, от шума, от смеха, от десятка глаз, смотревших на нее, Люба тряхнула локончиками и, как бывало в Сестрорецке, на пляже, перед тем как броситься в море, зажмурилась, улыбнулась и, приняв от Олега рюмку, запрокинув голову, как птица, маленькими глотками потянула приторную, щиплющую кончик языка, густую влагу.

— Браво! Браво! Молодцом!—закричал Мезенцев.

Вслед за ним закричали все, захлопали в ладоши еще яростней, темп кэк-уока участился, кто-то, выстукивая подошвами, как вальком по воде, зачастил чечотку, снова пронзительно вошел в уши стрекочущий свист, по телу разлилась томность, чьи-то руки жадно и цепко обняли за талию, голос Мезенцева у самых Любиных губ крикнул:

— Полундра!

И страшно, неправдоподобно комната качнулась, как палуба корабля, уходя из-под ног и погружаясь во тьму...

Ужас, омерзение, гнев перехватили горло. Люба рванулась, ногтями вцепилась в чье-то лицо и волосы, крикнула не своим кошачьим визгом:

— Пустите!

Опять кто-то свистнул и крикнул:

— Полундра!

И как раньше померк,—теперь так же мгновенно зажегся свет.

Тяжело дыша, Люба увидела в красном мареве перед собою растерянное, исцарапанное лицо Мезенцева, сидящих на скамье и на полу гардемаринов с девицами и красное, с всклокоченными рыжими волосами лицо Олега.

Олег, только сейчас повернув голову и не успев отнять рук, державших за грудь ту самую девицу, что подбегала к Потаниной, таращился на Любу, шлепал размякшими губами и, как пришитый, не трогался с места.

Люба дикими от ужаса и гнева глазами тоже смотрела на него.

— Любовь Прокофьевна...—начал было Мезенцев.

Но Люба уже не видела ни Олега, ни Мезенцева, ни шушукающихся, растрепанных барышень, ни смущенных гардемаринов. Она бросилась к двери, дернула за ручку: дверь не поддалась. Тогда она стала трясти ее, не догадываясь повернуть ключ, все с тем же ощущением мрака, холода и отвращения.

— Любовь Прокофьевна, я сейчас...—бормотал Мезенцев, подбегая к ней и открывая дверь.—Послушайте, Любовь Прокофьевна, это же недоразумение...

Люба бежала, не оглядываясь.

— Я же, клянусь, не виноват,—забегая вперед, пятясь задом, продолжал убеждать в чем-то Мезенцев.—Вы же поймите: сплошное недоразумение... Олег сказал мне, что с вами можно... можно пошутить... Я же не знал.—Он поймал ее за руку, остановил.

Люба глянула на него, как на незнакомого, губы ее запрыгали, едкая обида щипнула веки. Она проговорила с усилием, точно вытягивая слова из липкой, тошной грязи:

— Господи, ну, что вам еще нужно? Уходите, прошу вас.

И пошла вперед, выпрямившись, не сводя глаз с тускло светившей лампочки, висевшей высоко в дальнем конце коридора.

Без цели, без мысли, с одним лишь желанием поскорее выбраться из бесконечного лабиринта коридоров и комнат, Люба дошла еще до какой-то двери и с трудом распахнула ее.

Перед ней, залитый светом, предстал уже знакомый зал, где давался концерт, и где теперь за длинными столами, сверкавшими белыми скатертями, сидели за ужином гости и гардемарины. Тут же справа, подняв паруса, готовый унестись в солнечную даль, стоял петровский корвет.

Какой-то с седыми баками и черными орлами на золотых погонах моряк, стоя перед своим прибором, говорил что-то. Когда Люба появилась в дверях зала, моряк кончил свою речь. Это был морской министр, адмирал Григорович. Он предлагал тост «за его императорское величество, государя императора, тезоименитство коего праздновалось сегодня».

Гардемарины закричали «ура», зазвенели стаканы с виноградным соком, оркестр заиграл туш.

В шуме, торжественном грохоте духовых инструментов, маленькая в этом огромном зале, с глазами, внезапно наполнившимися слезами, чувствуя себя потерянной, всеми забытой, загнанной среди стольких нарядных, веселых людей, не смея ни к кому обратиться с просьбой помочь ей найти сестру и уйти из этого чужого, гулкого, страшного дома, Люба сжалась и тихохонько, стараясь не быть замеченной, притулилась к летящему в неизвестные просторы легкому носу корвета.

За ярко освещенными окнами Морского корпуса, по Неве, мимо памятника адмиралу Крузенштерну, кидая в него хлопья снега, дальше—вдоль набережной Васильевского острова, к Академии художеств, под лапы уставших удивляться северу сфинксов, во всю ширь реки—к Сенатской площади с моря задувал декабрьский петербургский ветер. Снег сыпал косыми призрачными струями, заметая впереди себя дорогу, смелыми свинцовыми мазками шлепался в стены домов и гранит парапета.

Подхлестываемые сзади, минуя горящие окна Морского корпуса, автомобили и извозчиков, дожидающихся разъезда с вечера,—с ветром к Академии художеств, к сфинксам медленно шли свернувшие с Шестнадцатой линии на набережную Людмила и Павел Потанин.

Держа муфту у подбородка, склонив голову, Людмила шла чуть вперед. За нею, подняв воротник кургузого штатского пальтишки, в шапке-ушанке, пробирался ее спутник. Они продолжали начатый задолго разговор. Ветер то-и-дело заглушал слова, но, увлеченные спором, они не замечали этого.

Дойдя до сфинксов, они остановились. Потанин должен был свернуть на Третью линию, в общежитие учеников Академии, где он последние дни жил без прописки у приятеля. Людмиле предстоял еще долгий путь до Загородного.

Павел прислонился к запушенному снегом камню, на котором безразлично покоился сфинкс, и, укрывшись от ветра, левой рукой привычно достал папиросу и закурил. Людмила стояла подле него. Ветер несся дальше.

— Все-таки очень страшно оторваться от России, русского, от того, что бьются там на фронте... что вот—ударили и нельзя дать сдачи,—продолжала Людмила, стараясь говорить внятнее, сдержать сжигающее ее волнение.—А надо,

нужно во что бы то ни стало, не только разумом, но и всем существом, всем чувством оторваться, отречься от идеалистических представлений родины, национальности... Обязательно нужно...

Она на минуту примолкла, смахивая муфтой ударивший в щеку хлопок снега. Павел притаился под камнем, краснел огонек его папиросы.

— Так же трудно в детстве,—начала снова, сдерживая рвущиеся мысли Людмила,—да и много позже, давно уже не веря в бога, изжить в себе нежную растроганность в пасхальную заутреню или хотя бы осмыслить это свое чувство, найти его истоки. А нужно... Классовый враг! Но вот офицер, дворянин, эксплоататор идет на войну, бросает все блага жизни,—а их у него больше, чем у рабочего,—и идет умирать рядом с солдатом. Умирает подчас с сознанием исполненного долга, лично не заинтересованный экономически, следовательно — жертвенно умирает... Его я тоже должна ненавидеть. Должна поносить его имя... Нет. Это не то слово: не должна, а—презираю, ненавижу... За что?

Она мимовольно вырвала из муфты руку, дотронулась до груди Потанина.

— За что? За то, что он умер за дело, мне ненавистное, понимал благо не в том, в чем я его вижу? Но ведь за это жалеть нужно, а не ненавидеть... Мне кажется, тут что-то не так, не с той стороны нужно подходить,—спросила она тихо.

Павел не шевельнулся, докуривая папиросу.

— Ну, ну,—проговорил он заинтересованно,—продолжайте.

— Вы мне простите, я ведь это говорю потому, что хочу перед вами и перед собою быть до конца откровенной,—успокаиваясь, начала Людмила.—Нам все некогда вот так поговорить наедине, а мне это необходимо. Чтобы выяснить себе, насколько я в праве перейти целиком на этот берег и взять оружие не на словах, а на деле... А взять оружие—значит разить, вступить в битву, ненавидеть врага. Без ненависти не может быть борьбы... и любви,—убежденно и тихо добавила она.

Ветер снова ударил ей в лицо снегом, выхватил из-под шляпки клок волос, засвистал у лица заморского чудовища. Грузный квадрат Академии пошел рябью. Запоздавший трамвай, зажигая под колесами белые искры, прогудел по Нико-

лаевскому мосту. Шуршала, швырялась вдоль набережной ночная поземка.

— Мы видим это на фронте теперь: всё—на ненависти,— повторила Людмила.—Так вот, ненависть...

Слово это подхватило ветром и отнесло в сторону.

— Я ненавижу систему, приведшую мир к войне, ненавижу собственность, инстинкт собственности, от которого— вся трагическая неурядица нашей жизни, ненавижу эту войну, измышленную теми, кому она на руку... Ну, а вот, как только я подхожу к человеку, тому или иному человеку, у меня что-то свинчивается, скользит, путается...

Людмила отворотилась спиной к улице, из-под муфты глянула на путаную, шевелящуюся ширь Невы.

— Понимаю даже необходимость там, на фронте, убийства солдатами офицеров, противящихся замирению,—сказала она на ветер, мимо Потанина.—Понимаю. Но ненавидеть такого офицера, который идет умирать на неприятельские проволоки только потому, что верит в величие и правду войны,—не могу, не в силах...

Приблизив нежданно лицо свое к Павлу, спросила:

— Вы молчите?

Потом, после короткой паузы, успокоенно:

— Это хорошо, что вы меня не перебиваете. Я должна договорить до конца, выговорить себя. В этом месте у меня заскок...

Потанин смотрел на Людмилу с внимательной, пристальной лаской, по памяти угадывая выражение ее лица. Он бросил окурок, поежился, внезапно улыбнулся во весь рот, постучал ногою по снегу.

— А скажите-ка мне, товарищ Карышева,—вот, примерно, перед вами два человека, и оба лично безупречные люди. Один, умница, идет грабить соседа и гонит с собой своих наемников, другой дурак, помогает первому от души в его деле, верит в святость его дела и тоже не только сам подставляет свою глупую голову под пулю, но еще и других гонит под нее. Который же из двух нам, вот тем, которых гонят и умница и дурак умирать ни за что, ни про что,—который из двух нам ненавистнее? Чье дело преступнее? Дурака или умницы?

Людмила смолчала, стараясь понять.

— Вот то-то и оно-то,—продолжал Потанин.—Станьте в положение тех, кого гонят, и все сомнения пойдут прахом, никаких заскоков не будет... В о о б щ е, по-человечески, со стороны, конечно, чего уж ненавидеть дурака, да коли он еще этакий молоденький птенчик с восторгами и «благородными идеалами». Ну, а когда этот дурачок вам к виску—дуло нагана да закричит: «Кто в бога верует, за мной!», тогда... Все дело именно в том, что наша теория и наша практика, наши дела и наши убеждения—это дела и убеждения пролетариата, а не приспособленная для него другими философия. Рождены они не досужим рассужденчеством, а о п ы т о м с о б с т в е н н о й ж и з н и. Дело не в виноватости дурака или умника, а в классовой направленности его поступков, в его догмах, враждебных нашим интересам, вредных для нас, как для класса. Это нужно не только постараться понять, но почувствовать как свое, тогда рука сама найдет того, кого нужно бить, сердце—кого ненавидеть... Для нас аксиома—непримиримый антагонизм классов. Мы знаем и другое,—продолжал он:—чаще всего эти-то невиноватые и являются наиболее опасными нашими врагами—в силу своей невиноватости, личной безупречности, потому что за их спинами укрывается самый оголтелый, самый разнузданный наш враг. Разве мы не знаем, что идеалисты, романтики, мистики,—будь они кристально чисты,—неминуемо делают, с нашей точки зрения, наиболее бесчестное дело, потому, что их безупречность личная увлекает за собою массы, затемняет их классовое самосознание?.. И конечно же, я не ненавижу,—помолчав, продолжал Павел,—вашего этого офицерика, глупо умирающего, часто даже и не за свое дело, но я рад от души, если мне удастся скомпрометировать его в глазах рабочих масс, посеять к нему недоверие. Почему? Да потому, что одно дело—хороший, даже умный человек вообще, а другое дело безукоризненный по субъективным качествам, умный враг. Да что говорить! Вы сами—мыслящая, с головой девица, а вот тоже, небось, офицерика-то вашего без ненависти еще вопрос—убьете ли, если придет такая надобность, а с ненавистью, с личным презрением, пожалуй, рука не дрогнет. Так-то!

Павел смолк, совсем отвернулся спиной к Людмиле, против ветра. Снег сыпал теперь мелкими льдинками, колол лицо, сомкнул дали. Петербург сгинул за подвижной белой, непроницаемой завесой. Казалось, вот-вот она распахнется

вновь и откроет удивленным взорам иные, еще неведомые, небывалые горизонты...

Порывы ветра и снег подхлестывали Людмилу. Она все ускоряла шаг, все бо̀льшая решимость и упрямство закипали в ней. Несмотря на темень, окружавшую ее, Людмиле казалось, что дали уже становятся яснее.

Морщась от падающего на лицо колкого снега, она улыбалась.

«Пожалуй, Марья Гавриловна с чаем меня ждет. Хорошо будет выпить чаю горячего...»

У самых дверей в квартиру Людмила приостановилась, постучала ботиками, стряхнула с себя снег, снова улыбнулась—еще один этап пройден,—и нажала кнопку звонка.

Чьи-то тяжелые шаги пробежали из глубины квартиры, щелкнул замок. Людмила отступила на шаг, невольно пробормотав:

— Простите... Я, кажется, ошиблась...

Ей пришло в голову, что по рассеянности она позвонила в чужую квартиру. Перед нею стояла фигура в солдатской шинели, дышала на нее бьющим в нос запахом казенного, отсыревшего сукна, дубленой кожи, махоркой.

— А вы заходите, барышня,—глухо ответили ей.

Фигура вышла на площадку, заступила дорогу к лестнице.

— Заходите, заходите...

Людмила еще отступила, ноги сами собою подались назад, но, тотчас же пересилив себя, с необычайной прозорливостью, зная все наперед, подобравшись, сжав мысли и нервы, ко всему готовая, пробежала переднюю и остановилась на пороге освещенной столовой.

У стола она тотчас же увидела сидящих Марью Гавриловну и Витю. Марья Гавриловна с непроницаемым каменным лицом читала газету, не подняла глаз от зашуршавшего измятого листа. Витя дернулся навстречу, но остался сидеть, забарабанил по столу пальцами.

Кто-то третий, поднявшись и заслонив собою свет,—играючи, побежали по плечам его серебряные искры,—сказал мягким, грасирующим баритоном:

— А вот и сама мадмуазель Карышева... Вы видите, терпение всегда вознаграждается... Оч-чень приятно!..

Кроме курсистки Карышевой в квартире Марьи Гавриловны искали еще проживавшего у нее прапорщика армейского 132-го пехотного полка Павла Васильевича Потанина, по профессии электротехника. Но означенного Потанина не оказалось дома. По свидетельству хозяйки квартиры и ее жильцов он, будто бы, и не возвращался сюда после решения. Все же комнату его перерыли, взломали даже половицы и, ничего не найдя предосудительного, опечатали и оставили засаду. Людмилу, допросив, увезли в охранку.

1928—1932 гг.
Москва



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЬ!

Сообщите свой отзыв об этой книге, указав ваш возраст и вашу профессию,

по адресу:

Москва, Центр, ул. 25 Октября, 10/2
Государственное издательство
«Художественная литература»
Массовый сектор

